Демобилизация

Владимир Николаевич Корнилов


SHOUT
SHARE
IT

- Корнилов Владимир Николаевич

Корнилов Владимир Николаевич Демобилизация

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ
Демобилизация
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I

Хотя в феврале День Пехоты выпал на среду, с самого утра снег сверкал по-воскресному и смерть неохота была загорать в казарме. Так и тянуло надраивать сапоги, начищать бляху и подлаживаться к старшине за увольнительной.

Но полк был особый, стоял на отшибе - в тридцати километрах от районного городка, в шестидесяти от столицы, - и молодой командир части, красивый, невероятно длинноногий подполковник Ращупкин не выпускал солдат за проволоку.

- Нечего им там делать, - вдалбливал Ращупкин своим офицерам. - Ленин нас учит: "Всякое умаление пролетарской идеологии ведет к усилению буржуазной". Так вот, чем по избам самогоном надуваться, пусть на спорт налегают. Вам же самим, товарищи офицеры, спокойней, - улыбался подполковник во всё свое молодое, вытянутое, как у лошади, лицо.

Так что из всего полка за проволоку выбирались одни шоферы да ефрейтор Гордеев. С прошлой весны определенный почтальоном, Гордеев каждый день, правда не по многу, гулял в райцентре и тот ему даже слегка пообрыдл. Тем более, что последний месяц у Гордеева в самом полку завелась женщина.

Полк был не просто особый. Гордеев служил по третьему году, успел поменять прорву частей, а такой чудной еще не встречал. И лишнюю четверть тут прибавляли к жалованию (считалось вроде как за "молчанку"). И офицеров тут было побольше, чем солдат (все сплошь технари или инженеры). И еще в полку (правда, временно, но и служба ведь не навсегда!), к смертельному неудовольствию подполковника, жили вольные. Они чего-то химичили на двух объектах.

Один стоял у самой дороги и назывался "овощехранилищем". Второй был далеко в стороне, называли его по-всякому и считалось, что там-то и самая сила.

Впрочем, чисто военные дела занимали ефрейтора мало. Прячась от ветра и жмурясь от яркого, будто смазанного соляркой, снега, он жался сейчас в кузове попутной трехтонки и думал о своей крале, маркировщице с "хранилища". Вчера она

обещалась не пойти на объект и ждать его у себя в финском домике, где жила с еще девятью девахами с того же "овощного" строения.

Гордеев плохо спал ночь, ворочался на соломенном матрасе, все прикидывая, как бы исхи-триться и не поехать в город за почтой. Но, даже в полутьме спящей казармы, не поехать - не выходило. Неотступно перед ефрейтором стояло гладко выбритое лицо молодого "бати".

- И не думайте, - скалилось это лошадиное лицо. - На губу, марать честь полка, я вас не суну. Гауптвахта у меня, пока я здесь, всегда пустой будет. И в дисциплинарный батальон - тоже не сдам. Просто в такую дыру зашлю, где демобилизация на год позже, а за водой или в баню полдня топают... - и лицо доверительно улыбалось. Подполковник редко повышал голос.

В конце концов Гордеев решил в город поехать, но только перед самым обедом, после полудня, чтобы утро было совсем свое и он мог побыть с женщиной по-человечески, а не как раньше, наскоро, в закутке или на холоду в дровяном сарае. Нужно было только пораньше выйти из казармы, показать себя на КПП, а шагов через триста нырнуть в балку. Балка, заросшая сосня-ком, полуогибала военный поселок. Снег был в ней утоптан. В том месте, где она подползала к забору, две доски держались на верхних гвоздях. Гордеев не раз видел, как лейтенанты, раздвигая доски, сбегали на ночь в деревню.

Дело должно было выгореть, потому что после развода в полку ни дущи. Техники и инже-неры на объектах. Штабные - в штабе. Рота охраны половиной спит, половиной караулит. А офицерских жен не так уж много, да и времени у них нет глядеть за каким-то ефрейтором: печи топить надо.

Но, зараза, дежурный по части, техник-лейтенант, задержав Гордеева на контрольно-пропускном, попросил купить переговорных талонов с Москвой. Лобастый, лысеющий, он был какой-то чокнутый, образованный вроде, но не по технике, а по другой науке, истории там или политике. Он сидел у окна дежурки, туго перетянутый поперек и наискось ремнем, и быстро чирикал на чудной, вовсе куцей, такой, что в полевую сумку спрячешь, пишущей машинке.

- И разом! Один сапог здесь, другой - там! - пустил в Гордеева дымком дежурный.

Еще можно было выкрутиться, потому что лейтенант на самом деле был не строгий. На октябрьские праздники, когда Гордеев, единственный в полку баянист, был отпущен домой на десять суток, этот техник-лейтенант по фамилии Курчев, посланный ефрейтору вдогонку (когда спохватились, что другой

музыки нет), этот самый лейтенант выпил с ефрейтором в привокзальном буфете и даже посадил на поезд, за что схлопотал неделю домашнего ареста. Но сейчас, верно, сам того не желая, даже наверняка жалея почтальона, лейтенант выказал себя последним падлом.

- Ладно, - крикнул он ефрейтору вслед. - Назад, так и быть, не торопись, а звякни с почты и назови номера талонов.

И теперь уже нельзя было наврать, что, мол, почта задержалась или попутной не было. Пришлось позабыть про балку и лаз, топать по бетонке до шлагбаума, где кончались владенья полка, голосовать, лететь в город, покупать талоны и забирать почту. Звонить оттуда лейтенанту Гордеев из вредности не стал, а, поймав в городке машину, залез в кузов и теперь, замерзая, согревал себя мыслями о маркировщице, женщине вдвое старше его.

- Ну и чего! - отвечал, словно не себе, а завидовавшим солдатам. Жена она мне, да? На родине сам бы не стал. А тут и Сонька с довесом будет...

Офицерья до фига... И все они в тот финляндский домик, чуть вечер, как коты, лезут.

- Девки из кого хошь гада сделают, - рассуждал, согнувшись в три погибели за кабиной трехтонки.

- Гада сделают... Это уж точно... - повторял с удовольствием Гордеев. - Курчев человек был, а теперь из-за Вальки чернявой полная зараза...

(Валька была самая худая и самая красивая из монтажниц и, как считал Гордеев - да и не он один,- была по уши влюблена в лейтенанта.)

- Только не обломится ей, - вжавши голову между сапог в подол шинели, злился ефрей-тор на Вальку. - У этого интеллигента в Москве еще есть. А то бы не гонял за талонами.

Ради справедливости ефрейтор готов был часть обиды переложить на чернявую монтаж-ницу, которая всегда норовила пораньше удрать с объекта и поваляться с книжечкой, мешая Гордееву и его Соньке.

- Не обломится тебе, - снова погрозился он Вальке и тут же начал барабанить в крышу кабины. Подъезжали к "овощехранилищу".

Время было как раз полдень - шесть минут первого. Если как следует наддать, по-быстрому раскидать почту, и еще бы около часа осталось на Соньку. Маленький, косолапый, в буроватой шинели похожий на ржаную горбушку, Гордеев бежал по снежной, слепящей, как елочная мишура, дороге, а дымы из труб полка росли перед ним как-то чересчур медленно. Над штабом и

над казармой курилось еле-еле. И невесело попыхивало над двумя дюжинами финских офицерских домиков. Но зато из трубы КПП дым валил, как из доброго паровоза.

- Раскочегарил! - на бегу улыбнулся сквозь свою обиду Гордеев, представчяя, как его земляк, толстый, ленивый вечный дневальный КПП Черенков сует в топку березовые горбыли.

2

Он не ошибся. Красномордый Черенков и впрямь совал в печное нутро метровое полено.

- Остановись, - взмолился лейтенант Курчев.

В ожидании почтальона дежурный сидел за столом, сдвинув ушанку на самый затылок. Край ушанки почернел от пота, редкие волосы тоже взмокли, и капли с большого лба падали в раскрытую общую тетрадь. Пишущей машинки перед лейтенантом уже не было. Видимо, опасаясь начальства, он сунул ее в ящик или унес домой и запер в чемодане.

- От тепла какой вред, - осклабился дневальный, но полена не вытащил.

- Дурак. Лучше бы в деревню продавал, - прошамкал немолодой мужчина в синем драповом пальто и в синей же велюровой шляпе. Он сидел за столом, сбоку от лейтенанта, позевывая и щеря редкие обломанные зубы.

- Я не спикуль, товарищ старший лейтенант, - отозвался солдат.

- Ну и дурак, - повторил мужчина в штатском. Он последний день числился старшим лейтенантом и ожидал расчета с начфином. - Ни себе, ни людям. Гляди, лейтенант спекся, как в парной.

- Заткнись, Гришка, - вяло махнул рукой Курчев, зная, что штатский не замолчит.

- А чего? Пусть солдат хоть политэкономии понюхает. Эй, завпечкой, что такое полит-экономия понимаешь?

- Спекуляция, что ли? - без интереса отозвался солдат.

- Валенок! Сказал тоже - спекуляция... - Несмотря на ранний час, мужчина в штатском был под градусом. - Была бы спекуляция, горя б не знали.

- Кончай, - скривился Курчев. - Где этот собачий почтарь? А ну, крутни, - приказал дневальному.

Солдат, не поднимаясь с корточек, два раза провернул ручку полевого телефона.

- Работает, - отозвался с пола.

- Чего ж лопоухий не звонит? И твоего кассира нет, - повернулся к штатскому.

- Кассир без бати не вернется, - сказал истопник. - Батя

хитрюга. Запретил рано привозить.

- Тебя не спрашивают, - отрезал лейтенант.

Было семнадцатое число, так называемый День Пехоты, специально созданный для чрезвычайных происшествий. В такие дни тоска с самого утра грызла офицеров. Над штабными бумагами, конспектами уставов, над секретными схемами и включенными приборами витал синий дух пьянства, и Ращупкин, борясь со всем младшим и старшим офицерством, а заодно и с самим собой, сколько возможно задерживал доставку жалования. К тому же нынче, семнадцато-го февраля 1954 года, в одном из финских домиков ожидался нешуточный выпивон ввиду увольнения из рядов Вооруженных Сил старшего техника-лейтенанта Новосельнова Григория Степановича.

Утром, уезжая с начфином в штаб армии, подполковник крепко пожал Гришке руку и попросил держать себя в рамках.

- Слушаюсь, - кивнул нахлобученной шляпой Новосельнов в присутствии маленького круглолицего начфина. Начфин понимающе усмехнулся. Он не верил, что обойдется без солидных проводов.

- Впрочем, я вас еще увижу, - со значением добавил подполковник.

И вот солнце выкатилось на самую верхотуру неба, офицеры вот-вот должны были повалить с объектов, а аккуратный, кругленький, смешливый, пьющий только чужую водку начфин все не появлялся.

- Может, приедешь завтра? - спросил Курчев. Он понимал, что чувствует Гришка. Последние часы всегда самые тяжелые. В лагерях, говорят, люди иногда напоследок с ума сходили или даже устраивали побеги. А для Гришки армия была ничем не легче лагеря. Даже тяжелей. Амнистии из нее не было.

- Подожду, - с напускной лихостью сказал Гришка, но Курчев знал, что тот отчаянно боится. Оттого и выпил с утра.

- Отвальную справлять будете? - спросил дневальный Черенков.

- Отолью тебе полстакана, - явно заминая вопрос о большом выпивоне, отмахнулся Новосельнов.

- За печкой следи, - бросил через плечо Курчев и насмешливо поглядел на штатского.

Гришка всё-таки держался молодцом. "Меня бы, как эпилептика, трясло", - подумал Курчев, который даже во сне мечтал вырваться на гражданку. Но из этих чёртовых полков отпускали пока только ногами вперед. Гришка был первым, но сколько ж ему пришлось поработать!

Старшему лейтенанту Новосельнову стукнуло тридцать восемь лет, но выглядел он на все пятьдесят. Два срочной, четыре года войны, водка, женщины, пять лет послевоенной гражданки, за которые он успел трижды, правда без отсидки, побывать под следствием, и снова четыре года послевоенной армии здорово потрудились над его лицом и телом. Он обморщинел, пожелтел, как старая бумага, и обрюзг, как много рожавшая женщина. Волосы у него с висков поредели, а сверху вовсе вытерлись, ресницы тоже выпали, и красные, опухшие от пьянства глаза постоянно слезились. Зубы он почти растерял, а мосты вставлять не торопился, надеясь, что с голыми челюстями отпустят скорей.

До прошлого сентября Гришка вел себя в полку смирно, стараясь побольше спать, потише пить и вообще меньше мозолить глаза командованию. Одно время он даже пристрастился к чтению, выискивая и читая молодым офицерам абзацы, а то и целые страницы, посвященные хозяйственным хищениям. Особенно приглянулся Гришке Толстой, не больно жаловавший армейских чиновников.

Экономические темы были любимым Гришкиным коньком, а в финском доме, где он жил вместе с Курчевым и еще семью холостяками, слушателей хватало. Гришка ходил у офицеров в двух ипостасях - отцом родным и шутом гороховым. Хохот стоял в этом домике до полуночи, к неудовольствию парторга роты охраны Волхова, трезвенника и сквалыги, который сам себе стирал исподнее и, несмотря на запрещение Ращупкина, в целях экономии заправлялся из солдатского котла.

Но в сентябре, когда вышел указ гнать из армии всякую немощь и вообще необразованных офицеров, Гришка воспрянул, оставил книги и стал пить в открытую. Сбрасывая с себя шинель, а то и брюки, он, если день выдавался не слишком студёным, ложился в канаву на оскорбление офицеров и потеху солдат. Курчев, со жгучим интересом и мальчишечьей жалостью следя за Гришкой, чувствовал, что тот заходит чересчур далеко. Даже если не вмешается трибунал, Гришка наверняка сопьется.

- Не было такого, чтобы кто-нибудь косил психа и не свихнулся, пытался он унять старшего лейтенанта.

- Был один. Революционер Камо. Знаешь чего в камере жрал? отмахивался Гришка.

Но с увольнением в запас дело шло плохо. Всеобщая офицерская демобилизация, как эпидемия охватившая Вооруженные Силы, никак не прилипала к полкам этой армии. И когда из других частей, несмотря на просьбы и рыдания, списывали почти поголовно, в этих держали, хоть на голове ходи.

На корпусном офицерском сборе командарм пачками называл

провинившихся, и они стояли два часа навытяжку, как балясинки без перил, вызывая смех и сочувствие зала. Самый невинный из поднятых, надравшись, то ли в присутствии иностранной делегации, то ли заместителей Предсовмина, блевал в Большом театре с верхнего яруса в партер. Другой, назначенный стар-шим в рейс, напился и напоил шофера, после чего их трехтонка столкнулась с другой, причем шофер погиб, четверо солдат в кузове разбились насмерть, а лейтенант даже не поцарапался и теперь стоял посреди зала с усталой и злобной ухмылкой. Нельзя было ничего доказать. Водитель мог пить на свои. Поэтому трибунал заменили гауптвахтой, но поскольку в ту осень на гарнизонной губе вроде бы сидел сам Берия, то лейтенанта в Москву даже не возили, и он загорал пятнадцать суток на собственной койке.

Были и другие прегрешения. Кто-то наградил сестру командира полка и еще одну родствен-ницу (по-видимому, саму командиршу) нехорошей болезнью. Кто-то уехал на Кавказ и провел там лишних четыре месяца, включая бархатный сезон, причем в денежной ведомости за него лично расписывался начфин на основании специально составленной нотариальной доверенно-сти. О пьяных дебошах командующий говорил абстрактно и вскользь, иначе пришлось бы поставить по стойке "смирно" треть зала и задержать сбор по крайней мере на неделю.

Но о Гришке ничего сказано не было. Ращупкин, который не собирался похоронить себя средь подмосковных лесов, сора из избы не вытаскивал. Вернувшись вскоре после сентябрь-ского указа из отпуска, он тут же вызвал Гришку.

- Бросьте пить, Новосельнов, и я вас уволю, - спокойно сказал подполковник.

Гришка неторопливо почесал затылок и показал огрызки зубов. Разговаривать ему не хотелось, а словам он не верил.

Но молодой Ращупкин, который в тридцать два года командовал особым полком (по штатному расписанию - должность генерал-майора), не любил задерживаться на полдороге. Рядом с поплавком Академии Фрунзе он твердо решил привинтить второй, генштабовский, и Гришка был для него вроде парализованной тещи. Полк должен быть чист, как канал ствола. Ни одного ареста, ни одного ЧП, ни, тем более, валяющегося в кальсонах на виду солдат и женщин офицера.

- Вот что, Григорий Степанович, - повторил Ращупкин. - Бросьте фокусы и, даю слово, уволю.

- Ну так как? - улыбнулся прошлой осенью красивый Ращупкин, и Гришка почувствовал себя перед молодым подполковником еще беспомощней, чем когда-то перед

следователем.

- Эх, начальник, - вздохнул старший лейтенант, распустив живот и горбясь, как лагерник. И улыбка у Гришки была точь-в-точь, как у зэка.

Позапрошлый год и первые месяцы прошлого заключенных в этом поселке было раза в три больше, чем сейчас военных. Гришка нагляделся на этих бедняг, а кое с кем даже свел дружбу. Поселок и объекты - бункера и прочее - строили сообща стройбат МВД и лагерь. Гришка, который прибыл в полк в июле 52-го года в числе первых офицеров, сразу попал, как кур в ощип.

На его долю выпало принимать нестационарное электропитание, и эмведешники их строй-бата, спаивая и, попеременно, то уговаривая, то запугивая, заставили Гришку забраковать три дизельных установки. Две из них были тут же с удивительной ловкостью списаны и проданы в соседний район, а третью списать сразу не удалось и ее отпускали то на ремонт дороги, то на пивзавод, то на молочную ферму, то еще куда-то - и от этих щедрот Гришке перепадало по бутылке или по две в день "сучка" и полные штаны страха.

Наконец, перед самой смертью Сталина в полк прибыл Ращупкин, который вытолкнул исполняющего его должность пьяницу и делягу начштаба в штаб и сам стал наводить порядок. То ли зная, то ли догадываясь, он погнал Гришку на два месяца в отпуск, а когда тот вернулся, Сталина уже отхоронили, лагерь по амнистии ликвидировали, да и стройбат был на последнем издыхании. Во всяком случае, его офицеры больше в полк носа не показывали. Ращупкин не терпел посторонних глаз.

- Так как - договоримся? - спросил прошлой осенью Ращупкин. - А то ведь за каждым какой-нибудь хвост есть. Умный человек его под себя поджимает. А? - и, считая дело решен-ным, добавил: - Советую пока госпитализироваться. Отдохнете, а я за месячишко с увольнени-ем улажу. Начальник кадров в... - (он назвал окраину Москвы, где стоял штаб армии) мой командир взвода. Я у него курсантом начинал.

- И снизив голос, как бы тем самым кончая официальный разговор, подполковник улыб-нулся: - Зверь я, что ли? По мне, Григорий Степанович, всех нерадивых гнать из армии следу-ет. Армия должна быть сознательной. И каждый офицер - это я до самой смерти повторять не устану! - должен иметь перспективу. Людям расти надо. А тот, кто не растет, тот, простите меня, гнить начинает. Я бы таких хоронил без всяких почестей. Демобилизовывайтесь на здоровье. Дизелист вы великолепный. Брачок в агрегате сразу определите, - не отказал он себе в намеке. - Да, дизелист вы, что надо! И отпустить вас вроде жаль, но и

держать нельзя. Самый свой главный долг перед родиной вы исполнили. Четыре года на войне, притом три - в блока-де! - это... - подполковник запнулся, ища подходящего определения, и не найдя добавил: - Это много... Я так и напишу в ходатайстве: долг выполнил сполна. А офицеры из-под палки мне не нужны.

4

И вот сейчас, в День Пехоты, Гришка досиживал в дежурке свои последние армейские минуты, ожидая законного двухмесячного пособия и не веря собственному счастью. Ращупкин оказался твердым на слово и по-человечески стоило бы его отблагодарить.

- Журавлю поставь, - тихо сказал Курчев. - Журавлю следует.

- Он белой не пьет, - вздрогнул Новосельнов.- А другого... я краснофлотцу не заказывал.

Военторговским ларьком командовал демобилизованный матрос Ленька. Водку он продавал из-под полы по тридцать рублей бутылка, а коньяка, как продукта неходкого, не держал вовсе.

- В ... смотайся, - назвал Курчев районный центр, куда прибывала полковая почта.

- Эх, - мотнул шляпой Гришка. Ему не жаль было денег, но он боялся судьбы. Он так долго и так небеспричинно ее боялся, что сейчас, когда вроде и страшного ничего не было, сердце жутко толкалось под левые ребра, руки дрожали и мерещилось самое скверное. Оттого-то, а не из жадности, он сидел на КПП, надеясь на ходу перехватить начфина и не справлять отвальной. Чемодан был давно запакован. Все военное - сапоги, ремень, китель, бриджи с гимнастерками, подушка, матрас, одеяло - частью раздарено, частью спущено за четверть цены. А начфина все не было, и неясно было, когда прибудет. Гришка сердился, пробовал подшучивать над собой, глотал с утра водку, но ничего не помогало. Он отчаянно боялся. Только присутствие Курчева, который тоже мечтал удрать из этого Богом забытого полка, несколько успокаивало Гришку.

- На черта Журавлю мой коньяк? У него купюры несчитанные.

- Скажешь, - улыбнулся Курчев и без раздражения оторвал голову от тетради. Ему оставалось дописать три страницы - и реферат был бы готов. Собственно, он уже давно был готов и даже на две трети перестукан на пишущей машинке. Но для таких, которые читают не подряд, а вразброс начало, середку и последние абзацы, нужно было отгрохать конец позабористей. Цитаты из классиков были уже переписаны. Оставалось их соединить покрасивей и поаккуратней, чтобы на кафедре истории поняли, что соображалка у лейтенанта как-никак, а работает.

- Брось врать, - повторил Курчев. - Сам ведомость видел. Тыща девятьсот - долж-ность. Тыща сто - звание. Ну, ординарские, выслуга, "молчанка". Много ли наберется? Так жена не работает и двое пацанят. Ты бы с ним не махнулся.

- Я - нет, - кивнул Гришка. - Только ты не так его гульдены считаешь. Не каждую сотнягу в ведомость вносят.

- Брось заливать.

- А ты что - вчера родился? - ухмыльнулся Гришка. - "Севастопольские рассказы" читал?

- Так то когда было?! Тогда полковник или батарейный даже овес - не говорю про лошадей! - сами покупали. Продовольствие - и то сами... Ну, и простор для коррупции был. А теперь что? "Изделия" ему продавать?..

("Изделиями" называлась огневая мощь полка, которой, впрочем, пока не наличествовало.)

- "Изделия"? Пальцем, извини меня, Борька, тебя изделали, - натужно захохотал Новосе-льнов. - Полгода с тобой бьюсь, а ты вон, как тот у печки... - он кивнул на дневального. - Валенок и только...

- А чего... Я понимаю, - отозвался солдат, не поднимаясь с корточек.

- Голос из провинции, - рассердился Курчев. - "Понимаю..." Интересно, чего это понимаешь?

- А то, что у начальства всю дорогу лишняя получка, - повернулся к офицерам истопник и улыбка расползлась по его широкому, красному от печного жара лицу.

- Хватит, - сказал Курчев. - ("Чего психуешь?" - оборвал себя.) Хватит трепаться, - повторил вслух. (Вести подобные разговоры при подчиненном не стоило, но раз уж дискус-сия началась, затыкать человеку глотку было неприлично, а главное - бесполезно.) - Ну, чего он возьмет? сердито спросил лейтенант. - Чернила в конторе? Черняшку в хлеборезке? Пачкаться не станет. Ему же в генералы светит!..

- Чудно мне на вас, товарищ лейтенант, - как на маленького посмотрел дневальный на Курчева и для удобства разговора сел на свой топчан у окна, которое выходило на белое поле и бетонку. - Вы же сами, товарищ лейтенант, на картошку ходили.

- При чем это?

- При том, что за копку батя обещал добавки в котел. Колхоз пять кабанов дал за помощь. А где они?

- У тебя в пузе.

- В пузе у меня картошка, - спокойно растягивая слова, ответил дневальный. - А свинины в нем не больше, чем министр выписал, а повар не украл.

- Молодец валенок! - расхохотался Гришка. - Молодец. Яички петуха учат. И правиль-но. Учи. Он глупее тебя. Ты осенью - аля-улю... - а он тут темным помрет. А в аспирантуру сбежит, еще темней станет.

- Правда, товарищ лейтенант, вы вроде как не на земле живете, снисходительно сказал истопник. - Сами же, точно помню, за частями для "ЗИСа" сто пятьдесят первого по гаражам с Ишковым катались. Помните, в декабре, когда "ЗИС" разбило, а батя скрыл аварию.

- Ну и что? - спросил Курчев. Он считал, что про "ЗИС" никто, кроме него, шофера и Ращупкина, не знает.

- А "ЗИС" тыщ сто стоит.

- Вот валенок, - веселился Гришка. - У печки дрыхнет, а мозги подогревает! И правда, Борька, "ЗИС", пожалуй, косых сто потянет, или даже полтораста! Ну, пусть не весь. Пусть только кардан, радиатор, мотор...

- Мотор тоже не весь, - покраснел Курчев. - Ну чего пристал? Я в кабине сидел. Ишков обо всем договаривался.

- Понятно. Прикрывалом был. И помрешь прикрывалом. Чего тебе не скажешь - все сквозняк выдует. Историк, дерьма-силоса... Измы, клизмы в голове, а в жизни соображаешь, как в арбузных обрезках...

- Ладно. - Курчев уже смирился с присутствием дневального и даже не злился на Гришку. Ему просто было жаль Ращупкина. Ращупкин нравился лейтенанту, был с ним в не по-армейски коротких отношениях, обещал помочь демобилизоваться, и прошлогодняя поездка по гаражам, вернее по окрестным поселкам, где жили люди из гаражей, свидетельствовала об особенности их отношений. Другому бы Ращупкин не поверил, а Курчеву мог, потому что Курчев был человек интеллигентный, умел держать язык за зубами и, главное, понимал подполковника, который тоже рвался выбраться из этого полка (пусть в Академию Генштаба!).

- А чего "ладно"? ведь ездил, - не унимался Гришка. - Прикрывал покупку ворованного. К "ЗИСу" запчасти частникам не отпускают. Не "Москвичишко". Так? Да?

- Слушай, сыпь-ка отсюда, - пробурчал Курчев и голос у него был как у влюбленного, узнавшего, что девушка, которую он почитал как недотрогу и небесного ангела, отдается направо и налево.

"Дался, в конце концов, мне этот Журавль? - подумал лейтенант. - Что он, брат родной или друг любимый? Но ты тоже хорош! Ездил, курил в кабине не спрашивал. Или с той же картошкой и кабанами... Это ж надо уши развесить: добавка к

рациону! Да за такую добавку распатронят Ращупкина как клеветника и врага Вооруженных Сил. Тоже мне - скажут - добавлятель! Что же, товарищ подполковник, норма в Советской Армии не жирна?! Да его за одну идею (а он перед строем в открытую!) на Колыму загонят. Или из армии вон. А что он без армия? Не инженер - нуль без колышка. Вот дурень. И как такое сказать не побоялся? Или тут полк закрытый, что хочешь трави - не донесут. А особист? Что ж, особист один на три полка. Может, они и особисту полкабана отрубили. Или он вегетарианец?" - Иди, Гришка, - сказал вслух. Сейчас начальство попрет.

- Батя в Москву уехал, - подал с топчана голос дневальный.

- Батя, батя. Заладил. Какой он тебе батя? Батей раньше попов звали, а как попы в атаманы пошли - батьками стали. Махно, например.

- Махно учитель был, - уточнил Новосельнов.

5

"Ну, чего злишься, - попробовал успокоить себя лейтенант. - Тоже мне, исследователь душ. Верно Гришка сказал: дерьма-сапога историк... Хрена ты в людях смыслишь!" - и он в сердцах захлопнул тетрадь.

- Где этот драный почтарь? Крутни еще раз, - кивнул дневальному.

- Да есть связь, - терпеливо зевнул Черенков.

- Связь есть, а Гордеева нету. Он, собака, может, в город и не ехал. Сейчас, может, у Соньки, ежовый корень... - с удовольствием выругался дневальный.

- Врешь...

- Пошлите кого-нибудь, пусть шуганет. Или хоть сам слетаю. Погляжу, как с перепугу в штаны не влезет.

- Чего разлегся, за печкой следи, - сказал Курчев. - Пусть побалуется, если охота. Только, чёрт собачий, сегодня среда. Если вечером не отвезу, то четверг пропал, в пятницу брат на кафедре не бывает, суббота вообще не день, а на той неделе у него, вроде, командировка в Питер. Смотришь - и моя аспирантура одним местом улыбнется.

- Ничего, примут. Ты по уму в самый раз, - зевнул Гришка.

- Вы бы своей машины не относили, товарищ лейтенант, точно бы до обеда управились. Вы это ловко, все равно, как женщина в конторе, где справки заверяют. Раз-раз постучит и готово, и два рубля с листка. Как родитель помер, мы с маманей в Челябе копию со смерти снимали. Так она, как вы всё равно, - раз-раз - и вся любовь. Два рубля с листка...

- Ходят тут всякие. Наработаешь с ними, - пробурчал лейтенант. Особняк уже интересо-вался, что у Курчева за

машинка. Марки какой и для чего вообще... - лейтенант поглядел в глаза истопнику: не ты ли, мол, проговорился? Но истопник глядел не моргая. То ли глуп был, то ли чересчур хитер, но на морде смущения не отражалось.

- Думают, все дело отстукать, - снова проворчал Курчев, поворачиваясь к Гришке. - У ихнего брата грамотный, кто очки носит, а кто с пишмашинкой тот полный академик. Всё для показухи, а смысла не надо...

- А может и не надо, - хмыкнул Гришка. - Ваша наука - пиши и все. Пена без пива. Передери откуда-нибудь конец и вези кузену. Примут, не волнуйся. Там у вас все друг у друга воруют. Важно, чтоб лишь не слово в слово. А на бумаге язык у тебя подвешен.

Новосельнов давно знал, что двоюродный брат лейтенанта, молодой, полтора года назад защитившийся и уже успевший получить доцента философ Алексей Сеничкин проталкивает родича в аспирантуру на соседнюю историческую кафедру. Правда, дело упиралось в образо-вание лейтенанта: оно было жиденькое - даже не университет, а педагогический истфак, оконченный, к тому же, четыре года назад и с кучей троек.

- Надо было тебе в училище в партию подать. Точно бы теперь прошел. За руку водить вас, желторотых, - неожиданно повернул разговор Гришка.

- Вы комсомолец, товарищ лейтенант? - спросил дневальный.

- Два месяца осталось. В апреле - всё. Отыгрался.

- Ну и дурак, - сказал Гришка. - Подавай сейчас.

- Поздно. Тогда уж точно не отпустят.

- Теперь, товарищ лейтенант, до двадцати восьми держат. Замполит говорил, - снова подал голос дневальный.

- Знаю, - кивнул Курчев. Разговор был ему неприятен. Он и наедине с собой не любил касаться этой темы. Мысли о необходимом вступлении в партию отравляли всю сладость будущей аспирантуры. Он хитрил, отдаляя решение, надеясь, а вдруг и без этого примут, скажем, сочтут реферат уникальным, просто умопомрачительным. В конце концов, можно и на два года продлиться, а там видно будет. Но всё это были мысли нерадостные и трусливые. Впрочем, сейчас, после дискуссии о Ращупкине, которая вывела Курчева полным кретином, думать об аспирантуре не хотелось.

"Тоже мне умник, - ругал себя Борис. - Вечно влюбляешься в кого-то... Добро бы в бабу, в Вальку, например... А то в начальство. А чего тебе в нем? Службист и подлиза..." - и Курчев вспомнил, как месяца четыре назад на осенней инспекторской Ращупкин рапортовал корпусному командиру. Огромный, неправдоподобно длинный, гаркнул "Сми-ар-на!", как

репродуктор, на весь поселок и, по-журавлиному выбрасывая ноги, двинулся к середине плаца, где стоял укутанный в темно-лиловую шинель кругловатый низенький корпусной, на погонах которого было всего на звездочку больше.

"Та-ва-рищ па-ал-ко-ов-ник!" - морщась, вспоминал Борис, и каждый слог рапорта больно ударял сейчас по затылку.

"Сознательная дисциплина!" - передразнивал молодого подполковника. "Каждый солдат обязан беречь дисциплину и отвечать за нее головой и честью. Каждый! Я понятно говорю?"

"Сознательность... честь... одно сотрясение воздуха", - думал Курчев. "Однако нервишки у тебя, Борис", - успел еще он сказать себе и тут же дневальный закричал:

- "Победа", товарищ лейтенант. Чужая. Второй поворот проехала. И Гордеев, сучонок, из оврага вылезает. Значит врал я. Был в городе. Газеты тащит.

- Иди ворота открывать. Какого еще лешего несет. Дуй отсюда, Гришка.

- Я пересяду, - сонно покряхтел Новосельнов и перебрался на топчан дневального.

Бежевая, незнакомая Курчеву "Победа" терпеливо, не сигналя, ждала, пока толстый Черенков справится с воротами, а потом медленно проплыла мимо наклонившегося к ее стеклу и прижавшего к ушанке руку лейтенанта. Рядом с шофером никого не было, а на заднем сидении Курчев увидел полкового особиста и худого незнакомого полковника.

- Товарищ... - не слишком ретиво выдавил Курчев, собираясь представиться, но полковник махнул ему рукой, дескать, не рви глотку, мы по делу.

- Кто такой? - спросил Борис истопника.

- Из корпуса. Главный "смерть шпионам".

- Почем знаешь?

- Да что он, первый раз ездит?

- Ладно, иди. У них свои глупости. Бензин зря переводят, - сплюнул Курчев, выдавая извечную неприязнь армейского офицера к чинам особого ведомства.

- Видел? - бросил он Гришке, возвращаясь с мороза в парилку КПП и сталкиваясь на пороге с почтальоном. - Ах, вот ты где? Что не звонил? Знаешь, за чем тебя посылать?..

- Вот ваши талоны, - скромно ответил Гордеев.

- Ладно, спасибо. Но, между прочим, мог бы и позвонить.

- Еще "Звездочка" ваша...

- Возьми себе. Я зимой газет не читаю, - проворчал лейтенант и стал вертеть ручку полевого телефона.

- "Ядро"? Слышишь, "Ядро", дай город. Город? Москву,

пожалуйста. Нет, по талону... В Москве? Дмитрий-два, - он назвал номер московского телефона. - Всё равно кого. Обратный "Ядро", двадцать первый. Курчева.

Гордеев, для приличия с полминуты потоптавшись на пороге, неловко повернулся и выбежал из дежурки.

- Побыстрей давайте, а то уйдет, - крикнул в трубку лейтенант. Никто в московской квартире не собирался уходить. Наоборот, даже могло еще никого не быть дома, но у лейтенанта кончилось терпение. Бросив трубку, он сел на топчан рядом с Гришкой и приложился щекой к оконному стеклу. Вдалеке на бетонке были уже видны одинокие, вяло бредущие фигурки офицеров. Штатские еще не выходили.

"Чёрт, там всего три страницы. Допишу как-нибудь, - думал лейтенант. Хорошо бы сегодня свезти и отделаться. А там - примут не примут - один чёрт. Все равно смотаюсь. Хоть через трибунал, а убегу. Такого не может быть, чтоб держали, если человек не хочет. И кому я нужен, старый и без нормального училища? (Лейтенант окончил всего лишь годичные курсы.) Сбегу хоть без двух окладов и пенсии за звание. На черняшку сяду, а свое напишу..." При белом снеге и ярко отсвечивающем на снегу солнце будущее не казалось мрачным.

- Позвонили, товарищ лейтенант? Можно я в казарму покручу? - спросил Черенков. Он отвалился от второго окна, в которое был виден штаб и плац перед штабом. На плацу было пусто. Из штаба никто не выходил. Только ефрейтор Гордеев протрусил по аллейке, не заследив белой торжественности плаца, и в конце, у офицерской столовой, свернул не к казарме, а направо к финским домикам.

Черенков, следивший в окно за почтальоном, как жирный кот за мышью, бурчал в трубку:

- Дневальный? А, дневальный? Сержанта Хрусталева дай. Товарищ сержант! Точно... Точно, как наметили... Попёр туда. Прямо с почтой. Застукаете. Минуток пять погодьте...

6

Лейтенант, поглощенный московскими заботами, прислушивался плохо. Он был не здесь, в натопленной дежурке, а в четырехкомнатной квартире материнского брата Василия Митрофа-новича Сеничкина, единственного своего родственника, почти министра. Отец лейтенанта погиб в 41-м, а мать умерла еще раньше при не слишком понятных обстоятельствах: то ли больное сердце не выдержало ревности (отец сильно гулял), то ли мать сгоряча чего-то наглоталась. Это случилось давно, когда Борька еще не вернулся к бабке в Серпухов, а с отцом и матерью ютился в Москве, в развалюхе на Переяславке, все ожидая

квартиры, которую твердо, ну прямо вот-вот, "к концу квартала" обещали машинисту Ржевской дороги Кузьме Илариоиовичу Курчеву и которой не дали до сих пор, хоть машинист уже зарыт неизвестно где, а его первая жена покоит-ся на Серпуховском кладбище. Но развалюха стояла, хоть бы хны, на той же Переяславке, невда-леке от Ржевской (теперь уже Рижской) дороги, и лейтенанту, благодаря стараниям материнско-го брата, светило получить ее в собственное владение.

Дело в том, что машинист Кузьма Курчев не так уж долго горевал по своей, старше его восемью годами, жене. Через месяц или что-то около того он привел в развалюху путейского техника Лизку, настырную девчонку, которой одного техникума было мало и она, зачем-то мудря, училась на вечернем факультете, а когда на Кузьму Илариоиовича пришла похоронка, Лизка была уже Елизаветой Никаноровной, инженером, и потом тут же, на железной дороге, снова вышла замуж и родила пацана. Теперь же, в 54-м году, по-серьезному, а не как ее первый муж, ждала твердо обещанной квартиры - и развалюха должна была остаться Борису. Он после войны в ней не жил. Но Василий Митрофанович, родич в ранге министра, получив в 48-м свое четырехкомнатное жилье, не мог не вспомнить о племяннике. Племяш, к тому времени студент, остался без кола и двора. Дом в Серпухове за смертью матери Василия Митрофановича, Борькиной бабки, был продан и деньги разошлись сразу и сами собой, потому что обставить четыре комнаты - куда как не просто. Тут никаких высших окладов не хватит. А жена Василия Митрофановича, Ольга Витальевна, директриса образцовой школы, была женщина крутая и распорядительная и любила все делать на совесть.

Борька Курчев, кое-как ползя на тройках, жил в общежитии истфака, и у старшего Сеничкина нет-нет, а на душе кошки поскребывали. Прописать племянника у себя он, понятно, не мог. Комнат было четыре, но и Сеничкиных тоже было четверо, он с Олей, Алешка, который вот-вот женится, и школьница Надька. Но жить племяшу где-то надо. А если его, дурня, после окончания отправят куда-нибудь в деревенскую глушь и он там, как пить дать, сопьется, то Василия Митрофановича в свободное от службы время наверняка изведет тоска. И без ведома Борьки, но с ведома Ольги Витальевны, решил тогда в 48-м году Василий Митрофанович нажать на Борькину мачеху Лизавету. Он приехал в депо в летний полдень в своем длинном черном сверкающем, как генеральские сапоги, лимузине "ЗИС-110" и дал Лизавете честное слово коммуниста, что Борька не переступит порога ее развалюхи.

- Только пропиши, - сказал ей на "ты", потому что так было

родственней и авторитет-ней. - Самой же лучше. Новую скорей дадут. Так на трех, а так на четырех получится, да и один чужой. Вроде как две семьи. И я, при случае, чего смогу - сделаю.

И Лизавета, решив, что по-хорошему оно вернее, сдалась и прописала Борьку. И он действительно не переступал ее порога. Только пришел осенью пятидесятого за военкоматской повесткой и еще раз зашел в прошлом году, когда Ращупкин, пойдя лейтенанту навстречу, разрешил прописаться в Москве. А теперь в будущем месяце развалюха переходила ему. Дело оставалось за ордером.

Но сейчас лейтенант думал не о развалюхе, а об обитателях четырехкомнатных апартамен-тов. Родича в ранге министра он видел редко. Тот с женой почти каждую субботу отбывал то ли на специальную дачу, то ли в особый дом отдыха. Десятиклассница Надька тоже не интересова-ла лейтенанта. Хотя она пользовалась у своих сверстников несомненным сексуальным успехом, Курчеву она казалась толстой, нескладной и довольно противной прыщавой девицей. Водился Курчев только с двоюродным братом Алешкой, двадцативосьмилетним доцентом кафедры философии, и его женой, миловидной, аккуратной, тоненькой, пухлогубой Марьяной, следова-телем московской прокуратуры по особо важным делам.

Если долго сидишь среди дремучих лесов, рубишься до ночи в преферанс или ходишь в домик монтажниц, где играешь во мнения или в бутылочку, то московская квартира впрямь начинает казаться землей обетованной и из последних сил рвешься, ловчишь, выпрашиваешь у начальства лишние полсуток, прилетаешь туда сломя голову и видишь, что живут тут преспокойно без тебя, что в общем ты здесь не больно нужен, ну, в крайнем случае, выпьют купленный тобой по дороге коньяк или сходят с тобой в "кок" (коктейль-холл) или еще куда-нибудь, а потом будут равнодушно ждать, когда же ты наконец отвалишь. И ты наскоро переобмундиро-вываешься в засаленный китель и шаровары, летишь к автобусу или на шоссе голосовать, еле поспеваешь к разводу, если ночевал, а чаще всего не ночуешь, и тащишься от магистрали десять километров, валишься на кровать, не выспавшись топаешь в "овощехранилище", целый день клюешь носом, и назавтра полк тебе дороже всего на свете, пока не пойдет на убыль неделя и ты опять не начнешь тосковать по столице, по фонарям, улицам, витринам, незнакомым хорошо одетым людям, даже по пикировке с кузиной и флирту с невесткой, по снисходительной усмешке двоюродного братца, по кожаному чемодану, единственной собственности, в который уложен серый венгерский костюм, пара рубах, легкое весеннее

пальто и черные модельные туфли фабрики "Парижская коммуна". И в субботу после обеда все начинается сначала. Бывает, что и до субботы не дотянешь, а порой перетягиваешь, даже выдерживаешь полных две недели, но все равно итог один - невыспанность понедельника, головная боль от коктейль-холла и обида, в которой не хочешь признаться, что никому ты там не нужен и провались ты под землю, никто даже не заметит.

- Цирк будет, товарищ сержант... Проучим разгильдяя, - довольный бурчал в трубку Черенков.

- А ну, кончай баланду, - оторвался от своих мыслей Курчев. - Куда звонил? - Он не понимал, чему радуется истопник.

- Да так, дружку... - не больно таясь, ответил дневальный. Жирная улыбка сияла на его широкой физиономии. Казалось, еще немного и он начнет ее слизывать губами, как подливку.

Курчев снова попросил город. С Москвой не соединяли. По длинной белой бетонке, догоняя офицеров, брели штатские. Близорукие глаза Бориса плохо отделяли мужчин от женщин. Только офицеров он отличал по походке и серым шинелям.

"Прошлый год порядку было больше, - подумал он. - Собаки держали строй. Шаг влево, шаг вправо - и кранты..." Так рассказывал Гришка. Сам Курчев этого не видел. Сразу по прибытии в полк он отчалил в отпуск, а потом полгода загорал в военной приемке на подмосковном заводе, больше, впрочем, сидя в Ленинской библиотеке и ночуя - то в загородном, то при заводе, то в офицерском общежитии в Москве. Год назад ему казалось большим везением не знаться с заключенными, потому что при них он бы чувствовал себя неловко, толком не зная, жалеть их или презирать. Вопрос о лагерях и тюрьмах вообще тщательно обходился в сочинен-ном недавно реферате, хотя целый год в Запорожье, в зенитном полку, лагерный оркестр за час до подъема будил их батарею, да еще по дороге в столовую или в баню нередко приходилось стоять под дождем или мокрым снегом, ожидая, пока пройдут колонны в серо-синих или черных рваных ватниках, оцепленные охранниками и овчарками. В лагерях (теперь, в феврале 54-го, Курчев уже знал твердо) были миллионы. Но все равно в реферате "Насморк фурштадтского солдата" (с подзаголовком "Размышление над цитатой из Л. Н. Толстого") - население лагерей затронуто не было. Эта брешь зияла не только в законченной работе, она не была заделана и в самой совести техника-лейтенанта и, отговариваясь незнанием материала, естественным страхом, а также желанием попасть в аспирантуру, он был искренен и одновременно неискренен с собой. Видимо, не так уж и повезло в прошлом году, потому что для познания жизни военный завод был не столь ярок, как лагерь

и соседствовавший с ним строительный батальон, в котором совершались чёрт-те какие сделки, также не отраженные в реферате. В реферате рассматрива-лись люди абстрактные и безусловно чистые в исполнении уголовного кодекса. "Дисциплиниро-ванные", - как ругал сейчас реферат Курчев, глядя на белую, сверкающую утоптанным снегом бетонку. Где-то среди идущих должна была быть Валька Карпенко и Курчев хотел, чтобы телефонный разговор дали сразу, немедленно или уже после того, как девушка пройдет КПП. Валька смущала его, мешала думать и писать, и он чувствовал, что стоит ему здорово напиться или даже не здорово, а просто начать пить регулярно - и сам не заметит, как его с Валькой обкрутят, одолжат денег на свадьбу (целый год потом расплачивайся!), выделят комнатенку в трехкомнатном домике - и прощай всё: белый свет, молодость и насморк фурштадтского солдата. У Вальки были большие серо-черные глаза, которые глядели так чисто и преданно, как никто еще в жизни не глядел на Курчева, и такому взгляду тоже надо как-то сопротивляться, а техник-лейтенант был вовсе не железный.

7

Телефон неестественно взвизгнул, тут же замолк, снова взвизгнул, теперь уже более привычно, телефонистка сердито буркнула: "Даю Москву" - и в трубке закричали:

- Боря! Боренька? Хорошо, что позвонил. Сама хотела тебя вызвать. Обязательно... Обязательно прибудь. Я жду.

- Поздно смогу, - сказал Курчев, недовольно оглядывая дневального и очнувшегося от телефонного звонка Гришку.

- Постарайся, пожалуйста, Боренька. Очень прошу. Это так важно.

Женский голос был необычайно мягок. Никто бы не поверил, что он принадлежит работ-нику столичной прокуратуры.

- Постараюсь, Марьяшка, только раньше половины одиннадцатого никак...

- Ну, прошу... - голос стал тише и доверчивей. - Она придет... Я позвала... - последние слова были произнесены шепотом. Должно быть, Марьяна прикрывала ладонью трубку. То ли дома был брат, то ли Надька уже пришла из школы и, валяясь в гостиной на тахте, связывала обрывки телефонного разговора.

- Постараюсь, Марьяшка, - повторил лейтенант. Он не стал спрашивать, уезжает ли Алешка в Питер. Раз уж придется сегодня ехать, стало быть надо допечатать реферат - и дело с концом. Пройдут офицеры на обед и выпадет часа два свободного времени. Только вот особисты зря заявились, при них печатать неловко.

- Хорошо, Марьяшка. Будет сде... - сказал он в трубку.

Ему вдруг стало весело, потому что тут, в натопленной дежурке, пахнуло настоящим зеленовато-синим морем и сама дежурка закачалась, будто стала палубой прогулочного катерка. Курчев уже сидел на его корме, на сваленных в кучу спасательных матрасах, а напротив, на скамейке, сидела переводчица, подруга Марьяны. А два часа спустя она лежала с Курчевым в одной постели. Этот роман, начавшийся прошлым августом на черноморском побережье, длился всего один месяц и оборвался сам собой: переводчица вернулась в ГДР.

Они расстались скорее друзьями, чем пламенными любовниками. У нее был какой-то малопонятный муж, то ли живший с ней, то ли не живший, во всяком случае развод оформлен не был. Да и переводчица сама была женщиной нервной, видимо, серьезно замученной базедовой болезнью. Но, если отвлечься от постели, то Клара Викторовна была добродушная, по-своему щедрая женщина и техник-лейтенант не жалел, что провел с ней отпуск. Всё-таки он кое-чего поднабрался. Хотя бы научился входить в ресторан не как тюха-матюха, есть и пить без солдат-ской жадности, кутить, не жалея червонцев (переводчица никогда своих денег не жалела и норовила заплатить за всех). Подобных женщин у Курчева еще не было, да и вообще женщин в его жизни было немного. С восемнадцати лет он жил в общежитии, не имея за душой лишней пятерки, был некрасив, не больно развязен, ходил в братниных обносках. Даже в педагогическом вузе, где парней раз-два и обчелся, успех его был ниже среднего. Переводчицу можно было считать первым серьезным эпизодом. Борис вспоминал ее не без благодарности хотя бы за то, что расставание обошлось без истерики и врача, к тому же остался какой-то опыт и иммунитет к другим девчонкам, хотя бы к Вальке, с которой он до сих пор может держать себя в узде и не кидаться тигром с обещанием жениться.

- Значит, я тебя жду, - пропел голос в трубке, и Москву отключили.

- Поедешь? - спросил Гришка. Он совсем проснулся и вызевывал последние капли алкоголя. - Хорошо соснул. Даже не верится.

- Наверно, вместе поедем. Глотни еще и ложись, - сказал Курчев и вдруг заметил, что дневального нет в дежурке.

Море по-прежнему покачивало проходную, но качка была уже зыбкой, а море - смутным. И все это - и море, и качку, вернее, память о прошлогоднем море и прогулочном катерке, - стала вытеснять тревога. Сначала она вывернулась исчезновением

истопника, потом невесть откуда взявшейся Валькой (а собственно, откуда ей было взяться, как не с бетонки) - и теперь Валька, раскрасневшаяся, в цыганском платке и дешевом пальтишке с цигейковым воротником, всунулась в разогретую дежурку и неуверенно улыбнулась Курчеву.

- Ну, чего тебе? - ласково, но машинально отмахнулся Борис. Ему не хотелось, чтобы исчезло море, море, которое было лучше всего. Лучше романа с переводчицей и лучше реферата и надежд на аспирантуру, которым вряд ли сбыться. Море - было море. И тут всё. Ничего доба-влять к этому не стоило. Море ничего не требовало. Только ты требовал, чтобы оно не исчезало, такое вечернее, уже даже не зеленоватое, а абсолютно синее и прозрачное. Волны, мягкие и гибкие, совсем сквозные, и между ними взлетают иногда неестественные и удивительные дельфины. Но даже можно без дельфинов. Даже без дельфинов лучше.

Только бы длить и длить тот вечер и морскую прогулку до дальней бухты и назад, и лежать на свернутых спасательных матрасах, глядеть на переводчицу, с которой у тебя еще ничего нет и поэтому можешь ожидать самого замечательного, необъяснимого, мечтать и даже не верить в мечту.

Он глядел сейчас в Валькино лицо, почти не думая о нем, потому что тревога нарастала, но что это за тревога, он, хотя уже как будто и знал, все равно не догадывался.

- Ты занят? - спросила девушка. Она с робким бесстрашием стояла в дверях дежурки, а за ее худенькой спиной проходили офицеры и штатские, смеялись, толкали ее, кто-то даже на ходу обнял, а она всё смотрела на Курчева, а он на нее, но думал не о ней.

- Ты занят? - повторила девушка. - А то пойдем. - Только глухой не услышал бы, чего стоила ей эта просьба. - У нас сегодня знаменитый Сонин борщ. Она специально не ходила на объект, - смутилась девушка, потому что знала, что не только из-за одного борща маркиров-щица осталась дома.

Но Курчев услышал другое. Как запальным шнуром вдруг все соединилось перестарка Сонька, почтальон Гордеев, комполка Ращупкин, малопонятный разговор дневального по телефону и теперь еще исчезновение самого дневального.

- Бежим! - вытолкнул он девушку из дверей. - Присмотри, - крикнул через плечо сонному Гришке, забывая, что Гришка уже - штатский!

- Ты не очень там, - вздохнул тот вслед, но Курчев не обернулся.

Приминая яловыми сапогами снег, он неловко бежал наискось по плацу, нарочно пятная его нетронутую гладь следами

сорок третьего номера. Девушка покорно бежала за ним, не понимая, что же произошло. Легкая и стройная, она боялась обогнать тяжелого лейтенанта. Хотя целова-лись они всего один раз, да и то несерьезно, спьяну, она его уважала и пугалась, как старого и склочного мужа.

Домик монтажниц торчал четвертым слева на последней от штаба улице.

- Как бы не разбежались! - соображал на бегу лейтенант. Несмотря на злобу и ярость, а возможно, как раз из-за них, голова у него работала необычно четко.

"Сволочи! Гады сознательные!" - оралось внутри. А в мозгу метрономом выстукивало: "Задержать!.. Задержать!.. Задержать!.."

- Атанда! - крикнули в дворике монтажниц, когда Курчеву оставалось до него шагов тридцать.

- А-а-а! - заорал он, словно подбегал не к штакетнику, а к окопному заграждению. - А-а-а!.. - рука сама потянулась к кобуре - и вот уже с наганом в руке, сам не зная как (на трени-ровках в одних трусах и то бы не перескочил!) он перемахнул метровый штакетник. Но левая нога подвернулась. Выбросив правую руку с револьвером, он растянулся на усадьбе монтажниц. Шапка слетела, и голова нырнула в сугроб.

- Стой, - закричал он, смахивая шапкой снег с лица. От домика к дальнему забору бежали двое. - Назад! Стрелять буду! - заорал он и увидел еще троих. Все были без шинелей. Задыхаясь и прихрамывая, он побежал наперерез. Девушка Валя - он успел заметить - обошла штакетник и вошла в калитку. Ему было стыдно, что солдаты, несмотря на его истошный крик, убегают на ее глазах. Но не только в том было дело.

- Назад! - снова крикнул он осевшим голосом и тут же, наперед зная, чем это пахнет, вытянул руку, выстрелил в воздух. Эхо раскололось над чистеньким снежным военным посел-ком и наверняка докатилось до ушей особистов. Солдаты остановились. Теперь близорукими глазами Курчев разглядел всех пятерых. Самым рослым был сержант Хрусталев, черноволосый красивый парень. Троих солдат лейтенант знал лишь в лицо. Пятым был истопник.

- Смотри, Боря, чего сделали!.. - раздался Сонькин вопль, и она сама, растрепанная, в разорванном сарафане выкатилась из-за угла дома. Смотри! - схватила Курчева за руку.

- Сейчас, - мягко оттолкнул маркировщицу.

- Давайте сюда, - махнул револьвером солдатам. "Только бы, подумал, - не слишком быстро прибежали из штаба. Хотя они сразу могут и не сообразить, куда бежать."

- Давай, давай, - крутил револьвером и, когда сержант

приблизился, толкнул его дулом под ребро. - Пошли поглядим.

Ефрейтор Гордеев без шинели и шапки сидел на ступеньках крыльца, прикладывая комья снега к расквашенному лицу.

Валя растерянно глядела на ефрейтора, или не зная, как ему помочь, или боясь обидеть предложением помощи.

- Иди в дом, - кинул ей Курчев. - Кто бил? - Сержант и солдаты молчали. - Кто бил? - повторил жестко, понимая, что времени в обрез. Сержант, отвечайте.

Сержант не ответил, но вид у него был не запуганный, а скорее брезгливый.

- Черенков, снимите пояс с сержанта. Красномордый дневальный неловко потоптался, но с места не сдвинулся.

- Ну?

- У него кожаный, товарищ лейтенант... - пробурчал Черенков, будто действительно жалел чужую вещь.

- Поменяйся с ним. Своим свяжешь.

- Еще чего... - сплюнул сержант.

- Руки... - выдохнул Курчев, поднимая револьвер и грозясь опустить его рукояткой вниз на темя сержанта.

Сержант снова сплюнул, но руки вытянул.

- Назад, - сказал Курчев. - Всем снять ремни. Затягивай, как следует, - бросил Черен-кову.

У всех, кроме сержанта, ремни были брезентовые и легко скручивались.

- Отойди, - прикрикнул Курчев на Соньку, которая хотела помочь Черенкову.

- Так его тоже надо. Меня держал. Вон пройму порвал, - толкнула она локтем истопника.

- Шинель принеси. До казармы дойдете? - обернулся Курчев к сидевшему на ступеньках почтальону.

Тот неопределенно мотнул головой. Ему было обидно и стыдно, и кровь никак не удавалось остановить. Но больше, чем солдат и сержанта, он ненавидел сейчас ни в чем не повинного лейтенанта Курчева.

"Ну и вид у него. Словно брился в первый раз опасной, - подумал Борис. - Интересно, успел ли ее трахнуть?.. Нет, вряд ли... Бедняга... Но вы у меня, сволочи, попляшете."

- Ну, как? Всех затянул? - спросил дневального.

- Всех, товарищ лейтенант.

"Всех, товарищ лейтенант... - мысленно передразнил Курчев. - Подлиза. Кого бы я с удовольствием изуродовал, так это тебя. И еще сержанта."

- Ладно. Дистанция один метр. Направление - калитка. В затылок один другому шагом марш! Пойдете сзади, - кинул

почтальону.

Сонька уже вынесла ему шинель, ремень и шапку. Ефрейтор встал и осторожно поплелся за солдатами, словно не верил, что руки у них связаны.

- Валь, мне кранты, - тихо сказал Курчев. Он подошел к девушке и прижался к ней, не к щеке, а к платку. От неожиданности ласки она вздрогнула и тут же припала к лейтенанту.

- Ты все делал правильно.

- Все равно кранты. Пусть Сонька напишет, как было. Надиктует, а ты запиши. Меньше пены, только факты, как на самом деле было.

- Ей стыдно будет...

- А чего уж... Все и так узнают.

- Хорошо, - потерлась она платком о его шеку.

- Смелей, смелей! Чего, как бараны?.. - крикнул он, отрываясь от девушки. Солдаты сгрудились у калитки.

- Открыть им нечем, - засмеялся истопник, который теперь верил, что прибыл сюда с лейтенантом восстанавливать справедливость.

- Помоги, - разозлился Курчев и пошел со двора.

8

Зрелище было бесподобным. Четыре лба гуськом плелись к штабу на глазах офицеров, офицерских жен и вольняшек. Выстрел наделал переполоху, и на плацу народа было, как в праздник. Даже буфетчица офицерской столовки, шикарная Зинка, лично вылезла на крыльцо. Для полного комплекта не хватало Ращупкина. Впрочем, вместо него под штабным навесом стоял худощавый начштаба Сазонов.

"Наверно, уже бухой", - подумал Борис.

- Дуй на КПП, - кинул он дневальному, вдруг вспомнив, что Гришка в штатском и проходная пустует и, прибавив шагу и обогнав солдат, заспешил к штабному корпусу.

- Товарищ майор, за время моего дежурства... - торжественным и срывающимся голосом он начал вбивать в морщинистое перекошенное лицо начштаба сообщение о великолепном ЧП. Но майор, процедив:

- Отставить! - резко, с силой бывшего спортсмена схватил Курчева за плечо и втолкнул в помещение.

- Я...ё...твою... - рычал он в коридоре. - Ты что? Да я... - схватив за лацканы, он стал бешено трясти лейтенанта.

- А ну пустите, - разозлился Курчев и оттолкнул майора.

- Абрамкин! - закричал начштаба.

Дверка маленького, врезанного в большую, обитую железом

дверь секретной части, окошечка распахнулась и выглянула вихрастая воробьиная головка.

- Примешь дежурство!

- Так я ведь еще того... не запитывался...

- Мать вашу, повторять надо. Снимай повязку, - повернулся начштаба к Курчеву.

Крохотный Абрамкин вылез из своего святилища. Борис подставил ему левый рукав.

- Оружие тоже, - крикнул начштаба.

- Почистишь, - с издевкой усмехнулся Борис. - После стрельбы смазывают.

- Очень надо. Я свой "ТТ" возьму, - обиделся секретчик.

- Возьмешь его. Арестованному оружие не положено, - бушевал начальник штаба.

- Заправься, - он помог секретчику продеть в кобуру ремень. - Впервые, небось, дармоед, идешь?

- Давай, дуй за инженером, как его...

- Забродиным, - подсказал секретчик, навешивая на железную дверь замок и прихло-пывая на воск печати.

- В столовую дуй. Наверно, там. Пока семь суток получишь, - повернулся к Борису. - Ращупкин вернется, еще добавит.

Абрамкин в одной гимнастерке выскочил из штаба.

- Разрешите узнать, за что? - нагло сощурился Курчев.

- А-а-а, сучонок, еще спрашиваешь? Да я тебя в трибунале сгною. Ты у меня ванькой-взводным век ходить будешь, - снова затрясся майор.

- Виноват, я техник, - распалял его лейтенант, но ему уже стало не по себе. Угар поступ-ка проходил и наступала тупая тоска ожидания неприятностей. За выстрел и связанных солдат спасибо не скажут. Начнутся беседы. Честь полка и все такое... Тебе, скажут - хорошо, ты на гражданку смотришь, а нам тут служить не переслужить. Теперь пойдет - выправление по струнке, явки на подъем и отбой и прочая трехомуть.

Он наперед знал эти разговоры, он словно слышал их. Для этого не надо было быть провидцем. Даже Гришка, который остался на КПП, его бы не поддержал, - даже Гришка, валявшийся в нижнем белье на виду личного состава. Потому что валяние в кальсонах - это собственное Гришкино дело, а связать трех солдат и сержанта, да провести их по улице вместе с избитым почтальоном - это такой сор из избы, который одним махом назад не затолкнешь. Да еще жахнуть в воздух, когда в полку сам корпусной "Смерш". Высокий, плотный, уныло-красивый инженер Забродин ввалился в штабной коридор и неумело козырнул майору. Это был лейтенант из штатских, взятый с последнего

курса Института связи. Строевая подготовка ему никак не давалась. Он уже рукой на нее махнул, так же, как махнул и на демобилизацию. А может, Забродину расхотелось демобилизовываться. Там, на гражданке, платили раза в три меньше и никого у него не осталось, кроме жены, которая год назад сошлась с его другом.

- Явился по вашему распоряжению, - промямлил он нечетко, словно во рту осталась лапша с гуляшом.

- Является чёрт во сне, - не отказал себе в подковырке майор. - Пишите записку об арестовании.

Инженер неловко потоптался у тумбочки посыльного. То ли не знал, как писать, то ли не на чем было писать.

- Что, бланка нет? Вот, возьмите. Вечно у вас ничего нет. И вообще вид у вас... Обхезанный вид. "Победу" купили, а на китель жметесь. Пишите неделя домашнего ареста.

- За стрельбу? - спросил инженер.

- Какую там стрельбу? - рассвирепел майор. - За оставление контрольно-пропускного пункта без дежурного и дневального. Ясно?

- Соображать, Сева, надо, - улыбнулся Курчев и постучал пальцем по лбу склонившегося над тумбочкой инженера.

- Разрешите идти? - козырнул он майору.

- Иди, пока не повели, - огрызнулся тот.

9

В офицерской столовой было полно лейтенантов и штатских, и Курчев сразу догадался, почему они при нем замолчали. Чувствуя свою зачумленность, он, ни с кем не здороваясь, остановился у буфета.

- Сколько там за мной? - доверительно наклонился к румяной, полной Зинке.

Обычно приветливая, она на этот раз огрызнулась.

- Что, летчик ослаб? - подмигнул Борис.

Лихая, ядреная Зинка жила с его соседом по комнате, лейтенантом, кончившим летное училище связи, Володькой Залетаевым.

- Борща не надо. Давай одно второе. Посоли, - улыбнулся Курчев Зинке. Она не выдержала и тоже улыбнулась.

- А ты всё про одно... Дурень ты, Борька.

- А твой умный? Ему бы такую юшку пустили...

- Он офицер.

- А у солдата что, отсохло... Тоже, знаешь, хочется...

- Им чего-то в чай подливают...

- Враки... Сама не видела, как они тебя глазами... того, а носом... того...

- Брось. Нагорит тебе, Борька.

- Плевать.

Он стал есть прямо у стойки. Разговаривать ни с кем не хотелось. Во всяком случае тут, в столовой. Дома - другое дело. Дома лежит с фурункулезом младший лейтенант Федька Павлов, забулдыга и умница. Дома и стены помогают. И еще придет демобилизованный Гришка, тоже что-нибудь веселое отмочит. А тут, в столовой, стоишь под враждебными взглядами, как на суде чести или на корпусном сборе.

- Вечно что-нибудь с тобой, - унылым голосом выдавил над ухом инженер Забродин. - Теперь вот холодное ешь.

Он взял со стола тарелку с остатками гуляша.

- Перетоскуешь.

- Не переживайте, товарищ инженер, - подмигнула шикарная Зинка. Бореньку - тю-тю - ушлют, а Валентинка ваша будет.

- А ведь точно, - поддакнул Курчев. Он забыл, что Забродин сохнет по Вальке Карпенко почти так же, как Валька по нему, Курчеву. - Не трухай, инженер. Я тебе это... - он не договорил. Ему стало жалко девушку и себя, и даже инженера, который вот тенью бродит за хорошенькой монтажницей, а когда дело дойдет до загса, заведет свои колеса и оторвется на третьей скорости. Все они, брошенные такой народ. Сохнут и плачут, а когда девчонка уже согласна, начинают мстить. "С Забродиным так и будет. Уж слишком он жмотлив и уныл", - подумал Борис. "Но и ты ведь не женишься, - сказал себе. - Нет. Ну и что? Я же не сохну". - "А терся об щеку зачем? - спросил себя. - Вот то-то... Все мы так... Хвастаемся, что за нами бегают". - "Я не хвастаюсь". - "Ври больше". - "Ну, самую малость, разве..." - "А ждешь принцессу?" - "Никого я не жду", - зло ответил себе.

- Спасибо, Зина. Бабки подбей. Вечером рассчитаемся, - кивнул буфетчице и вышел из столовой.

10

Теперь уж снег не сверкал, как в воскресенье, и никаким морем не пахло. Была обыкновен-ная зима с тоскливым ожиданием начальства и взбучки. Гришка, привалясь к стене КПП, поджидал Бориса.

- Выгнал меня Абрамкин. Штатским, орет, на проходной не положено. Ну, теперь начнут у вас болты затягивать.

- Не твоя забота, - отмахнулся Борис.

Но реакция офицеров его все же смущала. Паля в воздух, он не так уж о ней и думал. А теперь, оказавшись один против всех, почти готов был раскаяться. В конце концов, какое кому дело до твоих моральных счетов с Ращупкиным. Тоже мне искатель правды!

Служат люди и служат. А теперь из-за твоей пальбы такое начнется.

"Ну, нет, морду вряд ли бить будут. С мордой - покончено. Даже Ращупкин от своей "сознательности" откажется!"

- Пошли домой. Чего мерзнуть, - сказал Гришке.

- Да, теперь не отвертишься, - вздохнул тот.

- Не бойся. Двух ЧП в день не бывает.

- Съедят тебя, парень, - подтолкнул его кулаком Новосельнов. - Зря я тебе на Журавля клепал.

- А, один чёрт. Да и ты тут ни при чем.

- Не духарись. Я тебя знаю. С такой совестью по пятьдесят восьмой сидеть надо. Да, вот забыл - твоя тетрадь. Абрамкин уже нюхать начал. Я отнял - конспекты, говорю. Только - почерк у тебя такой, что никто не разберет.

Они пошли рядом вверх по улице.

- Съедят тебя, - повторил Гришка. - Один шанс - на весь банк идти. Отстучи прями-ком Маленкову. Так, мол, и так. Имею гуманитарное образование. К технике интереса, то есть - не интереса, а как бы это сказать - склонности не имею. Боишься загубить ответственное дело, потому что матчасть сложна, а ты ничего не понимаешь. Кроме того, уже на возрасте, два-дцать шесть лет, а даже законченного училища нету. Дуй на всю катушку, расписывай. Хорошо бы что-нибудь семейное подпустить. Мол, есть невеста, но не можешь жениться, потому что в части для нее нет работы.

- Это можно, - засмеялся Борис.

- Ну, и про аспирантуру добавь. Хочешь поступать, реферат, дескать, готов и всё в таком духе... Самое главное, обратный адрес не очень раскрывай. Напиши только номер без города. Если у них там кавардачок и они сразу не смекнут, откуда ты такой, то наложат роспись: "отпустить" - и в штабе армии уже ничего сделать не смогут. Только не пиши, какая техника. Просто для тебя, дурака, сложна, потому что ты гуманитарий с минус третьей близорукостью. Усвоил? Только шанец небольшой - один из тыщи!.. Вместо ответа Курчев по-собачьи стал прыгать вокруг Гришки, целовать его в морду, и шедшие сзади офицеры никак не могли понять, когда этот дурак-историк успел нализаться.

11

Тощенький, курчавый, как баран, младший лейтенант Федька Павлов напоминал не Пушкина, а скорее брата поэта - Льва. Слишком у Федьки было худое лицо и был он какой-то дерганый, петушиный. Когда напивался, непременно лез драться. Ползимы проболев ангиной, он теперь мучался чирьями. Они прочно обсели загривок, не позволяя застегивать ворот. Потому Федька

сидел дома, а еду ему отправляла с посыльным буфетчица Зинка.

- Привет снайперам, - встретил он Курчева, отрывая голову от миски.

Посыльный, маленький неприметный солдат, сидел рядом с младшим лейтенантом, ожидая, когда тот доест, чтобы еще раз не бегать за грязной посудой.

- Дожуй сначала, - метнул Курчев недовольный взгляд на посыльного.

- Э, секрет полишинеля,- засмеялся Федька, но тут же сморщился. Донимали фурункулы.

- Ешь быстрей, - недовольно сказал летчик-связист Залетаев. Он забрался с ногами на койку и ждал ухода солдата.

В финском домике было три комнаты. В первой, отдельной, жили три младших лейтенанта. Большую, проходную, занимали пятеро: Курчев, Павлов, Гришка, Володька Залетаев и его однокашник, который сейчас был в отпуску. Последнюю, запроходную, оккупировала аристократия - два лейтенанта, ветераны части - маленький плешивый Секачёв и язвительный красавец с недолеченным триппером Морев. Все обитатели домика валялись сейчас на койках и вряд ли кто собирался после перерыва на объект в этот благословенный День Пехоты.

Курчев вытащил из-под кровати желтый кожаный двухсотрублевый чемодан, близнец того, что хранился в кладовой у Сеничкиных, и достал из него пишущую машинку.

- Опять за свое? - бросил через открытую дверь Морев.- Тарахти на коленях. Мы играть будем.

- Геть отсюда, - махнул маленький Секачёв солдату. - Завтра доешь, подошел к Федьке и выдернул у того миску. - Пулю черти.

- На четверых?

- Будешь, Григорий Степанович?

- Один хрен... Начфина нету, - отозвался Гришка.

Игроки заняли стол. Курчев поставил углом свою тумбочку, и началась знакомая жизнь - преферанс под аккомпанемент маленькой тарахтелки.

"Техник-лейтенант Председателю Совета Министров
Курчев Б. К. Союза ССР тов. Маленкову Г. М.
в/ч . . .17.02.54" - быстро отстукивал Борис в двух углах
страницы.

"Дорогой Георгий Максимилианович!" - передвинул он каретку в центр. "Тоже нашел дорогого", - подумал про себя. "А, всё равно, читать не будет. Там тридцать тысяч курьеров, то бишь секретарей. Хорошо бы к самому глупому попало. Чтоб разорался: что такое? Почему не пускают? Сейчас из армии всех негодных гоним, а самого негодящего держат..." - размечтался, не отрывая

пальцев от клавиш.

- Пас, - хмыкнул над столом Секачёв.

- Туда же, - зевнул Морев.

- Два паса, в прикупе...

- Колбаса! - за Гришку докончил Федька. - Открыть?

- Открывай. Как в колхозе, без распасовок играть будем. Вот чёрт, поблядушка не того цвета, - удивился, открывая бубновую даму.

- Без шпаги будешь, Григорий Степанович, - снова зевнул Морев.

"Мною подан рапорт на имя командования, - стучал Борис ("Именно командования, - усмехнулся про себя. - Ни-ни, чтобы уточнять, какого..." Дело в том, что дальше командира корпуса он пока рапортов не подавал), ... с просьбой уволить меня в запас, так как я хочу честно работать и, не краснея, расписываться в денежной ведомости."

- Две да без одной - три, - ровным голосом считал над столом аккуратный Секачёв.

- За одну, - вторил Федька.

- Чего кропаешь? - подсел к Борису скучавший Залетаев.

- Так, - отмахнулся тот.

Страница кончилась. Борис успел выдернуть ее из каретки и сунуть текстом вниз под машинку.

- Не сиди над душой.

- Себя выхваляешь? Я, мол, образованный. А нам тут пропадать, да?

- А если б почтальона убили?

- Не убили б. Помятелили б и всё... Сам виноват. Зачем в самоволки бегает. Других подводит.

- Ладно. Слышал. Сознательная дисциплина...

- Точно, сознательная. Когда каждый знает, что делает.

- Мятелит другого?

- За дело. А ты назло связал сержанта.

- Главную опору командира...

- Да, главную... Не ты ночуешь в казарме? На то и сержант, чтобы за тебя стоял над солдатской душой от отбоя до подъема.

- Эту суку убить мало... И вообще отлезь. Мне некогда.

- Куда спешишь? Все равно загорать в полку, если еще, скажи спасибо, на полигон не отправят.

- Там поглядим. Отзынь.

Курчев сунул за валик второй лист, надеясь, что "летчик" не разберет, о чем бумага.

- Чего пишешь?

- Рапорт, - буркнул Борис.

- Не поможет, - махнул рукой Залетаев и с неохотой убрался на свою койку.

Теперь Борис быстро заканчивал письмо в Правительство. Надо было успеть отстучать еще дюжину страниц реферата, из которых три даже не были толком скомпонованы.

"...Пользы от меня, как от техника, - никакой. Условий для научной работы - тоже никаких. Мы живем весьма скученно (впятером в проходной комнате), и вечером, когда выпадают свободные минуты, заниматься очень трудно, так как у четырех моих товарищей по комнате свои склонности в плане использования свободного времени. Кроме того, книг, нужных мне для занятий историей, нет ни в части, ни в близлежащих городках и поселках. А ездить в Москву в Библиотеку им. В. И. Ленина я не имею физической возможности. Даже для подготовки реферата мне пришлось использовать очередной отпуск."

("Может, зря? Да нет, проверять вряд ли будут. Скажу, что Алешка мне на Кавказе помогал. На пляже!" - усмехнулся он и перешел к главному, оставленному напоследок вранью.)

"...В пользу моего увольнения имеется еще одно, немаловажное обстоятельство: моя невеста учится в Москве в аспирантуре..."

(Шмаляй, шмаляй, - подбодрял себя. - Невеста - не жена, штампа в удостоверении не оставляет...")

"...в конце года она заканчивает аспирантуру, но пожениться мы, по-видимому, не сможем, так как жить нам всё равно придется врозь. В пределах части моя будущая жена работы найти не сможет, а забрать ее в часть, чтобы после 18-летней учебы она сидела дома сложа руки, я не имею никакого морального права.

Учитывая все вышеизложенное, прошу Вас помочь мне в увольнении из рядов Советской Армии.

Техник-лейтенант (Курчев)

О себе сообщаю:

Курчев Борис Кузьмич, 1928 г. рождения, окончил в 1950 г. исторический факультет Педагогического института. По окончании института был призван в ряды Советской Армии. Служил год в батарее младших лейтенантов запаса, а затем был направлен на краткосрочные технические курсы, по окончании которых (декабрь 1952 г.) в звании техника-лейтенанта был послан в в/ч..., где и служу в настоящее время".

- А, чёрт с вами, трус в карты не играет! - петушился за столом Федька. - Мизер!

- Дризер! На второй руке? - осведомился Морев.

- Один хрен, в долг, - отмахнулся Федька.

- Сегодня сосчитаемся, - пробасил обстоятельный Секачёв.

- Жалко мне тебя, парень, - вздохнул Гришка.

- Смотреть даже не хочу, - и положив на стол карты, он повернулся к стучавшему на машинке Борису.

- Ну как, готово?

- Для кесаря - да, а Богу, боюсь, не успею.

Курчев поглядел в окно, за которым то ли уж чересчур быстро темнело, то ли солнце куда-то спряталось.

- А ты шмаляй. Все равно начфина нет.

- Всего триста наверх, Григорий Степанович. Зря ты его пугал, подчеркнуто зевнул Секачёв.

- Курочка по зернышку, лысый по червонцу, - съязвил Морев.

- Уеду, не играй с ним, Федя, - вздохнул Гришка. - За год он с тебя целого "Москвича" слупит.

- Слупишь, как же, - усмехнулся Секачёв. - Тут на одну передачу за зиму не навистуешь.

У него сидел отец, сапожник, унесший с обувной фабрики пять метров хрома, и Ванька каждый месяц отсылал домой половину жалованья.

- Жми на Ращупкина, поможет, - сказал разомлевший Гришка.

- Карты возьми, Григорий Степанович, - сказал сдававший Секачёв. - Не до меня теперь Журавлю. Вон снайпер ему удружил, - скривился Ванька, которому не хотелось действовать через начальство. Дурак-отец, нашел время воровать. Нужно было до сталинской смерти. По амнистии бы вышел. А теперь сиди-жди, пока кто-нибудь еще перекувырнется. Секачёву не хотелось обращаться к начальству, потому что таких офицеров, как он, с полным училищем, в полку было меньше десятка и Академия светила как раз ему, Ваньке Секачёву. В этом деле отец здорово поднапортил, и Академия могла накрыться. Но домой деньги Ванька слал честно и, если бы удалось добиться переследствия и пришлось бы заново брать защитника, выслал бы вообще всё, что имел, только теперь стоило уже брать хорошего, настоящего адвока-та, который не только сам бы взял сверх положенного, но и судье передать взялся. Гришка врал, что таких защитников сколько угодно, и потому Секачёв охотно слушал Гришку, показывал ему все письма из дому и даже величал вроде бы в шутку, а на самом деле почтительно - Григори-ем Степановичем.

Зажимая карты в левой руке, а правой аккуратно записывая на другом листке, сколько у него уже набрано чистых денег против каждого играющего (что, в общем, некрасиво, потому что преферанс - игра комбинационная и играют в нее не ради выигрыша), он, как всегда, был серьезен, но одновременно грустен. Без Григория Степановича жизнь в полку будет уже не та. И преферанс не тот, хоть и проигрывал Гришка не много.

Главными фраерами были Павлов и Курчев. А споря про жизнь, вот, скажем, про тот же ворованный хром, который отцу позарез нужен - и не для пьянки, а для дела шить соседским девкам туфли, они рассуждали, ну, прямо, как юные пионеры: что ж, украл - значит сиди. Будто он для собственной радости воровал и будто мог кормить семью на свою получку.

Глядя на склонившегося над тумбочкой Курчева, отчаянно колошматившего по машинке, словно не он, а полк заплатил за нее полторы косых, Ванька Секачёв с ужасом думал: "Неужели они все там наверху, которые образованные, такие дурни? Да я бы такому на своем дворе гальюн рыть не доверил. Идиот, в воздух пулял. Ничего, батя ему правду покажет. Батя сам образованный, с поплавком. Только поплавок на кителе висит, а не на глазу. Свет эта хреновина бате не застит".

12

- Ты чего, пидер, несешь, - рассердился он на Федьку. - Видишь, я крести кидаю.

- Не плачь, не корову... - отмахнулся тот и опять пронес вистовую карту.

Зажгли верхний свет. Пришел из караула парторг Волхов, покачал головой в сторону Курчева - тот, не отрываясь, печатал, - постоял над играющими, силясь в который раз понять смысл мудреной игры, вздохнул:

- Ну и накурили, - и пошел назад в караулку.

Подходило время смены. Начфина и, соответственно, Ращупкина - не было. Володька Залетаев давно храпел, прикрывшись второй, курчевской подушкой. Молодой, двадцати одного года, он вообще горазд был спать, а теперь от Зинкиной любви осунулся и спал всюду: в "ово-щехранилище", в КПП на дежурстве, даже на политзанятиях, а тут - под стрекот машинки и реплики преферансистов - и сам Бог велел.

- Эй, лёдчик, - толкнул спящего сидевший с его стороны Морев. Летчик послушно повернулся к окну, но храпа не убавил. - То-то, - хмыкнул Игорь Морев и сбросил карту.

Он играл без интереса, никогда не проигрывая, вовсе не зарясь на чужие висты. Он был какой-то вечно сонный, по-видимому неумный, хотя очевидных глупостей никогда не совершал. Для Бориса он был загадкой, потому что никак нельзя было определить, что же в Мореве главное, чего он хочет, куда гнет, надеется на что. Схватив два года назад, сразу по окончании училища, невеселую болезнь, он до сих пор мучался, во всяком случае жаловался на рези, ныл - и никак нельзя было понять - всерьез это или для красного словца, или просто, чтоб на будущее не сглазить... Курчев подозревал, что тут одна мнительность и

никакого триппера Морев вообще не хватал. Пил Морев не больше других, хотя и не меньше, на машину не копил, лишней пары брюк не покупал. Помогать ему никому не надо было, потому что мать и тетка в Петрозаводске как-то сводили концы с концами, имели, кажется, собственный дом с участком и еще где-то служили. В Москву Морев выбирался редко, обыкновенно, даже не доезжая до центра, оседал в окраинных столовках или пивных. Он был хорош лицом, выглядел даже моложе своих двадцати четырех, но как будто ни черта в жизни не хотел, никуда не стремился, даже в светившую ему радиоакадемию. С девками после того обидного (реального или выдуманного) случая он, сколько знал Борис, не слишком заигрывал. Словом, это был не лейтенант, а сплошное чёрт возьми! - и Курчев, теряясь в догадках и сомнениях, все подбирал к нему ключи, надеясь написать небольшую, страниц в двадцать работу об Игоре Олеговиче Мореве, странном, ничего не желающем молодом офицере. Это было куда интересней заканчиваемого реферата, который с каждой страницей тускнел, черствел и уже вызывал тошноту, как съеденный на другой день засохший завтрак.

Теперь, после выстрела, Борис видел, как надо было его написать. Надо было делить мир не на начальство и неначальство, как было в реферате, а на единицу и множество. Выстрел, оттолкнувший от Курчева офицеров, был, как гром небесный, как 22 июня 41 года, как всё, грозное и реальное, что переворачивает действительность с головы на ноги и показывает ее такой, как есть. Если в реферате между, строк рассматривались два сознания начальственное и подчиненное, то теперь хотелось проводить разграничение вовсе под другим градусом.

"Истина одна? - размышлял Борис, машинально перепечатывая тетрадный текст. - Хрена с два! Никому она не нужна, истина. То есть нужна, но уже в следующую очередь. Сначала - удобство и безопасность. Все знают, что впятером бить одного нехорошо и подло. Но поскольку этот один не ты, а некто, да еще чужак, да еще козел, способный поманить всё стадо, то чёрт с ним, пусть вдарят!.. Конечно, лучше бы без кровянки, но поскольку уже пустили, так чего зря болтать... Пустили и ладно. Выставлять напоказ нечего. Конечно, можно было бы наказать по уставу, дать там "губы" или кучу нарядов, но это хлопотно да и как-то не того... Наверху скажут - без наказания с людьми справиться не можете? Только принуждение, а где убеждение? А юшка - действенное средство. Свои же и наказали. Но сорвалось... И вот из-за того весь полк, от буфетчицы Зинки до начштаба, встал против одного Курчева, потому что Курчев - тоже чужак. Курчев только ждет лыжи навострить... Что ж, и вправду жду. А не

ждал бы, не шмалял в воздух... В аспирантуре не шмалял бы. Вон сколько цитат понабрал..." - и он с неодобрением поглядел в тетрадь, где текст уже шел не сплошняком, а с большими пропусками.

Курчев переставил машинку на кровать и с неохотой стал прикидывать на отдельном листке, куда сунуть какой кусок, расставляя против цитат порядковые номера и тут же их перечеркивая. Занятие было не из приятных.

"А если ты такой любитель правды, - ругал себя, - то оставайся тут в полку и качай свои права. А рефератом подотрись... Слабо? А?"

Открылась дверь, вошел посыльный, тот, что приносил обед Федьке, и стал у двери. Дальше идти ему было некуда - мешали играющие.

- Чего тебе? - лениво спросил сидевший к нему лицом Морев. - В штаб кого-нибудь? Лейтенанта Курчева, да?

Борис поднял голову. Солдат мялся, стоя сбоку от Секачёва.

- Нет, не в штаб, - наконец выдавил посыльный. - Мне до вас, товарищ лейтенант.

- Говори. Я не глухой, - процедил Курчев. Солдат все еще мялся.

- Не пыхти над ухом, - рассердился Секачёв. - Чего пришел?

- Да... это самое, - промямлил солдат и тут, словно махнул рукой, мол, что мне, больше других надо, - выпалил: - Капитан Зубихин велели у лейтенанта Курчева на полчасика машинку позычить.

- Чего? - присвистнул Федька.

- Достучался, - качнул головой Морев. Зубихин был полковым особистом.

- Скажи, занята. Видишь, сам печатаю. Скажи, пусть в штабе возьмет.

- В штабе заперто, - неопределенно пробурчал посыльный. - Младший лейтенант Абрамкин в наряде...

- Ну, и моя занята. Поищи Абрамкина, пусть отопрет.

- Начфин там не приехал? - подал голос Гришка.

- Приехал, - кивнул солдат. - Только деньги, вроде, завтра давать будут. Батя чего-то заболел.

- Идите, - сказал Секачёв.

- Порядок в танковых войсках! - закричал Федька, едва прикрылась за посыльным дверь. - Давай, старлей, отвальную!

- Придется, Григорий Степанович, - пробасил Ванька.

- Лёдчик, лёдчик! Па-адъём! - тряс спящего Морев.

- А ну к ерам эту пулю, - другой рукой Морев смял двойной тетрадный лист с росписью.

- Тише ты, - вырвал у него и бережно разгладил бумагу Секачёв. Григория Степановича распишем, а сами завтра доиграем. Дуй пока за горючим, Григорий Степанович.

- Вы это, без меня, ребята... - пытался сопротивляться Гришка. К нему возвращались утренние страхи. - Я ж, бухой, до шоссе не дотопаю.

- А ты ночуй, - подсказал проснувшийся летчик.

- Не могу. Не могу, ребята.

- Чего не можешь, Григорий Степанович? - толкнул дверь начфин. Налетай, подешевело! Расхватали - не берут! - и, растолкав сгрудившихся офицеров, он хлопнул об стол серым спортивным чемоданом. - С доставкой на дом! Батя бухой. Велел завтра давать. Но для своих я всегда. Кто первый?

Он вытащил лиловатую ведомость и начал священнодействовать .

- Обманули тебя, Григорий Степанович. За "молчи-молчи" - выходное не платят. Я справлялся. Расписывайся. Вот за февраль с надбавкой и за два без...

- Фью-ить! Полкосых долой... - засмеялся Морев. - Давай, лёдчик, за бутылками. Жертвую четвертную, - он вытащил из кармана кителя сложенную вдвое двадцатипятирублевку.

- Не надо. Я сам, - сказал Гришка.

- Ничего... Надо. А то гавриков до бениной матери. Ну, кто больше? Лёдчик? Так. Исто-рик? Ванька? Пехота, пить будешь? - спросил он расписывающегося последним в ведомости Волхова. - Не будешь? Тогда катай отсюда.

- Ну, ты... - неуверенно пробурчал Волхов. По тону Морева, как всегда, нельзя было понять, шутит тот или говорит всерьез.

- Забирай сундук, начфин, и разом назад. Только соседа не приводи зануда...

- Он не пьющий, - засмеялся начфин. Его соседом по домику был инженер Забродин.

- Ничего, пусть приходит. Я за ним забегу, - суетился Гришка. - Вот, Володя, возьми еще, - он сунул Залетаеву сотенную. - Пусть инженер придет. - До автобуса подкинет, - и он вышел вслед за начфином.

- А мне чего? Нам, татарам, одна муть - что малина, что... - скривился Морев. - Чего кислый? - кивнул Борису.

Тот возился на койке, закрывал машинку и складывал отпечатанные и чистые листы в кон-торскую папку с завязочками, где уже лежал запечатанный конверт с письмом в Правительство.

- Чего кислый? - повторил Морев. - Не дрейфь, батя сегодня бухой. Не вызовет.

- Чемодан у тебя большой? - спросил Курчев.

- Забыл? Вроде твоего.

- А у тебя? - повернулся Борис к Федьке.

- Спортивный.

- Тогда давай.

Федька высыпал на стол из такого же, как у нач-фина, чемоданчика несколько черных конвертов, видимо, с фотографиями, две пары толстых деревенских носков, толстую байковую рубашку и катушку белых ниток с блеснувшей тонкой иглой.

- К себе положу, - сказал Курчев, смахивая всё со стола в свой большой чемодан. На дно Федькиного чемоданчика он сунул папку и придавил машинкой. Оставалось еще свободное место и, смяв, он засунул туда несколько экземпляров "Красной звезды", лежавших стопкой на подоконнике.

- Ты чего? - с ленивым интересом спросил Морев. - Чудик, опер везде отыщет.

- В Москву отвезу. Сломал. Ремонт нужен.

- Ну, и правильно, - кивнул Морев.

- Ты ж арестован? - присвистнул Федька.

- А вы не видели. До рассвета обернусь.

"Только где бы это допечатать? - соображал про себя. - У Алешки нехорошо. Подумает, это я так, тяп-ляп. Я ведь ему пел, что всю зиму корплю над рефератом."

- Вань, не помнишь - ты уголь разгружать ездил, - от какой станции ближе, второй или первой? - крикнул он во вторую комнату Секачёву.

- До второй, а там дуй по бетонке, а потом сюда до поворота. Натопаешься. Километров восемнадцать... - зевнул Секачёв. Он вышел из своей комнатенки и стал расстеливать на столе газеты. - Упьетесь ведь, как свиньи, - проворчал по-старушечьи, пряча усмешку.

- Стели, Ваня, стели. Порядок нужен, - согласился Морев. - А это кто такой? - он поглядел на газетную фотографию, повернутую к нему вниз погонами. - Подполковник Запупыкин, - прочел наобум.

- Молодец, товарищ подполковник. Повезло тебе.

- Чего? - удивился Секачёв.

- А того, что Ванька не будет твоей мордой сраку вытирать.

- Скоро историк большим человеком будет... Мы его тоже на подтирку пустим.

- Ему сперва батя этим самым морду вымажет,- сказал Секачёв.

- Смотри, Борис, - всполошился Федька. - Оборотная сторона славы... От великого до смешного... А?

- Похоже, - кивнул Курчев.

- Интересно все-таки, - повторил Федька, надеясь расшевелить Курчева. Федьке осточертело целый день торчать одному в домике и он ожидал прихода Бориса, как в фойе кинотеатра ожидаешь начала сеанса. Хлебом его не корми дай потолковать о чем-нибудь высоком.

- Ты в газетах не печатайся.

Курчев, не отвечая, вышел в кухню наваксить сапоги.

Входная дверь теперь хлопала, как вокзальная. В домик набивалось офицеров. Пехотный парторг Волхов выглянул из своей комнатёнки и проворчал:

- Хоть бы, свиньи, снег стряхали, - и уставился на Бориса.

Борис, чистивший сапоги волховской ваксой (никто из обитателей холостяцкого домика ваксы не имел, но все знали, куда Волхов перепрятывает свою), покраснел и сказал:

- Извини, Витя, последний раз попользуюсь.

- Ты это куда? - спросил парторг.

- К девчонкам. А то мне пить нельзя, я под арестом.

Парторг еще раз с сомнением посмотрел на щетку и ваксу - и прикрыл дверь. Снова хлопнула входная и ввалился Гришка, веселый и деятельный сразу от всего - от общества, от конца службы и от предстоящего выпивона.

- А инженер где? - спросил из кухни Курчев.

- Не придет. Сказал, через четверть часа, чтоб ждал у ворот. В райцентр едет.

- Порядок! Я с тобой.

- Ты? Не повезет, - с сомнением покачал головой Гришка.

- Ничего, уломаю. Вы на бетонке, где из балки выскакивают, притормозите.

13

Через четверть часа Борис выскользнул из дома, раздвинул за сараем доски и выбрался из поселка. Было почти темно, но фонари над КПП и ограждением не зажигали. Сильно похолодало и, нырнув в балку, он поставил между ног чемоданишко и развязал тесемки ушанки.

"Замерзнешь, пока они там греются, - вздохнул и не спеша поплелся к бетонке. - И чего это Марьяшка меня сегодня заприглашала? - Чтобы согреться, стал думать о московских делах. - Кларка, наверно, придет?.."

Он знал, что переводчица должна была возвратиться из ГДР.

- Кларка так Кларка. - Летние воспоминания не согревали.

Он осторожно выбрался на бетонку, опасаясь, как бы не заметили из окна КПП, и посмот-рел в сторону "овощехранилища", не идет ли кто навстречу. Ветер сметал с

бетонного покрытия снег и дорога просматривалась плохо.

Сзади, над забором и КПП, засветилось электричество, и почти тотчас же Борис услышал пыхтение машины. Видимо, Черенков, отпирая ворота, заодно зажег и свет. "Победа" медленно, неуверенно плыла к повороту, потом как-то неловко повернулась, словно ее занесло, но тут же качнулась вправо и поползла вниз по бетонке. Курчев стал посреди шоссе, как всегда делал, голосуя, и вдруг с ужасом сообразил, что в темноте цвета не определишь, и вдруг это не серая забродинская, а бежевая особистов.

"Что скажешь? Сломал? Так посмотрят малявку. Спекся, Борис Кузьмин! А чего там?! Моя вещь - куда хочу, туда везу", - злобно перебил себя.

Ослепляя фарами, машина надвигалась прямо на него, но у водителя кишка была тонка. Он, не прибавляя скорости, повернул машину влево, но и Борис отпрыгнул туда же. Тогда тот вильнул вправо, но скорость была мала, мотор зачихал и заглох.

- Что, пьяный? - закричал в темноту инженер Забродин. - Ты, Курчев? Да как ты...

- Это Боренька, - послышался голос Соньки-перестарки. - А мы с Валюхой в магазин.

- И ты здесь? - засмеялся Курчев, обходя "Победу" и хватаясь за ручку задней дверцы.

- Куда? Домой иди, - занервничал Забродин.

- Тише, инженер, мне до поворота.

- Не повезу. Ты арестован.

- Мы не скажем, - заступилась Валька. - Повезите, Всеволод Сергеич.

- Повези, чего уж, инженер. До поворота только, - пробурчал Гришка.

- А свет зачем испортил в салоне? - спросил Курчев, открывая дверцу. Не бойся. Я тебя не видел. Ты меня не вез. Спрячьте меня, девочки? - и он уткнулся Вальке в колени.

"Повезло, - подумал. - Надо же такой факт, чтобы зануда катать их повез. Вот еще мотомеханизированное ухаживание."

- Ты не очень их спаивай, Сева, - сказал, когда проехали шлагбаум.

- Мы в магазин, - засмеялась Сонька, и никто бы не поверил, что это она сегодня днем выла в голос, бегая по двору в разодранном сарафане.

Машина тяжело поднималась по горбатой дороге. Забродин был неважным шофером, осторожничал и запаздывал переключать скорости.

- Не захотела диктовать, - шепнула Борису девушка.

- Ну и фиг с ней.

- Я боялась зайти. Два раза мимо по улице шла. Видела - ты сидел на койке. Печатал - да? - снова зашептала девушка, как бы извиняясь перед лейтенантом за эту экскурсию в райцентр. - Там у вас Игорь, Морев этот. У него язык, как пилка...

- Кончай шептаться, - прошамкал Гришка.

- Секреты на кухню, - бодро подхватила маркировщица.

- Сейчас вылезем, - сказал Курчев. Всем пятерым не терпелось добраться до поворота.

14

В полупустом автобусе Гришку начало укачивать. Он позевывал, клевал носом, но уснуть никак не мог - слишком разошлись нервы.

- Женись, слушай, на этой чернявой, - покряхтел, разгоняя дремоту. Ей-бо, не прогадаешь. А то этому хануре достанется.

Борис, оторвавшись от невеселых мыслей, поглядел на Гришку и вдруг вспомнил, что километров через сорок они вылезут из полутемного с намерзшими окнами автобуса и расстанутся навсегда. Бесчеловечно было не подумать об этом раньше. Почти полгода жил с человеком душа в душу, спал на соседней койке, а теперь в последний раз сидишь с ним рядом, а копаешься в собственных пустяках.

- Куда мне ее? - улыбнулся Борис.

- А туда... Женись. Свадьбу проведешь. Все равно в полку тебе не жизнь. Так - этак, а удерешь. У нее специальность. И потом чистая из себя, аккуратненькая. А то женишься на какой-нибудь с очками, которая не знает, как подмываться...

- Иди ты...

- Нет, не говори, - расходился полупьяный Гришка. - А эта в порядке. У меня друг до войны на такой женился. И знаешь, чудно как...

Поборов дремоту, Новосельнов перешел на сентиментально-вспоминательный минор, который Федька и Курчев между собой называли "из золотого века" или "паршивого прошлого".

- Идем, значит, с приятелем, - покашливая и отсмаркиваясь, стал настраивать Новосель-нов голос, все равно как гитару, - с другом моим по Невскому, как раз под выходной, в получку. Так, сами ничего, в галстучках, в чарльстонах. Я еще лысый не был, а приятель вообще "вейся чубчик кучерявый". Спортсмен. Ну, идем, ля-ля. Приняли немного. А Питер до войны совсем другой был. Тогда где чего - точно знали. Кому это - педерастов, те у Казанского собора прохаживались, а кто девочек ищет, те подальше, у "Авроры", а еще верней - у кинотеатра "Молодежный".

- И теперь там.

- Пробовал?

- Слышал. Другие рассказывали.

- Параша, - старчески скривился Гришка. - Теперь всё вперемежку. Уже не разберешь, где кто и которая какая. А до войны было строго, порядок. Подходим мы это, значит, к "Молодежному" и вдруг стоит девочка. Ну, точно твоя. И одета чистенько, но бедно. Штопаное, последнее. Носочки еще, помню, на ней были. А время такое - осень посредине. Стоит девушка и ожидает. Ну, мы к ней - ля-ля, мол, то да сё. Как вас, фройляйн, по имени. А она молчит. Приятель хвать ее повыше локтя. Не вырывается, только дрожит. Мордашка такая, что ну прямо сейчас реветь начнет.

- Чего стоишь здесь? - Это я ее спрашиваю. - Тут, - говорю, маленьким стоять запрещается. Тут, знаешь, чья стоянка?

- Знаю, - отвечает. Это первое было слово, какое от нее услышали. И слезки сразу у нее между ресничками заблестели, а ресницы, как у твоей Вальки, длиннющие, даже еще длинней.

- Да оставь ты Вальку, - рассердился Курчев. Ему не хотелось слушать эту бодягу, которая, - он знал, - если не сплошное вранье, то уж надерганная из разных чужих историй или даже книжек - сборная солянка, но перебивать человека перед окончательной разлукой было невежливо.

- К инженеру ревнуй, а я тут ни при чем, если похожи... - осклабился Гришка. - Я тебе точно говорю - женись. В отпуск ко мне в Питер приедешь. Жена как родных примет. Комнату предоставит. Не хочешь?.. Тогда я к тебе переберусь... Ну, так вот. "Знаю", - она так нам ответила. Понимаешь, девчоночке, ну, шестнадцать, не больше, а знает. Собой - свежачок такой. Грудки еле-еле под жакеткой намечаются. Ну, скажу тебе - мечта! Сколько лет прошло, а помню...

- Слюни подбери.

- А мне что? Я ее не трогал. Другу досталась. Он, понимаешь, раньше моего докумекал. "Ты, что, - удивился, - такая?" - "Угу", - кивает, а сама уже ревет по-серьезному.

- Брось ее, - говорю ему. - Припадочная... А она на меня кулачками:

- Идите отсюда. Гадкий вы, противный... - или чего-то вроде этого.

- Смотри, разглядела, - усмехнулся Борис. - Ну, и чего дальше?

- А квартира у тебя есть? - спрашивает приятель.

- Есть, - кивает.

Ну, и поехали они. А утром, напослезавтра, друг в мастерскую заявляется и у всех, по трид-цатке, по червонцу, по

трешке даже стреляет. "Женюсь", орет. Честной оказалась. Невинной то есть. Отца, понимаешь, взяли (как раз такое время было), мамаша померла - вот и одна оста-лась, и в первый раз вышла. И повезло ей, на хорошего человека напоролась. И ему фортануло. Знаешь, какая верная оказалась...

- И сейчас еще живут, мед попивают?

- В блокаду погибли, - не сморгнул Гришка. - И ты женись. Думаешь, философия или история тебя прокормят? Ну, а прокормят, так такого овна за это жрать заставят, что сразу гастрит заимеешь. Нервное это дело. Сегодня одно говори, завтра - другое. Нос держи по ветру и, чуть насморк схватишь, сразу готовься с вещами на выход. Десять лет без права переписки или еще "вышку" тебе сделают. Это страшный мир, Борис Кузьмич, дорогой ты мой, снизил до шепота голос Гришка.

- Почем знаешь?

- А что я, не в Ленинграде жил? В Ленинграде, знаешь, сколько раз людей сажали? Этих кампаний было - пальцев на руках и ногах не хватит. Дворян, немцев, чухонцев, профессоров, потом тех, которые с золотишком, потом кировцев, ну и, как везде - троцкистов, шпионов. И еще этих, после войны, писателей. А уж головку всю - подчистую...

- Какую головку?

- Обыкновенную. Смольный весь. Ты же ни хрена не слышишь, читаешь одни журналы свои, а в них того не пишут. Ну, сам пойми, чего написать можно? Только чужое жеваное-пережеваное еще раз пожевать. Правды ты и в глаза не видел, а увидишь - все равно рассказать ее не дадут. А теперь, как рябой подох, так вообще неясно, кого хвалить, кого не хвалить. При нем хоть направление было. Хвали-перехваливай и только гляди, чтоб другой больше тебя не перехвалил и на тебя же не наклепал. А теперь вот, году еще нет, как в ящик дал, а уже покле-вывать начали.

- Ну да, поклевывать...

- А ты чего, не понял? Прошлым летом в "Правде" да и в твоем журнале, как его "Вопросы..." черным по белому писали - культ личности, коллективность. Это что - от сырости, что ли?..

- Ну, это так... Самим же Сталиным культ личности клянут. Цитатками из него.

- Неважно как - важно, что ругают. И теперь неясно, кому надо женю лизать. Честное слово, брось ты эту хреновину, женись на Валюхе и иди чинить телевизоры. Хочешь, устрою?

- Спасибо, обойдусь. И лизать никому не буду.

- И с голоду сдохнешь. Нет, всерьёз, Борька. Я тебя, дурака, люблю. Парень ты свой, а что глупый, так то проходит. Я давно

тебе по-мужскому сказать хотел: бросай ты эти собачьи хреновины. Вон опер уже за машинкой присылал. Зачем, думаешь?

- А фиг его знает...

- Пропадешь, парень, - вздохнул Гришка. - Машинку везешь? - кивнул на чемодани-шко.

- Ага. Допечатаю и в Москве оставлю.

- А чего скажешь?

- Ну, чего-нибудь надумаю...

- Надо сразу, один раз придумать и насовсем. Не положено офицерам машинку иметь.

- Где не положено? В уставе?

- И без устава голову иметь надо. Это множительный аппарат, понял? Может, чего-нибудь печатал на ней?

- Нет, ничего. Ну, реферат и заметки всякие...

- А - такого ничего?

- Да нет. Я всё по одному разу печатал. Только реферат в трех копиях.

- Ну, значит, просто интересуется. Может, корпусной "Смерш" взглянуть хотел. Привези назад.

- Как же, разбежался! Получишь с них потом. Скажу, продал или за долг расплатился.

- Надо конкретно. Можешь сказать, мне отдал. Но уж тогда точно отдай. Или жалеешь?

- Мне допечатать надо. Страницы три.

- Поедем к одному человечку. Там допечатаешь.

- А удобно? Мне, правда, всего три страницы. Час - не больше.

- Удобно. Все удобно. Это такой экспонат. Девять лет отсидел, а хоть бы хны, огурец парниковый! Веселая история! Может, рассказывал - не помнишь? Фрукты сушеные. Абрикосы. В общем, ленинградская симфония! Чем только человек ни занимался: и снабжение тебе, и руководство (ну, и перерывчики - само собой!). Но выходил. А в сорок первом послали в Грузию. Заготовлять чего-то, не пищевое. А тут война. Ну, он, понимаешь, скумекал, что непищевое подождет, оформляет документы и везет в подарок Питеру три вагона сушеных абрикосов. Кураги. Война только-только разворачивается. А он парень головастый. Финскую помнил и знает, что Ленинград - город фронтовой. Все может случиться. Везет он на север с Кавказа три вагона - и всё одни сушеные абрикосы. Ну, два вагона у него оформлены по чистой, комар носу не подточит, а третий, как говорится, в уме. Ехал он, может, месяц и чуть не последним эшелоном в Питер проскочил. Два вагона, ясное дело, рабочему Ленинграду передал и еще благодарность заработал. К медали, вроде, представили. А третий

вагон на рельсах оставил и разгрузил со своей бражкой втихаря. Вагон сухофруктов. Представляешь? Тут зима. Блокада. Чуть не миллион или больше с катушек долой. Рояль за полбуханки шел. На растопку, понятно. Не до консерваторий было. А тут тридцать, может, тонн кураги!

- Подлость...

- Да погоди ты... Как он ее притыривал и сбывал, не знаю. Но за три года всю распродал. Ну, и не без денег оказался. Трем сестрам где-то в Вологде или Вятке дома построил. Родителей обеспечил. Жену, детей, само собой. А сам, понимаешь, сел. На весь червонец.

- Слава Богу...

- Не славкай. Сел по-глупому. Обмишулился. Не сообразил человек транспорт оформить. Как блокаду сняли, так бумага в Питер пришла. Из Кутаиси. Мол, так и так, всё понимаем. Вагоны вы, ясное дело сожгли, а вот ходовые части, тележку с колесами - верните. И написано три двухосных вагона. А в накладной поглядели - два. Ну - туда-сюда, завертелось: куда третий дел? А он, может, его просто на рельсах бросил или в тупик угнал. Где через три года сыщешь? Но размотали, потрясли вокруг и десятку схлопотал. Но сидел... к лопате не прикасал-ся. Я с ним на "овощехранилище" сошелся. Всю, понимаешь, смену - от гудка до гудка - в дежурке у печки или в сарае у дизеля филонил. "Казбек" покуривал и охрану угощал. Реформа в 47-м - один к десяти, а ему все равно хватило. Теперь жилищный кооператив купил. На дочь оформил. Две комнаты отдельные - дворец!

- Глаза бы не видали, - разозлился Курчев. - Ты же там воевал. Голодный город. Дети мертвые... А он абрикосами из-под полы... Стрелять мало... Кых-кых... Чуть не вырвал, - прокашлялся наконец.

- Впечатлительный, - покачал головой Гришка. - Ну, хорошо. А привез бы он два вагона. Лучше, что ли, да? Так хоть вагон людям пошел, а то б ни одного. Жданов - вроде тоже философ. Так он, может, по литературе или по музыке ученый. А в жратве ничего не понимает. Город на голодовку посадил. Да чего-чего! Ему кураги хватало! Мы на передовой сухари сосали, а он в бункере под вокзалом, сам знаешь, не пайку грыз. От армянского коньяка, небось, не просыхал и для жажды икру ложками в хайло заталкивал. А фрукты не сушеные, а свежие - ему с Большой земли возили.

Новосельнов помолчал, потом потрепал лейтенанта по щеке.

- Дурень ты, Борька. Ох, и дурень. На полмиллиметра видишь, не больше. Чуть не блевал сейчас. Тебе бы стихи писать, а не твоей социологией заниматься. Я сам таким был, но только

до пяти лет, ну, до восьми, не дальше... Уже в тридцать первом году, на фабзавуче, все, как есть, понимал. Бывало, иду по Питеру, хоть по Фонтанке, хоть по Дворцовой, гляжу на всю эту красоту и знаю: каждый камень, гвоздь каждый, даже хвосты у лошадей на Аничковом - все это не за так, не от Бога или начальства, а деловым рабочим человеком добыто и не прямо, а в обход и с умом. Всегда, с начала мира, там того не хватало, тут другого. И не кто-нибудь, а деловой человек договаривался с кем надо, выпивал с кем надо, заливал баки и доставал, где другой бы и в жизнь не раздобыл. Думаешь, царь, или там Сталин, или теперь Маленков подписали - так всё? Днепрострой готов или Исаакий построен? Шиш... Это, Борька, всё равно, как если бы от загсовского свидетельства дети рождались... Честное слово... И что мне обидно, что таких дураков, как ты - пропасть.

И знаешь, чего самое чудное? Что такого лопуха за версту видно. Я только взгляну - и сразу скажу, такой или не такой. У этих обхезанных идеалистов глупость на морде светится. Вон, как у тебя, - он беззлобно пихнул Бориса локтем.

- Да, - вздохнул. - Всё вы надеетесь, что только стоит вам правду выложить, вытащить на свет, как все сразу прямо так в нее поверят, к груди ее прижмут и начнут баюкать. Прямо верите, что скажи только вы эту самую правдоху, и все люди, все работяги всемирной армии труда за руки возьмутся и начнут петь: "каравай, каравай, кого хочешь выбирай!" А что жрать человеку надо и что одной вашей истиной его хрен накормишь, это вам в дурную башку не приходит. А жратва, между прочим, не от правды-матки получается, а от работы. И от дела еще. Жратву, ее сперва заготовить надо да еще к магазину подвезти. А вы хрен ее заготовляете. Вы нос дерете. Мы, такие-этакие, честные, пачкаться не хотим. Честные... - рассердился Новосе-льнов. - Как же! Честные - это те, что чего-то делают, пользу приносят, ну и себя, понятно, не забывают. А как себя забудешь? Кругом всех подмазывать надо. Что я, чокнутый? Я нос не деру, выше других себя не ставлю. Мне тоже жить надо. Ну и живу. И польза от меня идет. Может, в Америке (не был - не знаю) на лапу давать не надо. Может, там они уже сознательные. Только, думаю, вранье. Просто берут аккуратней и сразу помногу. А у нас и без "помалу" нельзя. На зарплату одни дурни живут. И то в самом низу. А кто чуть повыше, так те всякие прибавки, пакеты, пайки именные имеют. Сам, небось, знаешь, а не знаешь - дядьку расспроси.

Автобус медленно плыл сквозь просвистанную ветром и слабо пробиваемую немногими тусклыми фонарями шоссейную темноту. На душе у лейтенанта было препогано.

- Такие, как ты, самые вредные экземпляры. И откуда на нашу

голову сваливаетесь? В дерьме живете, а еще других учить хотите. И учите, чёртовые болячки. Сперва не учи, а погляди, что и как. Потом сам учить не захочешь. А то вдруг узнают чего-то, чему сто лет в обед, и разорутся: Караул! Грабят! - хотя давно все разграблено-переграблено. Живет такой слепой болван и вдруг очухается и начинает, понимаешь, в колокол звонить. Вроде Герцена твоего. А зачем? Несправедливость, Борька, всегда была, с первого дня и, если рассосется, то никак не от крика. А будут, как ты, в воздух пулять, так еще хуже станет. Знаешь, как в анекдоте: попал в дерьмо, не чирикай.

- Философия лежачего камня, - скривился Борис.

- Нет, воробья, которого обхезала корова. А он, чудик, расчирикался, ну, кошка и учуяла, вытащила его оттуда и сожрала.

- Старо.

- А нового ничего и нет. Для меня - уж точно. А для тебя - вагон с тележкой. Иначе бы в воздух не шмалял. Чего теперь Журавлю скажешь? Зачем, спросит, патрон тратил?

- Отбрешусь. Скажу, по близорукости, думал, чужие. Свои, скажу, считал сознательные - не побегут от дежурного по части.

- Ну, это еще ничего. Потихоньку кумекать начинаешь. Только нос затыкать не надо, - воняет, мол. Дерьму мировому уже тыща лет. Принюхаться давно пора. Ты уже взрослый. Многие до твоих годов не дожили... Поехали, покажу тебе этого мужика и квартиру. Он теперь вроде на пенсии. По ремонту телевизоров приспособился. Скажу - тебя устроит.

- Очень надо.

- Ну, хоть достучишь свою фигню. И хлопнем по рюмахе. Ведь расстаемся.

- Ладно. Погляжу на твоего монстра. Авось, пригодится, - улыбнулся лейтенант.

15

Вечерняя Москва в клубах пара и ярких, слепящих, как фары автомобиля, фонарях, казалась нереальной. Хотелось на чем-то остановиться, задержать, но всё мелькало, бежало, не давалось и в то же время оглядывало тебя, такого чудного, в узкой коротковатой шинели и в тупых яловых, плохо начищенных милицейских сапогах. А Гришка с чемоданом, который сегодня в полку казался чуть ли не ряженым, вдруг вписался в эту Москву, просто прилип к ней, вечерней, шумной фонарно- и неоново-черной столице - и был как бы свой, шел от автобуса, минуя огни метро в какой-то людный проулок, словно всю жизнь здесь ходил и два часа назад не дрожал от страха, что вдруг чего-нибудь напеременят и из полка не отпустят.

Борис хватал всей грудью морозный городской пахнущий камнем, ржавчиной, копотью - чем угодно, только не небом и елкой, - воздух и всё не верил, что он снова в Москве, в городе, где сплошная воля и свобода. Так бывало с ним всегда и всегда кончалось ничем. Москва нико-гда не давалась в руки. Она была, как строптивая девчонка, что ластится, но не позволяет... и только изведешься и устанешь, и со злобной тупой радостью уползаешь назад в полк: ах, пропади оно всё пропадом!..

Так было и раньше, когда он мальчишкой приезжал на выходной из Серпухова. Так было и позже, когда выходил вечерами из общежития, потому что хоть общежитие было в Москве, но самой Москвой никогда не было. Москвой никогда нельзя было наглотаться вволю, так, чтобы осточертела, чтоб глаза на нее не глядели, обожраться, как до войны мороженым, а теперь - водкой. С Москвой этого не получалось.

"И слава Богу", - думал Борис, невесело глядя на круглые носки своих фараонских сапог. Они вышли на другую улицу, параллельную той, по которой ушел автобус. Тут света было поменьше, но всё равно много. Окна оплывали желтым, и фонари горели не реже, чем в полку вдоль забора над проволокой.

- Только не тушуйся,- предостерег Гришка у высокого нового дома с вывеской "Парик-махерская". Из подъезда пахнуло свежей краской и этот запах прорезал плотный холод улицы.

- Не тушуйся только, - повторил, словно подбадривал самого себя. Невысоко, так поднимемся, робковато улыбнулся, обходя новенькую кабину лифта.

- Как к генералу идешь, - пошутил Курчев.

- А чего... Он всё может! Захочет - и в Москву меня перетащит. Связи большие...

- А чем дома нехорошо?

- Дружки, - вздохнул Гришка. - Боюсь, по-новой пойдет.

- А как же благородная миссия деловых людей? - хотел было спросить лейтенант, но не успел. Шедший впереди Гришка остановился на площадке у высоких окрашенных под дуб дверей.

- Погоди, - обернулся к лейтенанту. - Стань так, чтоб видно не было, а то испугаешь.

"Мильтон я, что ли", - подумал Борис и осторожно, чтобы не вымазаться о свежую краску, прижался к подоконнику полумарша.

Задребезжал звонок и тут же следом раздалось:

- Привет Игнату Трофимовичу!

- А, Григорий Батькович! Милости прошу. Разоблачайсь. Ноги только сними. Видишь, паркет...

Курчев мысленно поблагодарил Федьку Павлова за пару

домашних теплых носков.

Дверь щелкнула замком, но почти тут же открылась и зычный голос позвал:

- Где ты там, вояка?

На площадке в пижамной куртке и брюках, вправленных в белые бурки, стоял кряжистый прочно сработанный человек. Лицо у него было сердитым и властным.

"Ого!" - подумал Борис. Хозяин квартиры вполне тянул на большого начальника.

- Проходи. Прохаря толькр скинь. Паркет.

Пол действительно сиял, но прихожая и видная в распахнутые двери комната имели вид не жилой, скорее показушный. Горка с посудой, диван и ковер над диваном, стол с роскошной ска-тертью - всё было новым, нетронутым, будто люди жили отдельно от мебели, не притрагиваясь к ней.

"У дяди Васи не шикарней", - подумал Борис. Хозяин, не дожидаясь, пока лейтенант разденется, ушел назад в комнату.

"Ну и ну", - хмыкнул про себя лейтенант. Те немногие лагерники, которых он успел повидать в редкие наезды в полк, были какие-то быстроглазые, не то чтобы прибитые, но явно приниженные, готовые тотчас сбегать что-нибудь принести, подать, а этот был небрежен, презрителен, как человек, которому много позволено.

"Что ж, он дома, а свой дом - своя крепость", - улыбнулся Курчев, оглядывая квартиру. "На каждом долларе комья грязи, на каждом долларе следы крови", - неожиданно вспомнилось, но оборвал себя: - Не пыли цитатами. Жутко этот хмырь на кого-то похож. Ей-Богу, генерал."

Из двух сидевших в креслах никак не хозяин, а облезлый красноглазый Гришка выглядел недавним лагерником. И лицо у Гришки было заискивающее, и глядел он на своего приятеля как-то уж чересчур восхищаясь.

- Куда мне приткнуться? - нарочно громко спросил Борис, кивая на спортивный чемоданишко.

- Чего у него? - скривился хозяин.

- Машинка. Реферат допечатать.

- Тоже контору нашли. Скатерть не помни, - проворчал человек в бурках.

"На кого он похож? - соображал Борис. - Себя поперек."

- Ты там недолго. А то кормить вас надо, - буркнул хозяин.

- Подождем, Игнат Трофимович, - сказал Гришка.

- А чего ждать? Время не раннее. Или заночуешь?

- Как велите. Разузнать хотелось. Вы советовали, обещали то есть...

- Чего ж, обещал так обещал. От слова не отказываюсь. Только тут, понимаешь, - он сле-гка приглушил голос, но Курчев и за стуком машинки всё равно слышал, - ситуация назревает. Судимость с меня снять хотят.

- Так у вас амнистия?

- Амнистия - само собой. А тут ситуация по чистой сделаться. Прокурор, что мне паял, оказался гадом. Из тех, что Ленинград наш врагу сдать думали.

- Вот это да? - вскрикнул Гришка, словно не он час назад вдалбливал Курчеву про ленинградскую "головку". - Скажите пожалуйста!

- Да. И получается, что меня, понимаешь, оклеветали. Девять годов моей жизни зря по ветру пустили. Девять годов, - повторил с некоторым даже надсадом человек в бурках, словно не он, а ленинградские начальники сбывали сушеные абрикосы. - Мне б такого простору было. Я, понимаешь, расти мог. Здоровье какое имел!

- Да у вас и сейчас здоровье.

- Есть немного, да не то, что было тогда.

- Преследствие будет?

- Да вот соображают умные люди, как провести. Дочь - тоже юристка выясняет. Полоса, говорят, скоро будет, уже помаленьку начинается. Пересматривают кой-кого из тех, кто сидел невиновно. Момент уловить надо. Вот тогда место получу и тебя пристрою. Квартира-то в Ленинграде большая?

- Две комнаты. Проспект Газа.

- На одну сменяешь. А чего в Москве не видел? Супружница хворает?

- Да, врачи велят... Климат... - соврал Гришка.

- Что ж, устроишься. Да я могу тебя хоть сейчас в ателье. Только ведь ты дизелист.

- Дизелист, - с сожалением кивнул Гришка. - Поздно на телевизоры переквалифициро-ваться. Вон этого к себе устройте, - он мотнул головой на быстро печатавшего Курчева.

- На хрен мне грамотных, - процедил хозяин.- Квитанцию я и сам оформлю. Паяльником он умеет?

- Умеет. Головастый. В аспирантуру не примут, к вам придет. Не прогоните?

- Вообще-то на хрен нищих. Но, если просишь, пусть приходит.

Борис со злостью тарахтел на своей "малявке". Цитаты из классиков под эту беседу казались музыкой.

"Убьет и сам не заметит", - думал он. И стал еще отчаянней колотить по клавишам.

Наконец, допечатав рукопись и отказавшись от выпивки и закуски, он сухо кивнул хозяину и покинул квартиру. Гришка, растерянный и робкий, выбежал в носках на площадку.

- Попрощаемся хоть!

Курчев обнял его и чмокнул в губы. Пахло от Гришки скверно - гнилыми зубами и перего-ревшим спиртным, но всё же это был людской запах.

- Будь, - толкнул его в плечо Борис. Он никак не мог настроиться на прощальный лад. Тот, в пижаме, мешал, как надзиратель.

- Не дрейфь, - шепнул Гришка. - С "малявкой" обойдется. Игнат сказал, другая сейчас полоса. Выпускать потихоньку начали.

- Э, - отмахнулся Курчев. Он на время забыл про особистов. - С тобой бы обошлось. Ты поосторожней с этим.

- С этим? Он теперь на воду дует... - расхрабрился Гришка.

- На воду дует, а на тебя плюнет и разотрет.

- Не бойся. Еще увидимся, - боязливо оглянулся Гришка и, боднув Бориса, юркнул в дверь.

- Проводились? - улыбнулся Игнат. Он сидел в том же кресле, расстегнув пижаму на две верхние пуговицы и распустив живот. Вид у него теперь был куда благодушней и человечней. То ли потому, что на столе появилась закуска и уже стоял запотевший хрустальный графин из холодильника, то ли оттого, что исчез лейтенант.

- Он ничего парень, - хихикнул Гришка. - Тоже дёру дать собирается.

- Не спорю, не спорю,- благодушествовал бывший заготовитель. - Но одним, знаешь, веселей и аккуратней. Слушай, Григорий Батькович. Тебе этого... ну, того, финансов, одним словом, не требуется?

- Да что вы, Игнат Трофимович? - от неожиданности покраснел Новосельнов.

- Не стесняйся. Между своими - какой стыд?

- Нет, я компенсацию получил, - хлопнул себя Гришка по кителю, где слева весьма солидно оттопыривалось от свернутых сторублевок.

- Могу для симметрии добавить, - загоготал бывший лагерник. - Совсем как баба будешь.

"Чтоб ты меня, как бабу..." - уточнил про себя Гришка. - У жены дома кое-что есть, - пояснил вслух. - Так что спасибо пока...

- Это ты правильно сказал - пока. Телефон запиши мне тут, - пододвинул ему хозяин совершенно нетронутый бювар, лежавший

рядом с такой же нетронутой пепельницей на журнальном столике.

В доме не писали и не курили. После лагеря хозяин решил беречь здоровье, а дочь-юристка, хоть квартира и была на ее имя, жила у мужа.

- А вообще бы взял, - повторил хозяин с усталым безразличием. - Или сразу на работу пойдешь?

- Не знаю, - пожал плечами Гришка. Устраиваться в Ленинграде ему страсть как не хотелось.

- На одну комнату - это я тебе в месяц организую. Сейчас уже поздно, завтра с утречка обзвоню кой-кого. Вас двое?

- Теща третья, - снова покраснел Гришка, словно почувствовал себя виноватым.

- Ну, трое еще сойдет. В Москве сколько угодно таких, что вшестером на пяти метрах кувыркаются.

17

В детстве, еще при живом отце, Борька обожал дядю Васю, часто про себя сравнивая их, и почти всегда симпатии перепадали Василию Сеничкину.

Но последнее время говорить с дядей Васей было не о чем.

"Как служба, солдат?" - "Полный порядок!" - И всё в таком же духе. Спросить, что там, наверху, неловко да и всё равно отшутится, не ответит. Он и Алешке ничего не сообщал. И если что и просачивалось в семью, так только через Ольгу Витальевну. Та иногда любила пофорсить перед сыном и невесткой.

Бориса же Ольга Витальевна не жаловала. Просто так, ни почему. Места он много не зани-мал - всего чемодан держал в кладовке. Но всё-таки он был чужой, посторонний, и видел, как живет дом. Наверное, еще в части своей, таким же дуракам-офицерам выбалтывал, как Василий Митрофанович все вечера сидит в гостиной один на один с телевизионным приемником; а книг вовсе не читает.

Дети сколько раз изводили из-за этого ящика: на кухню переставь или в спальню. Но стояла насмерть, хотя телевизор тоже не терпела.

- Пусть смотрит. Работа у него тяжелая, - отвечала детям.

Эту работу Вася от нее не скрывал. Всё секретное и несекретное, как на исповеди, в спальне выкладывал. С кем же ему еще советоваться было? Она и журналы по его отрасли читала, разры-валась между ними и школой, и уже совсем подумывала бросить школу. Всё-таки техника - это не то, что директорство или язык с литературой. Техника была самая передовая и почти вся за нулями. Под рукой Василия Митрофановича было два полных академика, три член-корра, с

десяток докторов, а кандидатов наук она и сосчитать бы не могла. Чуть ли не каждый месяц люди защищали диссертации. Народ у Василия Митрофановича рос быстро. Но сам В. М. Сеничкин был всего лишь инженер, да и, честно сказать, с образованием не сильным: институт заканчивал в тридцать пять лет без отрыва от службы. Давно надо было ему сделать диссерта-цию, но тут имелось одно немаловажное препятствие.

В своей технической епархии он был самым главным. Выше не было никого, и потому его пост был приравнен к министерскому, а Управление - к министерству.

Так вот, по своей технике двигаться Василию Митрофановичу было некуда. Только что вниз... И возраст у него был какой-то неопределенный - пятьдесят два года. А время после смерти товарища Сталина стояло тоже непроясненное. И хоть академики под рукой и техника очень существенная, но, как на беду, не самая основная, а вспомогательная. И вспоминали на самом верху о Василии Митрофановиче не чересчур часто. "ЗИС" у него был черный, но без дополнительных фонарей. Дача была в два этажа, но стояла не отдельно, а в общем посёлке, где ни один полный министр не жил, хоть посёлок был за забором и была проходная, на которой спрашивали: к кому идете, и даже иногда по телефону справлялись: пускать или нет.

Могло, конечно, повернуться колесико удачи, как однажды оно повернулось шесть лет назад. Могло повернуться еще, и даже недавно чуть не повернулось на ползубчика. Предлагали перейти в самый большой главк одного умопомрачительного министерства и дали бы даже генерала (с войны Василий Митрофанович имел полковника). Перспектива, конечно, была - можно было через год сесть в заместители, а зам того министерства - это было побольше обыкновенного рядового министра. Но начальник главка - хоть и перспективно, но сначала не слишком много. "ЗИМ" вместо "ЗИСа" и зарплата ниже. И дача в другом, еще не обжитом месте. Три ночи судили супруги в спальне, переходить или нет, и не решились. Лучше бы уж просто не спрашивали, взяли и перевели. Тогда всё. Приказ он приказ. А вот взять на себя такую ответственность, посоветовать: "Переходи!" - Ольга Витальевна не могла. А вдруг бы не потянул? Тогда как?

И остался старший Сеничкин у себя в Главном управлении при Совмине, на той же даче, при той же машине и так же сидел вечерами перед своим телевизором "Темп-1". И диссертации ему тоже не написали.

- Совесть коммуниста не позволяет, - отнекивался Василий Митрофанович, когда Алеш-ка советовал выбрать тему и засадить

кого-нибудь из толковых инженеров за две параллельные работы: для себя и для начальства. - Нет, не позволяет совесть, - вздыхал Василий Митрофа-нович.

Но, честно говоря, немного кривил душой. Не нужна ему была эта диссертация. Если стремиться наверх, то она уж вовсе ни к чему. Ведь брать-то будут не как научного специалиста, а как опытного, толкового администратора. А если взять направление усидеть на данном посту, то и кандидатство не поможет.

Шесть лет назад занимал это кресло не кандидат и не доктор наук, а полный академик, на всю страну прославленный товарищ, молодой красивый генерал с кучей орденов и звездой Героя. Собственно, для него сделали еще до войны это Управление, преобразовали из какой-то махонькой конторы - и он тут как раз был на месте, хоть, понятно, академиком был липовым. Но слава у него была своя, заработанная, и талант тоже. А у Василия Митрофановича до войны была только жена с характером, да две комнатенки в коммунальной квартире не в Москве. И вот каким-то чудом красавец-генерал оценил Василия Митрофановича и перетащил в столицу. И стал расти Василий Митрофанович тут, в Главном управлении, не так чтобы быстро, но надежно. Не быстро, потому что за счастливчиком-генералом, который сиял довоенной и военной славой, звездой с иконостасом, красивой внешностью и звонким талантом, не было видно простого русского человека, работягу Василия Митрофановича Сеничкина.

Но всему приходит срок, и в эпоху борьбы с низкопоклонством красавец зарвался. То ли одним махом выше взвиться хотел, то ли вожжа под одно место заскочила, но потребовал генерал новой техники и, поскольку той в наличности не было, предложил закупить образцы за рубежом. Ну и, понятно, перехвалил товар. Тут-то завертелось. Нет, не стал бы сжирать красавца Василий Митрофанович. Честно говоря, не решился бы. Да и не злым был человеком Сеничкин-старший. Но генерал сам в рот лез и еще для съедобности горчицей себя намазывал. Не хотел его губить Василий Митрофанович, и Ольга Витальевна тоже не советовала. Никакой вражды супруги в сердце против него не держали, сохраняли одну великую благодарность. Ведь не угляди их красавчик, не жить Василию и Ольге Сеничкиным в столице, не учиться Олиному сыну Алешке в таком учебном заведении. И, видит Бог, не подкапывал под него Сеничкин. Приказали. Не сам себя посадил председателем суда чести. Назначили. Не хотел сжирать. В рот запихнули. И тут уж пришлось на всю катушку раскручивать, иначе бы другой доброхот нашелся и еще бы самого Василия Митрофановича с генералом спаровал.

И все-таки, проведя это мероприятие, не хотел Сеничкин в генеральское кресло усаживать-ся, даже не мечтал о нем. Сами их туда засадили. Но только сев туда и получив "ЗИС" и квартиру в четыре комнаты, только тогда рассердился на разжалованного генерала Василий Митрофанович. Останься на прежнем месте - ни за что бы зла не таил. Случись где встретиться с разжалованным, сам бы первым подошел, руку бы протянул и сказал: "Не сердись, брат. Это спор идейный. Сам видишь, не для себя я старался".

А теперь, с дачей, с квартирой и машиной - выходило, что постарался для себя. И понимая, кем их теперь считает счастливчик, стали они тоже считать бывшего счастливчика за врага. И теперь сами непрочь были сживать его со света, потому что нет страшней людей на земле, чем недобитки. Но хоть и сила была теперь у папы-Сеничкина, и руки длинней стали, а дотянуться до бывшего начальства не получалось. Если уж человека не зажарили сразу, то потом раздувать костер не просто. А красавца не только не зажарили, но выпустили лишь чуть подпаленным. Со звездой Героя он как был, так и остался. И академика с него не сняли. И дали вместо Управления лабораторию, небольшую, а всё же свою, и затих красавчик в ней, носа не высовывал. Что он там делал - одному Богу было известно. Василию Митрофановичу в чужой монастырь лезть было неловко. Но Ольге Витальевне через наробразовских и других знакомых перепадали кое-какие сведения. Получалось, что в своей академической лаборатории красавчик как будто смирился. Держит себя с народом скромно. Рассказывали даже, что, придя на новую службу, сразу так и выложил:

- Мол, товарищи, никакой я не академик, и не доктор, не кандидат даже, а знания мои равняются как раз аспирантским. Так что буду учиться, как аспирант.

А лет, между прочим, было красавчику уже сорок.

И засел он в своей лаборатории, пока потихоньку спадала волна и отходила опала. Сидел, не двигался, как будто действительно наукой занимался. Короче, уцелел человек. Уже отряхиваться начал. За границу на конгресс съездил. В газете упомянули. Потом еще раз перечислили. Потом распрямился вовсе и осел в одной подкомиссии ООН. И это был тоже высший пост, предел. Дальше по этому радиусу двигаться красавчику было некуда.

И вот теперь, когда помер Сталин, который сам когда-то обнимал счастливца и пил за его здоровье, а через десять лет подписал бумагу о разжалованье, теперь, когда умер Сталин, всё могло быть. И мог красавчик захотеть в свое старое кресло. При

Иосифе Виссарионовиче тоже случались перемены погоды и люди Бог знает откуда возвращались. А теперь вообще стояла полная неясность, и в той неясности видно было одно: за шесть лет папа Сеничкин ни на метр не продвинулся (даже по собственной нерешительности пропустил один ход - не ушел в Главк), а Герой, начав по-новой почти с нуля, прошел всю свою трассу до конца и скорость у него не убавлялась. И теперь, если бы решили менять Василия Митрофановича на этого Героя, то кандидатская диссертация не то что не спасла, а рассмешила б даже. Герой-то был доктор и академик теперь уже, вроде, не липовый, а с запасом набранных за время опалы нешуточных знаний. Положение осложнялось еще вот почему.

Сеничкин-старший был вице-президентом некоего международного технического комитета или сообщества. Руководство этой организации сменялось каждые четыре года и как раз этой весной должны были состояться перевыборы. Англичанин и американец уже сидели на этом посту - и теперь вся штука была в том, кого изберут - француза или Василия Митрофановича. По всем статьям черед выходил советскому представителю, но ведь империалисты народ скверный, и Василий Митрофанович мог пасть жертвой холодной войны.

Пост был дорог тем, что выбирали не просто представителя страны (что тоже приятно), а конкретного человека. И теперь, если бы в Совете Министров захотели заменить Сеничкина-старшего Героем или каким-нибудь другим прытким типом, то Советский Союз лишился бы президентского кресла в этой небольшой, но всё-таки международной организации. Империалисты прыткача бы не утвердили и президентом стал бы тот, кто занял бы нынешнее, вице-президентское кресло Василия Митрофановича. Но до такого конфуза дело бы не дошло. Наверху переигрывать бы не стали, и дядя Вася получил бы четыре года спокойной жизни. Дело шло к разрядке напряженности и шансы обойти француза были довольно высоки.

Так что, никто в точности не мог бы сказать, от каких мыслей отдыхает папа Сеничкин, сидя в гостиной один на один с телевизором "Темп". И не тревожила его Ольга Витальевна, и племяннику не позволяла.

Сердита была на Бориса, потому что своих, некогда связанных с церковью, родственников не привечала. Всех, словно отсекла. А этот, сеничкинский, пользуясь своим сиротством, вертелся под боком.

А если уж говорить совсем начистоту, то все объяснялось самой разобыкновенной ревнос-тью. Борис Курчев был родной племянник Васи, даже внешне похожий на мужа, а ее любимец

Алешенька, хоть считался Василию Митрофановичу сыном и фамилию его носил и отчество, но сын был не родной. И ревновала директриса как бы от лица сына, ревновала мужа к племяннику, в чем, конечно, никогда бы себе не призналась. Видела, что горд Вася Алешкой и что любит того почти как Надьку, а из доброты душевной даже одаривает больше, чем родную дочь. Из-за границы одежду не для себя - для Алешки привозит, но нет-нет взглянет муж на солдафона-сиротку, потреплет племянника по плечу - и настроение у Ольги Витальевны сразу насмарку идет и давление начинает подпрыгивать.

"И надо было этой курице-Клавке замуж за пьяницу выходить и травиться потом", - в который раз повторит в сердцах директриса.

О своей поповской родне и о развеянной временем несчастной родне погибшего в год великого перелома Алешкиного отца - она почти не вспоминала.

И Курчев не любил тетку. Всегда, сколько себя помнил. Наверно, это пришло по наследству от матери и бабки. Бабка ревновала сына, а мать брата. Да и у матери, верно, не обходилось без зависти. Тетя Оля была образованная, учительница старших, а не младших классов и сумела скрутить своего Василия так, что бывший плотник забыл, как это люди пьют. Не то что мама Клава своего Кузьму-машиниста. Дядя Вася капли в рот не брал и не гулял на стороне, и при всей своей тупости (так в семье считали!) - окончил с грехом пополам инженерное заведение и стал первым среди Сеничкиных образованным гражданином.

Курчев со злобой представил себе тетку, рослую, пятидесятилетнюю, нисколько не молодя-щуюся женщину. Черный костюм с орденской петличкой или черное с меховой накидкой платье по торжествам, и с белым тонким пуховым платком по будням. Четкий римский нос. Сильно поседевшие, слегка завитые волосы. Заслуженная учительница РСФСР, депутат райсовета. Кавалер ордена Трудового Знамени. Без нее дядя Вася сейчас бы уже пошабашил в столярке и лежал бы бухой в проданном серпуховском доме. А с ней?

- А с ней он съел Героя Советского Союза, мирового парня, которого незадолго до войны вся страна выходила встречать на улицу. Вон оно как... вздохнул Борис и прибавил шагу.

18

Хотя дом был для людей особых, лифтерши сейчас на месте не было и свет на нижних маршах не горел.

Дверь открыла Надька, десятиклассница с грудью знатной доярки и плечами боксера-средневика.

- Чао! - сказал Борис.

В матово-приглушенном свете огромной прихожей Надькино лицо казалось чистым.

- Чао - при разлуке говорят.

- Это я авансом. Уйду, ты уже в постельке ба-бай будешь...

Он улыбнулся, потому что вспомнил среднескабрезный анекдот, в котором на вопрос, когда десятиклассница должна быть в постели, отвечалось: "Не позднее десяти, чтобы к двенадцати быть дома".

- Я позже тебя ложусь. Это у вас всё по команде, - скривила безбровое лицо Надька. Прыщей на нем действительно не было. - Чего уставился?

- Ну, и молодчага, - сказал он, хотя вовсе так не считал. Но дело уже было сделано - не вернешь. - Сразу похорошела, - подмигнул заговорщицки. А мать в курсе?..

- Не твое дело.

Но он состроил такую смешную рожу, что Надька не выдержала, прыснула и, подобрев от смеха, взяла у него из рук шинель.

- Отец спит?

Двустворчатые с пупырышками двери гостиной

холодно и темно поблескивали зеленоватым стеклом.

- Ложатся. Дербануть собираешься?

- Забыл! Честное слово, забыл. И гастрономы ведь по дороге были. Понимаешь, навали-лось сегодня такого, - чуть не начал он откровенничать с юной родственницей. - У доцента, что - гости? - вовремя оборвал себя, глядя на прикрытую толстую дверь

молодых Сеничкиных. - Марьяшка меня зазывала. Пришел кто?..

- Лешкина новая... Марьянка вся испсиховалась. На минуту оставить одних боится. Будто места другого не найдут. А ты истрепался, Боренька. На офицера не похож. Китель мятый-перемятый и сапоги какие-то дурацкие.

"С нашим братом шьется", - подумал Курчев.

- Ты что завтра делаешь? - спросил, на мгновение введенный в искус ее добротой.

- Как всегда... - засмеялась Надька. - Пригласить хочешь? Не могу. Некогда.

- Да нет... - покачал головой, вспомнив, что Надьке нельзя поручить отнести письмо в Кутафью башню. "Непременно вскроет. Еще матери покажет... Они мне уже один раз не дали остаться гражданским..."

"Значит, так... Вызван на отвлечение", - снова покосился на прикрытую дверь Алешкиной комнаты, и тоскливое чувство обиды, обычно появлявшееся под конец московской побывки, на этот раз пришло к нему сразу.

- Кто такая? - кивнул на дверь.

- Аспирантка. Ничего особенного. Средний из себя кадр, - скривилась Надька, как будто была уже по крайней мере доктором наук. Борис вздрогнул.

"Неужели, - пронеслось в голове. - Вот оно так - соврешь, а выходит взаправду. Накар-кал..." - и, стоя в коридоре, он уже чувствовал какую-то причастность к той невидимой женщи-не, скрытой за толстой белой дверью Алешкиного кабинета.

- Это что? Знаменитая "малявка"? - просунула Надька голову под руку Курчева, загля-дывая в приоткрытый чемодан. Пришлось вместе с синей папкой достать машинку, которую он хотел незаметно спрятать в кладовой, в кожаном чемодане между серым костюмом и ботинками.

- А?! приехал?! - открылась толстая дверь.

- Смотри, какая у него машинка. Почти ничего не весит, - повернулась Надька к невест-ке. - Дашь, Боренька, попечатать?

- Я не слышала звонка, - сказала Марьяна.

- Брось заливать, - обрезала Надька. - всё твои фигли-мигли дурацкие. Не клюнет она на сиротку, - высунула школьница язык и, нахально покачивая сразу и плечами, и бедрами, удалилась в свою комнатенку.

- Дрянь. Не обращай, Борька, внимания. Ты, вероятно, голоден, - не слишком уверенно посмотрела Марьяна на лейтенанта.

- Я бы вымылся лучше.

Он знал, что с кормежкой в этом доме не просто.

"Чёрт, четыре года не слышал слова 'сиротка'! Его, конечно, пустила заслуженная учитель-ница. Сиротка! Производное от сирота. 'На столе лежала тыква, круглая как сирота', - вспомнил он приблудившиеся ничейные стихи. Ничего у них не берешь, а 'сиротка' все равно жив. Жив, как курилка! Так и подохнешь с кличкой. Хлопнуть бы дверью и гуд бай! Но тогда труба аспирантуре."

- Я бы помылся, а то день идиотский, - повторил, разводя в стороны руки - в одной была машинка, в другой папка.

- Зайди, поздоровайся. Эти, наверно, легли, - кивнула на дверь спальни Сеничкиных-старших.

- Пусть Алешка сразу поглядит,-буркнул Борис и ввалился в комнату молодых супругов.

Собственно, это была не комната, а кабинет Василия Митрофановича. Но так как последний дома делами не занимался, то кабинет, как бы оставаясь за министром, был отдан в пользование молодым. Так, пытаясь убить двух зайцев, не убивали ни одного. Кабинет не был кабинетом. За отполированным столом неловко было работать. На книжных, в полстены, тоже полированных, полках стояли не книги, а первые тома подписных изданий, а всё стоящее, не имеющее переп-летов, деть было некуда.

Комната не стала жилой, потому что Марьяна Сеничкина третий год чувствовала себя в ней не хозяйкой, а приезжей родственницей. Даже подкрашивать ресницы приходилось выбегать в ванную. Здесь зеркала не полагалось.

Зато стоял в кабинете отличный раздвижной диван, на котором сейчас сидела аспирантка-разлучница. Она сидела прямо и скромно, словно присела на минуту, как в трамвае, до следующей остановки. В неярком рассеянном свете торшера Курчев заметил, что аспирантка молода, худощава и одета не броско.

Разговор, видимо, у них не вязался и даже Алешка обрадовался лейтенанту:

- А, явился! - Он работал под иностранца и потому без пиджака сидел на полированном столе и посасывал короткую незажженную трубку. Директриса дыма не выносила, и Алексей Васильевич со своей пустой трубкой вечно изображал джентльмена, бросающего курить.

- Прочти. Я добил, - с грубоватой застенчивостью пробурчал лейтенант.

- Медведь. Познакомься сначала.

- Инга, - сказала гостья. Голос у нее был глуховат, а ладонь длинная и холодная. Пожи-мая ее, Курчев еще сильней ощутил, что весь взмок, устал и прошлую ночь спал не раздеваясь.

"Везет же этим доцентам!" - вздохнул про себя.

- Ты прочти, а я под душ полезу, - снова пробурчал, потупясь. Грязным, взмыленным, не хотелось находиться в одной комнате с этой девушкой.

- Извините, Инга, - сощурился Сеничкин. - Фронтовик приехал. Казарма, пехота-матушка. Толстая что-то, - деланно вздохнул, развязывая тесемочки папки.

- Два экземпляра, - сказал Борис. Он так и стоял с машинкой посреди кабинета, краснея и чувствуя, что своими огромными, плохо вычищенными сапогами занимает полкомнаты.

- Легли уже, наверно, - мотнул головой в сторону министерской спальни.

- Кажется, - кивнула Марьяна.

- Да поставь ты свое сокровище, - неестественно засмеялся Сеничкин. Вот чудак. Носится, Инга, со своей гуттенберговской штучкой.

- Это машинка? - удивилась девушка.

- Да выпусти из рук. Покажи человеку, - сказал Алешка, радуясь, что можно на ком-то разрядить скопившуюся неловкость.

- Пожалуйста, - пробормотал Борис и, раскрыв машинку, не отдал девушке, а поставил ее на диван. Он боялся, что скисший запах армейского пота шибанет аспирантке в ноздри.

- Я пойду, - снова кивнул в сторону ванны.

- Кто про что... Ладно, иди. Мы все пока поглядим. Не возражаешь? Вот вам, Инга, первый экземпляр, - протянул доцент гостье пачку новеньких страниц.

- Не берите, скучища... - сказал Борис. Девушка с видимой неохотой сняла с колен машинку и взяла рукопись.

- А мне можно? - спросила пухлогубая Марьяна.

- Читай. Только скучища, - повторил Курчев.

В прихожей он взял Федькин чемодан и полез в ванную.

Горячая, чуть ли не крутая вода свободно лилась сверху и, как щелочь ржавчину, снимала всю дрянь дня, невыспанность и усталость.

- Так, так, - приговаривал Борис, надеясь, что за шумом воды в спальне не услышат. - Раз! Взяли! Еще раз - взяли! - тер он себя, как будто был огромной зениткой и весь орудий-ный расчет драил его в банный день.

- Так, так! - командовал. Ничего не было на свете лучше горячей, обжигающей тело воды, рваной мочалки и красного, таявшего на глазах мыла.

"А все же пузо наел", - подумал, немного приходя в себя от пара и восторга. Живот дейст-вительно был. Правда, небольшой - и, размахнувшись, лейтенант ударил по нему сжатой ладонью.

Даже ошпаренное и уже лишенное кислых запахов казармы, тело казалось уродливым.

- Боров, - сказал себе. - Худеть надо. Вон Алешка стройный какой!

И вспомнив, что Алешка сейчас вместе с аспиранткой читает реферат, Курчев застыдился, будто стоял перед ними голый. Реферат был такой же нескладный.

В дверь постучали.

- Ты, Борис? - услышал лейтенант сквозь шум кранов басок министра.

- Сейчас! - весело крикнул, радуясь, что это не директриса.

- Открывай, я один, - сказал Василий Митрофанович.

Огромный, в пижаме, он втиснулся в комнату и сел на край ванны.

- Заматерел ты, Борька, - оглядел племянника.

Расслабленный от душа и умиротворенный, лейтенант не находил в родиче сходства с абрикосочником. Хоть пижамы были одного рисунка и качества, и даже лица в чем-то отдален-ном были схожи, но сидел на краю ванны не боров, а дядька, кровь родная, Василий Сеничкин.

Сколько раз, еще даже до войны, при родном отце, пацаненком, мечтал Борька: а вдруг окажется, ну, хоть понарошку, что отец его не сухонький пьяница и гуляка машинист манев-рового паровоза Кузьма Курчев, а непьющий и степенный инженер Василий Митрофанович, дядя Вася, что иногда приезжал в Серпухов рыбу ловить и брал с собой на рыбалку племянника. В эти редкие и блаженные часы у жидкого попыхивающего костерка, когда они сидели совсем тесно, накрывшись одной дядькиной курткой, Борьке казалось, что и дядька сам не прочь иметь его сыном. Потому что Алешка и отличник и мордой писаный красавчик, а все-таки не родной, не сеничкинский. Борька знал, что эти мысли - стыдные, нехорошие, но продолжал мечтать о том же и после дядькиных отъездов, потому что с такими мечтами засыпать было сладко. Только весной 42-го, когда в Серпухов пришла первая пенсия за погибшего (похоронка пришла к Лизавете в Москву), повзрослевший Борька бросил играть в эти дурацкие игры. Теперь он перед сном думал об убитом отце и злился на дядьку, что тот жив и хватает большие чины и ордена где-то не на самом фронте.

Даже в захолустном Серпухове при своем доме и огороде, жилось голодновато, и социаль-ные контрасты сами собой постепенно оттеснили любовь к материнскому брату. Через год Алешка, счастливо избежав призыва, поступил в знаменитый, только что созданный междуна-родный институт, и зависть к

поповне и ее детям, раздуваемая бабкой, потихоньку захватила и Бориса. Но та детская привязанность к Василию Митрофановичу, видимо, не вовсе ушла, а куда-то задвинулась, потому что нет-нет, а выходила наружу, и даже сейчас, в ванной, Курчеву было приятно глядеть на здорового рослого мужика, единственного своего родича.

Так и подмывало сейчас попросить лично передать письмо в Управление Совмина.

- Давно не виделись. На буднях выбираться не удается? Что поделаешь, служба... - кряхтя развел ручищами министр, как бы сгибаясь под тяжестью долга, но одновременно гордясь этой тяжестью. - У Елизаветы не был?

- Нет. Там все в порядке. Она сообщит.

- Не прозевай. Сразу в отпуск просись. Прописка - дело серьезное.

- Будет сделано, - кивнул племянник.

- Давно тебя не видел, - снова повторил министр. - Демобилизовываться не раздумал?

- Не знаю, - пожал плечами Курчев. Его не сердили вопросы. Он понимал, что зла дядька ему никак не желает.

- Подумал бы еще, - сказал министр. - Хитрая это наука, - кивнул в сторону кабинета, где сейчас Алешка с женой и любовницей читали втроем реферат. - У нас, брат, с тобой таких мозгов нету, - печально пробормотал, как бы отделяя себя и Бориса от жены и названного сына. - Алешка - талант. Ничего не скажешь... И образование к тому же... А получится ли у тебя, сам знаешь, неясно, - снова развел руками, и Курчев снова не обиделся.

- Непостоянство в их науке наметилось, - продолжал дядя Вася. - Трудно им теперь. Знай, да поворачивайся. За Алешку, прямо скажу, не очень беспокоюсь. Он, хоть и не стреля-ный, а всегда вывернется... А ты, Борька, попроще будешь, - улыбнулся министр и хлопнул лейтенанта по затылку, как когда-то еще в детстве на рыбалке. До войны это называлось "дать макарону". И Курчев снова не обиделся.

- Ты здесь, Васенька? - спросил грудной голос за дверью.

- Сейчас. - Министр поглядел на племянника: тот застегивал китель.

- Вы что, курите потихоньку? - улыбка у Ольги Витальевны была снисходительная, словно она понимала и почти готова была на этот раз простить мужчинам их слабость. - Ты почему не здороваешься, Боря?

- Извините, - покраснел Курчев.

Даже в халате и шелковом платке, прикрывающем бигуди,

тетка выглядела, как на выпускных экзаменах.

- Что это у вас за банная идиллия? Четверть одиннадцатого, Васенька.

- Сейчас, - повторил министр и встал. Лицо у него было несколько раздосадованным, словно он что-то силился вспомнить. - Да, так ты не проворонь момент выписки, - снова хлопнул по шее племянника. Получилось ненатурально, поскольку дядя Вася хотел сказать совсем не то. Но, взглянув на жену, которая, высокая и величественная, в своем шелковом синем, длинном, до полу, халате ждала в дверях ванной, он четко и резко, словно у себя на работе, сказал, как припечатал.

- Пропишешься, денег дам на обстановку. - И нарочно для жены добавил: - Три тысячи с тетей Олей дадим. Так что рассчитывай, - и тут уж погладил племянника по мокрой негустой шевелюре.

19

И все-таки он чем-то напомнил заготовителя. И как раз в тот момент, когда вспомнил о деньгах. Не нужны были Курчеву эти три тысячи. То есть нужны были, но платить за них пришлось бы втрое больше, правда, не деньгами. Одних разговоров набралось бы на миллион. Сиротка!

Он глядел в зеркало. Лицо было совсем не сиротливым, но уж больно нескладным.

- Бывают же такие вывески! - вздохнул, вспомнив, что за стенкой незнакомая стройная аспирантка читает его насморочную чушь. "Кажется, красивая..." - попытался представить себе сидящую на диване гостью. Она была в сером домашней вязки свитере с высоким воротом и в длинной шерстяной юбке. Туфель он не запомнил. "Кажется, ботинки, отороченные мехом. А лицо? - спросил себя. - Лицо, кажется, овальное, продолговатое. Нос прямой, не длинный. А волосы? Каштановые, что ли?" Словесный портрет получался, прямо скажем, зыбковатым. Но сейчас, содрав с кожи пот и усталость и распрощавшись с запахами дежурки, офицерского домика и с духом заготовителя кураги, Курчев чувствовал, что аспирантка, несмотря на все старания невестки Марьяны и кудахтанья братца-доцента, ему нравится.

Если бы то же самое он мог сказать про лицо, которое смотрело на него из большого овального зеркала, укрепленного над белоснежным умывальником! Лицо точно было нехорошо. Словно его сработали наскоро - тяп-ляп, - и оно ничего не могло выразить, но очень хотело, и от этого скулы просто раздирались, как от немого крика. Такие лица, наверное, бывают у солдат, когда они раскатывают "ура" вблизи колючей проволоки. Но если

солдаты остаются живы, лица их принимают обычные людские выражения. А его лицо так казалось Курчеву - все кричало и кричало бесконечным и безмолвным криком. Даже большой лысоватый лоб не прибавлял ни доброты, ни мудрости.

- Женись, дурак, на Вальке и Бога благодари, - сказала морда из зеркала. - И нечего заглядываться на чужих аспиранток. Это не для тебя.

- А я и не заглядываюсь, - ответил зеркалу, закрутил краны и вошел в кабинет.

Аспирантка сидела на том же месте и все еще читала рукопись, складывая рядом с откры-той машинкой прочитанные страницы. Алексей и Марьяна, по-видимому, реферат прочли или просто не стали читать. Страницы второго экземпляра были рассыпаны по полу и креслу, а сами супруги о чем-то негромко, но нетерпеливо спорили возле полированного стола.

- С легким паром! Наконец-то... - вскрикнул Сеничкин голосом, выше обычного. - Выкупался, Спиноза? Ну, пойдем! - и он зло, совсем как днем начштаба Сазонов, схватил Бориса за плечо и втолкнул в темную, смежную с кабинетом гостиную.

- Да ты понимаешь, что ты делаешь? - щелкнул выключателем Алексей Васильевич. - Россия выстрадала марксизм, а ты чего несешь?.. Ты понимаешь? Нет? На Тайшет захотел? Да кто ты такой? Недоучившийся фендрик? Наполеончик от вольтерьянства? Гуманизм в единст-венном числе! Идиот последний... Прекраснодушие!? Заткни себе в одно место взамен экстракта красавки.

- У меня нет геморроя.

- Ничего, будет. От таких потуг обязательно геморрой получается. Сидел, как мышь, тихий, а тут - бац-бац - и выдумал. Тебе учиться надо, умных слушать, а не выдумывать чёрт-те что... Фурштадтский солдат. Тоже мне... Если хочешь с обозником возиться, тогда не в науку иди, а кутайся в гоголевскую шинель или стихи сочиняй. Лирику для бедных. "У бурмистра Власа бабушка Ненила починить..." Дальше не помню. Отдельная личность. Индивидуй. Марк-сизм рассматривает личность как?.. Условия для всех, а тогда уже для каждого. А ты каждого, одного, чёрт знает кого, молекулу какую-то, в главный угол вешаешь. Так в мире уже, знаешь, - чуть не три миллиарда молекул. Ну, перебери всех. Что тогда выйдет? Знаешь задачу с шестьюдесятью четырьмя клетками? На одну клетку зерно, на вторую два зерна - и так далее... На последней - какие-то нули в энной степени. Земля раньше от атомного взрыва в нуль обра-тится, чем ты до второй тысячи дойдешь. Отдельные особенности личности! Учудил! Каждый человек во главу угла... Поистине страна

большого идиотизма. Подумать, где-то в глуши, среди каких-то лесов дремучих, сидит недоучившийся дремучий техник, который пробок починить не умеет, и выдумывает теорию отдельного человека.

Алексей Васильевич ходил из угла в угол, как в аудитории, и хоть говорил несколько другим тоном и другими фразами, все равно с удовольствием прислушивался к своему голосу и даже слегка сожалел, что никто его не слышит. "Ну, нет! Не стоит всерьез сердиться ему, доцен-ту, надежде и гордости кафедры философии, Алексею Сеничкину, на этого балбеса, который-то и ни бельмеса (как сошлось в рифму, а?! Не забыть бы...) не соображает, и полагает, что филосо-фия - это наука для всех, стоит только немного поднатужиться. Балбес, неуч, не прочитавший даже того, что положено в их наробразовском, с позволения сказать, институте по ублюдочно-кастрированной программе. Дурак, который еле полз на тройках, без шпаргалетов не приходил на экзамены. Лентяй, которому место в этом Богом забытом полку, вдруг задумал тягаться с лучшими людьми нашего века. Сиротка!.. Все они, сиротки, такие... Только пригрей. Но Алексей Сеничкин не злодей. Черт с ним! Пусть идет в аспирантуру. Пусть не думает, что ему палки между спиц суют. Ничего. Обломают сивку... Пусть идет.

Может, дурь выбьют. В конце концов, складывать слова сиротка умеет. Фраза у него получается. По-настоящему, дурака надо было бы отправить с самого начала на филфак. Но он бы туда по конкурсу не прошел. А слог у него есть. Эта идиотская охламонская статья написана не без того, не без шарма".

- Это никуда не годится, - сказал доцент вслух. - Лучше всего порви. А то еще кто-нибудь прочтет и нагорит тебе по первое число. Может, особист у вас и болван - не раскуме-кает. Но наверх все равно пошлет, а там люди поумней, разберутся. Нет, честное слово, Борька, порви. А через неделю притаскивай чего-нибудь путное. Вот, на, - он вышел в кабинет, изви-нился перед женой и гостьей, открыл левую тумбу полированного стола и из нижнего ящика вытащил три брошюрки и одну переплетенную нетолстую рукопись. - Вот возьми, - сказал, возвращаясь в гостиную. - Через неделю притащишь. Передери как следует. Цитаты замени. Или место для них оставь - вдвоем заменим. Перепишем так, что сами Юдин, Митин и Константинов не докопаются. Ну, с Богом, братишка. Это тебе под силу. И не обижайся. Нельзя же кандидату в мастера садиться за доску против начинающего, который не бьет на проходе и о рокировке представления не имеет.

- Не скромничай. Ты уже гроссмейстер, - сказал лейтенант.

- Через неделю приволакивай и мы всё обтяпаем, - уже вовсе смягчился Сеничкин. - Ну, пошли. А то перед девочками неудобно.

Во время столь экспансивной лекции Курчев сидел на подлокотнике массивного кресла, весь красный, сразу от стыда, злобы, безнадежности и еще десятка других чувств, среди которых не последним была гордость: все-таки допек доцента. Но дверь в кабинет была прикрыта не плотно и гостья в клетчатой юбке наверняка слышала Лешкину истерику. И еще было обидно, что все старания пошли коту под хвост. И пущенная под конец снисходительность братца - дескать, передери, обтяпаем, - тоже обижала. В глубине души Курчев считал себя не глупее доцента. То, что Сеничкин писал, было вовсе "туши свет", хотя в своем клане Алексей Васильевич считался позволяющим себе вольности молодым философом.

Но то, что реферат, который Борис к концу этого злополучного дня в грош не ставил, вдруг привел доцента в почти неописуемую ярость, льстило. Правда, дверь ведь была закрыта не плотно и следовало внести коэффициент поправки на девушку в свитере.

Однако тон и манера разбушевавшегося доцента были менторские - и это раздражало. И никак не удавалось привыкнуть к мысли, что теперь-то уж всё. Хана. Кранты. Завтра надо являться перед ясные очи Ращупкина и - еще не ясно зачем - пред не менее ясные очи полкового особиста. И отстуканное послание в Правительство, где главным козырем была аспирантура, оказывалось чистым и бесповоротным враньем. Словом, безнадёга была полная.

- Значит, договорились? - спросил Алексей Васильевич, приоткрывая дверь в кабинет.

- Да иди ты... - прошипел Курчев.

- Самолюбие, - вздохнул Сеничкин-младший. - А я думал - ты джентльмен. - Он стоял стройный, тонкий, хорошо подстриженный, с короткой трубкой в зубах. Суженные по самой последней моде брюки, импортный пуловер, шерстяная рубашка без галстука. Вид дома-шний, но в то же время не распущенный. Мужчина, который не теряет лица в присутствии жены и любовницы. - Понимаю, неприятно. Но сдерживаться надо, стАрчек, снисходительно подбодрил Курчева.

- Да, конечно, - повысил голос обозлившийся лейтенант. - В наш век сдерживаться просто необходимо. В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства...

- Что? Что? - сощурился Сеничкин.

- То самое. Я наизусть знаю, - нехорошо усмехнулся Курчев и,

поднявшись с кресла, встал в позу Гамлета. Это он уже не раз проделывал в финском домике на потеху Гришке, Федьке Павлову и другим офицерам. Пожалуйста, - повторил, теперь уже прибавляя столько голоса, чтоб наверняка слышали за дверью.

"Нехорошо, - пронеслось в голове. - По-бабски это..." Но заряд злости был сильней этой робкой, хоть и трезвой мысли, и он стал выть, как актер из провинциальной самодеятельности:

- В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства монополистического капитала все более и более суживается, завывал лейтенант, будто это была не грешная статья в философском сборнике, а душу раздирающие стихи, - американо-английские империалисты, панически напуганные гигантским ростом сил лагеря мира, демокра-тии и социализма... для разнообразия лейтенант в этом месте перешел на сталинскую интона-цию и даже выставил для убедительности полусогнутый указательный палец, - видят единст-венный путь к сохранению своей власти в новой мировой войне.

В море крови капиталистические вандалы XX века хотят потопить стремление простых людей к лучшей жизни...

- Ну, - сжал зубы доцент.

- Как отмечалось в резолюции совещания Информационного бюро коммунистических партий, состоявшегося...

- Это подло, - сказал Алексей Васильевич и вышел из гостиной.

"Опять ты в дерьме", - подумал лейтенант, оставшись в большой комнате.

Круглый стол и восемь стульев, полированная горка, заставленная чайным и столовым сервизами, вымеренные портновским сантиметром пейзажи на стенах и два слоновьих кресла презрительно обступали неудачника. Только телевизор, покрытый черным плюшем, был безразличен, как клетка с уснувшим щеглом.

- Ну что? Застрелиться теперь? - усмехнулся лейтенант. - Так наган сдал.

Он сел в огромное кресло и закинул ногу на ногу. Сапоги впрямь были страхолюдны.

- Лучше бы пожрал у заготовителя, - сказал вслух, внезапно почувствовав голод. Дейст-вительно, он обедал сегодня одним вторым, и то стоя на ногах и без хлеба.

"Сволочной дом. Без праздника никогда не поешь. Либо им обжири-приемы, либо голодай. А так, чтоб хоть кашей с маслом накормить племянника - этого не бывает. И Лёшка тоже хорош. Пригласил женщину, а вместо еды - ла-ла. Директриса, небось, доктора наук еще покормила б, а аспирантка и так обойдется.

Ради аспирантки нет расчета скатерть снимать, - он поглядел на толстую зеленую, расписанную шелковыми цветами материю, покрывавшую стол. А что аспирантка? Перебьется. Завтра ее доцент в ресторан потащит. Теперь у него гонорары незаприходованные... Ну и ладно. Не психуй. Ехать надо... На вокзале заправлюсь. Вот машинку только куда деть? Здесь - Надька переломает, в полку - особист не вернет. Елизавете занесу! - обрадовался вдруг. - Точно, Елизавете! И письмо ей отдам. А Зубихину скажу: малявка моя, никому ее лапать не доверю. А то дашь вам, а вы как по казенной, бац, бац. А она неприспо-соблена... - Точно", - вовсе успокоился и еще раз оглядел гостиную.

Стулья, кресла, стол, горка и пейзажи по-прежнему были величественны и безлики, но уже не раздражали.

"А вы - застрелиться!" - усмехнулся и беззлобно - без слюны - сплюнул.

За дверьми в кабинете о чем-то тихо переговаривались молодые супруги. Аспирантку не было слышно.

"А, ладно, - устало подумал Борис. - Елизавету бы не разбудить. Встает рано."

Чужая, посторонняя почти сорокалетняя женщина, его бывшая мачеха, казалась сейчас лучшим человеком на земле. Он погасил свет в гостиной и вышел через вторые, стеклянные двери в прихожую. Рядом с его шинелью висела длинная, чуть ли не с шинель, коричневая выворотка, снова напомнившая об аспирантке.

"Везет охламонам!" - вздохнул Борис, напялил ушанку, влез в шинель и перекрестился ремнем. Хорошо было бы улизнуть не прощаясь, но в кабинете остались синяя папка и машинка. Тихо, чтоб не услышала Надька (из-под двери прорезывалась полоска света), он вошел в ванную и завернул в газету, под которой лежало письмо в Правительство, полотенце и мыльницу с мочалкой. Сверток он засунул в чемодан и рядом положил письмо, надеясь, что оно не промокнет. Полотенце успело высохнуть.

- Ты что, уже? - удивилась Марьяна, когда он, перетянутый ремнем, словно собрался на развод, вошел в кабинет.

- Завтра опаздывать нельзя, - кивнул, закрывая машинку. Аспирантка, по-видимому, реферат уже прочла, потому что он лежал аккуратной стопочкой рядом на диване.

- Очень красивая машинка, - сказала аспирантка.

Курчев ничего не ответил и только кивнул. Он злился, что гостья прочла реферат и еще слышала через дверь разнос, учиненный ему ее любовником.

- Машинка ничего. Работа могла быть получше, - не

удержавшись, хмыкнул Сеничкин.

- Ну, тебе бы все ругать, - отозвалась Марьяна. - По-моему, очень даже неплохо. Не слушай его, Боренька, - и она полуобняла лейтенанта. Тот, нагнувшись, собирал с кресла и пола разбросанные листы.

- Не изображай оскорбленное самолюбие, - хмыкнул Алексей Васильевич. Он снова сидел на столе и посасывал пустую трубку. - Книг не взял? Ну, не валяй дурака. За неделю сделаешь.

- Ладно, - отмахнулся лейтенант. Он собрал листы в папку, раскрыл чемодан, засунул в него машинку, сверху положил папку и поверх всего белый конверт.

- В другой раз, - кивнул Сеничкину.

- Нечего ругать было, - сказала мужу Марьяна. Она прижималась к лейтенанту. - Не так уж Боренька плохо пишет. Не хуже тебя, - ткнулась лейтенанту в плечо, словно хотела его утешить. - Правда, Инга? - посмотрела на гостью, будто приглашала ее соревноваться в утешении разобиженного военнослужащего.

- Мне понравилось, - тихо и четко сказала гостья.

Курчев распрямился и с досадой глянул на аспирантку. Его раздражал этот детский сад.

- Понравилось, - повторила гостья. - Читать удивительно интересно.

- Но какая же это философия? - улыбнулся Сеничкин, как всегда улыбался слабо успевающим студенткам. - Чистая самодеятельность. И цитаты Бог знает как подобраны. Нет, это никуда не годится.

- Может быть. Это не моя специальность, - пожала плечами аспирантка. Но читать очень интересно. Все вяжется. И ассоциаций много.

- По-моему, просто хорошая работа, - сказала Марьяна, которая всегда была добра к Борису. Впрочем, она не прочитала и половины рукописи. Просто ей хотелось позлить мужа. Но гостья впрямь удивляла Курчева.

- Я не социолог, Алексей Васильевич, - повторила она. - И никакой не философ. Но мне это любопытно. И вообще, - она снова нервно пожала плечами, словно это движение помогало ей находить нужные слова, - и вообще это самостоятельно.

- Чистейший дилетантизм, - фыркнул доцент.

- Ни в какие ворота не лезет. Разве можно принести на кафедру? В лучшем, в самом оптимальном варианте - засмеют.

- Да, для кафедры, вы правы, - не годится. А читать исключительно интересно.

Курчев почувствовал, что гостья, как и жена, слегка задирает

доцента. Она поднялась и оказалась не очень высокой, правда, выше Марьяны и еще худее.

- Мне пора, - протянула руку молодой хозяйке. Держалась хорошо, внешне ничем себя не выдавала. И даже брошенное вскользь "Алексей Васильевич" прозвучало почти естественно.

Марьяна не слишком усердствовала ее удержать.

- Мне действительно пора, - повторила аспирантка. - Нет, не беспокойтесь, - сказала Сеничкину, который, полуотворив дверку стенного шкафа, снимал с вешалки пиджак. - Меня вот... военный проводит...

Видимо, гостья не разбиралась в знаках различия, а называть впервые увиденного человека по имени не решалась.

- Вам на метро? - спросила она Курчева.

"Выдержка!" - подумал он и кивнул, понимая, что его используют, как подручные средства при переправе. Но зачем вообще ломать комедь, приводить к себе домой девчонку, с которой живешь? Или это не доцент, а Марьяна? С Марьянки станется отчебучить такое. Зазвать домой и показать сопернице, чем тут дело пахнет. Вот я - жена, вот он, мой муж, а вот ты. Ну, деточка, решайся! Слабо, а? Да, это Марьянкина манера. Что ж, довольно неглупая манера. Каждый сражается, как может. Во всяком случае, в этом нет ничего страусиного. Без обмана и самообмана..." - подумал и с легкой усмешкой ткнул невестку в плечо.

- Медведь, - фыркнула она, понимая, что он ее разгадал, и при этом не скрывая радости.

Что ж, первый раунд был за женой. В общем, Курчев почти не сомневался, что она выиг-рает и всю схватку, если не нокаутом, то по очкам. Но все-таки аспирантка была удивительней, необычней.

В прихожей доцент подавал ей дубленку и тихо - громко разговаривать здесь не полага-лось - пел по поводу вступительной главы ее диссертации, которую, видимо, еще раньше подрядился написать.

- Нет, это вовсе не трудно... Что вы! Что вы!.. Курчев видел, что аспирантке не по себе.

- Заходите, заходите, - негромко подпевала Марьяна.

- В комендатуру не попади, - вдруг повернувшись к брату, нахмурился Алеша.

- Я натощак не пью, - не удержался Курчев, чтобы не уколоть его. Но Сеничкин и бровью не повел.

- Книги возьми, - повторил надменно.

- В другой раз, - отмахнулся младший брат. - Эта неделя у меня сплошняком. Не продыхаешься.

Ему не хотелось торчать в дверях и препираться. Даже спиной он чувствовал, как аспирантка не чаяла побыстрей выскочить из этой квартиры.

20

- Ну, так как? - шепотом спросила Марьяна, когда дверь захлопнулась и они остались вдвоем с мужем в полуосвещенном коридоре.

- Бедненький Лешка, - она подошла к нему и погладила по затылку. Бедный, бедный дурашка. Нет, это абсолютно не то, что вам нужно, Алексей Васильевич. Да, Алексей Юрьевич Сретенский, это совсем не то.

Она стояла перед ним, ладная, аккуратная, пухло-губая, старший следователь по особо важным делам. Нежная, удивительно понятливая, уступчивая, снисходительная, она иногда срывалась и вдруг выскакивала другая Марьяна: лихая, грозная, безоглядная - и Алексей Васи-льевич тут же поджимал хвост. В решительные моменты у нее вдруг оказывалась эта сволочная решительность, которая, впрочем, всегда была, но только покоилась на запасном пути. Обыкно-венно Марьяна Сергеевна не слишком обращала внимание на легкие флирты мужа. "Хороший левак укрепляет брак", - задорно острила она в своей компании. Но стоило появиться серьез-ной опасности - и Марьяна преображалась. Прошлым летом, когда из ГДР приехала в отпуск Марьянина подруга по эвакуации, расфуфыренная в пух и прах переводчица Клара Викторовна - и Алексей Васильевич, приведенный в восторг разнообразием ее туалетов, уже собирался с ней переспать, Марьяна спешно выписала из Подмосковья Курчева. Но сейчас дело было серье-зней. Аспирантка была красивей переводчицы, и Алексей был настолько влюблен, что даже, по наблюдениям Марьяны, оттягивал близость с этой чертовой высокого класса девчонкой.

- Не такая женщина вам нужна. Не такая, не такая, не такая, - шептала решительная жена, доставая рослому мужу только до подбородка, но в глазах у нее сияли презрение и любовь, и, чуть привстав на носки, она уверенно, как судебное определение, впечатала в губы мужа свои губы и не отрывала их, вся вминаясь в робковатого, струсившего Алексея Василье-вича. Она вминалась в него в этом полуосвещенном коридоре, вдавливалась требовательно и нежно, и Сеничкин - или Сретенский, все равно! - почувствовал, что раскисает, отступает, покоряется ей, что сам плывет, как в нокдауне, голова затуманивается и худенькая аспирантка куда-то исчезает, а в нем самом растут гордость и тщеславие, и, наконец, появляется самое простое, такое обыкновенное желание обладать этой влюбленной в него

женщиной - и, наконец, пропадает даже самый последний страх, что все это сейчас произойдет в коридоре прямо у двери комнаты, где еще не заснула несовершеннолетняя сестра.

- За перила держитесь! Темнота... - крикнул, обгоняя девушку, лейтенант. Проклятые сапоги по-милицейски стучали подковами.. Дверь наверху захлопнулась. - Где тут чортов свет? - снова крикнул Курчев.

- Ничего, я вижу, - ответила сверху Инга.

В окна лестничной клетки пробивалось два фонаря со сквера, но все равно в подъезде было жутковато. Лейтенанту хотелось скорей выскочить на мороз, да и вообще надо было торопиться, чтобы Лизавета не успела лечь.

- Вам на какое метро? - крикнул вверх. Молчать было так же неловко, как бежать впереди.

- К вокзалам. Возле Домниковки.

- Соседи, - осмелел лейтенант, распахивая двери парадного. Мороз убавился или после тепла не так ощущался. Ветра в закутке тоже не было. Два фонаря над сквером почти не раскачивались.

- Мне на Переяславку, - быстро, как пули, сажал он слова. - Сейчас на стоянке словим...

- Зачем? Вон же автобус.

Действительно, по тихой черно-белой бесшумной улице, желто оплывая стеклами, плыл медленный, как рок, автобус. Курчев удивился его величественности. Он был точно таким, как тот, что шел по загородной магистрали, но загородный выглядел проще и подходил к остановке весь замерзший, как бы извиняясь за опоздание. А этот плыл, словно по собственной прихоти, словно он не для пассажиров, а так, сам по себе, изначальный и вечный, как время.

- До библиотеки, - сказала Инга и остановилась в проходе, ожидая, пока лейтенант, позвякивая мелочью, расплатится с кондукторшей. Пожилая сонная женщина оторвала длинную узкую полоску от бумажного ролика. После Арбатской площади тариф увеличивался вдвое. Пальцы у кондукторши, сморщенные, черные, словно она всю жизнь только чистила картошку, сиротливо выглядывали из нарочно обрезанной на два сустава перчатки.

В автобусе никого не было. Инга придвинулась к окну, зябко повела плечами и улыбнулась, как бы объясняя лейтенанту, что устала в том министерском доме и здесь, в пустом позднем автобусе, ей куда проще и уютней. Лейтенант сел рядом на самый краешек сидения. Лицо у него было мрачноватым, словно тоже старалось соблюсти дистанцию. Аспирантка ему нравилась, но он

злился на доцента и выслушивать любовную исповедь Лёшкиной знакомой ему не хотелось. Но Инга молчала и только улыбалась. Нахмуренное лицо странного офицера все-таки не могло убить радости от того, что неприятный вынужденный визит, наконец, окончен, и можно рассла-биться, быть самой собой, сидеть, как хочешь, улыбаться, даже напевать про себя какую-нибудь чушь. Ей жаль было этого нескладеныша-лейтенанта в узкой тесной шинели и в огромных сапогах и, преодолев обычную застенчивость, она сказала тихо и добросердечно:

- В одном ваш кузен прав - в аспирантуру с таким рефератом не примут.

- А ну его, - лейтенант оторвал руку от переднего поручня и с трудом удержался на месте. Автобус делал разворот на Арбатской. К кому относилась реплика - к реферату или к доценту - так и осталось неясным.

- Жаль, - сказала аспирантка. Ей было по-прежнему смешно, но говорила она благоже-лательно. - Очень интересная работа. Главное, минимум жвачки.

- Вы, что? Всерьез? - сощурился Борис.

- Угу, - кивнула девушка.

- Реферат - туфта, - отрезал коротко. Не хотелось покупаться на мнимую доброту. Он уже представил себе, как завтра, сидя за каким-нибудь угловым укромным столиком окраинного ресторана, аспирантка будет корить Алешку за слишком строгий разнос реферата и потом, милостиво простив любовника, расскажет, как пыталась утешить нелепого военного.

"Ну вас всех к лешему, - решил Борис. - Кто там кого осилит - Марьяна вас или вы Марьяну, - мне все равно. И плевать я хотел на всех вас, Сеничкиных, и на вашу подачку в три тысячи гульденов."

Правда, девушка была очень хороша. Впрочем, это-то и раздражало, а ему с ней еще после автобуса предстояло ехать шесть остановок в метро.

- Реферат - туфта, - повторил. - На жизнь не похоже. В жизни дерьма ого-го! А у меня в реферате детская арифметика.

Инга, прижимаясь плечом к стеклу, из-под алого вязаного башлыка глядела на чудного офицера. Что-то в нем было детское, капризное, надутое, как в неловком, некрасивом ребенке. Хотелось потрепать по ушанке, успокоить. Говорил он сбивчиво, трудно было его понять и трудно было поверить, что толковый в общем, любопытный по мысли и свободный по языку реферат написан этим самым чудаком.

- Ваша остановка, - пробурчала кондукторша. Автобус остановился, дверь сжалась и отворилась. - Всё ла-ла... Спешить

дармоедам некуда...

Курчев хотел огрызнуться, но взглянув на спутницу, устыдился своей горячности и впервые улыбнулся.

- А вы о чем пишете? - спросил, когда выпрыгнул из автобуса.

- Английский роман прошлого века. Теккерей, - отпарировала насмешливо и звонко. Чувствовалось, что ее довольно часто об этом спрашивают и ответ и интонация у нее отрепе-тированы. - Подальше от дерьма, как вы говорите, повернула к нему голову.

- Такси! - крикнул он и поднял руку. Мимо проезжала "Победа" с зеленым глазом.

- Бросьте! - схватила его руку аспирантка. - Вот же метро.

Шофер не остановился.

- Вы оказывается бретер?

- Бретёр, - поправил Курчев, не понимая, что она сказала на английский манер. - Я спешу.

- Метро всего быстрее, - ответила Инга. - Я каждый день сюда езжу.

- Ах, да! Третий научный... Нашего брата туда не пускают...

- А вы напишите другой реферат и пустят...

Они спускались по мокрой гранитной лестнице. Девушка весело помахивала рукой в варежке. Видимо, что-то про себя напевала.

- Нет, - сказал Курчев, - с меня хватит! Тьфу, чёрт... Опоздал! скривился он, взглянув на часы над кассой. - Опоздал, - повторил, сверяясь со своими.

- Не надо. У меня есть, - сказала девушка, протягивая билетную книжечку контролеру.

- Вам сейчас на работу? На вашу работу? - поправилась она.

- Да нет... К мачехе. А они рано ложатся. Времени было четверть двенадцатого.

- Я бы на вашем месте все-таки поступала, - повторила девушка. - Или вы делаете удачную карьеру?

- Карьеру? На карьере у меня кирпич. Выше капитана никак не прыгнешь. Да еще трибунал корячится, - прихвастнул, преувеличивая неприятности. - Вот мачехе письмо вез, чтобы в Кутафью башню отнесла. Прошение на имя Маленкова. Теперь по почте посылать придется... В общем, неинтересно... оборвал себя, потому что получалось жалостливо, а какое дело чужому человеку до твоих несчастий?

- Большие неприятности? - помолчав, спросила девушка уже на перроне. Разговор сам собой завязался и не продолжать его было невежливо.

- Да так... В общем, я решил когти рвать - демобилизовываться...

- Вот и поступайте в аспирантуру...

- Нет. Для них писать - себе дороже... Если б еще про девятнадцатый век, я, может, и подумал, но меня сегодняшнее интересует. Ненавижу историю.

- С сегодняшним сложнее, - согласилась аспирантка. - Даже с меня требуют. Просто не знаю, как выкручиваться.

Подошел поезд. Они вошли и стали у противоположных дверей.

- Спасибо, ваш брат обещал написать самые идейные страницы, - не позволила Инга затухнуть разговору.

- Он умеет, - вздохнул Курчев, не желая ругать Алешку. Хвалить же доцента было не за что.

- Да, это неприятная работа, - согласилась аспирантка. - Но у него как-то получается.

- Вранье, как ни переворачивай, все равно вранье.

- Не вранье, а общие места. Их очень трудно излагать так, чтобы звучало не стерто. Нужно все время использовать цитаты, а это унизительно.

- Да, унижения вагон. От вранья и унижение.

- Нет, не от вранья, а от скованности. От обязательной дани. Это не одно и то же. Я чуть не ревела, когда начала писать основополагающую главу. Слова выходят какие-то нечеловеческие...

- Точно, - улыбнулся Курчев. - Но есть мастаки. Я на гауптвахте видел одного такого. В позапрошлом году я сидел по одной глупости на гарнизонной губе под Питером. И вдруг повсюду выключили свет. А в этот день как раз печатали газету, дивизионку. И меня, как самого грамотного, послали крутить в редакции ручку печатной машины.

В редакции двери настежь - лето. Я ручку кручу, а в кабине пропагандист из Ленинграда инструктаж толкает. Как, мол, надо писать передовицы и вообще все статьи. "Я, говорит, товарищи, уже двенадцать лет поступаю так. Я покупаю тетрадки, очень удобные, портативные, вот такие, в переплетах. У меня их уже больше двадцати набралось. Вам тоже советую не пожалеть денег и купить несколько штук. И вот в эти тетрадки я заношу всякие удачные выражения, как например: 'твердыня мира', 'бастион социализма', 'оруженосцы американо-английского империализма', 'пропагандистская машина' и другие". Он их насчитал штук сто. Я всех не упомнил, - хитро улыбнулся Курчев, потому что все примеры были взяты из статьи доцента. - В общем, у него был полный набор с прицепом. "Так вот, говорит, - товарищи, я все это записываю в тетрадку. И вот, скажем, мне поручают написать доклад или статью для окружной газеты. Я по-военному отвечаю

'слушаюсь' и сажусь писать. И пишу, - сначала черновики. Пишу своими словами. А когда первая часть работы окончена, я вынимаю свои тетрадки и смотрю, какие слова можно заменить на научные красивые словосочетания. Вот для чего нужны, товарищи, тетрадки."

- Шутите? - засмеялась аспирантка.

- Ей-Богу, нет.

- И считаете, что у вашего брата тоже такие тетрадки заведены.

- А ему зачем?.. - снова вовремя удержался Борис. А хотелось ему сказать, что у Алешки и без тетрадей голова набита дребеденью.

- Всё равно спасибо Алексею Васильевичу, - сказала аспирантка. - Если, конечно, напишет, а не подведет...

- Не подведет. - Курчев поглядел на ручные часы и снова нахмурился. Аспирантке стало неловко, словно это она его задержала у Сеничкиных и вот сейчас останавливала поезд на всех подземных станциях.

- Совсем опоздали? Вам, наверно, стоило попросить Сеничкиных... Или в башне большая очередь?

- Да нет. Там никого. В окошечко сунуть и все. Ни расписки, ничего... Это напротив, в Президиуме, у Ворошилова очередь. А тут, как в почтовый ящик. Сунуть и все... А, плевать! - вздохнул, так как не умел долго расстраиваться. - Наклею марку и пошлю.

- Хотите, я отнесу? - вдруг спросила аспирантка.

- Вы всерьез? - обрадовался он. - Да нет... Неудобно.

- Отчего же? Я каждый день бываю напротив.

- Ах да, третий научный!..

- Он самый, - улыбнулась девушка. - Давайте письмо.

- Ловлю на слове, - осмелел лейтенант и, приоткрыв чемодан, достал конверт.

"Хорошо, - подумал, - что заклеил!"

- Слушайте, - вдруг вовсе расхрабрился, - а машинку не возьмете?

- Тоже туда отнести? - усмехнулась девушка.

- Да нет. Просто у себя дома оставьте. Мне ее сейчас деть некуда. Я мачехе вез. Печатайте сколько хотите...

- А вы в камеру хранения сдайте, - удивилась своей находчивости аспирантка.

- Я уж думал, - покраснел лейтенант. - Но там только пять суток держат, а у меня неделя ареста и еще, наверняка, добавят, - объяснил, смешавшись, боясь, что аспирантка подумает, будто он с помощью "малявки" пытается упрочить знакомство. - Мне раньше чем через двадцать дней не вырваться.

- Да нет, пожалуйста, - уступая напору, сдалась девушка. - Только тогда телефон запишите. Но я редко бываю дома.

- Мне не к спеху. В полку она мне ни к чему.

- А вдруг передумаете и другой реферат напишете?

- Нет, - покачал головой и тут же поезд остановился на станции "Комсомольская".

21

Запахи позднего пустого метро - резкие запахи подтаявшего снега, влажного сукна, мокрого меха и сырой кожи - были последними для лейтенанта запахами города и до одури кружили голову.

- Все-таки как-то неловко, - вздохнул, подымаясь рядом с девушкой по желтой от снега и опилок лестнице.

- Ну, как хотите... - пожала плечами аспирантка.

Он посмотрел в ее лицо, охваченное темно-алым башлыком. Черты были правильными и ресницы длинными, почти как у Вальки Карпенко, но вся она была другая, и лейтенант ее слегка пугался.

- Я всегда считала, что военные - народ решительный, - улыбнулась девушка.

- Да какой я военный, - сказал Курчев. - Но все равно я очень благодарен вам... И за письмо, и за машинку. А то мне ее хоть прямо в урну кидай.

- А я думала, вы ее жалеете...

- Вообще-то жутко жалею. Но сегодня я, как Епиходов... Двадцать два несчастья.

Они поднимались по недлинному эскалатору.

- Записывайте телефон и давайте ваше сокровище, - сказала девушка.

- Я провожу...

- Зачем? Вы торопитесь, а она вовсе не тяжелая. Мне ведь близко.

- Раз с машинкой в порядке, то не тороплюсь. Мне бы только одну минуту - узнать, когда последний паровик, - заторопился он. - Или вы очень спешите?

- Нет. Мне близко, - повторила девушка. Она прошла с ним вдоль вокзального здания, мимо камер хранения и залов для транзитников.

- До... - буркнул он в слепое сонное окошечко пригородной кассы и тотчас обернулся к девушке.

- Там живете? - вежливо спросила она. - Или это военная тайна?

- От этой военной тайны еще восемнадцать километров и всё пешком.

- Ого, - откликнулась девушка. - А вы еще не хотите в аспирантуру.

- Рад бы, да грехи...

- Какие там грехи?! У вас отличная работа. Я даже хотела у вас попросить экземпляр для мужа.

- Вы замужем?! - вдруг обрадовался Борис.

- Что - не похоже?!

- Да нет. Чудно... Нет, извините...

- Вас словно это радует, - сказала Инга.

- Ага, - засмеялся он, как человек, разом потерявший страх. - Правда, не торопитесь? - спросил теперь уже совершенно свободно и спокойно. - А то я с полдня не ел. Может, посидим? - кивнул на длинное здание вокзала. - Или это неудобно?

- Нет, - снова зябковато пожала плечами. Курчев заметил, что этим движением она как бы себя подбадривает.- Удобно. Просто мне трудно следить за переменами вашего настроения.

- Это от смущения, - улыбнулся он. - Тогда пошли. А то меня сегодня подвергли остракизму и я почти не запитывался.

Теперь ему было с ней легко, почти так же, как с Гришкой Новосельновым или с Федькой. Не надо было искать слов. Они сами весело выскакивали, как патроны из автоматного рожка, когда разряжаешь магазин, и звонко раскатывались по квадратному столику между тарелок и фужеров. В безвкусном грязноватом заставленном пыльными пальмами ресторане для транзит-ников было пусто и тускловато, и Курчев, не стыдясь своего мятого засаленного кителя и огромных сапог, сидел напротив девушки так же непринужденно, как у себя в проходной комнате финского домика. Официант работал споро, заказывать было почти не из чего - и теперь в ожидании бифштексов с луком они ели холодную рыбу, запивая красным вином.

- Выбирайте вы. Я не голодна, - сказала Инга и возвратила Курчеву меню, и только теперь, заказав еду и вино, он вспомнил, что к рыбе положено белое.

- Извините, у нас полтораста с прицепом пьют. Это я от Сеничкиных кое-чего поднабрался, - засмеялся Борис. - А Теккерёя (он сделал ударение на предпоследнем слоге), если честно сказать, я не читал.

- Прочтите. Он ничего. Должен вам понравиться.

- Конечно, понравится. Не сопливый?

- Нет, это Диккенс.

- Я сопливых не люблю. Я больше по насморку, - попытался сострить Борис. Ему хоте-лось теперь, чтобы женщина еще что-нибудь сказала о его реферате.

- Я мужу покажу и еще одному приятелю, - сказала она,

словно знала его мысли. - Они понимают. Много прочесть успели.

- А я мало... - весело вздохнул Борис. - В институте так тралили-вали... Да и институт у меня, простите, бабский был.

- Педагогический?

- Угу. Четыре года коту под хвост. Даже теперь не помню, на что ушли... Все, что прочи-тал стоящего, - это Толстого и вокруг.

- Разве стоящее?

- По мне - еще как! Логика железная.

- А по-моему, злобный старик, - усмехнулась Инга. - Ханжа. Я где-то читала, что его теорию непротивления мог бы выдумать Наполеон на Святой Елене.

- Не знаю, - смешался Курчев. - Для меня он - гений. В религии его я не смыслю, но Наполеона он здорово раскладывает. Хотя, конечно, привирает. Наполеон - тоже гений.

- А женщин как ненавидел! - подхватила Инга. - Сплошные комплексы. Элен - какая-то кукла. Мстил, наверно, какой-нибудь отвергшей его красавице. А Наташа?! Эпилог явно при-думан для Софьи Андреевны. Чтобы не слишком огорчалась из-за бесконечных беременностей. Надо было жениться на крестьянке, а взял барышню...

- Я не об этом. Из двоих всегда один страдает, а другой вперед вырывается. Муж и жена вообще, как два стебля в одной банке - кто из кого больше высосет.

- Оригинальный взгляд на супружество. Вы что, женаты? - тряхнула головой аспирантка, словно хотела откинуть прядь со лба.

- Нет. Бог миловал. А что - разве не прав? - поглядел ей в глаза, будто допрашивал, так ли у нее с мужем.

- В реферате вы проповедуете равенство, - уклонилась она от ответа.

- Реферат - чепуха. Лабораторный опыт. Дистиллированная вода. Движение без трения. В общем, в жизни всё не так.

- Про женитьбу я, может, и не прав, - добавил, уже не поднимая глаз, но насчет другого - это точно. Химически чистого в природе ничего нет. Даже разложите доброту - и разных составляющих выйдет больше, чем цветов в спектре.

- Чересчур для меня сложно, - сказала женщина. - Выпьем лучше за ваш успех. - Она тронула левой рукой кожаную папку, лежавшую за ее спиной. В папке покоилось письмо в Правительство.

- Хорошо. За вашу легкую руку!

Звон толстых вокзальных фужеров больше напоминал писк, но Курчеву хотелось верить, что это колокольный звон судьбы.

"А вдруг она возьмет и разведется с мужем, и я не окажусь

вралем", пронеслось в мозгу.

Ему по-прежнему было легко и свободно, а после жареного с луком мяса даже сытно и беспечно. Разговор с Ращупкиным и особистом был где-то далеко - за ночным пригородным паровиком и долгой дорогой сквозь снег и темноту лесного шоссе, а тут напротив сидела моло-дая женщина, от которой ему ничего не нужно, пусть только сидит напротив и разговаривает с ним, пока длится ужин и официант не несет чая и счета.

- И все-таки вам надо в аспирантуру, - повторила девушка.

- Не возьмут. Я беспартийный.

- Ну и что? Я тоже.

- Вы молодая, а у меня через месяц срок выходит. Билет положу.

- Теперь можно продлиться, - сказала Инга, и Курчеву вдруг показалось, что это мгновение уже было. Да, точно было. Он вспомнил, что ту же фразу сказал в дежурке истопник Черенков.

- Нет, - ответил. - У меня с этим делом всегда неприятности выходят. Я даже в армию загремел оттого, что не достал партийного поручительства.

- Как? - вскинула она голову, и косая прядь откинулась назад. - А я даже хотела спросить, почему вы туда попали. Не получили диплома?

- Нет, получил. Только у нас этот бабский монастырь был без военного дела и меня загребли солдатом.

- Простым солдатом?

- Ага... Собственно, меня уже взяли на радио, в монгольскую редакцию, но я не достал партийных поручительств. Нужно было два. Одно дала мачеха, а второго никак раздобыть не удавалось. Ну, а тут как раз повестка...

- А разве Сеничкины беспартийные?

- Лешка тогда в кандидатах ходил или, кажется, только перешел, а дядька... Ну, в общем, это не больно интересно. Знаете, родственные отношения, - отмахнулся Курчев. - Слишком смахивает на жалобную книгу. Если демобилизуюсь, жалеть не буду. Армия тоже чего-то для соображения добавляет.

- Жаль, - сказала аспирантка. - А вам как раз учиться стоило. Вы давно в армии?

- Осенью будет четыре года.

- А разве теперь не три служат?

- Двадцать пять, - усмехнулся Курчев. - Я ж офицер. Выпил за здоровье саксонского курфюрста.

- Как Ломоносов?

- Ага. Вы все знаете! - обрадовался он. - Понимаете, нас загнали в летние лагеря. Жара была собачья и никакой тени.

Зенитные стрельбы с зеркальным отворотом. То есть стреляешь в самолет, а снаряд летит на сто восемьдесят градусов не туда. Пить жутко хотелось, а вода - одна соль. Месяца два, разморенные, в окопчиках жили. Меня за близорукость из первых номеров турнули и трубку в ухо сунули. Вместо того, чтоб в небо через окуляр глядеть, кричал по-стариковски: "Шамолет пошел на пошадку" или что-нибудь в этом роде... Квадрат такой-то, цель такая-то. Старушечье занятье. Сидел под маскировочной сеткой и глядел на карту. А наводчикам и вообще всей орудийной прислуге еще хуже доставалось. Бани никакой. Только, что в море купались. Вот и у меня волосы вылезли, - он тронул макушку. Ну, и в общем, прибегает к нам в окопчик чудак из штаба дивизии в легких брезентовых чувяках. Высший шик считалось. Только не всем разрешали такие носить. "Кто хочет, - кричит, - учиться на младших лейтенантов-огневиков, подавайте заявление в ... ну, в общем, при одном училище на шестимесячные курсы." Я, не отрывая трубку от уха, говорю ему: "Нет желающих, товарищ лейтенант, микромайорами топать". Микромайоры - это так окрестили в армии младших лейтенантов.

А жара зверская. Гимнастерки от пота - прямо как сапоги - торчком стоят, а пилотки у всех сплошь белые. Воду мы в них набирали из ручья и через все поле тащили. Соленая была, как почти в самом Азовском.

Через неделю или меньше снова заявляется тот же чудак и орет: "Кто хочет учиться на младших лейтенантов-связистов, подавайте заявление". Словом, туда, на восток, на девятимесячные курсы. Где-то возле Волги одно малоинтересное училище. Я думал опять сказать: "дураков нет", но у нас двое ребят тут же согласились. Или жара их допекла, или не хотели в колхоз возвращаться, один агрономом был, другой - механизатором.

А тут уже и жара поутихла, холодно даже стало - всё время есть хотелось. Многие полки к себе в города смылись, только один наш да штаб дивизии оставались, - и снова прибежал тот же самый старший лейтенант, теперь уже в хромачах, и предложил: "Кто хочет учиться на лейтенантов-радиолокационников, подавайте заявление на годичные курсы в училище под Ленинградом"... Ну, и тут мне в башку стукнуло. "Когда, спрашиваю, начало?" - "Месяца через два..." И я соображаю, что ехать туда через Москву. И прямо в окопчике пишу это самое ходатайство - рапорт. Глаза, думаю, у меня минус три. Съезжу туда, в Москве покантуюсь... Курчев на минуту осекся, потому что ему не хотелось рассказывать, зачем он хотел задержаться в Москве. - Покантуюсь... А под Питером разберутся, что у меня зрение никуда - и назад бортанут. Туда-сюда, глядишь, месяц

долой. В армии - самое милое дело кататься. Ни подъема тебе, ни физзарядки, ни нарядов на кухню...

- Плохо в армии? - сочувственно спросила Инга.

- Тоска. Кто сидел, говорят, похоже на лагерь, только дисциплины больше.

- А как же близорукость? - спросила Инга.

- Никак. Медицинской комиссии не было. Сказали, раз для солдата годишься, так и для техника сойдешь. В общем, вот и ношу шкуру... - хлопнул себя по серебряному, изрядно потемневшему погону.

- Да, не слишком у вас складывалось серьезно. Импульсивно скорей... А пишете вы все равно хорошо.

- Ну, нет, - смутился он. - Вы лучше о себе расскажите, а то я весь вечер собой занял.

- У меня ничего удивительного. Поздно уже. Идти надо, - снова зябко повела плечами и улыбнулась официанту. Он сидел за соседним пустым столиком и тут же подошел. Курчев расплатился. Вышло довольно дешево, что-то меньше шестидесяти рублей.

22

За время ресторанного сидения мороз усилился и ветер стал резче. Но отогревшемуся лейтенанту мороз и ветер пока не мешали. Он даже не опустил ушей. Впрочем, до переулка, где жила аспирантка, было рукой подать. Они молча прошли под железнодорожным мостом мимо похожей на отрезанную половину гигантского костела высотной гостиницы и вышли на темную Домниковку. Разговор как-то сам собой оборвался в гардеробе ресторана и начинать его на холоду было не с руки, тем более, что теперь он уже все равно не долго бы длился. Но молчать тоже было неловко, хотя эта неловкость как раз и говорила о какой-то связи, пусть самой дальней и самой непрочной, а все-таки существующей, реальной. Два человека, ничего не зная друг о друге, случайно столкнулись в чужом доме, разговорились, даже выпили легкого красного вина, и теперь идут по спящей замерзшей Москве - и идти им осталось не больше трехсот шагов.

Аспирантка была для Курчева сплошной загадкой, и он даже не пытался расспрашивать ее о муже. Она свалилась в конце сумасшедшего дня, когда лейтенант зверски устал и голова почти не соображала. Кроме того, из расспросов никогда ничего не узнаешь. Это Борис знал по опыту. Лучше всего раскрыть себя в разговоре и тогда собеседник не удержится и сам начнет распахиваться. Но в ресторане от голода, заморевности, неудачи с рефератом и кучи дневных, еще армейских, неприятностей Борис

слегка ошалел и, проворонив момент встречной исповеди, чересчур рьяно начал выдавать на-гора свою биографию. Он словно забыл, что через стол сидела женщина. Замужняя женщина, которая отчего-то, от жалости к нему или от своей тоски, съела с ним за компанию бифштекс с луком и выпила за его удачу. Тогда он о ней не думал как о реальной женщине. Но теперь, на холоду, оттого, что скоро надо было с ней распрощаться, он понял, что это пусть и чужая, но совершенно необыкновенная женщина, и вот он сейчас ее проводит - и всё... Больше ее не будет, а он пойдет через лес и поле один. И тогда ему стало не по себе.

- Инга... - не выдержал он. И тут она схватила его под руку, вжалась в него плечом, словно скрывалась от кого-то, и прошептала:

- Тише...

Они как раз должны были свернуть в ее переулок, но женщина, прячась за широким боком лейтенанта, потянула его дальше, через дорогу по затемненной Домниковке.

- Муж, что ли? - не вытерпел Курчев, близоруко разглядывая спускающуюся по переул-ку тощую невысокую фигуру в осеннем пальто и меховой ушанке.

- Нет. Потом, потом... - не пряча смеха, шептала Инга и быстро тащила Бориса дальше по улице.

На следующем углу торчало полуготическое здание из красноватого кирпича. "Монастырь, - подумал лейтенант. - Отсюда, наверно, и Домниковка." Они свернули в переулок. Он тоже поднимался горбом, как предыдущий, по которому спускался худощавый человек в ушанке.

- Приятель, - сказала Инга, когда с Домниковки их уже нельзя было увидеть. - Очень милый человек. Но... - оборвала она фразу и улыбка по-прежнему не сходила с ее лица.

- "Караульщик", - хотел сказать Курчев, но сказал: - Холодно сегодня...

Это могло относиться и к человеку, который намерзся в переулке, ожидая загулявшую аспирантку, и к самому себе, к своим восемнадцати километрам от железнодорожной станции до полка. Инга приняла замечание о погоде как мужскую солидарность.

- Наверное, что-то передать хотел, - сказала почти серьезно. - Очень начитанный человек. Обещал помочь с диссертацией.

- У вас тут целый комбинат.

- Да. Еще бывший муж консультирует, - снова засмеялась Инга и Курчев опять почувст-вовал несвободу.

Инга шла с ним под руку. Чемодан пришлось держать в

правой руке. Впрочем, в такой темноте и в такой поздний час вряд ли бы навстречу попался полковник. Несвобода была в другом. Опять выходило наружу мистическое предчувствие. "Будто сам накаркал!" - сказал он себе. Теперь уже и ему было ясно, что аспирантка свободна от мужа и, по-видимому, также от ожидавшего ее в переулке начитанного доходяги в ушанке. Оставался один Лешка.

"Хорошая девчонка! - подумал Курчев, восторгаясь спутницей и одновременно злясь на свою скованность. Они снова молчали, но улыбка все еще бродила по тонкому продолговатому лицу молодой женщины.

- Болван немой!" - ругал себя Борис, но не мог выдавить ни слова.

- Сюда, - сказала аспирантка. Они вошли с другой стороны, с параллельной Домниковке Спасской, и остановились у красного кирпичного дома старой постройки.

- Давайте ваше сокровище и реферат.

- Для начитанных? - наконец выдохнул Курчев, раскрывая чемодан.

- Угу, - кивнула женщина. - И для меня тоже.

- Голос у нее все еще был веселым. - Хотите, я вам вынесу Теккерея? Тоже поможете. Или уже бежать надо?

- Нет, - помотал он головой.

Она вошла в подъезд. Борис поглядел на часы.

До последнего поезда оставалось двадцать четыре минуты.

"В крайнем случае поеду голосовать на шоссе" - решил он, чувствуя, что его уже всего пробрало любовью к вошедшей в подъезд женщине. "Тебе недолго! - попробовал разозлиться, но злости не получилось.

- Ну, куда с твоим суконным рылом?" Но внутреннего диалога тоже не выходило.

В переулке перед подъездом ветер гулял вовсю, но войти в парадное было неудобно. Особенно теперь, когда муж оказался бывшим.

- Слишком много сложностей! Всегда сложности, - сказал лейтенант.

Что ж, даже с Валькой Карпенко было не просто.

- Тебя погубит анализ, - сказал вслух.

Дверь парадного отворилась. Инга встала на пороге с двумя толстыми зелеными книгами. Дубленки и башлыка на ней уже не было.

- Простудитесь! - испугался Курчев и схватился за дверь, чтобы затолкнуть аспирантку в подъезд.

- Ничего. Я на минуту, - сказала она. - Не люблю стоять в

парадных. Она снова зябко повела плечами, возможно, теперь уже действительно от холода.

- Счастливо, Борис, - назвала его по имени. - Письмо передам завтра. Вдруг и впрямь принесу вам удачу. Звоните, когда будете! - и, помахав рукой, она тут же отпустила дверь и та гулко хлопнула благодаря своей, видимо, еще дореволюционной пружине.

Лейтенант взглянул на номер дома. Над цифрой по белому кругу даже в тускловатом свете уличного электричества легко прочитывалось название переулка

- Докучаев.

- Ну и ладно, - вздохнул лейтенант, как будто в названии ему почудился скрытый намек. - Я не навязывался.

Он спустился по Домниковке и быстро дошел до вокзала. В зале транзитников купил у телеграфистки два конверта: на первом вывел адрес части и свою фамилию, на втором - адрес мачехи: Москва, Переяславка.

На обороте лилового телеграфного бланка печатными буквами, чтобы было разборчивей, он написал:

"Елизавета Никаноровна!

Извините за назойливость. Если я Вам понадоблюсь, напишите. Адрес на конверте. Привет Славке и Михал Михалычу.

Еще раз извините. Ваш Борис.

Я был в городе всего полчаса.

18 февраля 1954 г."

Кинув письмо в высокий узкий деревянный с аляповатым государственным гербом ящик, он вышел на платформу. В тусклых окнах ночного поезда людей не было видно.

"Остановок, небось, не объявляют", - подумал Борис и на всякий случай прошел по платформе вперед и залез в первый от паровоза вагон.

23

Инга поднялась по лестнице на третий этаж, сняла английский замок с собачки и осторожно закрыла дверь. В два часа ночи квартира спала и света в прихожей не было. Инга подхватила башлык и дубленку, которые нарочно бросила на сундук, чтобы не стоять лишней минуты в подъезде, подняла с пола реферат и машинку и, не зажигая света, прошла к себе в комнату. Она жила в этой квартире с рождения и знала ее наощупь. Двоюродная бабка Вава спала или притво-рялась, что спит на своей кушетке, и не шелохнулась при скрипе двери. Инга засветила ночник над своим узким диваном и развязала тесомочки синей конторской папки.

Шрифт у машинки был мелкий, но довольно четкий, хотя

лента немного ссохлась. Лейте-нант печатал через два интервала, оставляя большие поля. Видимо, разгонял страницы.

Инга уютно, подтянув колени к самому подбородку, свернулась на узком жестковатом диванчике и медленно начала перечитывать реферат.

Борис Курчев

О НАСМОРКЕ ФУРШТАДТСКОГО СОЛДАТА

(Размышления над цитатой из "Войны и мира")

"Вопрос о том, был ли, или не был у Наполеона насморк, не имеет для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фурштадтского солдата."

Л. Толстой

Надеясь унизить Наполеона, Лев Толстой приравнял его к самому последнему обознику. Великий писатель не прав. Но в данной работе мне не хочется полемизировать с Толстым в оценке способностей французского императора. Задачи реферата гораздо уже. Я хочу весьма приблизительно, хотя бы пунктиром, обозначить границы самой ничтожной, самой малой человеческой величины, определить место мельчайшей личности в многомиллионном людском ряду.

Если человеческое общество вообще можно с чем-то сравнивать, то я позволю себе срав-нить его с чрезвычайно длинной десятичной дробью, где самый главный член общества будет стоять слева от запятой, а самый ничтожный справа от нее, замыкая весь ряд.

С чисто математической точки зрения - это, конечно, несерьезно, так как в практических расчетах последние знаки зачастую отбрасываются и измерения ведутся с известной долей приближения. Но в расчетах человеческих такой метод приемлем.

Безусловно, в сводке после Бородина потери давались округленно до тысячи или даже до десятков тысяч, то есть счет велся слева направо, причем каждый левый арифметический знак был важнее последующего. Но, если на минуту забыть о реляциях, посланных в Петербург или в шатер Наполеона, а представить себе реального обозника с оторванной ядром ногой (о мыслях убитого прекрасно писал сам Толстой - см. "Севастополь в мае"), то для этого раненого солдата такой отсчет (слева направо) покажется бесчеловечным. Живое округлять нельзя.

Правда, есть некое, иногда чуть ли не мистическое, родство между последним и первым членом нашей десятичной дроби. К этому родству я еще вернусь, но пока лишь замечу, что это родство явно не равнозначно, то есть привязанность последнего знака дроби к цифре, стоящей перед запятой, гораздо сильней, нежели этой цифры к последнему знаку. Недаром же реляции с

Бородинского сражения писались весьма округленно и точное число потерь неизвестно и по нынешний день.

Все мы помним переведенный Маршаком английский детский стишок "Гвоздь и подкова".

Не было гвоздя - подкова пропала,
Не было подковы - лошадь захромала.
Лошадь захромала - командир убит.
Командир убит, армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице не было гвоздя.

Казалось бы, этот стишок восстает против округленных реляций и защищает важность и весомость самого последнего знака (в данном случае гвоздя) в нашей десятичной дроби. Но это защита лишь кажущаяся, мнимая. И счет здесь идет опять-таки слева направо, так как стихотворение (конечно, очень наивно и общо) пытается определить полезность малого с точки зрения целого. Но самоценности малого оно не определяет.

Могут возразить, что речь в стишке идет о неодушевленном предмете, то есть о гвозде и не более, чем о гвозде. Но как часто в литературе, и не только в литературе, прибегают к сравнениям человека, личности, с гвоздем, винтом, болтом, гайкой, колесиком и прочей мелкой техникой.

Всякое сравнение обедняет, если не обесценивает сравниваемое. А сравнение живого с неживым, мне кажется, вовсе уничтожает жизнь. Ибо живое самоценно, но никому не придет в голову рассуждать о самоценности колесика или болта. Да и смешно говорить о часовом механизме с точки зрения гайки.

Гайку в механизме можно заменить, дробь округлить, то есть отбросить последние знаки. И такие замены и округления вполне правомерны под углом всеобщей пользы или пользы первого знака дроби. Но вряд ли они правомерны со стороны замененного или округленного (т.е. отбро-шенного человека).

Главная идея "Войны и мира" - идея народная, писал Лев Николаевич.

Но что такое народ? Чисто арифметически - это совокупность отдельных малых и больших величин - личностей. И опять-таки это нечто общее, большое, целое, которому не страшна потеря малого, то есть - округление. В понятии народ существуют реальные связи и связи чисто мистические, которые помогают затушевать или, наоборот, раздуть связи реальные.

Когда-то в детстве мне попался на глаза том то ли "Освобождения крестьян", то ли "Истории XIX века", запомнилась литография "Николай I хоронит солдата". Снег. Страшный петербургский холод и император в своем кивере то ли идет за

гробом, то ли даже несет гроб на плече - сейчас уже не помню. По-видимому, эта литография - не что иное, .как попытка мистически передвинуть последний знак нашей десятичной дроби к самой запятой. Мертвых вообще передвигать легче, чем живых, ибо живой, перенесенный от конца ряда к началу уже не является последним, ничтожным знаком. Например, пирожник Александр Меншиков стал временщиком, кое-кого потеснив не на шутку. А мертвого передвигать - дело плевое, ибо мертвый, не теряя своего самого последнего звания и должности, в то же время мистически приближается, если не к Богу, то к королю или премьер-министру. В Париже, у Арки Неизвестного Солдата горит вечный огонь и глава правительства склоняется перед этой могилой, чуть не лобызая ее плиты.

С мертвыми всегда дело обстояло проще. Мужичку Жанну д'Арк, чтобы возвести в святые, пришлось предварительно сжечь. Видимо, существовала реальная опасность, что эта беспись-менная девушка захочет перекроить весь наш математический ряд, вернее, заменить его первые цифры.

Мнимые, то есть нереальные, мистические связи смазывают истинную картину взаимоотно-шений и взаимозависимостей в нашем ряду, затемняют механику принуждения и угнетения последующих чисел предыдущими и в то же время цементируют, скрепляют казалось бы несоединимое. То есть, в конечном счете, они и создают весь ряд - нашу десятичную дробь.

Всякое сравнение, как я уже писал выше, обесценивает или даже уничтожает сравниваемое. Поэтому я считаю, что нам пора отойти от понятия "ряд" и далее оперировать названиями - общество или людская совокупность, или, для конкретности, - государство. Но даже эти понятия не могут дать точной и четкой картины человеческих взаимоотношений.

Каждое государство соседствует с кем-нибудь и отношения с соседями затемняют, искажают или изменяют механику внутренних отношений. Внешний враг почти всегда - внутренний союзник в деле соединения, сплочения, цементирования дроби, то есть в деле угнетения наших последних людских рядов предыдущими. Причем самому последнему знаку нашего ряда, нашему фурштадтскому солдату, не дают возможности самому разобраться в степени опасности внешней угрозы для обозника как личности.

Вообще задача каждого императора, полководца, диктатора, предводителя и так далее - превратить нашего обозника в гайку, винт, болт и тому подобную мелкую техническую деталь, уверив его при том, что он чуть ли не основа всего механизма, то есть главная спица в повозке.

Вместо истинного понятия о зависимости, свободе и воле последнего члена общества ему вбиваются красивые фразы о долге, о мистической или божественной связи его со всем рядом и главой ряда, вбиваются доводы о необходимости жертвовать собой ради всеобщего блага и так далее. Как в армии солдат всегда должен быть занят и ни на минуту не должен быть предостав-лен самому себе, своим мыслям и раздумьям, так последний член общества должен быть всегда зависим, всегда готов к самопожертвованию и всегда обуян страхом исключения из ряда.

Но самый последний фурштадтский солдат, самый глупый и ничтожный человек, - все-таки личность, а не болт, спица, гайка или винт. И пока он жив и крутится в общем механизме страны или общества, он должен иметь какой-то зазор, какой-то отличный от нуля минимум свободы выбора, свободы воли духовной и свободы воли физической.

Итак, в этой работе я хочу попытаться, сколь возможно снимая мистические наслоения, определить контуры личности самого слабосильного обозника.

Безусловно, это всего лишь попытка и попытка со слабыми средствами. Отдельной личности никогда нигде не было, разве что в романе Дефо. Всегда человек связан еще с одним человеком, а тот в свою очередь с третьим, и все трое соединены между собой и еще с бесчис-ленным множеством других людей. И все-таки, насколько я знаю, основное внимание всегда уделялось именно этим связям или путам. Те, кто были связаны и спутаны, рассматривались только в плане возможности связать их или спутать еще крепче.

Так свободен ли и, если свободен, то насколько, наш фурштадтский солдат? есть ли у него возможность выбора действия или бездействия, возможность неподчинения и протеста, возмож-ность, наконец, выпутаться до конца, или хотя бы частично, в то же время не теряя своего последнего места в ряду, то есть оставаясь самым распоследним фурштадтцем?

Наш несчастный солдат должен есть, пить, дышать. Должен быть защищен от непогоды, дождя, ветра, холода. Он должен воевать или работать, то есть обеспечивать существование тех, кто сам не воюет и не трудится. Кроме того, наш солдат не бессмертен и поэтому должен быть заменен во времени следующим обозником. То есть наш солдат должен размножаться, а поэтому обязан иметь жену и, как минимум, двоих детей, которым тоже надо дышать, есть, пить, во что-то одеваться и т. п.

Следовательно, у нашего солдата, кроме государственных или общих обязанностей, есть еще немало личных. Причем его

семейный или личный, словом, ближайший долг редко может быть покрыт нереальными, мистическими наслоениями. Высшая, общая польза никак не может затушевать или скрыть насущность его семейных задач. Как бы там ни было отечество в опасности, дети должны быть накормлены и босыми в сорокаградусный мороз их тоже из избы не выпустишь. Как бы ни был приучен солдат жертвовать собой ради родины, он, если не полный кретин, жену свою или малолетних детей не поведет под пули или на минное поле, ради не очень ясного ему далекого общего блага.

Об этом, кстати, замечательно сказано у Толстого. Даже посредственность из посредствен-ностей Николай Ростов и то правильно оценил значение подвига генерала Раевского в Салтанов-ском сражении.

"Офицер с двойными усами, Здражинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтанов-ская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здражинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними пошел в атаку... Ростов молча смотрел на него. "Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, - думал Ростов, - остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре?"

Я прошу извинить мне эту длинную цитату, но уж очень велико было искушение ее привести, хотя она, возможно, и уводит несколько в сторону.

Итак, личные обязанности нашего фурштадтского солдата сталкиваются с его обязанностя-ми общими, гражданскими и зачастую мнимыми. В данной работе фурштадтец рассматривается мною, естественно, не столько как солдат, обозник, сколько как последний член некоей людской совокупности. Возможно, что некоторые военные сравнения, как вообще, повторяю, всякие сравнения, затемняют смысл данного реферата, за что прошу прощения у читающего.

Нашего обозника приучили жертвовать собой, но жертвовать детьми не приучили. Вот как раз-то в его отношении к детям, к семье и пробивается его естественная, то есть человеческая, сущность. Привязанность к детям - это, видимо, тот личный

плацдарм, который еще не полностью захвачен государством или обществом, то есть - это то реальное, что еще не побеждено и не уничтожено мнимым, мистическим, религиозным.

По-видимому, здесь мы нащупываем первое противоречие. Солдат, обозник, то есть наш последний разнесчастный слабак-горемыка, нужен обществу (государству), вернее его правите-лям, как несомненно реальная величина, но опутывают они его, помимо реальных физических пут, еще путами и цепями мнимыми - фантастическими, религиозно-патриотическими и прочими.

Желая выжать из него побольше и заплатить ему поменьше, они превозносят нашего обозника до небес, но не его, конкретного фурштадтского Жана, Пьера, Франсуа, а его, как жана, пьера, Франсуа с маленькой буквы и в то же время как нацию с буквы большой.

Итак, личная свобода нашего фурштадтца ограничена не только реальной слабостью, подчиненностью вышестоящему капралу, незащищенностью перед миром и обществом, а еще и мистическим нереальным страхом несуществующей угрозы, страхом перед остракизмом, отлученностью его, реального, от нереального целого (государства, сообщества и т. п.).

Но так ли страшно оказаться отлученным?

Страшно. Но опять-таки можно определить реальные четкие границы этого страха, то есть беспредельность привести к чему-то определенному.

Наш фурштадтец обладает самым минимумом прав, самым минимумом благ и в то же время несет на себе все общество. Во время войны он к тому же находится в непосредственной близости к врагу (то есть к смерти). Так страшно ли фурштадтцу исключение из ряда?

Да, страшно. Страшно, потому что фурштадтец связан со своей семьей и в случае его выхода из ряда (общества, группы и т. п.) - возмездие неминуемо и, если не настигнет самого обозника, то уж во всяком случае настигнет его семью. Но страх за семью - страх реальный, а всякое реальное имеет свои границы, как в пространстве, так и во времени. Не потому ли так часты среди фурштадтцев случаи дезертирства (или эмиграции, бегства в мирное время). Что такое дезертирство или бегство, как не попытка выбора, как не сравнение двух страхов, двух опасностей? Нисколько не оправдывая беглецов или дезертиров во всех без исключения случаях, я в данной работе просто рассматриваю самую возможность бегства как такового.

"Пролетариату нечего терять", - писал Маркс. Нашему фурштадтцу - тоже. Если поезд остановился или повернул не в ту

сторону, то спрыгнуть с него легче всего зайцу, то есть безбилетному пассажиру. Он ничего не теряет и может найти себе другой поезд, который движется в нужном ему направлении. Человек, заплативший за билет, да еще первого класса (купейный или спальный), во всяком случае будет надеяться, что поезд, наконец, двинется или как-нибудь повернет на нужный путь и дойдет, куда было обещано. Обознику (или зайцу) никто ничего не обещал. Вернее, обещали, но что-то очень неконкретное, вечную славу, например. И поэтому покинуть состав ему легче, чем пассажиру спального вагона.

Фурштадтец почти всегда на нуле и поэтому ему легко сызнова начинать с нуля.

Но стоит ли брать крайние формы протеста, как-то: дезертирство, бегство и т. п.?

Ведь кроме этих крайних форм, есть еще формы промежуточные, как-то нерадивость, леность, разболтанность, филоничанье (то есть ничегонеделанье, итальянская забастовка). Чело-века убежавшего легко подвергнуть остракизму, легко наказать его или его семью. Человека нерадивого наказать труднее. Как вызвать сочувствие у последних знаков ряда, наказывая нерадивого соседа, если каждый видит, что сам наказыватель ни черта не делает, то есть тоже нерадив?!

Вполне допускаю, что мое соображение ненаучно, но мне кажется, что все исторические формации лопались не вследствие дезертирства или бегства низших рядов, а как раз из-за филоничания (ничегонеделанья), саботажа наших фурштадтцев. Равнодушие к своим обязанностям, то есть к производству, приводило к гибели всей формации, а точнее - к перестановке знаков во всем нашем ряду и к модернизации реальных и мистических пут и цепей.

Итак, мы замечаем, что как ни был угнетен наш обозник, в известном смысле, он был даже более свободен, чем знак, стоящий ближе к запятой. Отказаться что-либо делать для других куда проще, чем отказаться что-либо делать для себя. Поэтому в каждой новой формации должна была увеличиваться доля получаемого обозником от его труда продукта. То есть фурштадтец "богател" и несколько "освобождался", но поскольку его богатство и свобода увеличивались не в пространстве, а во времени, он их особенно ощущать не мог. Сравнивать ведь ему было не с чем! И ведь он по-прежнему оставался распоследним знаком в нашем ряду.

Правда, следует оговорить, что богатство не только относительно. Всякое улучшение условий бытия, даже если оно относительно ничтожно, чревато разного рода последствиями.

Французы, которые в прошлом веке были отличными солдатами, в нашем столетии оказались ни на что не годны. Впрочем, это предвидел еще Толстой в своей великой эпопее.

"Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/3 части прежней числен-ности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам... Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой-нибудь квартал Москвы не осталось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали и отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили, ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было."

На этой цитате Инга оборвала чтение, взглянула на часы и почувствовала, что устала и хочет спать. Но на душе у нее было по-прежнему легко, и она вдруг, неожиданно для себя стала на голову и перевернулась на своем узком, еще школьных времен диванчике.

"Тише, Ваву разбудишь!" - погрозила себе, тихо разделась, накинула на плечи халат и пошла в ванную, где зажгла газовую колонку.

Стоя под горячим душем, она с улыбкой вспомнила нескладного, стиснутого ремнем лейтенанта и худощавого унылого человека, который в осеннем продутом пальто и ушанке одиноко спускался вниз по Докучаеву переулку.

- Хорошо, если не заметил, - сказала вслух с жалостью. - Самому же было бы неприятно.

О бывшем муже и о молодом доценте Сеничкине, с которым у нее уже почти начался роман, сейчас ей думать не хотелось.

24

Завязав на подбородке ушанку и прикрыв очками близорукие глаза (чтоб не попадали угольки от паровоза, а заодно можно было прочесть названия остановок), Курчев курил в тамбуре головного вагона.

Стекло в двери было выбито, в тамбур задувало холодом, но все-таки тут было веселее, чем в грязном и душном, хотя и пустом вагоне.

Поезд шел медленно, и вообще неясно было, для кого он шел, потому что пассажиров в нем не было. Третий час ночи посредине

недели - время позднее даже для пьяниц.

"И влюбленных!" - подмигнул себе Курчев.

Он прикуривал сигарету от сигареты, не чувствуя, как на сквозняке зарабатывает недюжинную простуду.

Поезд немного припустил и перестуки колес через железные крышки пола приятно ударяли в подметки сапог и взбадривали лейтенанта. Вагон весело раскачивался. Курчев чаще высовывался в разбитое дверное окно - он не знал остановок. Правда, его успокаивало, что должны появиться две станции одинакового названия и сойти он должен на второй, которая сразу шла за первой. Вокруг было бело от снега и черно от деревьев. Дома встречались редко. Поезд уже давно миновал московские пригороды.

Теперь, по законам расстояния, следовало думать о житье-бытье в полку и чувствовать себя, в противовес своим чиновным московским родичам, самым глухим провинциалом. Так бывало всегда, но думать об армейских делах ему не хотелось. Отталкивали завтрашние разговоры с Ращупкиным и особистом и жутко тянула сама столица с длинным Докучаевым переулком.

"Затягивает? - опять подмигнул себе. - Не тебя одного", - перешел на диалог.

Тощий мужчина в осеннем пальто и ушанке понуро шел по переулку. Блестящий доцент Сеничкин сидел на столе и сосал пустую трубку. Где-то еще был непонятный, то ли брошенный, то ли бросивший муж.

"А я-то при чем? - спросил себя. - Я клиньев не подбивал." - "Да. Ты написал про нее прямо Маленкову."

Поезд дернулся и остановился. Это была первая станция.

Вторая станция была меньше второй. Лейтенант спрыгнул с верхней ступеньки, обошел огромные завалы угля, поднялся на бугор и увидел узкую асфальтированную дорогу. Она уходила влево, но он пошел по ней, доверяясь секачевским указаниям. Шагов через двести он действительно наткнулся на первый километровый столб. Все было правильно. По асфальту идти было веселее, чем напрямик через лес и поле. Асфальт вел до магистрали, потом по магистрали, потом снова от магистрали до первого объекта, а оттуда оставалось только два километра бетонки, балка, лаз и полтора часа сна - и поэтому Курчев бесстрашно воротился к своим московским впечатлениям.

Новая знакомая была, конечно, самого высокого класса. На ветру и морозе это особенно ощущалось. Может быть, где-нибудь в метро или в троллейбусе он бы ее не заметил. У нее было неброское, но такое лицо, что чем дольше в него глядишь, тем сильней оно захватывает, а Курчев как-никак глядел на него все

полтора часа сидения в вокзальном ресторане.

На самой магистрали кое-где горели фонари. Редкие машины пролетали с сумасшедшей ночной гонкой и Борис раздумал голосовать. Он уже приноровился к дороге и чемодану, сапоги в такт поскрипывали по прилипшему к обочине снегу, а мысли об аспирантке согревали продутое в тамбуре тело. Простуды он еще не замечал.

- А чего пошла в ресторан? - спросил себя.

- Погубит тебя анализ. А чего не пойти? Тем более, что на душе гадко после Марьяны. Было ли. чего у них с Алешкой? Чёрт разберет, - соврал себе и пошел еще медленней.

- Только не околачивайся возле ее дома, - добавил, словно давал зарок на будущее. - Жалеть будет. А что хреновей жалости?

Он снова вспомнил худого мужчину, спускающегося с горба переулка.

- Намерзся, бедняга.

Борис и сам начал замерзать и обрадовался, когда увидел поворот на отводное шоссе. По бокам росли высокие ели и ветра здесь было меньше. Теперь оставалось чуть больше половины пути, но зато не было никаких машин и ничто не отвлекало от раздумий.

- Наверно, ханурик из редакции, - подумал о худощавом ухажёре. - А то уж больно много получается: муж, Алешка, я...

- А ты при чем? - перебил себя.- Ты вообще сбоку припёку. Консультант по Теккерею...

Постепенно пустой чемодан стал что-то весить, и Курчев все чаще менял руку. Пальцы в старых нестиранных шерстяных перчатках отчаянно зябли.

- А сколько может быть мужчин у порядочной женщины?

- Одновременно? - перебил себя.

- А чёрт его знает как... Проклятый империализм. Все хорошие девчонки давно, как колонии, под чьим-нибудь мандатом. Только с бою и отнимешь. Или она ничья? Что значит - ничья женщина? Самостоятельная? Сейчас очень много самостоятельных. Равноправие.

"Наверно, те, кто замужем, мечтают на волю, а те, кто сами по себе, замуж хотят. Но Инга еще молодая. Года двадцать три, ну, четыре... Кто замужем раз побывал, тот сразу опять не захочет. Может, у них с Алешкой не так уж серьезно? Радость великая с таким обормотом мурыжиться. Хотя вот Марьяшка двумя руками вцепилась. Ни черта ты, Курчев, в этом не смыслишь. Напиши новый реферат. О браке, например. Нет, это художественная литература. Лирика."

На этих восьми километрах стояло две деревни. Первую

лейтенант прошел даже не подумав о ней.

"Хорошо бы у шлагбаума часовой кемарил, - вернулся к армейским неприятностям. - А впрочем, чёрт с ним. Раз к разводу поспею, плевать на разговоры. Пусть себе потом доказыва-ют..."

Он слишком устал и теперь еле передвигал ноги. Невдалеке чернела вторая деревня. Времени было без семи пять, но света в ее избах тоже не горело.

- А чего вообще женятся? - вернулся, как голодный к уже обглоданной кости.

- Некоторые сами. А есть такие, которых силком ведут или в такое положение ставят, когда удрать никак нельзя. У Лешки вроде так получилось.

Он плохо знал историю Лешкиной женитьбы, но чувствовал, что тот расписался с Марьяной без особой радости, хотя ни о каких будущих детях речи не было. Впрочем, в момент женитьбы Курчев загорал в своем номерном училище и впервые увидел молодоженов только в апреле, когда они съездили в Питер на медовую неделю и оттуда на полтора часа завернули к Борису.

Вид у новобрачного Лешки был тогда невеселый, а невеста, вернее молодуха, Борису очень понравилась. Тогда ей было двадцать семь, но выглядела она моложе, лицо было свежим, серые глаза удивительно большими (и не только от туши), а пухлые яркие губы вовсе не были накрашены. Она нисколько не задавалась, вела себя мило и скромно, тут же на скамейке у КПП стала говорить зачуханному курсанту "ты" и, когда интерес к ней снующих мимо курсачей и солдат роты охраны несколько поутих, вытащила из закрытой сумки и сунула Курчеву в карманы шаровар две запечатанные четвертинки. В общем, она работала под своего парня, и за два года Курчев в ней почти не разочаровался.

Но сейчас, бредя по ночному прыгающему с холма на холм шоссе, он злился на нее, что вытащила его в отпуск из другого полка, где он прошлый год был в командировке. Тот полк отстоял от большой магистрали на три километра, и добираться туда из Москвы была пара пустяков. Кроме того, в том полку не было никакой дисциплины и если бы тем офицерам показать Ращупкина, они бы приняли его за монстра или за пугало аракчеевских времен.

Но Марьяна все-таки была ничего. Тогда, в апреле 52-го года, она ему очень понравилась, и он никак не мог понять, чего это кобенится Лешка.

- Вот, женился, - кивнул он тогда на Марьяну. - Смотри, не сотвори подобной пошлости.

Марьяна сидела рядом, непреклонно улыбаясь.

- У тебя, конечно, тугриков нет? - вздохнул Лешка и вытащил из бумажника полусо-тенную. - На вот. Больше, к сожалению, не имеется. Прокутили. Пьет она, как лошадь. Следственная женщина, - кивнул на молодую жену.

- Брось, - буркнул курсант, отводя Лешкину руку с купюрой.

- Бери, - сказал кузен. - Мы отсюда уже на вокзал. Медовка проведена. Теперь и развестись можно.

- Чокнутый? - подмигнул тогда Курчев Марьяне, пытаясь свести все к шутке.

- Ваш родственничек, - улыбнулась она. - Я его еще не вполне раскусила.

- Дурень, - пожал плечами Борис. Ему жаль было невестку. Ему и сейчас было ее жаль, хотя за два года Алешка так и не собрался развестись.

Остальную часть пути Курчев брел, как во сне. Так бывало еще в Запорожье, когда шел ночью в строю, возвращаясь из бани и, засыпая на ходу, выскакивал из шеренги. И сейчас, раза два угодив в кювет, он нагнулся, растер снегом лицо и из последних сил прибавил шагу. Мыслей уже не было. От усталости и недосыпу лейтенант казался себе невероятно легким, только чемо-дан с двумя томами Теккерея оттягивал руку. Еще не рассвело, но бугор "овощехранилища" был хорошо виден. Часовой дремал в будке. Курчев обошел шлагбаум и побежал вверх по бетонке. Было без четверти шесть. Ветер стих. Воздух был крутым, морозным, беловато-синим, как молоко.

Качаясь, Курчев прошел через балку, раздвинул доски забора и нырнул в свой дворик. Входная дверь была отперта. Видно, парторг уже ушел в роту охраны, чтобы, по старой старшинской привычке, присутствовать при подъеме.

За следующей дверью начинался храп и сразу шибануло потом и несвежим дыханием спящих мужчин. Форточка в большой проходной комнате была, по обыкновению, притворена Федькой, но Курчев не полез ее отворять. В сапогах и шинели он повалился на свою койку и обалдело заснул.

25

Спать пришлось ему недолго. Часа через полтора весь надраенный, перетянутый ремнем, готовый к разводу Морев уже тряс его за плечо и орал:

- Па-адъём! Па-ад-ъём! - видимо, испытывая при этом физическое наслаждение.

- Не трожь его, - сказал Володька Залетаев.

- Подъём! - по-прежнему тряс Курчева Морев. - Подъём, историк. Запитываться надо. В стройбате харчушку прикрыли...

Дело в том, что любивший поспать Борис почти всегда не

успевал позавтракать до развода и потому, выходя из КПП, отставал от не строем идущих офицеров и сворачивал в ворота бывшего стройбата. Стройбат давно разогнали, но оставалось кое-какое имущество и работала столовая, вернее не столовая, а что-то вроде буфета. Повариха и буфетчица не были рассчитаны, варили пищу на себя и кормили завсклада, кладовщика и еще вот Курчева, которому по лени удобней было завтракать здесь, а не у Зинки в офицерской столовой.

- Подъем, подъем! - продолжал трясти его Морев.

- Оставь, - пробурчал сквозь сон тощий Федька Павлов. Борис не просыпался.

- И ты вылазь, - стянул со спящего Федьки шинель и одеяло летчик Залетаев. - Вылазь, вылазь! Борьку покормишь. Со вчера осталось.

Он открыл тумбочку и показал на почти пустую бутылку и две накрытых одна другой глубоких тарелки. Перетянувшись, как Морев, ремнем, летчик вышел вслед за артиллеристом. Но пуговицы на его шинели, не в пример моревским, не сверкали.

На дворе было почти светло. По всем трем спускавшимся к штабу улочкам не спеша скри-пели сапогами офицеры, шлепали галошами и валенками штатские инженеры и монтажники. Монтажницы еще не выходили. Из экономии они предпочитали столоваться у себя в домике.

Федька, сунув босые ноги в сапоги, накинув на исподнее шинель, с тоской глядел в окно на спешащих по улице молодых парней. Потом, вздохнув, с неохотой зашаркал во двор по малой нужде. Вокруг нужника и дровяного сарая предательски желтели вензеля - свидетельства вечерней и ночной лености офицеров. В самом нужнике вокруг отверстия намерзли кучи.

- Эх, старшины на вас нет! - сплюнул Федька, но наводить порядок не стал. Зябко прикрываясь шинелью, заспешил обратно в дом.

Федьке было двадцать два года, но в нем словно стерлась главная нарезка, гайка свободно проворачивалась. Федька никак не мог взять себя в руки. Он был вовсе не глуп, память у него была попросту уникальной и способности исключительные, но что-то странное творилось с его волей. Доучившись до четвертого курса Менделеевки, он вдруг ни с того ни с сего перестал ходить на лекции, был изгнан сначала из института, а потом из общежития, лишился отсрочки и в конце концов загремел в армию. Не прослужив и полугода в батарее младших лейтенантов запаса, он, как Курчев, подал рапорт на курсы того же училища и годом позднее Бориса окончил их с грехом пополам. (Вовсе не окончить их было невозможно. Приказ подписывался министром

еще до сдачи экзаменов.) Получив младшего лейтенанта (теперь уже давали младших), Федька не поехал в отпуск домой в Тамбов, а поехал в Москву, пропадая попеременно то в прежнем студенческом, то в новом офицерском общежитиях, и почти голодный, измученный водкой и недосыпом, в пожеванном кителе и прохудившихся за месяц сапогах предстал перед Ращупки-ным. Тот определил его под начало Секачева во вторую группу "овощехранилища" (старшим техником первой группы был Курчев).

Сначала Федька с жаром взялся за дело, дважды в день, утром и после обеда ходил на объект. Не разгибаясь сидел рядом со штатским инженером у осциллографа. Но потом вдруг заскучал, начал филонить, пропускать послеобеденные занятия и, наконец, плюнул и заявился в санчасть.

Врач полка, медицинский лейтенант Музыченко, хмурый, не слишком уверенный в себе хохол, хмыкнул при виде Федькиных фурункулов и дал освобождение. Что делать с чирьями, он не знал, поскольку готовил себя к научной работе (даже в полку занимался разведением пенициллина), а отправлять Федьку в Москву в госпиталь стеснялся, боясь посрамления и нагоняя от вышестоящего медицинского начальства. Врач он был никакой, потому что попал в полк прямо из института и советоваться ему здесь было не с кем. Он злился, что все, даже солдаты, видят его никчемность, стал злобен, нервен и сошелся в полку только с инженером Забродиным, таким же обидчивым бирюком.

Получив освобождение сперва на неделю, потом еще на одну и вот уже загорая в финском домике третью, Федька вовсе распустился, пил, резался в преферанс и отчаянно скучал в дневные часы, когда офицеры сидели на объекте.

Впереди Федьке ничего не светило и, будучи парнем неглупым, он даже не пытался обма-нуть себя, что что-нибудь в его судьбе переменится и со следующего понедельника все пойдет по-другому. Он не знал, куда себя девать. Поэтому вечно суетился, кричал громче всех, чаще всех спорил и, получив за полтора неполных месяца своей полковой жизни прозвище "чума", успел многим надоесть и по-настоящему сошелся с одним Борисом. Одному лишь Курчеву и то в бреду невероятной пьянки он открыл самую свою страшную тайну: как позапрошлый год, доведенный до отчаянья неудачной бесплодной любовью к одной студентке-химичке, Федька, напившись, заявился в аспирантское общежитие к своей единоутробной беременной сестре и начал не в шутку к ней приставать. Даже через полтора года пьяный Федька не мог побороть дрожи, рассказывая, как прогоняла его сестра, а он, рыдая, молил ее согласиться, поскольку она уже

влипла и ей ничего не грозит.

- Да не плачь... Матери она ведь не написала, - еле справившись с брезгливостью, пыта-лся успокоить Федьку Борис. Но тот всё рыдал. Маленький, тощий, с кудрями колечками волос, он был похож на приютского заморыша. Курчев силой уложил его в тот вечер, накрыв двумя шинелями. Хорошо, что офицеры укатили в райцентр и никто не слышал Федькиной исповеди. А то кое-кто из лейтенантов мог бы избить Федьку. Борис и тот несколько дней боролся с гадливостью, пряча, впрочем, ее подальше, потому что Федька, как все нервные люди, был особенно чуток.

Больше к этому рассказу он не возвращался, и Курчев старался делать вид, что, собственно, никакой исповеди не было.

Возвратясь в опустевший дом, Федька с неохотой зачерпнул в кухне кружкой из ведра, набрал, как прачка, в рот воды и брызнул в лицо Борису.

- Вставай, - сказал мрачно. - Дальше никак нельзя...

Оставалось восемь минут до развода. Курчев покорно поднялся, скинул шинель, китель и нижнюю рубаху. Ему стало зябко, но одновременно душно. На крыльце Федька облил его из ведра. Кое-как растеревшись, лейтенант снова напялил на себя одежду, глотнул из бутылки, заел хлебом с остатками бычков в томате и побежал вниз по улице к штабу. Ноги были какие-то не свои. Суставы словно во сне кто-то подкрутил гаечным ключом, пережал и теперь они почти не сгибались.

Слава Богу, бежать было недалеко. Построение было не торжественным, когда полк четы-рехугольником строили на дальнем плацу. Сбегая вниз, Курчев успел перегнать вышагивающего по параллельной улочке комполка Ращупкина и встать во вторую офицерскую шеренгу как раз при крике дежурного по части:

- Смирна! Равнение на середину!

Покорно и в то же время с каким-то тупым равнодушием он глядел сейчас на длинного, хорошо выбритого и сияющего Ращупкина, который с напускной серьезностью выслушивал короткий рапорт низенького младшего лейтенанта из огневиков. Никаких событий в полку не произошло, но лицо у Ращупкина было торжественно внимательным, как у опытного педагога, выслушивающего чтение захудалого первоклашки.

- Сразу вызовет или в обед? - гадал про себя Борис. Но почему-то грядущий разнос сегодня не слишком заботил.

- А особняк где? - вспомнил Борис и оглянулся, хотя Зубихин никогда на разводе не появлялся.

Офицеры не спеша потянулись через проходную. Курчев

поплелся в числе последних, ожидая, что Ращупкин его окликнет. Но тот стоял на штабном крыльце, о чем-то разговаривая с главным инженером, черноволосым очкастым молодым татарином, погодком командира части.

Солнце постепенно выкатывалось из-за леса и скользило по снегу. Борис прошмыгнул мимо опустевшего стройбата, где теперь уже даже не кормили гречневой кашей и вчерашними щами, и вышел на прямую, как рельс, бетонку. Впереди шло кагалом до десятка офицеров, но Курчев не спешил. Ноги, хотя и разошлись немного, всё же ныли, а голова была просто свинцовой и набухала у висков.

Эти два неполных километра бетонки он хотел оставить для мыслей об аспирантке. В бун-кере будет тесно от людей, душно от тысяч включенных ламп, шумно от сельсинов и реле. К тому же, там рядом будет красавица Валька Карпенко и при ней не больно размечтаешься.

А здесь, на бетонке, он был один, и шедшие впереди в полусотне шагов офицеры не слишком ему мешали.

Выросший под бабкиным крылом Борис мало что перенял от отца, машиниста окружной дороги Кузьмы Илариoновича. Разве что влюбчив был, как отец. И влюбляясь, Борис каждый раз верил, что влюбляется всерьез и по гроб. Во всяком случае, каждую встреченную девчонку он примеривал с первого дня знакомства как будущую жену. Хотя к двадцати шести годам он все еще был холост, жениться в своей жизни он собирался неоднократно - в первый раз семнадца-ти лет на их квартирантке, незамужней тридцатилетней хлебной продавщице, лишившей его отрочества, а в последний раз - сегодня ночью на аспирантке. До того, соответственно, выстав-лялась кандидатура переводчицы Клары Викторовны и несколько позже - монтажницы Вальки.

Сейчас, несмотря на головную боль, он думал на бетонке об Инге Рысаковой. (Эту фами-лию он прочел на форзаце первого тома "Ярмарки тщеславия" и фамилия ему понравилась.)

На снежной просвистанной ветром дороге между еловой балкой и бараками бывшего лагеря мысли об аспирантке приобретали необычайную серьезность. В полусотне километров Инга казалась ближе и роднее, чем вчера в вокзальном ресторане, а доцент Алешка, человек в ушанке и бывший неизвестный муж задевали сейчас за душу куда больней. Особенно Алешка. Алешка закрыл надежды на аспирантуру. Алешка был при деньгах, был женат на чудесной женщине и еще лез к чужой (считай теперь к его, курчевской) девчонке. И еще Алешка был красив и джентльменист. Он умел держать себя в руках и никогда бы не стал на дежурство в морозном переулке, ожидая весьма

проблематичного возвращения загулявшей женщины. Алешка - это было сплошное везение и удача, несмотря на глупость и шкрабскую манеру излагать чужие мысли.

"Своих нету, - хмыкнул Курчев. - А все равно помрет академиком."

Но тратить чистое и вполне уже солнечное утро на злобу против двоюродного брата не хотелось, и Борис вернулся к вчерашней знакомой.

Жены из нее никак не получалось. Это он правильно писал вчера в Правительство. Здесь, в части, ей нечего было бы делать. Даже Кларка, переводчица - и та бы смотрелась тут лучше. Даже переводчица со своей дюжиной ярких умопомрачительных импортных нарядов. Впрочем, Кларка уже имела дело с армией: преподавала до заграницы в Военной академии.

А аспирантка Инга в скромной длинной выворотке оказалась бы тут, в полку, беззащитней, чем скрипачка на лесоповале.

Курчев вспомнил, какие у нее длинные и тонкие пальцы. И запястье тоже тонкое, и вся она худая, словно неотогретая, и, наверное, поэтому у нее такое зябковатое подергивание плеч. Спускаясь к "овощехранилищу", он чувствовал, что над ним самим нависло немало, а если и пронесет, то все равно на расстоянии в полста километров женщину не упасешь, не убережешь от житейского холода и других неурядиц и неприятностей.

"Хотя бы, - подумал, - год назад встретились. Куча у меня тогда времени была."

Действительно, год назад он почти не ходил в заводскую военную приемку, куда был откомандирован из полка, а все дни пропадал в Ленинской библиотеке.

"Но она ведь в третьем научном!" - вспомнил тут же, и эта разделенность залов спустя год тоже обижала, как бы еще раз подчеркивая всю безнадежность мечтаний об аспирантке.

- Чего бредешь еле? - отвлек его голос Володьки Залетаева. Борис поднял голову. Навстречу по бетонке, прижимая офицеров к обочине, подымалась бежевая "Победа". Когда она прошла, он вспомнил, что это вчерашняя "смершевская".

- Догоняй! - крикнул Залетаев и сам побежал к проходной объекта. Курчев покорно побрел за летчиком. Ноги по-прежнему слушались плохо.

26

Перед "овощехранилищем" стояла такая же халабуда, как перед военным городком, но пропуска тут спрашивали. Вытащив вдвое сложенную карточку, утыканную полдюжиной кружков с оттисками голов разных животных, Курчев и Залетаев сунули их под нос сержанту роты охраны. Тот взял пропуска и лениво

вертел перед собой. То ли качал права, то ли давил на бдительность, выслуживаясь перед смотревшим на него через окно КПП старшим лейтенантом, командиром роты охраны. Комроты, худой, невзрачный человек с лицом язвенника, так же, как и парторг Волхов, был новым человеком в полку. Он прибыл из Германии; ему всё казалось, здесь идет не так, и несмотря на все старания Ращупкина, дисциплины в полку кот наплакал. Так же, как парторг Волхов, комроты был офицером из сверхсрочников, образования почти не имел и ни у кого, кроме самого комполка, симпатии не вызывал. Он приехал без жены и дня три ночевал в курчевском домике. Но на второй день, выпив со всеми, он вдруг начал врать, какого он со своим подразделением показал немецким жителям дрозда летом в Берлине и, хотя его выслушали не перебивая, но никому он не понравился. А через день приехала его супруга с ребенком и он больше в курчевский домик не заявлялся.

Младший сержант возвратил пропуска и офицеры, пройдя еще двести шагов по белому снегу, спустились в бункер. Блоки и приборы еще только разогревались и в "овощехранилище" было зябковато. Курчев прошел вслед за летчиком в аппаратную, где было потеплее, потому что дежурили там круглую ночь, повесил свою шинель рядом с залетаевской и пристроился дремать за высоким серым железным шкафом, не обращая внимания на дежурившего солдата-связиста. Тот учился печатать на черном, похожем на большую пишущую машинку телеграфном аппарате.

- Поел? - спросил Залетаев, усаживаясь за соседний с аппаратом стол и доставая из ящика книгу дежурств. - А то имеется... - он кивнул на кулек с баранками, лежавший в том же ящике.

- Нет, - помотал головой Борис и вдруг, неожиданно для себя и не обращая внимания на солдата, выпалил:

- Неохота. Я влюбился вчера.

- Можете покурить, Синьков, - повернулся Залетаев к связисту.

- Некурящий я, - улыбнулся солдат.

- И уже завтракал? - засмеялся Курчев. - Ладно, пойду к секретчику.

В "овощехранилище" был свой секретчик, штатский библиотекарь, выдававший схемы блоков, спецификации и прошитые бечевкой, опечатанные сургучом личные тетради офицеров. Этот никчемный парень вечно запаздывал и возле его обитой железом двери по утрам матери-лись монтажники. Без схем стояла работа. Секретчику было лет девятнадцать. В институт он провалился и спасался на объекте от армии. Других

причин служить ему здесь не было. Оклад был мизерный и даже с командировочными получалось очень мало. Это был местный дурачок, предмет всеобщих понуканий и насмешек.

- Привет заарестованным! - поклонился он Борису. - Чего? Конспект на родину выдать?

"Конспектами на родину" назывались солдатские письма, обычно сочиняемые на политза-нятиях за спинами товарищей. Но Курчев и в секретной тетради, надеясь на неразборчивость почерка, записывал всякие соображения по поводу фурштадтского солдата и жизни вообще. Библиотекарь, заглянув в курчевскую тетрадь, удивился скромному количеству цифр, схем, сокращенных наименований реле, ламп и узлов и решил, что лейтенант ведет в спецтетради дневник. С тех пор он всегда поддевал Бориса.

- Давай два моих шкафа и помалкивай, - притворно рассердился лейтенант.

- А мне что? - зевнул секретчик, протягивая Борису тетрадь и два коленкоровых увесис-тых тома с чертежами. - Мне хоть баб голых рисуй. Только бы тесемочки на месте были. Валька, пока ты вчера арестовывался, с инженером в райцентр катала.

- Не завидуй, - сказал Борис и ушел в свой дальний отсек к двум черным, покрытым защитным лаком шкафам.

Он поглядел на эти шкафы, вызывавшие в нем когда-то почти религиозный восторг, и не только из-за своей фантастической стоимости. Когда-то Курчеву казалось, что это и есть его настоящее место, что именно здесь он при деле, а обо всем другом стоит забыть. Тут, на охране неба родины, вернее неба Москвы, он, простой, незаметный, запрятанный под землю техник-лейтенант - и есть гроза Форестолла, Эйзенхауэра и прочих. Но это чувство длилось недолго. Шкафы были реальными, а чувство - нет. Шкафы он изучил, вернее, запомнил, что где расположено, откуда снимается и куда подается какое напряжение, какое реле срабатывает после которого. Но чувство исчезло, оказавшись слишком недолговечным. Шкафы постепенно монтировались. В прошлогодней части даже прошли испытания, а чувство никаких испытаний не выдержало. Ненависть к врагам была слишком неконкретной. "Слабая политподготовка!" - шутил про себя Борис. Откровенно говоря, он мало думал об американцах. Сержант Хрусталев или начштаба Сазонов занимали его куда больше и отнимали почти весь запас ненависти и нервной энергии. На заокеанских недругов ничего не оставалось.

Курчев часто размышлял об этом пропавшем чувстве. А что, если война?! Э, гром не грянет, мужик не перекрестится. Но к

американцам он ненависти не испытывал. Даже война в Корее ничего не добавляла. Теперь она, слава Богу, кончилась. Но и когда шла, не слишком занимала Бориса. На то были свои объяснения. В общем, американцы его мало трогали. Во время Отечественной войны, не торопясь со вторым фронтом, они его раздражали куда больше. Здесь же, в бункере, они были безразличны. Особенно теперь: в состоянии его внезапной призрачной влюбленности и вполне уже реальной фолликулярной ангины.

Он сел за стол и уперся локтями в развернутую схему включения защитных реле. За его спиной постепенно рос шум, как фон в нагревающемся приемнике. Включались приборы, слышались женские и мужские голоса, смех, иногда и матерок. Начался рабочий день и в бункере заметно потеплело, но Курчев все поеживался от холода.

- Покемарю немного, - подумал и положил голову на толстую коленкоровую папку, к которой был прикреплен развернутый на столе лист светокопии. Несмотря на зябковатость в спине и плечах, он тотчас провалился в черную бездонную шахту сна. Он словно падал в нее вниз головой, потому что даже во сне голова была тяжелой и горячей, как расплавленный чугун, и жарко распиралась у висков. Казалось, еще немного и разорвет вены.

- Ночи вам мало, Курчев?! - потряс его за плечо главный инженер полка майор Чашин. Борис оторвал от чертежа голову, зевая поглядел на майора и вдруг почувствовал, что тот ему глубоко безразличен и ничуть не страшен.

- Виноват. Голова разболелась, - снова зевнул и чуть приподнялся. В отсеке появилось уже несколько штатских, в том числе перестарка Сонька. Заглядывая в развернутую на столе светокопию и сверяясь со своим листком, она маркировала провода в первом курчевском шкафу. Большая переносная лампа била в очки майору. В отсеке было тесновато и не с руки было распекать нерадивого лейтенанта. Впрочем, главный инженер еще в военной приемке махнул рукой на Бориса. Только в Дни Пехоты вздыхал:

- И не стыдно вам, Курчев, в ведомости расписываться?!

Но и лейтенант знал, что и майор не так уж часто бывал на заводе и раза два в неделю обязательно сматывался к жене в Иваново. Теперь, правда, жена переехала в полк и майор исправно ходил в "овощехранилище", но делать ему здесь пока что было нечего. Монтаж только начинался и работали лишь первые узлы. Общение со штатскими разбалтывало офицеров, никак не добавляя им чисто технических знаний, потому что участвовать в монтаже Ращупкин офицерам запрещал. Чашин подполковнику не

прекословил. Он и сам толком не знал, как оно лучше. Дело было новое. Даже готовые объекты вечно перекраивались и меняли оборудование. Два года майор занимался этой работой и всякий раз радовался, что он пока лишь главный инженер, а не командир части. Со временем, он, конечно, сменит Ращупкина, потому что всем этим сложным хозяйством управлять может лишь специалист. Строевой Ращупкин, несмотря на несомненную хваткость и сообразительность, импульсного объекта не поднимет. Но сменить Ращупкина Чашин желал не раньше, чем тут наведут порядок, уберут подальше штатских и вообще все утрясется. Пока что его заботило знание офицерами чертежей. Месяца через два ожидалась инспекторская проверка. Что касается солдат, то он был абсолютно солидарен с Ращупкиным. Солдат на объект в дневное время пускать не стоило. Они постоянно вертелись вокруг монтажниц и даже один увалень раскокал громадную, почти уникальную генераторную лампу. Слава Богу, её по договоренности со штатским начальством удалось списать и, оформив учебным пособием, выставить в классе радиотехники. Отсутствие стекла помогало наглядней с помощью указки изучать пути электронов от сетки к катоду и т. д.

- Садитесь, - усмехнулся Курчеву главный инженер, прекрасно видя, что лейтенант не так уж собирался подниматься. - В преферанс играли?

- Играли, - неопределенно усмехнулся Курчев. Он понимал тоску главного инженера. - Приходите. Рубанем сочинку, - подразнил майора, зная, что тот не заявится в финский домик.

- Как-нибудь загляну, - сказал майор, может быть, впервые завидуя Курчеву, что тот младший офицер и не подвержен условностям. - Ладно, игра игрой, а в этом разбираетесь? - кивнул на чертеж.

- Нет, - чистосердечно признался лейтенант.

- А как же инспекторская?

- Никак. Чего надо - отвечу. Откуда куда чего идет-поступает. Где замыкает-срабатывает - это я с закрытыми глазами, товарищ майор. А вот что такое магнитное поле - это ни в дугу...

- Ну, это уже философия, - усмехнулся инженер. - А вот тут что творится? - Он ткнул наугад в узел рядом с Сонькиным листком. Курчев ответил.

- А тут?

Курчев снова ответил.

- Ну и Бог с вами. Спите, - сказал майор. - Командир корпуса отказал вам в демобили-зации.

- Чего ж делать? - вздохнул Борис.

- Чего? Ничего... В воздух палить не надо... - блеснул очками

молодцеватый инженер. - Так-то... Хитрость это копеечная, а Ращупкин зол, как черт. Так, лейтенант, дела не делают.

Он отошел от стола. Видно было, что ему жаль Курчева, но помочь ничем не может.

- Спите. Наверно, скоро вызовет, - бросил, уходя в другой отсек.

- Взбойка? - повернулась к Курчеву Сонька и поставила консервную банку с краской прямо на лист чертежа.

- Нет, - отмахнулся Борис.

- Валюха, дуй сюда, - махнула маркировщица. Валька Карпенко работала на настройке в смотровом узле.

"Если демобилизнусь и на завод устроюсь, - соображал Курчев, - то на двух электричках часа полтора в один конец... А если еще и в командировку зашлют, то выйдет тех же щей..." Он усмехнулся, представив, как попадает опять в этот полк, но уже штатским. "Вот засмеют!" Нет, завод не годился. Но телеателье представлялось какой-то крохотной комнатенкой, в дверях которой цербером стоял огромный абрикосочник в пижаме и бурках. Не лучше ли уж оставаться здесь, в "овощехранилище", среди железных, черного покрытия шкафов, жужжащих сельсинов и знакомых монтажниц?

- Не выспался? - спросила Валя, садясь рядом на скамейку и кладя свою ладонь поверх его ладони. Большие серо-черные глаза смотрели на него так, что хоть сразу предлагай руку и сердце.

"Так и опускаемся", - подумал Борис, чувствуя, что несмотря на головную боль, невыс-панность, усталость и встречу со вчерашней аспиранткой, Валя ему все-таки мила и он должен изо всех сил сдерживаться, чтобы не поддаться ее обаянию.

- На каток не пойдешь? Спать будешь? - снова заглянула ему в лицо.

- Угу, - кивнул он, смежая веки, чтобы не смотреть на девушку. Она сидела совсем рядом, реальная, теплая, удивительно милая.

"Какого тебе еще рожна..?" - хотел спросить себя, вспоминая вчерашнюю аспирантку, которая в горячем мозгу отступала куда-то в затылок и постепенно уменьшалась.

- Да ты вроде заболел... - сказала девушка и коснулась щекой его лба. - Горячий, - тревожно покачала головой. - Соня, а ну-ка попробуй.

- Потрудился, небось, - осклабилась Сонька и приложила свою шершавую ладонь к его лбу.

- Есть температура, - подтвердила бесстрастно.

- Иди ложись, - сказала. - Иди, не бойся. Я Забродину скажу. Всеволод Сергеевич, - крикнула она в проем.

Но, опережая Забродина, в отсек вошел связист и доложил, что лейтенанта Курчева немедленно вызывают в штаб.

27

Теперь уже, точно зная, что он болен, Борис, еле передвигая ноги, брел от бункера к КПП. Солнце выкатилось высоко над лесом и било прямо в глаза, отчего голова трещала еще сильней. Он вошел в дежурку, показал сержанту пропуск и привалился к внутренней двери.

- Ноги не идут. Скажи на шлагбауме, пусть любую машину задержат, слабо улыбнулся младшему сержанту.

- Не положено здесь, товарищ лейтенант, - недоверчиво покачал головой дежурный.

- Звони тогда в гараж. Пусть санитарную вышлют.

- Да вон идет!.. - обрадовался сержант и, выбежав из КПП, стал махать рукой поднима-ющемуся по бетонке самосвалу.

"Расклеился, - подумал про себя Курчев. - Еще минуту назад ничего держался. Вот она, сила слова."

Самосвал шел на второй объект, но шофер, покряхтев, довез лейтенанта до проходной поселка.

- Горло, что ли? - спросил Курчева.

- Нет, - мотнул тот головой, но тут же почувствовал, что горло тоже болит.

- Кто вызывал? - спросил посыльного, сидевшего в коридоре штаба возле ящика с оружием.

- Там начальства много... В радиокласс велели, - откозырнул посыльный.

Курчев прошел по коридору и толкнул дверь радиокомнаты .

- Разрешите присутствовать?! - спросил срывающимся голосом. Перед глазами плыло и он сразу не разглядел, кто его ожидает в учебном помещении.

- Милости просим, - раздался веселый хрипловатый голос.

Поморгав глазами, Курчев разглядел вчерашнего смершевского полковника, особиста Зуби-хина, еще одного незнакомого майора и замполита полка подполковника Колпикова. Последний жался в углу у окна. Вид у замполита был несколько пришибленный и, стараясь этого не показы-вать, он то и дело моргал кругленькими маленькими глазками.

- Садитесь. Лейтенант Курчев Борис...

- Кузьмич, - подсказал лейтенант, садясь за узкий длинный черный стол. Полковник сидел наискосок.

Утреннее солнце било через стекло Борису прямо в глаза и он, передвинувшись на два стула левее, оказался лицом к лицу с корпусным смершевцем.

- Побеседовать с вами хотели, - сказал тот. - Чего

раскраснелись? Бежали, да?

- Температура, - буркнул Борис. Смершевцев он почему-то сегодня не боялся, но его действительно сильно знобило, перед глазами плыли пятна и еще кружилась голова. Он потер ладонью лоб.

- Уж вы нас извините, Борис Кузьмич, - добродушно сказал полковник. А то нам еще раз ездить далековато. Мы вас постараемся долго не задерживать.

- Ничего, - в тон ему ответил Курчев и провел ладонями ото лба к подбородку, словно снимал с лица противогаз.

- Да ты не волнуйся, - сказал Зубихин.

- Я болен, - зло поглядел на него Борис и набрал в легкие воздуху.

- Хлипкая молодежь пошла, а, Иван Осипыч? - повернулся корпусной смершевец к замполиту Колпикову.

Толстощекий кругловатый замполит быстро и согласно кивнул.

- Вот, познакомиться с вами хотели, товарищ лейтенант, - повторил полковник. - Узнать, как живете, чем дышите. Может, немного расскажете нам о себе.

- А чего говорить? В личном деле все есть, - буркнул Курчев.

- Курчев, - зашипел замполит.

- Ну, ну... Так уж все, - улыбнулся полковник, не обращая внимания на грубость лейте-нанта и шипение подполковника. - Личное дело - бумага. А вы - живой человек. Живой человек в бумаге не умещается. Не так ли?

- Не знаю, - пожал плечами Борис. Он готовился к вопросу о пишущей машинке.

- Так уж и не знаете. Человек грамотный. Он, что, с институтом, Зубихин?

- С институтом, - кивнул капитан.

- Какой институт закончили?

- Педагогический.

- Вот видите, учитель значит. Интеллигенция. А говорите - не знаете.

Курчев ничего не ответил, считая, что вопроса задано не было.

- Ну, так расскажите нам, Борис Кузьмич?

- О чем?

- О себе. Чем дышите. Что читаете?

- Читаю? - снова пожал плечами лейтенант. - Всё читаю.

- Ну, так уж и всё, - подмигнул полковник.

- Что попадается. Не такое уж у нас тут книжное хранилище.

- Что ж ты, Иван Осипыч? - повернулся полковник к

замполиту. - У офицеров запросы, а ты на книги жмешься.

- Что положено... - развел руками замполит, понимая, что это так, игра, но не желая показывать, что это понимает.

- Значит, не удовлетворяет вас здешняя библиотека? - опять добродушно усмехнулся полковник.

"Лет ему по виду сорок пять, - подумал Курчев. - А чего надо?.. На место Берии?"

- Да нет, библиотека как библиотека. Я всей не прочел, - сказал, надеясь разозлить смер-шевца, чтоб тот наконец выложил, что ему собственно надо. "Хорошо бы про выстрел спросил, а то ведь, зараза, про машинку начнет..."

- Значит, все-таки хорошая библиотека? Помимо не читаете? - снова улыбнулся полков-ник.

- Попадается - читаю, - ответил лейтенант.

Конечно, следовало каждый раз прибавлять "товарищ полковник", но Борису казалось, что такое обращение звучит заискивающе. Впрочем, смершевец по-прежнему не обращал внимания на отсутствие обращения и по-прежнему держался добродушно.

- А что попадается? - спросил он.

- Разное. Всего сразу не припомнишь. Вот, "Ярмарка тщеславия" хотя бы... - осекся тут же Борис, потому что вспомнил, что на форзаце первого тома была надпись "И. Рысакова". Господи, да они сразу притянут аспирантку и за два хода до "малявки" доберутся...

- Теккерея? Что ж, хорошая книга. Понравилась?

- Только начал, товарищ полковник, - выдавил из себя Борис.

- Советую продолжать.

- Некогда читать. Он сам писатель, - хмыкнул капитан Зубихин. - Вчера, товарищ полковник, я машинку у него попросил, так он, понимаете, пожалел. Самому, сказал, нужна.

Курчев покраснел и промолчал, и полковник, тоже ничего не ответив капитану, снова спросил:

- Ну, хорошо. Книги - книгами, а журналы читаете?

- Редко.

- А какие редко?

- Какие есть. "Огонек", "Знамя"...

- И "Новый мир"? Про искренность...

- Нет, - соврал Курчев.

Эту статью он читал у Сеничкиных. Алешка заходился от статьи, а Борису она не так чтоб чересчур понравилась и в полку разговоров о ней он не вел.

- Что - нет? - повторил полковник.

- "Закон чести" не читал, - сказал Курчев, работая под идиота.

- Я не про пьесу спрашиваю, а про статью "Об искренности в литературе".

- А, - сказал Курчев. - Не читал.

- Как же вы, педагог, литератор, а не читали?

- Я кончал исторический.

- Понятно. А "Вопросы истории" читаете?

- Читаю, - кивнул Борис.

- Это хорошо. Кажется, вы в аспирантуру собираетесь?

- Мне отказано в демобилизации, - ответил Борис.

- А если на заочную?

- Ездить далеко, а месяц отпуска для архивов мало.

- Да, мало... - согласно вздохнул полковник, словно сочувствовал лейтенанту. - И все-таки добивайтесь заочной. Вы человек грамотный, политически подкованный. Член партии?

- ВЛКСМ...

- Пора в партию. Иван Осипыч, что ж ты кадры не растишь? - снова повернулся к замполиту.

- У него с дисциплиной не ладится, - буркнул подполковник.

- Вот бы ни за что не подумал! - покачал головой смершевец. Грамотный парень, высшее образование, а дисциплина, понимаешь, никуда. Ну и ну, - усмехался непонятно над кем - Курчевым, замполитом или вообще над армейскими порядками.

- Может, газет не читаешь, лейтенант, а? - вдруг перешел по-отечески на "ты".

- Читаю, - сказал Курчев.

- Про футбол, небось, или про шахматы? "Смотри, угадал, - удивился Борис. - Или донесли?"

- Про все читаю, - сказал вслух.

- Ну, да. Будто я молодым не был? Был. И вроде тебя, больше легким полом интересовал-ся. Он как на этот счет, Иван Осипыч?

- Да нет. Ничего такого не замечено... - развел ручками подполковник.

- Да? - удивился смершевец. - А я тут видел - у вас настройщицы подходящие. Краси-вые даже есть! - подмигнул Курчеву и тот подумал: "Неужели, падло, знает про Вальку? Нет, на пушку берет".

- Газеты надо читать, - посерьезничал вдруг полковник. - "Звездочку" штудируешь, лейтенант? Нет? А нашу окружную? Скучная, не спорю с тобой, а всё равно надо. Кому же, как не тебе? Или ты штатские больше читаешь? "Вечерку", например?

- Ее здесь нет.

- Здесь - понятно... Ну, а в Москве читаешь?

- Нет.

- Так-таки не читаешь? - испытывающе смотрел на лейтенанта

смершевец, будто чтение "Вечерней Москвы" было делом подсудным.

- Мне ее негде брать, товарищ полковник. За ней очереди.

- Да, - вздохнул корпусной. - Ходкая газетенка. Ну, а все ж какую-нибудь покупаешь. Завернуть что-нибудь или в автобусе почитать от скуки.

- Вряд ли, - пожал плечами Борис. Он все ждал, скоро ли они вернутся к "малявке".

- Покупаешь самую какую ни есть неходкую? "Медицинский работник", например? Или дома газеты берешь?

- У меня нет дома, товарищ полковник.

- А в Москву к кому ездишь?

- Так... Ни к кому. Проветриться.

- А, понимаю. Закладываешь?

- Нет, не особенно.

- Не пьет он, Иван Осипыч?

- В рамках, - ответил замполит, пытаясь изобразить улыбку, но его круглое лицо по-прежнему оставалось уныло-неподвижным.

- Значит, пьешь средственно, а газет не покупаешь? - усмехнулся полковник. - А может, покупаешь все-таки? Заворачивать грязное белье во что-нибудь надо.

"Чего тянет?" - никак не мог понять Курчев. Оттого, что приходилось быть начеку, голова уже не так болела и жар не слишком донимал, но Борис не знал, надолго ли хватит сил и не взлетит ли температура, а этот зараза-корпусник не торопился. Приставал с какими-то газетами.

- Мне здесь стирают, - ответил Борис. - Женщина из деревни приходит.

- Ну, ладно. Ничего у нас с тобой, товарищ лейтенант, не получается, печально вздох-нул полковник. - А кроме тебя, понимаешь, некому...

Курчев недоуменно уставился в жестоковато-бурое худое лицо смершевца.

- Да. Кроме тебя некому. Мы всех проверили.

Больше добродушия в полковнике не было. "Теперь, как пленного, начнет трясти",- ре-шил Борис. Но что от него нужно корпусному, по-прежнему не понимал. И зачем тут молчали-вый бесцветный майор - тоже было непонятно.

- Вот. Вы это привезли. Больше некому, - снова переходя на "вы", сказал полковник и вытащил из-за стола - видимо, из портфеля - сложенную вчетверо "Строительную газету". На левой свободной от текста кромке газеты был разорванный след от дырокола. По-видимому, газету сначала подшили, а потом выдернули из подшивки. Этот самый рваный след Курчев заметил раньше фотографии, которая лишь краешком выступала за сгиб газеты.

- Это не моя, - покачал головой Курчев.

- Да не эта. Другая. За то же число. Вы ее привезли в часть.

"Ну и ну", - подумал Борис. Он все еще ожидал разговора о машинке.

Полковник развернул газету, фотография изображала какое-то заседание. На трибуне стоял Маленков.

- Узнаете? - спросил полковник.

- Георгий Максимилианович, - четко сказал Курчев, потому что вчера это имя-отчество аккуратно отстукал на машинке.

- Газету узнаете? - резко повторил полковник.

- Нет, - помотал головой Курчев. - Не читал.

Он еще раз взглянул на фотографию. За спиной Маленкова,

на скамьях повыше сидели, по-видимому, члены Президиума. Клише было не очень ясным, к тому же лейтенант был близорук.

- Очки наденьте, если не видите, - с издевкой сказал полковник.

- Слушаюсь, - Борис полез в карман кителя.

Теперь, в окулярах, он разглядел за спиной Маленкова Берию и улыбнулся. Газета была годичной давности - за 15 марта 1953 года.

- Узнали?

- Враг народа Берия.

- Газету узнали? - повторил полковник.

- Газету - нет. Меня тогда в части не было. Можете справиться. С февраля по май я находился в командировке - завод почтовый ящик...

- А в День Пехоты? - не выдержал капитан Зубихин. Он весь покраснел, набычился. Короткая шея готова была распороть воротник кителя.

- В День Пехоты я ходил к начфину в... - отчеканил Курчев, называя окраину Москвы. - Это рядом с заводом.

- Вы свободны, лейтенант, - холодно сказал полковник.

- Разрешите одну минуту, Андрей Тимофеевич, - повернулся красный, как свекла, полковой смершевец к корпусному.

- А это что? - вытянул он из-за спины фанерный щит и положил на стол перед подня-вшимся уже лейтенантом. Верхнюю часть щита он прикрыл развернутым ЦО строительного министерства.

- Стенгазета, - ответил Курчев.

Собственно, это была не простая стенгазета, а стационарка, ленинка, как ее когда-то называли, размером в небольшую классную доску. Заметки в этой стенгазете не наклеивались, а вставлялись в специально прорезанные пазы. Каждый столбец отделялся от другого тоненькими переборочками.

- Твоя стенгазета? - спросил капитан.

- Нет. Не я редактор.

- Машинка, спрашиваю, твоя? Ты печатал?

- Я. А подписано - подполковник Колпиков, - усмехнулся Борис.

Он слегка привирал. Дело в том, что и печатал и писал заметку он сам. Подполковник был не шибко грамотен и часто просил Курчева сочинить ему доклад или составить конспект для политзанятий.

"Ну, теперь из-за этой заметки он нахлебается",- подумал лейтенант. Подполковник дей-ствительно сидел красный и смущенный. Капитан сидел красный и злой. Майор по-прежнему

молчал. А полковник закурил "казбечину", предоставив капитану самому выпутываться из дурацкого положения.

- Значит, печатал? - злорадно вскрикнул Зубихин. - Печатал. Так? А смотри, на чем ты печатал?!

- он отшвырнул газету и показал верхнюю часть стационарки. Справа от заголовка "ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!" была наклеена та же газетная фотография с выступающим Маленковым и сидящим над ним врагом народа Берия.

- На этом я не печатал. Это в каретку не влезет, - с насмешкой ответил Курчев. - Мне домой листки принес Хрусталев, я на них и печатал.

- Можете идти, лейтенант, - снова сказал полковник и поставил фанерный лист на подоконник.

- Слушаюсь. - Борис снял очки, поднялся, козырнул и вдруг, задержавшись взглядом на газете, улыбнулся и все понял. Ему даже стало жаль этих двух незадачливых смершевцев, у которых нет других дел, как гонять за столько километров ради миллиметрового изображения их бывшего начальства.

- Товарищ полковник, разрешите обратиться. Я знаю, откуда эта газета! - выпалил Борис.

- Сядь, - сказал старший смершевец.

- Извините. Я вижу неважно, а очки не ношу. Вот теперь без очков узнал... Она в строй-бате висела.

- Где?

- В стройбате. Я по утрам там раньше запитывался. До развода не всегда успевал, - подчеркнул Курчев специально для Колпикова. - Вот эта фанера и заголовок, и фотография та же, - он снова улыбнулся, - все они над раздаточным окошком висели. Кто-нибудь, наверно, оттуда сюда сволок.

- Понятно. Спасибо, лейтенант, - строго сказал полковник.

- Посыльного за редактором пошли, - кивнул младшему смершевцу.

- Фу ты, - выдохнул Борис, вываливаясь в коридор.

- Посыльный, - крикнул за его спиной капитан и маленький ушастый посыльный пробе-жал мимо Курчева в радиокласс и тут же пулей вылетел обратно.

"Зря я им сказал. Теперь растрясут дурака", - подумал Борис о своем недруге Хрусталеве. Член комсомольского бюро, красавец, службист и одновременно сачок, Хрусталев выступил в конце года на собрании и, пользуясь весьма суженной армейской демократией, стал критиковать комсомольца (он так и называл "комсомольца", а не лейтенанта!) Курчева за невыполнение возложенных на него поручений. В частности, вместо того, чтобы читать личному составу лекции о международном положении,

комсомолец Курчев каждую субботу, видите ли, убегает в Москву.

"Впрочем, у Хрусталева всего восемь классов. Что с него взять? Так или иначе за все ответит Колпиков. Колпиков, а может, и Ращупкин... Но если этот Андрей Тимофеевич поведет издалека, то сержант, как пить дать, расколется насчет выстрела и сознательной дисциплины. Странно, что они про выстрел не спросили? Или это не их дело?"

- Нет у них никакого дела, - улыбнулся Борис, зябко ежась на крыльце штаба. - Ну и времена! У особняков дела нет! Да прошлый год за такое полчасти за проволоку бы засадили.

- В прошлом году за Берию бы не тронули, - перебил себя и увидел вышагивающего вниз по улочке Ращупкина.

Это был все тот же почти двухметровый блестящий офицер, который даже в февральский четверг сиял, как на первомайском параде.

Это был молодой и удачливый мужчина, краса и гордость полка, пример и зависть всех начинающих служак зенитной части. Не только простодушная пехота, но даже огневики и кичащиеся своей образованностью и интеллигентностью импульсники из "овощного хранилища" втайне надеялись, а вдруг и им так повезет! В мирное время в тридцать два года занимать генеральскую должность!

Но для бедного озябшего Курчева Ращупкин вовсе не сиял. То ли виной был жар, то ли вчерашняя знакомая, то ли сидящие в радиоклассе смершевцы, но Ращупкин не казался сегодня лейтенанту ни удачливым, ни счастливым.

- Старая кляча! - подумал сквозь свою ангину Борис и равнодушно сплюнул за штабные перила.

Ращупкин спускался по своей улочке и уже подходил к офицерской столовой. Шаг у него был бодрый, почти строевой, но лейтенанту казалось, что подполковник ступает тяжело, будто идет не с горы, а в гору. И вид у комполка был только снаружи хозяйский, а по-настоящему хозяином был смершевский полковник, оккупировавший радиокласс.

Курчев стоял на крыльце - ноги не шли - и с усталым презрением наблюдал за все увеличивающимся подполковником, который, казалось, и не собирался идти в штаб, а наоборот, старался скорей миновать его, очевидно зная, что там сидит настоящий хозяин. Может быть, подполковник и прошел бы мимо, но тут из-за угла штабного барака показался подтянутый Хрусталев и лихо козырнул подполковнику. Подполковник улыбнулся, тоже подтянул руку к ушанке и остановил Хрусталева. Курчев, не слыша, о чем они там беседуют, по-прежнему брезгливо улыбался и вдруг поймал взгляд подполковника.

Осмелев от жара, он не отвел злых глаз и Ращупкин принял вызов. Огромный, как кентавр, и блестящий, как фаворит скаковой трибуны, он медленно, не теряя своей грациозности, двинулся к штабному крыльцу по аккурат-но очищенной от снега дорожке. Рослый Хрусталев рядом с ним выглядел пузатой мелюзгой.

Борис небрежно козырнул командиру полка и почти безразлично сержанту. Тот прошел мимо остановившегося на крыльце подполковника и осторожно, чтоб не громыхнула, прикрыл входную дверь.

- Что, стыдно? - спросил подполковник.

- Никак нет, - ответил лейтенант.

- Стыдно. Вижу. Думать сначала надо. А потом уже стрелять. Тогда и краснеть не придется.

- Это от температуры, - теперь уже почувствовав, что действительно весь горит, сказал Борис.

- Пойдемте. У меня продолжим, - и Ращупкин прошел мимо поспешно козырнувшего посыльного в свой кабинет.

- Садитесь, - сказал Курчеву. Сам он снял шинель, провел ладонью по темным блестя-щим волосам и сел под портретом Сталина.

- Садитесь, - повторил. - Распекать я вас не буду. Мне хочется понять и простить, как писал Маяковский. Слушайте, Курчев, что же все-таки случилось?

- Ничего... - буркнул Борис.

- Ну, что ж, - вздохнул подполковник. - Ничего... значит, стыдно. То, что стыдно, хоро-шо. Но в двадцать шесть лет одного стыда мало. Я в двадцать шесть лет дивизионом командо-вал. А в зенитной артиллерии, сами догадываетесь, растут не быстро.

- Виноват, товарищ подполковник, - наконец не выдержал Борис и попытался отряхну-ться от жара, как отряхиваются от сна. - Виноват, товарищ подполковник. Я получил неделю ареста. Между тем как в части произошло ЧП, то есть групповое избиение. Четверо солдат и сержант устроили самосуд.

- Ну, уж и самосуд... - улыбнулся подполковник. - У вас действительно температура.

- Товарищ подполковник, - медленно выговорил Борис, - теперь Ращупкин его раздражал всерьез. - Я был дежурным по полку. Я отвечал за внутренний порядок. Во время моего дежурства четверо солдат под управлением и при участии сержанта пустили юшку почтальону.

- Почтальону? - презрительно хмыкнул подполковник. - Почтальон дезертир. Его давно пора судить и спровадить в соответствующий батальон. Я считал, что в таком образцовом

полку удастся перевоспитать разгильдяя. Во всяком случае привести в чувство. Но некоторые офицеры суют мне палки в колеса. Лейтенант Курчев, извините меня, но я, честное слово, не понимаю вашей слабости к этому ефрейтору. Простите, но это начинает пахнуть порочной наклонностью, - улыбнулся подполковник, надеясь, что лейтенант начнет бурно протестовать и разговор сойдет с нежелательных рельс. Но Курчев не поддержал волнующей темы.

- Товарищ подполковник, я повторяю, - медленно тянул он слова, - в полку произошло групповое избиение.

- Групповым бывает изнасилование, - улыбнулся подполковник.

- Хорошо. Не групповое, а массовое, если так вас больше устраивает, рассердился лейтенант. - Четверо солдат и сержант не подчинились приказу дежурного по части и бросились наутек. Пришлось их остановить выстрелом в воздух. Кроме того, учтите, что я близорук и за сто метров не разглядел солдат. Виноват, но как предположить, что в таком образцовом полку солдаты могут не подчиниться приказу дежурного офицера? Каждый на моем бы месте выстрелил. Ведь это могли быть переодетые американцы...

- Курчев, бросьте демагогию. Я вам не Колпиков и учен не меньше вашего. Никто в полку не виноват, что вам однажды вздумалось стать кадровым офицером, а потом раздумалось. Вы знаете, что я не против вашей демобилизации. К сожалению, я пока не министр обороны. К сожалению, моему. А к вашему, пожалуй, счастью. Потому что теперь я просто считаю необходимым оставить вас в полку и привести в чувство. Вы что думаете, если собрались бежать отсюда, то свинячить можно? Нет. Полк - это дом родной для всех солдат и офицеров, в особенности для офицеров. Вы нагадите, а нам потом дышать этим?! Нет, дудки, товарищ Курчев. Отныне будете здесь все драить, пока чисто не станет. Люди стараются, живот кладут, а вам что? Расписались в денежной ведомости и айда в столицу?! Нет, не выйдет. Будете торчать в казарме от подъема до отбоя. Взвод вам дам, чтобы не продыхнуть было. Чтоб ни минуты своего времени не знали. Поработаете с сержантом Хрусталевым. Кое-чему у него поучитесь.

- Сознательной дисциплине?

- Да. И сознательной дисциплине. И без ехидства, пожалуйста, - теперь уже сердился подполковник. - Именно сознательной дисциплине. Дисциплине, когда сознаешь, что во имя чего.

- И хороши все средства?..

- Бросьте, Курчев. Я вам уже сказал насчет демагогии.

- Я не о демагогии, а о мордобое, товарищ подполковник. У нас не николаевская армия. Марксизм-ленинизм отрицает зуботычины.

- Марксизм не догма... - улыбнулся своей находчивости Ращупкин.

- Знаю, - сказал Курчев. - Знаю. Руководство к действию. Но вряд ли вы убедите меня в том, что сержант Хрусталев руководствовался марксизмом, когда пускал кровь ефрейтору Гор-дееву. К сожалению, сержант был вооружен самодельной теорией так называемой "сознатель-ной дисциплины". Я не знаю, кто выдумал и кто вбил ее в головы сержанта, истопника и еще троих солдат. Но нечто подобное этой теории бытует в воровских шайках. Иногда ее называют круговой порукой. И не место этой теории в Советской Армии, а тем более в таком образцовом полку.

Если бы не жар, который почти перешел в бред, Курчев, наверно, постыдился бы своей тирады. Но сейчас он не слышал себя. Даже угроза подполковника дать взвод не испугала. Сейчас все казалось нереальным. Сам подполковник за письменным столом и даже портрет Сталина над головой подполковника: все плыло перед глазами. "Спасибо, что сесть предложил, а то бы на ногах мне не выдержать", - подумал Борис.

Подполковник по-прежнему сидел перед ним и был так же красив и подтянут. Это был все тот же Ращупкин, с которым Курчев два месяца назад беседовал в этом кабинете под сталинским портретом. А раньше, в полдень, Курчев, построив полк четырехугольником, звонко отрапорто-вал Ращупкину:

- Товарищ подполковник! - Ра-ра-ра... полк по вашему приказанию построен. Дежурный по полку - лейтенант Курчев.

И подполковник, выйдя в середину торжественного четырехугольника, громовым голосом, подобным тому, каким он рапортовал корпусному командиру, сказал:

- Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Свершился справедливый суд. Расстрелян враг народа Берия. Этот подлый интриган замышлял в нашей стране реставрацию капитализма, убийство наших руководителей и в первую очередь нашего дорогого и любимого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.

- Силен заливать, - подумал тогда Борис, стоя три метра сзади подполковника.

Но вечером того же дня, после сдачи дежурства, подполковник предложил лейтенанту при-сесть и, когда они по обыкновению начали разговаривать о жизни, Ращупкин отставил большой палец, ткнул им через плечо и сказал про портрет:

- Не все с ним просто. Большие ошибки совершал. Да и кто у

нас не ошибается.

Впрочем, Борис и без подполковника знал, что правда никогда не ходит в одиночестве. Правда - целый комплект, и одна годится для лейтенанта с головой, она отставляет палец и подмигивает левым глазом. А вторая правда для солдат, сержантов и офицеров - и она сообщает, что Берия хотел убить дорогого и великого вождя.

Но сейчас разговор был не задушевным и подполковник о Сталине не вспомнил.

- Так что вот так, - сказал он. - Примите второй огневой взвод. И ваш узел в бункере тоже останется за вами. Потащите лямку. Знаете, на хитрую эту самую... кое-что с нарезкой. Так дела не делают. Был тут уже один философ. Гришка ваш. Кальсонами думал меня взять. Но он все-таки не полный дурак. Понял, что ничего этим не добьется, фронтовик фронтовика всегда поймет. А вы, Курчев, хоть и гусь, да хлипковатый и ощипанный. С вами мне и мараться не хочется. Примите взвод, а там поглядим.

- Слушаюсь, - тяжело поднялся лейтенант. - Разрешите, однако, подать рапорт о вчерашнем избиении почтальона.

Ращупкин ничего не ответил. Он знал, что лейтенант ничего подавать не станет. Не дождав-шись ответа, Борис лениво козырнул и вывалился за дверь.

Жар его действительно допек. Хватаясь за стенки, он еле добрался до крыльца, хлебнул там свежего морозного воздуха и потащился в санчасть. Медицинский лейтенант был на месте. Он сунул Борису градусник, почти тут же отобрал назад и уныло покачал головой:

- Поздравляю. Тридцать девять и девять.

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Инга Рысакова по аспирантской вольности могла подниматься в любой час, но обычно вставала без четверти семь, словно все еще была студенткой. Отец, Антон Николаевич, скромный институтский преподаватель начертательной геометрии, любил завтракать в кругу семьи. Потом все расходились, дома оставалась одна Ингина бабка, точнее незамужняя тетка отца, и до вечера домашние не видели друг друга.

Утром семья пила кофе, которое покупалось в зернах и мололось на домашней, инкрусти-рованной медью ручной кофемолке. Иногда, по-стариковски расчувствовавшись, отец философ-ствовал:

- И почему это древние назвали вино напитком богов?! Нет,

ошиблись греки. Если что и напиток богов, то как раз кофе. Правда, дочка?

- Угу, - кивала Инга. Она любила отца и не раздражалась.

Это была тихая незаметная беспартийная семья, каким-то чудом сохранившаяся в перипети-ях войн и социальных катаклизмов. Когда-то, а точнее первого марта восемьдесят первого года, один ее боковой предок (двоюродный брат бабки Вавы) в незрелом возрасте швырнул бомбу в царские сани, и этот поступок настолько отвратил последующие поколения от всякой обществе-нной мысли и борьбы, что даже поступление семнадцатилетней дочери на филфак представ-лялось Рысаковым чуть ли не революционным заговором.

- Наука! Только одна наука. В крайнем случае музыка, - восклицал отец за полгода до постановления ЦК "Об опере "Великая дружба". Но на беду у Инги не было решительно никаких способностей ни к музыке, ни к точным предметам.

- Что ж, я это предвидел, - шептал матери отец в прошлом году, когда Инга неожиданно для себя и для них расписалась с мужчиной, который был старше ее на целых десять лет. И это по паспорту. С виду же Георгию Ильичу можно было дать все полсотни.

- Я предвидел, предполагал... - повторял Антон Николаевич, хотя в 47-м году филфак Университета казался ему не вертепом разврата, а только кузницей революции.

- Успокойся, Тошка. Все обойдется, - успокаивала его жена.

- Я предполагал, ах, как я все это предполагал, - шептал Антон Николаевич, чтобы не услышала в соседней комнате дочь. По врожденной деликатности он ей ничего не мог сказать. Она была совершеннолетней даже по английским законам. Он грустно и нежно поздравил дочь с законным браком и чрезвычайно обрадовался, когда через несколько месяцев Инга вернулась домой.

Дочка держалась молодцом. По-видимому, неудачный брак ее не сломал. Развод еще не оформили, но Георгий Ильич (незадачливый супруг) иногда звонил, как, впрочем, звонили и другие знакомые. Инга была весела, много работала и даже - что так нечасто среди аспирантов - собиралась защититься раньше срока. Антон Николаевич был счастлив.

- Да, действительно обошлось, - шептал он ночью жене. - Девочка оказалась стойкой. Что ни говори, хорошая кровь и хорошее воспитание не могут не сказаться. Но я бы поторопил-ся с оформлением этого неприятного документа...

- Ничего, Тошка. Не торопись, - утешала жена.

В год великого перелома, когда в Москве вдруг стали

исчезать продукты и интеллигенты, когда без того зябковатая жизнь беззащитных служащих стала вовсе сирой и неуютной, в тот год каким-то совершенно непостижимым чудом они нашли друг друга и стали друг для друга прибе-жищем, пристанью, опорой, выходом из отчаянья и аккумулятором силы. Татьяне Федоровне было уже за тридцать и знакомый врач, чрезвычайно интеллигентный человек (он повесился в прошлом году во время гонения на врачей), советовал не заводить детей. Но она с безоглядной храбростью не послушалась эскулапа и родила Ингу. Теперь Татьяне Федоровне было под шестьдесят. Она прихварывала, но преподавала в музыкальной школе, правда, уже отказавшись от частных уроков.

- Не торопись, Тошка, - отвечала мужу. - Так... она с нами... А с чистым паспортом опять с кем-нибудь сочетается...

- Да, ты права, - как всегда, соглашался отец.

В семье был чуть ли не суеверный страх перед всякого рода бумагами, документами, гербовыми печатями и пр. Получение какой-либо справки, даже из домоуправления - было предметом отчаянных мук, долгих споров, волнений и поводом для приема капель Зеленина.

Словом, это была семья, уцелевшая благодаря своей незаметности и не распавшаяся благодаря слабости каждого ее члена. В одиночку никто бы из Рысаковых не выстоял.

- Родить им, что ли, внука? - подумывала иногда Инга, глядя на милых, несколько жал-ких и страшно дорогих ей старичков. - Вот развяжусь с аспирантурой и подсуну им ребеночка вместо себя. Тогда хоть свободней стану.

Впрочем, тиранили ее не они, а их деликатность.

- Сегодня девочка в отличном настроении, - улыбалась незамужняя тетка, когда Инга, умытая и причесанная, в юбке и вязаной кофте, вошла в родительскую комнату. Незамужней тетке было за восемьдесят, но она еще была бодра. - Что это у тебя за чтение было в третьем часу, а потом гимнастика? Ты закончила свою главу?

- Если бы... - вздохнула Инга, понимая, что нельзя обделять стариков крохами информа-ции. Она чувствовала, что слух у них постоянно напряжен, как у охотничьих собак.

- Нет, это чужой реферат. Но очень хороший. О месте последней личности...

- ... в истории? - подхватил Антон Николаевич. - Что-нибудь плехановское?..

- Нет, совсем другое, - улыбнулась Инга. - Так. Взгляд и нечто... Один захолустный офицер.

- Не люблю военных, - фыркнула бабка.

- Нет, не скажите. Случаются любопытные экземпляры, - заступился отец за незнакомо-го ему Курчева.

- Этот любопытный, - кивнула Инга, прихлебывая кофе.

"А что - взять и выйти отсюда замуж в какую-нибудь закрытую секретную часть. Захотят они приехать, а пропуска им не выпишут. А?" - и не удержавшись, она засмеялась.

- Не расплескай кофе, - сказала бабка Вава. - Ты сегодня, я вижу, в отличном духе.

- Она всегда такая. Правда, девочка, - погладила дочь Татьяна Федоровна.

- Всегда и везде, маман. Все у меня прекрасно и удивительно. Лет до ста и так далее и обязательное равнение на маман. Сегодня кофе само совершенство! - кивнула отцу. - Чего они от меня хотят, папа?

- Уймитесь, женщины, - тотчас откликнулся отец. - Как, Ингуша, эта работа в пределах досягаемости?

- Да, пожалуйста. У меня на столике. Целых два экземпляра. Но это не по теме. К Ребекке Шарп отношения не имеет.

- Привет, - поднялась, потому что зазвонил телефон. - Скажите, что уже ушла.

- Люди утром звонят по делу, - проворчала тетка и сняла трубку. - Ингу Антоновну? Пожалуйста.

- Ну и Вава... - покачала Инга головой. - Да, - сказала в трубку. Доброе утро, Алексей Васильевич. - Зная, что ее слышит вся семья, она держалась подчеркнуто безразлично. - Да. Уже выхожу. Да, в библиотеке. Как всегда до вечера. Пожалуйста.

Она положила трубку.

- Я же сказала, что меня уже нет.

- Неприятный звонок? - насторожилась мать.

- Нет, просто занудный, - солгала Инга. - Один доброхот. Предлагает написать за меня основополагающую часть тошниловки.

- Девочка, это неприлично, - не удержалась тетка. - Каждый должен работать за себя. И потом, надо выбирать подходящие слова. В крайнем случае можно сказать - тошнотворность, хотя и это нехорошо. А эти суффиксы - овки, евки - никуда не годятся.

- Знаю, ужасна газировка вместо газированной воды, - с неохотой воротилась Инга к давнишнему семейному спору. - Но великий и могучий должен все-таки развиваться?!

- Но не в сторону улицы, - спокойно отпарировала тетка.

- Дискуссия по вопросам языкознания давно выдохлась. Гуд лак, махнула Инга ладошкой и потерлась о плечо отца.

- К ужину ждать? - спросила неугомонная тетка.

- Ни в коем разе! Мне и так скоро расставлять юбки, - с

притворным ужасом оттопырила Инга пальцы вокруг узких бедер.

- Надо строже выбирать меню в ресторанах, - не растерялась тетка.

- Мам, - по-детски слезливо протянула Инга. - Ну, что она ко мне?..

- Не трогайте ее, Вава. Она не обжоришка, - осторожно потрепала Татьяна Федоровна дочь, чтобы не смять прически. - Иди, девочка, - и шутливо, как в школьные времена, вытолкнула дочку из комнаты.

- Не надо к ней привязываться. Она ведь умница, - сказала негромко, не столько для Вавы, сколько для себя.

- Да, - кивнул Антон Николаевич. - Собственно, это и окрыляет.

2

В вагоне метро Инга вдруг вспомнила, что должна отнести письмо в Кутафью башню, и с надеждой заглянула в папку: вдруг письма там нет. Она понимала, что это нехорошо, что лейтенанту, как видно, позарез нужно передать послание, но уж очень не хотелось идти в Кремль. Ну, днем позже какая разница? Все равно у нас такая бюрократия и волынка. К несчастью, пись-мо лежало в папке.

"Хорошо бы встретить у библиотеки какого-нибудь знакомого. Вдвоем не так страшно, - подумала Инга. - Может быть, он не побоится подойти к тому окошечку. А у меня просто идиосинкразия к подобным учреждениям."

Она медленно поднималась по лестнице, оглядывалась в толпе, надеясь кого-нибудь встре-тить. Был час толчеи. Все торопились, в том числе аспиранты, к открытию зала, чтобы захватить места получше и не слишком долго ждать заказанных книг. Инга сегодня не спешила и потому ее толкали больше других. Один полузнакомый молодой человек из третьего научного проплыл мимо и улыбнулся Инге. Они часто встречались в зале. Он, видимо, не прочь был за ней приволокнуться. Несколько раз они даже перекинулись у стойки со словарями незначительными фразами. Его вполне можно было попросить. Он бы посмеялся, но пошел с ней. Но сейчас его пронес поток, а она не могла его окликнуть, потому что не знала его имени.

Инга поднялась на поверхность, но к Кремлю не пошла, а повернула в глубь библиотечного дворика к своему залу. В зал еще не пускали и хвост занял весь дворик. Проплывший мимо молодой человек стоял метров на семь от конца очереди и, видимо, поджидал Ингу, потому что тотчас махнул ей рукой, указывая место впереди себя. Но одновременно с этим

аспирантом, чуть впереди него, Инга увидела своего знакомого, Игоря Александровича Бороздыку, того самого, который ждал ее вчера в Докучаевом переулке. Игорь Александрович так же, как аспирант, махнул ей рукой и Инге пришлось пройти мимо молодого человека и стать впереди Бороздыки.

Этот Игорь, в общем-то добрый и отзывчивый человек, которому она была бесконечно благодарна за внимание и заботу в трудные для нее месяцы разъезда с мужем, теперь стал довольно несносен. Он без конца звонил, ждал ее на всех углах, таскал на всяческие просмотры и отказываться было трудно, потому что он был так добр, отзывчив и, главное, беззащитен. Но, к сожалению, из всех людей, составлявших очередь, он единственный не годился для похода в Кутафью башню. Несмотря на его рассеянность и близорукость, никогда нельзя было в точности сказать, что он видел, а чего нет; и заметил ли вчера на Домниковке ее с лейтенантом - тоже было неясно. А на этом чёртовом конверте был напечатан снизу адрес: город и в/ч такая-то... (В последний момент, не послушав Гришку, Курчев решил сообщить адрес полностью, чтоб ответ пришел поскорее.)

И вот Инга должна была стоять рядом с Игорем Александровичем и никак не могла воспо-льзоваться помощью малознакомого аспиранта.

"Бедный офицерик, - вздохнула про себя. - Но что я могу поделать? Такова научная жизнь", - пошутила Инга, и тут же открылись двери и гуманитарии ринулись к вешалке.

В общем день, можно сказать, был потерян и лучше уж было бы остаться дома и выслуши-вать выговоры тетки Вавы. Сидевший рядом Игорь Александрович не давал сосредоточиться. Он что-то марал в своем огромном иностранного происхождения блокноте, но видно было, что марает он так, для вида, и тотчас может оставить это не такое уж нужное и интересное для него занятие. Безусловно, он пришел сюда из-за Инги и в любую минуту готов вытащить ее на лестницу, в буфет или в курилку и приступить к обычным, ноющим, душу выматывающим словоизлияниям, в подтексте которых (а иногда, если разговор подшофе, то и в тексте) вечно одно и то же: выходите за меня замуж.

Кроме того, Инга была раздосадована своей робостью. Все-таки надо было расхрабриться и снести письмо в башню. И еще (правда, это наступит не скоро, где-то возле двух или трех пополудни) в библиотеке появится сам доцент Сеничкин.

Эти три обстоятельства отчаянно мешали аспирантке, и глава, которая и так-то не больно клеилась, сегодня вовсе не шла. Инга уже откладывала шестую страницу (она писала на отдельных листах для пишмашинки) - и на каждой странице было

не больше трех-четырех фраз, да и те были перечеркнуты и солидно вымараны.

"Брось, не мудри. Пиши, как есть, - уговаривала себя. - Как думаешь, так и пиши. Стиль - это человек. Нечего мудрить над стилем. Строчи и все! Для чего ты села писать? Ведь для чего-то... Вот и пиши... Пиши, как лейтенант. Взял и наколошматил сорок страниц."

"Да, ему хорошо. Он чудак. Ничего не понимает в теперешних требованиях и сочиняет, как на деревню дедушке... А если бы писал для дела, ничего бы у него не вышло", - отвечала самой себе.

"В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства монополистичес-кого капитала все более..." - улыбнулась, вспомнив, как лейтенант вчера бубнил это за дверью сеничкинской комнаты. Она раньше знала эту фразу наизусть, потому что Алексей Васильевич подарил ей этот коллективный сборник, надписав его не на титуле, а в середине, рядом с заголовком статьи. Собственно, статья была написана Сеничкиным в соавторстве с другим филосо-фом, причем фамилия соавтора стояла первой (очевидно, по причине алфавитного порядка), но Инге все равно было приятно, и она пыталась догадаться, какую часть писал Алексей Василье-вич. Нравилась надпись по-английски (Инге, строгой и красивой, на суд и расправу), нравился слог статьи и даже самое начало, над которым вчера измывался лейтенант. Все-таки Алексей Васильевич умудрялся писать не очень казенно. Нет-нет, вставлял живое словцо, которое расцвечивало мертвый штамп, и фраза, непонятно как, но начинала звучать свежо и необычно. Вот, например, пустяк, но даже империалисты у него были не англоамериканские, а американо-английские. Это было и точнее и непривычнее уху. Вкус все-таки у доцента Сеничкина был - в одежде, конечно, в первую очередь, но и в слоге тоже. Лейтенанту легко смеяться. Одно дело писать реферат в никуда, а другое - в академический сборник, где чуть не десять инстанций, не считая цензуры и отдела пропаганды ЦК.

Все это так. И Сеничкин был Инге мил. Но лейтенант в мятом кителе и огромных, плохо вычищенных яловых сапогах стоял перед ней неким укором и как бы оттеснял доцента. Собственно, Алексей Васильевич сам собой оттеснялся из-за вчерашней истерики по поводу реферата кузена (так хотелось считать Инге), а на самом деле из-за своего домашнего уклада, а еще точнее - из-за своей жены Марьяны Сеничкиной, в девичестве Фирсановой.

Эта следовательница (а как сказать в женском роде?!) по особо важным преступлениям не то чтобы напугала или

устрашила Ингу, но превратила Ингины отношения с доцентом из прият-ных и легких - в какие-то сложные, запутанные и теперь даже нудные. Это не такой уж глупый ход - зазвать соперницу домой. Для судейского работника - даже способ честный. Зазвать и показать: вот я, жена, а вот ты, любовница. Но ведь Инга еще не стала любовницей... Тьфу, какое неладное слово!.. Так вот, Марьяна пригласила, точнее вытащила ее вчера из библиотеки, взяла под руку, привела к ним домой и как бы сказала: вот попробуй, поборись со мной.

И вот со вчерашнего вечера все стало ясно, и от этой ясности еще тяжелей и, смешно сказать, запутанней.

И зачем, спрашивается, такой воспитанный Алеша кричал на кузена?! Такой джентльмен, комильфо, как выражался этот нудный старик Толстой, который сам-то, небось, никогда комильфо не был! Такой деликатный Алеша и вдруг раскричался, как какой-нибудь склочный сосед из-за показаний электросчетчика. Ну и хорошо. Ну и еще лучше!..

Слава Богу, что Алексей Васильевич был так галантен, предупредителен и не настойчив. Ведь ему ничего не стоило чуть-чуть, совсем слегка настоять, и они бы уже были вместе, то есть не вместе, но близки... Стоило ему только слегка заупрямиться б, и все было бы уже позади. Она бы ему отдалась, как писали в старинных романах, или переспала бы с ним днем, как говорят сейчас.

Но он был тактичен, терпелив, серьезен, как бы показывал ей, что для него она не просто эпизод, случай, легкий заход, а что-то большее, глубокое, необычайное и он не тороплив, потому что у них впереди чуть ли не вечность.

Что ж, она ему благодарна, что он не воспользовался этим нелегким для нее временем разрыва с мужем. Ведь он знает мужа, знает коротко - и по работе (напечатал свою статью у мужа в журнале), и по сборищам, выпивкам и, возможно, холостым компаниям. Все они тут друг с другом знакомы. Муж и доцент, и вот сидящий рядом неудачливый Игорь Александрович. Даже злополучная Марьяна Сеничкина прошла через эту компанию, правда, в свои еще незамужние времена. И в центре этой компании, или круга, или общества - или как там это назвать - был бывший Ингин муж Георгий Ильич Крапивников, человек, казалось бы, незнаменитый, даже неостепененный и по должности не такой уж крупный. Но он был вожак и заводила этого малого общества, хозяин квартиры, где собиралось общество, и первый любовник всех побывавших в этой квартире женщин. Его и окрестили - "феодал", намекая на средневековое право первой ночи.

Но не о муже сейчас разговор. С мужем - всё... Муж - несчастный, хотя чрезвычайно талантливый, во всяком случае, очень способный человек, промотавший и до сих пор проматывающий жизнь ради сомнительных женщин. Мужа можно только пожалеть, что Инга в общем и делала. Она спокойно разговаривала с ним по телефону и, встречая его в библиотеке или у знакомых, не шарахалась в сторону. Она даже несколько раз заходила к нему домой, правда, в обществе сидящего рядом Бороздыки. Она даже согласилась встречать с мужем Новый 54-й год, как бы на правах хозяйки, хотя они окончательно разъехались еще в сентябре. Очевидно, очередной роман Георгия Ильича был уже исчерпан, и Крапивников не нашел ничего лучшего, как пригласить свою бывшую жену, по той смешной причине, что еще не успел с ней развестись.

Что ж, Инге было все равно. В конце концов это даже справедливо. Достойное завершение неудачного года. Сойтись в феврале, расписаться в марте, разъехаться в начале осени и поставить точку 31-го декабря.

На встрече Нового года она была самой холостой женщиной - ни жена, ни знакомая, а так - разбери-пойми. Но ухаживали за ней все - и Бороздыка, и только что представленный ей Сеничкин, и еще пятеро малознакомых мужчин. Там-то она увидела впервые и Марьяну и отнеслась к ней без особого интереса, хотя та, видимо, приняла Ингу всерьез.

- Не идет?.. - оторвался от блокнота Игорь Александрович. У него был очень красивый голос, который совсем не соответствовал худому очкастому лицу и тонким усикам.

- Н-н-н... - покачала головой Инга.

- Начните с другой точки. Попробуйте все писать совершенно наоборот. Скажем, Теккерей завидовал Диккенсу.

- Но оно так и было, - громче, чем это принято в библиотеке, сказала Инга. Бороздыка ее раздражал.

- Может быть, все-таки можно тише?! - буркнул откуда-то сбоку недовольный старушечий голос.

- Выйдем, - шепнула аспирантка.

Все равно день был потерян. Игорь Александрович послушно встал и пошел за ней по широкому проходу. Хотя ему было за тридцать, шел он как-то по-мальчишески, вернее так, как ходят мальчишки, стараясь подражать взрослым. Обычно эта смешная походка даже умиляла Ингу, но теперь она шла по проходу впереди Бороздыки, нарочно подчеркивая, что не имеет к нему никакого отношения.

- Но вы же не напишете о его комплексе неполноценности, - нагнал Игорь Александрович ее у дверей зала.

- Причем это? - пожала плечами, нервно распахивая дверь. - Я просто не могу писать. Понимаете, не умею. Я - бездарна. Ясно? - она чувствовала, что раздражена, и раздражалась еще больше.

- Не говорите глупости, - сказал Бороздыка.

- Это не глупости. Я - бездарь. Бездарь из интеллигентной семьи и потому потащилась в аспирантуру. Раньше шли в сельские учительницы, в народницы, а я безвольна, не могу без ватер-клозета и потому полезла в литературоведение.

- Чепуха. Вы не бездарны. У вас удивительный ум.

- Ладно. Дайте лучше сигарету, - они вышли на лестничную клетку. - Как это вы томились полтора часа без курева? - спросила с усмешкой. - Как курят? Научиться не могу, - закашлялась она.

- Вам не идет, - сказал Бороздыка. - Впрочем, я, возможно, неправ.

- Вы всегда правы. Только преувеличивать не надо. Я вовсе не идиотка, но до умницы мне далеко. Вчера, скажем, я встретила женщину куда умнее себя. Да и мужчину одного - тоже. Он, правда, глуп, но это, знаете, глупость поверхностная. А вообще очень не простой ум. Вы не прочтете его реферат?

- С удовольствием, - сказал Бороздыка потускневшим голосом. - Кто такой? Я уже слышал?

- Нет. Это военный. Технический лейтенант. Работа по поводу места последней личности в обществе. Общество довольно абстрактное и все вообще на живую нитку... но очень любопытно. Я обещала ему, что вы прочтете.

- Пожалуйста, - улыбнулся польщенный Игорь Александрович.

Печатался он редко и никогда статьями, а лишь малыми двух- или трехстраничными рецензиями и просьба лейтенанта была ему лестна. Он не знал, что предложение исходило от Инги, а лейтенант и не ведал о существовании Бороздыки. Впрочем, Игоря Александровича печатали, хотя писал он рецензии нисколько не лучше других, отвергнутых авторов. Больше того, Бороздыке даже заказывали мелкую работу, считая, что ему нужно помогать, так как человек он больной и очень необеспеченный. Его бросили две жены, причем у первой был от него ребенок (которого, как считалось, Игорь Александрович содержит, хотя на самом деле жена давно отказалась от его помощи, весьма мизерной и крайне нерегулярной), и сердобольные сотрудницы журналов забрасывали Игоря Александровича рецензионной, в основном внутренней, но неплохо оплачиваемой работой. И он был не беден, хотя мог бы зарабатывать больше.

На войну его не взяли из-за близорукости и он спокойно

окончил университет, а затем аспирантуру. Но дальше дело не пошло. Едва он начинал где-нибудь читать курс, его тут же увольняли, потому что читал он, несмотря на отличный голос и довольно обширные знания, из рук вон плохо, к лекциям не готовился, а на слово был не быстр. Студенты забивали его хитрыми вопросами, он мешался, начинал хамить и его увольняли. Он стал предпочитать заочные факультеты, где народ попроще и стремится не столько к знаниям, сколько к зачетам и бумажкам. Зачеты он ставил охотно да и неудов и троек никому не лепил, как считалось - по доброте, а на самом деле - по безразличию и из боязни неприятностей. Неприятности все равно получались и он увольнялся не всегда по собственной инициативе. С каждым годом устраиваться становилось труднее: все больше людей защищалось и жаждало кандидатских ставок; и Бороздыка в конце концов переключился на журнальную работу. Он мог бы, подобно Крапивникову (правда, тот был членом партии), найти себе постоянное штатное место, но не терпел дисциплины (даже вполне не строгой, журнальной), а тем более ответственности, и потому пробавлялся мелкой работой, надеясь использовать свободное время для чего-то серьезного, настоящего, как он говорил - для вечности и души.

- А где вы стакнулись с армигй? - спросил, с удовольствием выпуская витое колечко синего дыма. - Или это неприкосновенная область?

- Наверно, не заметил, - подумала Инга, вспоминая вчерашнюю встречу в Докучаевом переулке. - Пожалуйста. От вас никаких секретов. Вчера была в гостях у мадам Сеничкиной. Технический лейтенант - кузен доцента.

- Радеют родному человечку? - усмехнулся Бороздыка. - Так, так...

Всякое упоминание о Сеничкине выводило его из себя. Он чувствовал, что между Ингой и доцентом что-то есть.

- Ничего подобного, - сердито отмахнулась аспирантка. - Реферат совершенно непроходимый. Доцент учинил смертельный разнос. Проходимые работы я бы вас читать не просила, - добавила примиряюще.

Он тут же откликнулся, потому что к себе самому был чрезвычайно чуток и внимателен:

- Да, извините... Вам сегодня нехорошо? Может быть, уйдем отсюда?

- Нет, - нервно пожала плечами. - Не могу. Ну, а вы как - набросали чего-нибудь?

- Что я? - вздохнул Бороздыка. - Я ведь, Инга, другой. У меня куча недостатков, но, честное слово, я начисто лишен тщеславия.

Одному на мильон есть что сказать, а пишут всего лишь из адского самолюбия. Гордыня - всё. Я скорей извиню графомана. Тот не ведает, что творит, и творит бескорыстно. Бескорыстно и безнадежно. А эти на одном тщеславии держатся...

"Это он об Алеше", - подумала Инга.

- Да и, сами понимаете, что сейчас скажешь? Ведь за что ни возьмись, все нельзя!..

- А "Об искренности"?

- Ну, это же собрание баек! Мы ведь с вами говорили...

Они действительно говорили об этой статье, но несколько по-иному. Два месяца назад Бороздыка кричал на всех перекрестках, что это - потрясающе, великолепно, грандиозно, переворот в мыслях и вообще катехизис всего насущного. Ранним воскресеньем он поднял Ингу с постели и, захлебываясь, брызжа слюной в трубку, так что было слышно в аппарате, выкрикивал цитаты. Теперь эта статья была для него собраньем баек.

- Все прекрасно, - входил он в роль. - В России всегда так было. Если что выскакивало на поверхность, так только силою гения, именно силою сумасшедшего гения. А простому образованному человеку никогда нельзя было пробиться. Вот ведь я. Я не талант, не гений. Я просто человек, читатель. Но у меня свое. Я что-то беру, чего-то не принимаю. Но у меня собственный путь. Я хотел написать грандиозное исследование - историю русской мысли. Я бы начал с Чаадаева. На Чаадаеве все сошлось. Но ведь Чаадаев сейчас все равно, что... - Игорь Александрович наклонился к Инге и, понизив голос, прошептал: - Бердяев... - хотя поначалу хотел сказать: "Бухарин".

- А Чаадаев - это все. Это начала и концы Руси, русской идеи. Без Чаадаева вам никак нельзя.

- А без Тёккерея? - улыбнулась аспирантка.

Неделю назад, когда она жаловалась ему, что у нее не клеится с диссертацией, что ее работа никому не нужна, что и без того статей и монографий хватает, он, успокаивая ее, возбужденно доказывал, что Теккерей велик, что без Тёккерея Англия не Англия и даже Европа совсем не то; что "Ярмарка тщеславия" - это не только книга, это суть, это в самое яблочко простреленная История, и что вообще такое наша жизнь, как не Ярмарка именно того самого Тщеславия!

- Теккерей? - опомнился сейчас Игорь Александрович. - Что ж, Теккерей... - ему хотелось сказать какую-нибудь гадость о Теккерее, хотя бы потому, что общие политические места в диссертации подрядился писать Сеничкин. Месяца два назад сам Бороздыка согласился набросать для Инги эти куски, но то ли не засел, то ли у него ничего путного не вышло, и он даже

обрадовался, когда вскоре за это нудное дело обещал приняться молодой доцент. Раздраконить всегда можно. А там, глядишь, и удастся перелопатить сеничкинскую писанину так, что ни он сам, ни Инга не узнают. В итоге и доцент будет посрамлен, и Игорь Александрович окажется на высоте. Но теперь отношения Инги и Сеничкина вышли из-под контроля Игоря Александровича. Они встречались где-то вне его досягаемости, в каких-то отдаленных кафе или плохеньких окраинных ресторанах, ездили на лыжах или просто бродили по зимним улицам - и дело шло к тому, что Инга вообще могла не показать Бороздыке того, что накропает для нее дурак-философ.

- Теккерей - для Англии Чаадаев, - вдруг нашелся Игорь Александрович, потому что еще рано было ругать английского классика. И Игорь Александрович еще питал некоторые надежды. В конце концов Сеничкин прощелыга, к тому же женат на работнице грозного ведомства. С такой шутки плохи.

- Нисколько не меньше, чем Чаадаев, - важно повторил Бороздыка, чтобы не слишком отрываться от разговора.

- Спасибо, - скорчила Инга гримасу. - Вы меня взбодрили.

Она вернулась в зал. Но в зале работа двигалась в том же темпе и с тем же успехом. Только что росла пачка исписанных до трети или до половины листов и в конце концов Инга стала рисовать на полях платья, юбки и блузки.

"Быстрей, что ли, - думала, - обед. Можно сдать книги и пойти прямо из буфета в эту самую башню". Натощак туда идти не хотелось.

3

- Если б не эта безобразная поденщина, - сказал Игорь Александрович, когда они, наконец, засели в буфете, - я бы все-таки написал книгу. Именно книгу, а не работу, не статью. Книгу. Почти беллетристическую.

Он улыбнулся. Он был почти одухотворен. Неаккуратно подцепив трехзубой вилкой комок теста с мясом под названием - рожки, он выдавил:

- Булгарин. Да, тот самый Фаддей Булгарин. Пушкин был пристрастен. Где ему было с его гармонией понять издателя "Северной Пчелы"? Булгарин - это фигура для Достоевского. Это Свидригайлов, Лебезятников, Лебедев, кто хотите - но это чисто русский и в то же время европейский экземпляр. Знаете - "широк, не мешало бы убавить!"? Чёрт с ним, я все брошу. Сяду на хлеб с кашей, но напишу.

- Конечно, - ободряюще кивнула Инга.

"Пусть его напишет или не напишет, только б отвязался. Господи, тоска какая. Тут не то что главу кропать, тут жить не

захочешь. Нудит, нудит. Вчера ему Шелли был хорош, до обеда - Чаадаев, в обед - Булгарин. Позавчера звонил ночью, предлагал вместе писать о двух классиках: мне - о Теккерее, ему - о Диккенсе... Ну, хорошо. Ну, помог ты мне. Ну, рыдала тебе в жилетку. Ну, спасибо, спас. Но ведь не вечно же расплачиваться. Я же не собес. Гордится, что не тщеславен, не карьерист, не пролаза. Так не тщеславен оттого, что тщеславиться нечем. Не карьерист оттого, что лентяй. А насчет пролазы - это положим... Пролазит! Жалостью берет - и там, и здесь, и еще где-нибудь на свой хлебец с маслом и швейцарским сыром собирает. Тоска..."

- Обязательно напишите, Игоруша, - сказала вслух. - Идите прямо сейчас домой и садитесь. Тут, в библиотеке, я вас заражаю своей никчемностью. Идите и пишите. И зачем вам таскаться в библиотеки? Вы сами больше любого книжного хранилища. И нет у вас дома тетки Вавы.

Он нерешительно поглядел на нее, надеясь, что она шутит.

- Идите, - кивнула. - Ведь мы все равно ничего тут не сочиним. Да и сейчас для серьезного разговора сюда явится доцент Сеничкин.

- Ну что ж, - стукнул он о пластиковый столик подстаканником. Чай был не допит. Бороздыка поднимался раздраженный.

- Я вам позвоню вечером насчет реферата, - спокойно сказала Инга. Она не любила сцен.

- Как хотите, - слегка сбавил спесь Игорь Александрович.

- Хочу. Я обещала. Не надо сердиться по пустякам.

Последнюю фразу Инга произнесла ровно и холодно, словно свидание с доцентом было для нее безразличным, даже в известной мере нудным мероприятием. Да, видимо, так оно и было. Она вдруг почувствовала себя усталой, раздерганной, вспомнила, что мало спала эту ночь и что всего охотней удрала бы сейчас из библиотеки и прикорнула дома на диванчике, пусть ворчит Вава, фиг с ней!

Но надо сидеть и ждать доцента. Если уйти, Алеша начнет названивать домой, нервничать, вызывать в подъезд, к метро или куда-нибудь еще. Сегодня на улице морозина. Впрочем, они, наверно, поедут в какой-нибудь ресторан и там Алеша станет изливать душу и клясть свою судьбу и жену из прокуратуры.

"А почему ты знаешь? - перебила себя. - Ведь он всегда сдержан."

"Теперь его прорвет. Нечего возжаться с женатыми мужчинами."

"А я и не возжалась..."

"А не возжалась, так и не расстраивайся. Какое тебе дело -

придет он или не придет. Ты сюда не на рандеву ходишь."

- Идите, Игоруша, - сказала Бороздыке. Он покорно повернулся и пошел из столовой, роясь в карманах. Номерка не было. Он оказался в зале под толстой книгой.

"Вот почему не хотела польта вместе!.. - подумал, слегка подтрунивая над собой. - Ах, в конце-то концов, чего мне надо? Обыкновенный рядовой кадр и ломака. Хватит! И так мы потеряли лучшие годы. За работу! Хватит! Лучшая девушка дать не может больше того, что у нее есть. Или как там... он перевел вслух строку Гумилева на французский, вернув ей тем самым первоначальную, как он считал, прелесть.

- За работу! За работу! - тихо напевал в короткие усики, собирая книги со стола и шествуя к стойке, где принимали литературу.

Жажда труда и уверенность в себе не покинули его, когда, пошутив с женщиной на выдаче, он прошел узким коридором к узкой лестнице.

- Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис, женской лаской смущенный, - тихо насвистывал он в те же усики, спускаясь к гардеробу. Жизнь была прекрасна.

- Над лучшим созданием Божьим

Изведал я силу презренья.

Я палкой ударил ее,

оборвав свист, начал он декламировать довольно громко, и две поднимавшиеся навстречу девушки слегка шарахнулись, а затем, качая головами, оглянулись: ну и ну... Впрочем, Ленинская библиотека, особенно ее научные залы, навидались всего.

Слегка пританцовывая, Бороздыка прошел через вестибюль к вешалке, где наткнулся на Сеничкина, сдававшего свое архимодное полуспортивное пальто и большую пыжиковую шапку.

- Приткни куда-нибудь, отец, - сказал он гардеробщику внушительным и хорошо поставленным лекторским голосом. - Я ненадолго.

- Зачем же притыкать? Мы повесим, - так же важно ответил гардеробщик и с удовольствием и явным уважением, будто сам кроил и шил это пальто, принял его от доцента.

- Салют, Игорь Александрович, - обернулся Сеничкин и протянул Бороздыке сразу две руки. - Что назад рано?

- Дела, - хмуро буркнул Бороздыка, протягивая правой рукой номерок гардеробщику, а левой, чтобы не отдавать ее доценту, пожимая рукав сеничкинского пиджака чуть выше пуговиц.

- Был у вас в конторе, - не замечая холодности Бороздыки, улыбался доцент. - Задвинули вы меня.

- В майском пойдет, - буркнул Бороздыка.

В журнале он в основном занимался самотеком, но иногда, впрочем не так уж редко, замещал заболевших или ушедших в отпуск сотрудников. Некая причастность к журналу Игорю Александровичу льстила. Впрочем, Сеничкин, никогда не интересовавшийся чужими делами, не особенно раздумывал о самолюбии Бороздыки. Раз человек торчит в редакции, стало быть что-то там делает и на что-то влияет. Всегда занятому, упорному, зверски работоспособному и удачливому доценту не приходило в голову, что кто-то может изо дня в день сидеть просто так без дела в офисе и отвлекать от работы других.

- Май - это еще когда, - вздохнул Сеничкин для порядка. - До мая сколько еще напеременится!

На самом деле публикация в пятом номере его вполне устраивала.

- Перемены идут по верхам. Это для больших деревьев опасно. А для кустарников - что ж?.. - не отказал себе в издевке Бороздыка. - У вас, по-моему, что-то антимальтузианское? - добавил он, чтобы вконец прибить противника. Дескать, где за крупными статьями всякую баккару запомнить?!

Но Сеничкин то ли был недостаточно обидчив, то ли не мог поверить, что этот уже не молодой человек из редакции почему-то к нему не расположен, и вывернул разговор по-своему.

- Да, вы правы. Действительно, кустарник. Точнее - подлесок. Это так сказать, старт. Приглядываюсь к большой работе. Личность на Запале. А Мальтус - постольку-поскольку. Я его даже в рецензии не называл. Это вы в подтексте разглядели, - порадовал себя глубиной собственной работы и польстил одновременно прозорливости Бороздыки.

"Как горох об стену", - скривился Игорь Александрович, чувствуя, что ему не справиться с неуязвимым сеничкинским добродушием.

- Ах, - вздохнул он и тут же развел руками. Блокнота не было. Он заглянул за гардеробную стойку: на полу тоже ничего не лежало. Старичок-гардеробщик довольно брезгливо взглянул на мечущегося Бороздыку, но промолчал. Он встречал людей по одежке и провожал по ней же. Игорь Александрович был для старичка всего лишь вечный студиоз, то есть лицо презираемое. А неловко, судорожно сунутый рублишко был уж точно для форсу, для личного гонору перед собственной никчемностью.

- Потеряли что-нибудь? - спросил Сеничкин.

- Да, блокнот оставил. Записи...

- Так поднимемся.

Молодой доцент даже взял Игоря Александровича за рукав

старенького пальто, чтобы помочь снять.

- Приткни, папаша, - уже кивнул он гардеробщику, но Бороздыка с силой вцепился пальцами в обшлага пальто, словно доцент был ночным грабителем.

- Нет-нет. Не люблю возвращаться. Потеря не велика, - возвратил голосу прежнюю солидность.

- Ну, вам видней, - удивленно махнул рукой Сеничкин и пошел к лестнице.

"Все по Фрейду, - вздохнул Игорь Александрович. - Все по этому пархачу Зигмунду. Хотел вернуться и блокнот забыл. А записи стоящие..."

Но столкнуться снова с доцентом, да еще при аспирантке, было выше сил и, отмахнувшись от теории подсознательного, он напялил ушанку и заперся в телефонной будке.

Восторг освобождения от бездарной влюбленности и жажда задуманной работы все еще не покидали его, когда он набирал номер и слушал протяжные гудки. Трубки не снимали.

- Ах, да! Перерыв как раз, - сообразил он и поглядел через стекло в будке на большие электрические часы, висящие над лестницей. До двух оставалось минут шесть и Игорь Александрович позвонил в журнал.

- Серафима Львовна, - сказал в трубку самым любезным голосом. Крапивникова можно? Спасибо.

- Ты, Юрка? - спросил, когда в трубке снова звякнуло. - Ну, в общем у меня пошло. Начал я...

- Что? Что? - не поняли на другом конце провода. - Ты, Игорь? Можешь не заходить. Верстки не обещают.

- Я писать собрался, - буркнул Бороздыка, чувствуя, что вдохновение и жажда творчества выходят из него, как воздух из прохудившейся камеры. Буду писать о Булгарине.

- Извините, - послышалось в трубке. Видимо, Крапивников разговаривал одновременно с кем-то из посетителей. - Фаддее? - голос удивился и усилился. - Ну, конечно! Очень любопытно. И, ты знаешь, даже современно. Листа два можно будет у нас протащить под каким-нибудь соусом. Да и у соседей приткнем. Давай, давай! Много нацарапал?

- План готов и структура видна.

- Ты без плана. Жми так. План приложится. Первая фраза есть? Прочти.

- Очередь здесь, - соврал Бороздыка. Минутная стрелка на вестибюльных часах уже торчала строго вверх, как на компасе. - Очередь, - повторил Игорь Александрович и для убедительности постучал пятиалтынным по стеклу. Но тут же, чувствуя, что приятель может не поверить, скороговоркой пустил в телефон:

- Пушкин был неправ. Гении вообще ошибаются чаще обыкновенных смертных.

- Чудесно, Ига. И вовсе на Виктора Борисовича не похоже, - соврал далекий голос.

- Конечно, - не теряя радости, согласился Бороздыка. - Причем тут Шкловский? Я его на дух не переношу. Скоро притащу кусок.

"К чему блокнот? - подумал довольный реакцией товарища, - и к чему эти вымученные аспирантки, эти несчастные комнатные пальмы. "Настоящие женщины не поедут за нами..." - вспомнил он строку одного поэта, с которым познакомился сразу после войны. - Врешь... Настоящие поедут. Вот эти комнатные - те в Москве останутся, - бурчал, набирая прежний номер, который пятью минутами раньше не отзывался.

- Поедут, - повторил, хотя никуда ехать не собирался, а всего лишь хотел написать книгу об агенте III-го отделения. - И плевать я хотел на Фрейда. Блокнот просто оставил по рассеянности.

Ему все еще было жаль импортной под кожу тетради, но аспирантку в эту минуту он действительно презирал.

- У аппарата, - ответил женский голос.

- Хабибулину.

- Сейчас, минуточку...

"И Фрейд ни при чем... Не подсознательное, а ясное и четкое сознание. Ведь не звонил же Зарке вчера, когда брала домой ребенка", - рассуждал Игорь Александрович, забывая, что вчера он замерзал в Докучаевом переулке.

- Зарема? Как ты сегодня? - весело забубнил в трубку, услышав ее короткое "аллё". - Занят, занят вчера был. В журнале горы работы. Я сегодня могу. Верстки нет. Да, да. Сейчас могу. В районе часа буду. Целую, крикнул и бросил трубку.

Жизнь все еще была прекрасна. Он изведал силу презренья. Его ждет женщина, а завтра с утра - работа. Застегивая на ходу пальто, Игорь Александрович пересек внутренний дворик, повернул на улицу Калинина и купил в гастрономе Военторга большую, 0,75, бутылку нелюбимого им портвейна "777" и большой плоский торт "Сюрприз". Бутылка, от которой завтра будет болеть голова, никак не лезла в карман пальто. Торт тоже было неудобно нести, и, подходя к стоянке такси за магазином, Бороздыка уже не испытывал высокой восторженности и снова злился на избалованную аспирантку.

4

Вернувшись из столовой и обнаружив рядом с томиками Теккерея черный под кожу блокнот, Инга покорно села на свое место и стала ждать возвращения Игоря Александровича.

- Ему же хуже, - вздохнула. - Пусть с доцентом разбирается. - Вот завел волынку! Сам ничего не умеет и другим работать не дает. Ну, я барышня. Ну, фикус комнатный. Ну и что?.. У меня были какие-то мысли о Теккерее. Я просто человек и даже мои самые простые мысли должны быть интересны. Вон вчера офицер писал: "Пусть каждый скажет себе, где он свободен, а где зависим, в чем его свобода, а в чем - скованность, причем пусть будет откровенен всюду - в большом и в ничтожном, - и, честное слово, эти анкетные признания будут интересней самого великого романа".

"Там как-то по-другому сказано, - подумала она. - Не стихи. Сразу не запомнишь", - попробовала оправдаться.

- Офицер - молодец. Но и мне тоже что-то хотелось сказать о Теккерее, да и не только о Теккерее, а вообще обо всем, - о нашем времени и о нашей несвободе. Теккерей не так уж и верил в порядочность, то есть в извечную порядочность. Тощий Доббин - это так... слабая тень диккенсовских чудаков. Люди часто порядочны, когда им это выгодно, когда порядочными быть легче, чем подлецами. Алеша Сеничкин благороден, чист и ангел, почти как его тезка у Достоевского, а накричал вчера на кузена и впал в истерику и сплошное безобразие. Марксизм поднял как щит, будто нельзя обойтись одной логикой, без цитат. Ну, хорошо... Пусть брат чудак и неуч. Но бескорыстье надо уважать. Пусть брат чурбан, - Инга вспомнила некрасивое топорно сработанное лицо лейтенанта, - а ты красив и тонок. Тогда тем более зачем кричать?

- У меня тоже были мысли о Теккерее. Пусть не главные, но были. Я его взяла не потому, что остальных викторианцев разобрали. Я знала и знаю, что не было в прозе живее женщины, чем Ребекка Шарп. Это абсолютно точно. Хотя бы потому, что я не хотела бы с ней, живой, встретиться на улице или в гостях. Как, например, вчера, - улыбнулась Инга и тут увидела подходившего к ее столу Алексея Васильевича. Он все так же был строен, тонок и изящен, хотя под его серым в мелкую клетку пиджаком был надет пуловер.

- Успешно? - спросил он довольно громко, присаживаясь на еще не занятый стул Бороздыки. Злая старуха, три часа назад шикнувшая на Ингу и Игоря Александровича, на этот раз, оторвавшись от книги, ничего не сказала.

- Средне, - ответила Инга и стала складывать в папку полуисписанные листы и блокнот Игоря Александровича. "Вечером, - решила, - отдам ему вместе с рефератом."

- У меня тоже сегодня не клеится, - вздохнул доцент, намекая, что вчерашней встречей жены и аспирантки он совершенно выбит

из колеи - и это само по себе неприятное происшествие в то же время сближает его и Ингу.

Аспирантка это поняла. Но сегодня ей не хотелось, чтобы он считал, будто у них сходные эмоции и они понимают друг друга с полуслова.

- Мне сказали, что я бездарна, - сказала идя рядом с Алексеем Васильевичем по ковровой дорожке. Она несла папку, доцент - томики Теккерея.

- Это кто, мой брутальный брат так отличается? - спросил Сеничкин, открывая перед Ингой дверь.

- Нет. Ваш брат вполне мил. Зря на него напустились. Человек надеялся на реферат. Это для него ведь больше, чем аспирантура. Это же для него свобода. Избавление от муштры.

- Шутите. Какая там муштра. Он бездельничает больше нас с вами. Да и потом он сам туда полез. Бросьте, Инга. У мальчика не хватило нервов, а по всей вероятности, и сил. Вот он и остался в своей казарме. Экспонат ничего... Но, поверьте, никакого характера и воли.

- Все равно вы безжалостный родственник.

- Нет, не насовсем, - улыбнулась девушке на выдаче. - Я еще вернусь. Вам куда? - спросила Сеничкина, когда они спустились в гардероб.

- Я за вами зашел, - пожал плечами Алексей Васильевич. Улыбка не покидала его тонкого, твердого и красивого лица. Он не хотел обижаться и принимал легкое Ингино раздражение как само собой разумеющееся последствие вчерашней встречи с Марьяной. Сейчас они покинут библиотеку, оседлают где-нибудь в тихом кафе столик и все уладится.

- Мне надо в Кремль!

- Ого! - поддакнул доцент. Он считал, что это шутка, но поскольку смысл шутки был ему неясен, он заслонялся все той же снисходительной улыбкой. - Долго пробудете?

- Зависит не от меня.

- Ну, я все равно подожду, - сказал Сеничкин, принимая ее пальто от гардеробщика.

Солнце на минуту пробилось сквозь быстрые кучевые облака и на внутреннем дворике библиотеки стало веселей и просторней. Инга, едва сдерживая смех, взглянула на взявшего ее под руку доцента. Доцент и выглянувшее солнце как бы подталкивали к этой распроклятой Кутафьей башне. Собственно, ей надо было не в самую башню, а в пристройку.

- Может, мне пойти с вами? - предложил доцент, когда они пересекли Моховую улицу и подошли к Кремлю.

- Но вас ведь не просили. - Она чувствовала, что доценту тоже

не по себе, будто они идут не в Кремль, а в другое учреждение на совсем другой площади. - Спуститесь в сквер. Я постараюсь не задерживаться.

Она поднялась на несколько ступенек и открыла дверь. Это было типичное бюро пропусков с окошечком, с сержантом внутренних войск и стоящим вдоль стены рядом откидных, как в кинотеатре, стульев. На одном из них сидел странный человек в тулупчике, не то пьяный, не то душевнобольной.

- Тогда к Вячеславу Михайловичу, - ныл человек.

- Товарища Молотова тоже нет, - равнодушно ответил сержант. - Иди, отец.

- Ну, тогда... к этому... ну, к Микояну Анастасию Иванычу.

- Нету, нету. Все заняты, - повторил сержант. - В окошечко, девушка, кивнул Инге, когда она достала из папки запечатанный конверт.

- Спасибо, - робко ответила аспирантка, удивляясь здешней вежливости.

- Вот, пожалуйста, - протянула в окошечко курчевское послание.

- Хорошо, передадим, - сказал сидевший за столом ниже окошечка другой сержант. - Что-нибудь еще?

- Нет. Я не знаю, - смутилась Инга.

- Передадим, не волнуйтесь. Всего хорошего.

- Спасибо, - тупо повторила Инга и повернулась к двери.

- Тогда к товарищу Первухину... С Первухиным собственноручно знаком, не унимался душевнобольной, не припоминая имени-отчества новоявленного государственного деятеля.

"Бедный", - подумала Инга, но на просителя не обернулась и с чувством непойманной птицы выпорхнула из этой кирпичной пристройки.

Доцент стоял в сквере, на предпоследней ступеньке лестницы. С Манежной улицы была видна только его голова в большой шикарной шапке. Инга спустилась в сквер.

- Не приняли?

- Нет. Все в порядке.

Солнце опять запуталось в тучах. Стало пасмурно. Но груз был сброшен с души и Инга улыбалась, глядя на доцента.

- Куда пойдем? - спросил Сеничкин, радуясь перемене Ингиного настроения.

- Все равно. Погуляем по скверу.

- По скверу... - повторил он тихим эхом и оглянулся, словно искал на снегу следы автомобильных шин: не может ли тут появиться на своем "козле" Марьяна?

- Знаете, я, как все мужчины, не умею говорить о любви стоя.

- Знаю. Читала в "Прощай, оружие!". Но вы не лейтенант Генри.

- А вчерашний лейтенант разговаривал с вами на ходу?

- Вчерашний лейтенант хотел поймать такси, но удовлетворился и подземным транспортом. Впрочем, он свел меня в ресторан.

- Ну, и мы пойдем, - быстро сказал доцент и взял ее под руку. Так он чувствовал себя уверенней, хотя, казалось бы, на глаза жене лучше попадаться, когда идешь с чужой женщиной на некоторой дистанции.

- А жены не боитесь? - спросила Инга. - Она у вас личность.

- Боюсь, - признался он честным шепотом. - Но когда с вами, не так страшно.

Она не нашлась что ответить. Он обезоруживал ее своей искренностью.

- Это целая история, Инга, - печально вздохнул Алексей Васильевич, сжимая ее руку. - Вы, конечно, скажете... вернее, подумаете, что каждый народ достоин своего правительства, а каждый муж - своей жены, что браки заключаются на небесах и, короче, - ты этого хотел, Жорж Данден...

Он остановился, надеясь, что аспирантка его перебьет, но она молчала. Ей было неловко, страшновато, немного стыдно и чрезвычайно любопытно. Они вышли из пустого Александровского сквера (был четверг, во вновь открывшийся Мавзолей к двум вождям не пускали) и, обогнув Боровицкие ворота, спустились на набережную. Сеничкин выбирал менее людные места. Но голос у него был честный и откровенный и, не замечая холодного, бьющего прямо в лицо ветра, Инга была вся внимание.

- Я не говорил, но вы, очевидно, понимаете, что для меня вы не просто так... - шептал доцент, хотя на набережной было безлюдно.

Они прошли, под Малым Каменным мостом в сторону Крымского.

- Видите ли, я давно не мальчишка. Между нами говоря, мне даже кажется, что я им никогда не был. Но с вами я почему-то робею...

После вчерашней встречи трех держав (как он про себя назвал свидание жены и будущей любовницы) ему хотелось быть нараспашку. В этом был последний шанс. Он чувствовал, что передержал, перетоньшил и вот-вот проворонит аспирантку.

- Вы, Инга, особенная. Нет, не цепляйтесь к словам. Для меня особенная, потому я так неуверен... Но я такой не всегда. То есть, я такой на самом деле. Это я настоящий. А все остальное - форма. Раньше я мог на одной форме держаться. Нас в МИМО натаскивали. Но вы для меня совсем другое. Вы - девятнадцатый век. У нас на кафедре были англичане. Прием, трали-вали и все в таком духе. Вы, говорили мне британцы, из другого теста. Вы не похожи на прежних советских людей. Наконец-то, восторгались, в России образовалась элита. Мы это приветствуем... Я с ними спорил. Какая у нас может быть элита?! У нас всеобщее, равное и тайное образование. Страна равнозначных возможностей. И, вправду, какая я элита? С вами я тюфяк тюфяком.

- Не скромничайте.

- Да. Тюфяк. Рохля. Я и раньше понимал, что гублю свою жизнь. Но это мне не мешало. Раньше я ни в кого не влюблялся. Не любил, - поправился он. - Знаете, дом, жена. Правда, дом не мой. Ну, и жена... - Он помолчал с минуту. - Иногда не верю, что все это со мной, что это моя единственная жизнь.

Жалость была последним шансом расположить к себе женщину.

- Элита... Смешно... Я как-то жил. Шел впереди других и все мне в руки лезло. В двадцать два - диплом, в двадцать пять - кандидат, в двадцать семь - доцент... Со стороны - все правильно.

Можно и продолжить список. Докторская. Профессура. Этапы большого пути. Но для чего мне путь? Все накатано.

- Это же чудесно, - вздохнула Инга. - У вас все отлично сложится. Вы очень способный человек.

- Нет, не все. Вы это знаете.

Ему хотелось сказать, что Инги у него не будет и чтобы она его опровергла.

Он не мог бы объяснить толком, для чего ему нужна аспирантка. Он ее хотел не как других женщин. Пусть сильнее, но как-то по-другому, сложно. Ему казалось, что его желание необычайно глубоко и пройдет не скоро, что он даже не прочь жениться на этой молодой женщине, несмотря на немалые неприятности, какие повлечет развод с Марьяной в семье и на кафедре. Он чувствовал, что крепко влюблен, потому что ему хотелось что-то делать ради Инги, что-то новое, хорошее. А то, что он делал всегда, свою обычную работу - выполнить по-другому и гораздо лучше. Вчерашний реферат лейтенанта оскорбил Сеничкина еще и потому, что понравился аспирантке. Да что лейтенант в пожелтевшем целлулоидовом подворотничке?! Алексей Васильевич готов был ревновать аспирантку к Платону, к Декарту, даже к Иисусу Христу. Это совсем не походило на его любовь к Марьяне. С той они спали уже на второй день знакомства.

Но аспирантка не казалась бесплотной. Даже сейчас на пустой продутой ветром набережной он чувствовал через дубленый рукав ее руку, живую и тонкую. Он знал, что ей не безразличен. Инге, а не руке. Впрочем, руке тоже.

Потому-то и тянул с самого Нового года. "Женщина должна созреть. Что толку есть неспелые плоды?" - любил повторять Алексей Васильевич, хотя никогда на практике не придерживался этого правила. Играя с Ингой и с самим собой, он упивался собственным благородством, джентльменством и неторопливостью. И вдруг в эту пьесу вмешалась Марьяна и весь театр, как говорится, накрылся. Все стало зыбким, лживым и лишилось благородства.

Он сжимал Ингину руку, все желая отвлечься от вчерашней близости с женой в пустом полутемном коридоре, перерезанном узкой полоской света, выбегавшей из неплотно прикрытой сестринской комнаты. То, вчерашнее, было так ярко и ново и остро из-за страха, что Надька вот-вот распахнет свою дверь, что даже сейчас на набережной заставляло внутренне улыбаться. И в то же время пугало, потому что решимость жены не имела пределов.

"Нет, с Марьяшкой не расплюешься", - подумал Сеничкин и

улыбнулся одними губами, которые вчера в полутьме коридора кусала Марьяна, жадно сливаясь с Алешкой, словно это был не муж, а новый любовник, а коридор был чьим-то чужим темным подъездом. Словно они были бездомными бродягами и за дверью у них не было своего жилья и довольно просторного раздвижного дивана.

5

- Да, моя жена личность, - повторил через полчаса в пустом необычно светлом ресторане, обретая после двух рюмок очень холодной водки свою обычную лекторскую манеру.

Не мог он ей рассказать про вчерашний коридор. Но с тем большей охотой перешел к давним дням своей многострадальной жизни. Это создавало лирический фон и должно было сблизить лектора и слушательницу.

- Понимаете, Инга, я не собирался закрепощаться. У нас все быстро, ну, прямо курьерскими темпами пошло и казалось - вот-вот финиш. Марьяна старше меня на год. Она уже работала и, как говорит моя мать, росла, а я еще только подбирал отмычки к Мальтусу и запарывал диссертацию. Вернее, не запарывал, но мог бы и запороть. Зачем я это вам рассказываю? Наверно, неинтересно?

- Наоборот.

Инга тоже выпила ледяной водки и водка побарывала ее невыспанность, усталость и недовольство собой. Она радовалась, что ресторан пуст. Правда, время приближалось к четырем и с минуты на минуту сюда могли повалить мимошники. Наверняка среди них оказались бы однокашники Сеничкина. Пришлось бы знакомиться, а назавтра прокурорша обладала бы полной информацией. После вчерашнего визита даже обыкновенный культпоход в кабак выглядел совсем иначе. Но пока ресторанный зал был пуст, так же, как приплюснутый к ресторанному окну парк, по дорожкам которого скользили редкие конькобежцы.

"Хорошо здесь", - вздохнула про себя и ободряюще улыбнулась доценту: Нет, рассказывайте. Мне интересно.

Несмотря ни на что, жутко хотелось положить ладонь на его рукав, а еще больше прижаться к Алеше. Пусть хоть в танце. Что ж, пусть приходят сюда любые мимошники и пусть станет тесно. Все начнут танцевать и он ее крепко обнимет. Они танцевали только однажды - на Новый год в тесной крапивниковской квартире. Тогда он был довольно пьян и пытался ее обнять. Тогда это было неприятно. Но сейчас, несмотря на всю усталость, ей хотелось этого. Да, несмотря на невыспанность и грозную прокуроршу.

- Налейте еще, - сказала Сеничкину.

Водка по-прежнему была холодной. Она распрямляла, как утренний душ. "Не хмелеешь, а смелеешь", - подумала Инга. Очень красивое у Алеши лицо и очень идет к нему эта длинная тонкая сигарета. Куда больше, чем незажженная трубка. И подстрижен очень удачно. Прическа модная и в то же время не авангардистская. И плевать на его судейскую жену. Зачем он про нее рассказывает? Знать не хочу эту противную жену!

Но Сеничкин оседлал тему:

- Вы, очевидно, уже догадываетесь, Инга, что это началось, как летний роман. Летний роман второй половины века. Летом в Москве пусто. Все на даче. Лето пятьдесят первого года, - затянулся сигаретным дымом. Ему казалось, сам летел, как конькобежцы за окном, и крутился вокруг себя, как фигуристки на дальнем пятачке, весь отдаваясь движению и почти забывая о сидевшей напротив аспирантке.

"Летний роман - откликалось в ее мозгу. - Летний. А у нас - зимний. Ему некуда меня повести и мы шатаемся по окраинным кабакам и говорим о возвышенном. Ну, что ж, уже февраль..." - Она немного лгала и преувеличивала. До вчерашнего дня она покорно шла за Сеничкиным и вовсе не сердилась, что он мешкает.

- Представляете, у меня было мало неприятностей и много свободы, продолжал он, доверительно наклонив над столом голову, словно сообщал что-то тайное. К киевской котлете почти не притронулся - доцент был равнодушен к еде.

- Вы, понятно, улавливаете, что когда много свободы, все откладываешь на потом. Особенно женитьбу. Отец с матерью что-то планировали. Но планы у руководящих деятелей, как известно, расходятся с делом. - Он несколько замедлил речь, начал говорить слишком кругло, как на лекциях, когда тема была кое-чем чревата. В истории его женитьбы не все было гладко. Да и планы родителей в тот жениховский период были ему, Сеничкину, не слишком неприятны. Светлана Филипченко, дочь переведенного в Москву большого человека, которую навязывали ему отец и мать, вовсе не раздражала молодого аспиранта. Наоборот, все в ней было в допуске, кроме фамилии. Но фамилию она бы и так сменила. Нет, все в студентке Светлане было кстати. И сами стати (так шутя рифмовал однажды подвыпивший Алеша), и то, что молодая, можно лепить по своему подобию, и то, что влюблена по уши - фордыбачить не будет; и то, что провинциальна - в столице оботрется и не будет лезть со своими порядками. И чего уж скрывать? - нравилось, что богатая, что будет отдельная своя квартира. Не надо будет спать в кабинете отца, куда никого не приведешь. Будет свой холодильник со своей

водкой, буженины, балыком, и каждого, кто ни придет, корми до отвала. Алеша Сеничкин был щедр, в ресторанах почти всегда платил за друзей и материнская (по-видимому, поповского происхождения) скаредность его прямо-таки бесила.

Сейчас все это (весьма округло и отвлеченно) он пытался изложить молодой женщине. Он старался рассказывать и одновременно ничего не рассказать, но Инга, вспомнив вчерашний вечер, все понимала именно так, как доцент того не желал. Вчера она лишний раз поленилась спуститься в библиотечный буфет, а в министерском доме ей даже не предложили чаю. Если б не этот чудной лейтенант, пришлось бы ночью шебаршить на кухне, таскать, к неудовольствию тетки Вавы, из кастрюли холодные тефтели.

Она слушала Сеничкина с любопытством, хотя, чем дальше, тем больше он из героя-принца становился для нее обыкновенным, правда, уже защитившимся аспирантом. То, что он рассказывал, было интересно, жутко интересно, но в то же время было что-то другое, не то, чего ожидаешь, о чем мечтаешь.

Так, скажем, ты приглядываешься к какому-нибудь замечательному материалу, ожидаешь стипендии, наведываешься в комиссионку и всякий раз радуешься - еще не продали. Лежит в сторонке, никем не замеченный. И вот, наконец, не вытерпев, наодол-жишь денег, бежишь на Арбат, и уже знаешь, что из него сошьешь (десятки раз нарисовано на полях тетради платье и даже в мыслях ношено и глажено), и туфли к нему есть и вдруг - бах! - вбегаешь в магазин, а отрез тю-тю... Продан и все. Правда, есть другой, хороший, по-своему даже замечательный. Но другой. Об этом не мечтала, к этому не приглядывалась, не разрисовывала его на полях. Но деньги одолжены и делать нечего - берешь этот другой и всем говоришь, что это тот самый, замысленный, к которому неделю присматривалась.

Да, это был другой материал, другой Алеша Сеничкин. Милый, симпатичный, хороший и жалкий. Другой. Но первый даже не был продан. Он просто был выдуман. И выдумка была разоблачена вчерашним вечером в присутствии вполне реальной жены (не той, новогодней, яркой и раскрашенной, которую Инга почему-то плохо запомнила), а реальной в своей домашности Марьяны Сергеевны Сеничкиной, следователя (следователя, а не прокурора, как почему-то все ее называли!) столичной прокуратуры.

Да, Инге было жаль доцента, у которого дома не все гладко не только с женой, но, по-видимому, и с родителями. Комната у него какая-то нежилая да и семья какая-то малочеловечная. Не только ее, чужую гостью, но даже племянника не накормили.

Какая-то непостижимая черствость. Лейтенант просит отнести письмо постороннего человека, а к брату за таким пустяком (теперь Инга знала, что дело пустячное) не обращается. И партийной рекомендации племяннику не дали, из-за чего бедняга четыре года настрадался в армии. На секунду отвлекшись, Инга чуть не помолилась, чтобы ее поход в Кутафью башню оказался удачным. Да, семья безусловно особенная. Типично чиновничья. Но ведь Алеша не чиновник, хотя его сватали, как какого-нибудь титулярного советника.

- Понимаете, нечто кустодиевское, - продолжал Сеничкин-младший. Он уже изложил родительские наметки и обещания отдельной квартиры с тонким, как ему казалось, английским юмором, даже не унижаясь до обиды на предков. Настолько-то он, дескать, выше их. Это ему-то при его духовности и интеллекте они собирались преподнести какую-то провинциальную девицу. Он говорил насмешливо, забывая, что два с небольшим года назад эта кустодиевская барышня не казалась ему смешной. - Предки надеялись на новый, 52-й гол. Мои руководящие родственнички были званы туда, - доцент вздел глаза к потолку. - Не на самое туда, не к вождю, но достаточно близко. И родители моей воображаемой невесты тоже были туда званы. Так сказать, смотрины на высшем уровне. А наши смотрины или, точнее, помолвка - должны были состояться на загородной даче этих нуворишей. Причем, ритуал был разработан заранее. Наш сеничкинский "ЗИС" без дополнительных фонарей должен был доставить на эту огороженную дачу мужскую половину капеллы, а женская должна была туда добраться на нуворишском "ЗИСе" с дополнительными фонарями. Я, честно говоря, заранее стоял за такси, но где его под Новый год раздобудешь? В общем, процветало купечество. Насколько веселее было в этом году у Георгия Ильича. Правда ведь?

- Не отвлекайтесь.

- Да, - засмеялся он. - На каждого мудреца простоты хватает. Этот Новый год оказался днем "икс" Алексея Сеничкина. А, - дернулся он, как от зубной боли. - Ваше здоровье!

Водка уже несколько нагрелась и не была такой приятной. За окном темнело. Над катком зажглись фонари, и музыка рыдала о журавлях уже над всем парком, а не только над катком для фигуристов, отзванивала в ресторанных стеклах.

Сеничкину было жаль себя. Он хотел эту жалость сообщить молодой женщине и потому повествовал скорбно, с некоторым даже умилением перед своими безысходными семейными печалями. Он уже был приятно пьян и сам не знал, чего ему хочется от Инги. Давно пора было снять гарсоньерку и не киснуть

во второсортных кабаках. Теперь у него нет-нет мелькали не учитываемые Марьяной гонорары. Но до сих пор он как-то перебивался без "хазы", одалживая ключи у своих холостых или полухолостых приятелей. Несколько раз его выручал бывший Ингин супруг Жорка Крапивников, человек добрый и отзывчивый, особенно на такого рода просьбы. Но сейчас брать ключи у Крапивникова было глупо, к тому же оскорбительно для аспирантки и недостойно Алексея Сеничкина. Он вдолбил себе в голову, что его любовь к мисс Рысаковой - что-то из ряда вон возвышенное и ему хотелось, чтобы не только сама аспирантка созрела, но чтобы созрело и в его душе это трепетное высокое чувство.

Вчера грубая и практичная Марьяна пыталась одним наскоком разбить сей хрустальный голубой дворец. И вот сейчас в припарковом, еще не очень заплеванном и забитом народом кабаке Сеничкин спешно латал следы Марьяниной бомбардировки. Округлым, несколько лекционно-сухим языком он расписывал новогоднюю ночь и свое печальное закабаление. В общем, большой лжи не было. Все было примерно так, как повествовал доцент, но сидевшая напротив аспирантка ясно представляла, гораздо ясней, чем хотелось доценту, это предновогоднее ожидание машины без дополнительных фонарей.

Машина должна была вернуться не к сеничкинскому дому, а на набережную, за Киевский вокзал, к одному школьному приятелю Алексея Васильевича. Там собралась мужская команда во главе с магнитофоном "Днепр-1", уникальной по тому времени игрушкой, которая была еше далеко не во всех домах, и у Филипченок на даче ее еще не завели. Правда, у Сеничкиных она была, но мать-поповна не любила что-либо из неказенных вещей выпускать из квартиры, и даже несмотря на перспективу весьма желательного брака, самоговорящей машины не дала. Собственно поэтому "ЗИС" должен был вернуться не к площади Восстания, а на набережную к дому нескупых родителей Алешиного однокашника.

Но несущественную деталь с магнитофоном Алексей Васильевич сейчас не столько для краткости, сколько для большей плавности повествования опустил.

Прикрыв глаза, чуть откинувшись в кресле, как на мягком сидении отцовского автомобиля, он вымурлыкивал столь дорогую, пусть и горькую, но все равно милую для него историю своего падения. Жизнь Алексея Васильевича была для него полна большого и сокровенного смысла, и он бы искренне удивился, если бы это было иначе для других. И еще потому, что начало сеничкинской биографии приходилось таить, он с тем большей

охотой распространялся о своих институтских, а тем более аспирантских временах.

- Предугадываете впечатление? Году остается меньше часа. Третий раз выбегаю к подъезду - машины никакой. Такси летят с сумасшедшей спешкой, будто не набережная замерзшей Москва-реки, а Юнайтед стейтс оф Америка. Мороз страшный. Всё в клубах пара, как в Сандунах. Четверть двенадцатого... Двадцать минут. Нервы взвинчены. К тому же чертовски неудобно перед мальчишками. Команда в трансе. Кое-кто бунтует. Раздаются демобилизующие реплики: "Зачем нам эти кошки в мешке?"

Дело в том, что, кроме меня, никто женской группы в глаза не видел. Вся изюминка была в том, чтобы встретить свое грядущее в совершенно незнакомой компании, так сказать, "закрыв глаза и заре навстречу..." процитировал Сеничкин незаметно для себя один из афоризмов Георгия Ильича Крапивникова, от чего Инга поморщилась. Впрочем, доцент, погруженный в чудесные воспоминания, ничего не заметил.

- Словом, как сказал Гумилев, бунт на борту обнаружив, хватаю магнитофон и мы спускаемся со всеми бутылками на набережную. Жидкость обеспечивали мужчины, пищу - дамы. Времени остается четверть часа, а до той распроклятой дачи километров что-нибудь... даже сказать затрудняюсь, усмехнулся доцент. - Короче - не добраться. Набережная пуста. Вся Москва за столы садится. У нас вино, коньяк и водка плещутся в бутылках. От магнитофона мерзнут руки. На землю не поставишь. Штучка отечественная и, сами догадываетесь, капризная. Чуть что - обратно вертится или вообще молчит, как партизанка. Мужчины в голос костерят это расчудесное начинание, а у меня воображение, как кинопленка, прокручивается. Я вижу перед собой эту огороженную лачу и женское общество за столом с одними закусками и без единой бутылки горячительного. Позор!

Наконец-то, каким-то чудом сюда их занесло, летят две "Победы" с зелеными глазищами и мы, как Раймонды Дьен, чуть ли не ложимся поперек набережной: "Выручайте, ребята! Вся наличность ваша!" Мужчины похрустывают сторублевками и уж не знаю как, но уговаривают двух молодых шефов.

Сеничкин все больше погружался в морозную нервную бестолочь и пустяковость новогодней встречи. Водка из холодного графина, не успев окончательно согреться, была допита и, не прерывая рассказа, он поманил официанта и попросил бутылку сухого вина, мгновенно сосчитав, что одолженной на кафедре сотни и еще собственных сорока рублей хватит за глаза.

- Догадываетесь, - продолжал, прихлебывая разлитое

расторопным официантом холодное белое вино. - Долгое шоссе. Асфальт заметает снегом, а адрес у меня весьма относительный.

Он опять увидел это узкое боковое шоссе, почти пустое и в обычные-то дни, а в эту ночь совершенно мертвое, спросить дорогу некого. Казенный шофер адрес знал, а эти таксисты здесь никогда не бывали и начинали ворчать.

Наконец, фары выхватили белую, залепленную снегом фигуру рогатого лося и Сеничкин понял, что пока еще с дороги не сбились. О лосе дома упоминалось.

- Где-то здесь, - сказал он, как можно веселее, и тут же, километра через четыре начались дачи. Теперь надо было искать ту самую, новую, но уже огороженную.

- Спросить надо, - сказал владелец, точнее сын владельца магнитофона.

- Сворачивай! - решился Алексей Васильевич, но таксист, нервничая, сильно крутнул руль и "Победа" левым крылом врезалась в ворота.

- Мать твою!.. - в один голос крикнули сидящие в первой машине и выбежавший из проходной охранник. В темноте не было видно его погон и потому не ясно, кто он по званию, но голос у него оказался злобным и уже пьяным.

- Мать вашу?! Куда претесь?!

- Дачу Филипченко Андрея Фроловича, - вежливо, но не теряя достоинства, крикнул Сеничкин.

- Крути назад. Чтоб духу вашего не было! - заорал охранник. - ... ... здесь! - то ли соврал, то ли сказал правду, назвав имя тогдашнего зам. предсов-мина и члена Политбюро.

- Ну вас к дьяволу, ребята, - раскис шофер. - Ну их, ваши деньги. Воля дороже.

- Не бойся, за мортировку заплатим, - урезонивал его Сеничкин.

Они проехали еще шесть дач и решились постучать только в последнюю. Дальше начинался пустырь.

- Не поеду, сами идите, - твердо сказал таксист.

- Володька, ну их к ерам! - крикнул водитель второй, еще целой "Победы". - Поехали в столицу.

- Да, ребята. Давайте гроши. Времени час без десяти. В гараж надо.

Уговоры не помогали. Пришлось отдать обещанные три сотни, приплатив еще одну за помятое крыло, и выбраться на мороз с бутылками в авоськах и тяжелой отечественной самоговорящей бандурой. Ручек на ней не было и нести ее было неудобно. Темнота стояла адская, мороз ни капли не сбавил. Ветер выл не тише, чем на набережной.

В крайней даче охранник оказался вежливей.

- Где-то там, - махнул рукой через пустырь. - Вроде фамилию такую слышал. Только вы бы здесь, ребята, не шатались. А то, сами знаете... - он не сказал что, но трезвой и измученной компании не надо было объяснять.

Сейчас в ресторане Сеничкин сдабривал рассказ некоторой долей умиления и юмора, но тогда было не до веселья. Кто-то предложил пить прямо на пустыре, с горя закусывая рукавом. Сеничкин никак уже не предводительствовал командой, а только крепче впивался в днище ненавистного магнитофона.

За пустырем что-то чернело. Видимо, там начинались зги проклятые дачи нуворишей. Костеря родительницу, отчима и будущую невесту, Сеничкин с жалостным и злобным лицом плелся через пустырь, загребая снег в узкие, слегка жавшие импортные ненадеванные еще туфли. Сзади кто-то из компании уже приложился к первой бутылке. Сквозь вой ветра слышались бульканье и матерщина.

И вдруг среди ночи, темноты, ветра и снега вспыхнули фары и тут же раздался пронзительный и веселый, как крик колумбовского матроса "Земля!", оглушающий, задорный, как выхлоп пробки шампанского, голос:

- Леша! Лешенька!

И пустырь вдруг стал землей обетованной, на которой стоял маленький "газик" модели 63 и в распахнутой шубке навстречу аспиранту летела следователь московской прокуратуры Марьяна Фирсанова. И оторвав руки от магнитофона, отчего тот со звоном рухнул в снег, Сеничкин бросился к женщине, как к судьбе, и просунул руку под ее беличью шубку и обнял, гордый и счастливый.

- Воссоединение фронтов! - сказал кто-то.

- Прорыв ленинградской блокады, - добавил второй, уже пьяноватый голос.

- Магнитофон побил, сука, - проворчал владелец, но и его обрадовало явление следовательши.

Как, каким чудом, дежурившая эту новогоднюю ночь в столичной прокуратуре Марьяна разыскала злополучную дачу Филипченок, так и осталось ее профессиональной тайной.

- За мной, мальчики, - скомандовала она и, держась за руку сиявшего аспиранта, повела мужчин через пустырь к новому поселку. "Газик" ехал впереди по уже проложенной им колее.

- Счастливого года, Васенька, - крикнула Марьяна шоферу и, развернувшись в начале нового поселка, дежурный "козел" помчался в Москву.

- Давно, давно пора. Ждут, ждут... - весело приговаривал

открывший калитку охранник.

На филипченковской даче царило уныние, как после обыска. Казалось, что мужчин тут уже не ждали, что они тут были и их отсюда увели.

- Алеша? - удивленно раскрыла глаза кустодиевская барышня.

- Знакомьтесь, знакомьтесь, - не выпуская Марьяниной руки пьяным от счастья голосом кричал Сеничкин.

Это был его триумф. Вся команда видела, как Марьяна, словно декабристка, нашла его в глуши и вывела к свету и накрытому столу. Кустодиевская невеста моргала большими бараньими глазами, ничего не понимая. Всем было не до нее. Кричали:

- Ничего не потеряно, товарищи!

- Лучше поздно, чем никогда!

- Ничего не поздно! Встречаем по Гринвичу!

- С Новым годом и знакомством! Ура!

Кто рассаживался, кто ел стоя. Царила неразбериха, и невеста никак не могла включиться в этот шум и проявить себя как хозяйка.

Уныние тут же перешло в хмельной разгул, правда, без неприличия. Магнитофон, по счастью упавший в мягкий сугроб, не повредился и работал.

- Хью-хью-уй-ю! - по-английски орал он на всю дачу. Танцевали, не выпуская из рук бокалов и рюмок. Кто-то даже умудрился отплясывать, держа тарелку. Владелец магнитофона, несколько успокоившись, танцевал с хозяйкой усадьбы. Она, осторожно отводя глаза от галантного партнера, искала любимого Лешеньку. Того нигде не было.

Впрочем, все, что происходило в гостиной, Сеничкин уже не видел и узнал из последующих пересказов. Прихватив бутылку сухого вина и бутылку петровской водки с соответствующей закуской, он сбежал от праздничного стола и заперся вместе с Марьяной в какой-то просторной кладовой. Там они расставили раскладную, предназначенную, очевидно, для нечиновных гостей койку, опорожнили две бутылки и забавлялись до шести утра, когда незаметно выскочили из усадьбы и весело добежали до электрички.

Сейчас в своем приблизительном и довольно абстрактном изложении Сеничкин опускал ненужные подробности и налегал на свою доброту и отзывчивость.

- Так что, видите, Инга, это оказалось сильнее меня. Через две недели мы расписались.

Он, понятно, не коснулся всех семейных перипетий, не обмолвился о скандале, который закатил ему отчим, почуявший

нешуточную угрозу своей карьере. Мать тоже вышла из рамок и несколько раз всерьез напомнила аспиранту, что он полная свинья, что Василий Митрофанович ему душу отдал, нежил, как родного сына, а тот оказался неблагодарным пащенком. Тогда же были вспомянуты и на минуту вытащены на свет некоторые непубликующиеся детали биографии самой Ольги Витальевны и ее несчастного первого мужа, настоящего Алешкиного отца. Алексей Васильевич был напуган. Но новогодняя встреча уже состоялась. Как ни была провинциальна Светлана Филипченко, однако простить аспиранта, да еще при тихом улюлюканье подруг - она не могла. Сеничкиным оставалось признать Марьяну Фирсанову и выдать ее связь с Алешей за роковую любовь.

- Сама виновата, - сказал сын матери после примирения. - Зачем машины не прислала?!

И тут Ольга Витальевна открылась, что от волнения перед встречей с Филипченками и их покровителями, она забыла сказать шоферу адрес Лешиного приятеля и в момент, когда все подняли бокалы, с последним ударом Спасских часов она вдруг села и охнула. Ей даже пришлось спешно вместо вина накапать зеленинских капель. Шофер же, Вадим Михайлович, несколько раз позвонив в дверь сеничкинской квартиры и не получив никакого ответа, с радостью поехал к себе домой.

6

- Вот вам вся моя история, - вздохнул Алексей Васильевич и широко открытыми глазами поглядел на молодую аспирантку. - Постигаете?

- Вполне.

"И зачем он мне все это рассказывает? Пугает?" Инга посмотрела на свои маленькие квадратные часы. Было всего лишь четверть седьмого.

- Теперь вы все обо мне знаете, - сказал доцент. - Принимаете меня такового?

- Я не экзаменатор, Алексей Васильевич.

- Да, конечно. Но вопрос ведь не стоит, принимать или не принимать.

- И тем более, я не Маяковский.

- Значит, боитесь моей жены?

- Бойтесь ее сами, - злобно отрезала Инга. Она чувствовала, что пьяна. - "И плевать", - решила про себя. Ей хотелось все вокруг ломать, крушить, быть жестокой, грубой и одинокой.

- Инга, что с вами? - оторвался от своих прекрасных воспоминаний Сеничкин. - Сейчас пойдем, - сказал успокаивающе. - Минуточку, - махнул официанту. - Всего одну минуту. Вот, поглядите, - он вынул вместе с бумажником

свернутые вчетверо листы писчей бумаги. - Это я накидал что-то вроде конспекта, соображения с соответствующими цитатами.

- Спасибо, - выдавила она через душившие горло слезы.

"Господи, не могу на него глядеть! Это лицо. Эта прическа! Этот самовлюбленный голос. Ой, Господи. Что за идиотические мужчины. Один труженик секса, другой - полный нарцисс?" - кричала про себя Инга, опустив глаза в странички, исписанные тонким, очень аккуратным, почти писарским почерком.

"Да, труженик секса, - скривилась она, вспомнив, что именно так в минуту пьяного откровения назвал ее бывшего мужа Бороздыка. - Но, конечно, это не он придумал. Где ему? Бездарность..."

Сеничкин расплатился с официантом и, осторожно подняв Ингу с кресла за острый локоть, вывел на лестницу, сошел с ней в гардероб, подал дубленку и распахнул двери. Музыка вместе с морозным ветром и прорезанной разноцветными гирляндами тьмой дыхнула им в лицо.

"Он думает, что я вдребезги, - решила Инга. - Пусть думает. Мне безразлично."

На морозе ей стало легче. Мимо проносились уже не редкие, а частые, одни за другими, по двое, по трое - конькобежцы, по-видимому, беззаботные и счастливые, потому что сквозь звуки рыдающих журавлей (опять крутили ту же пластинку!) слышался их молодой, почти звериный гогот.

Инга и Сеничкин остановились возле ресторана в трех шагах от беговой дорожки. Конькобежная карусель все убыстряла бег. "Журавли" сменились другой, медленной "Я иду не по нашей земле", а конькобежцы всё летели, не в такт музыке закидывая ноги, догоняя других, ребята - девушек, девушки ребят, и смеялись всё звончей и безнаказанней. Вдруг появилась какая-то банда из пяти-шести подростков или молодых парней, которая, крутясь на пятачке против ресторана, начала сбивать пролетающих мимо девчонок и женщин. Некоторые пугались, замедляли бег, жались к обочине или просто прыгали в снежные сугробы, отделявшие каток от остального парка. Другие, сжимая кулаки, смело летели навстречу дрдросткам. Одна решительная девица, выставив левый конек, полоснула им по ноге растерявшегося хулигана, а сама, наддав, помчалась с аллеи к набережной, где было светлее, народу побольше и где медленно и важно катались по кругу в своих синих шинелях, ставшие от коньков удивительно высокими, милиционеры.

- Хотите на лед? - спросил доцент.

- Нет, - но подумав, что ей как-то надо отделаться от Сеничкина, сколько могла безразлично добавила: - Покатайтесь.

Мне все равно некогда.

Он робко глянул на нее, но не сдвинулся с места.

За снежным барьером, на ледяной аллее, банда, потеряв одного подростка (он, сидя на сугробе, засучив штанину, всхлипывая, тер ушибленную ногу), по-прежнему резвилась и задевала пролетающих девчонок. Одна женщина в красной стеганой (безусловно, импортной!) куртке, разогнавшись, быстро летела по льду. Лицо у нее было накрашенное, а глаза сощуренные, но не от страха (женщина держалась на коньках уверенно), а от близорукости, и, когда она пролетала мимо Инги и Сеничкина, кто-то из подростковой банды подставил ей ногу и она под смех парней гулко грохнулась на лед.

- Пойдемте, - быстро схватил Сеничкин Ингу. Она подумала, что доцент хочет поскорее уйти от этого безобразия, потому что стоять и глядеть, как буйствуют мальчишки, и не вмешиваться - неловко. Но тут женщина в куртке поднялась и, прихрамывая и морщась, подошла к сугробу, потерла снегом щеку, потом разогнулась, сощурилась и вдруг крикнула:

- Алеша! Алексей Васильевич!

- Ушиблись? - отпустив Ингин локоть, подошел к женщине Сеничкин.

- Сослепу, - засмеялась конькобежица резким, неприятным, прокуренным, как почудилось Инге, голосом. - Я Марьяну жду, а вовсе не вас! Или вы теперь за ней следите?

- Почему теперь? - удивился доцент. - Я случайно здесь.

- У нас с вашей благоверной дамский разговор, но она, как всегда, запаздывает. - Женщина отогнула рукав куртки и поглядела на часы. - Она, безусловно, у вас, Лешенька, красавица, но я ведь не мужчина, чтобы столько ждать.

- Да, - попытался засмеяться доцент. - Не волнуйтесь. Придет.

- А я не волнуюсь. Я катаюсь, - хихикала женщина. - Пусть теперь померзнет, пока я сделаю кружок. Мы с ней как раз условились у этой пивнушки, - женщина махнула перчаткой на серое здание ресторана. - Хотите с нами? - спросила с некоторым лукавством.

- Нет, к сожалению, спешу.

- Ну, тогда auf Wiedersehen, - четко, как настоящая немка, крикнула женщина и, попытавшись спрыгнуть с сугроба на лед, упала.

Сеничкин подхватил ее под локоть, а Инга тут же поспешила к воротам. Это было не совсем красиво, но ведь доцент не счел нужным познакомить ее с этой женщиной.

Это была Клара Шустова, бывшая преподавательница Академии имени Фрунзе, а последние два года переводчица

одного из строительных объектов в ГДР. Прошлым летом она отдыхала вместе с Сеничкиными и Курчевым на Кавказе, а когда-то вместе с Марьяной Фирсановой посетила квартиру Крапивникова.

Но всего этого Инга не знала и, вовсе не думая об этой накрашенной некрасивой женщине, поднялась на мост. Тут ветер был еще сильней, чем на катке, и, прикрывая папкой лицо, Инга, задумавшись о своей невеселой жизни, почти столкнулась с Марьяной Сеничкиной.

- Смотрите, а я как раз думала о вас! - засмеялась Марьяна. - Шла и думала: сейчас встречу Ингу.

- Да? - неуверенно поежилась аспирантка. - "Выслеживает, что ли? Ах, нет. Она же спешит на свидание с близорукой спортсменкой..."

- У вас неприятности? - спросила Марьяна.

- Нет, просто голова болит.

- Хотите "тройчатки"? - Марьяна открыла небольшую сумку на длинном ремне.

- Нет-нет, спасибо. Я должна чаем запить, - отстранилась Инга, боясь, что прокурорша почует запах водки. Впрочем, на таком ветру это было сложно.

- Жалко, что вы вчера недолго посидели, - продолжала болтать Марьяна. Ветер дул ей в спину. - Надеюсь, наш медведь доставил вас до самого дома. У вас ведь такой район - бывшая Сухаревка...

"Все знает, чертовка..." - вздрогнула Инга, но ответила любезно:

- Нет, у нас тихо. И родственник ваш очень любезен. Доставил меня в полной сохранности.

- Да? Он неотесан, но в общем, как поют, подходящий. Мой Алеша ему слегка завидует.

"Мой Алеша", - мысленно передразнила Инга. - "Ну и забирайте..." Но вслух сказала:

- Не думаю. По-моему, ваш Алеша всего достиг.

- Что вы?! - улыбнулась Марьяна. - Он, как говорит ваш муж, умрет в президиуме. Так что не всего. Но все равно это не наука, а шкрабство. А я, знаете, больше доверяю талантам. Наш чудак-лейтенант и обскачет доцента.

- Не знаю. Вам виднее. Извините, что-то совсем расклеилась, - и, махнув Марьяне варежкой, Инга спустилась с моста.

Голова у нее действительно разболелась. В аптечном киоске метро она купила пачку анальгина. Тут же рядом продавались открытки с поздравлением к Международному Женскому Дню. Улыбнувшись, Инга купила три штуки и в вагоне метро написала

на одной:

"Борис! Просьбу выполнила. Очень трусила, но оказалось совсем просто. Перечла работу и еще раз Вам позавидовала. Подумайте, вдруг Париж стоит мессы и все такое... Может быть, сообразите что-нибудь более для них удобоваримое. Хотелось бы, чтобы у Вас все вышло. Будете в городе звоните. Инга".

Хорошо, что она долго вертела тот конверт в руках и адрес с пятизначной цифрой сам собой запомнился. Выйдя на Комсомольской, она кинула открытку в почтовый ящик и, чтобы не звонить из дому, зайдя в автоматную будку, набрала номер Бороздыки. Долго никто не подходил, а потом старуха-соседка прошамкала, что Игорь с утра не возвращался.

"Ну и ладно. Никуда не денется", - подумала Инга.

- Передайте, пожалуйста, что его блокнот у Рысаковой.

- Ой, не запомню, дочка.

- Ну, все равно. До свидания.

"Позвонить, что ли, Юрке? Попросить прочесть офицерский реферат? Да нет, хватит на сегодня. День насмарку и голова раскалывается", - и, хлопнув дверкой будки, Инга поплелась домой.

7

Она действительно хорошо сделала, что не позвонила бывшему мужу. У того в гостях сидели две новых знакомых и с минуты на минуту должен был появиться доцент. Он уже звонил и его ждали. Его и спиртного.

Попав в глупое положение с этой подвернувшей ногу дурой-переводчицей и опасаясь появления жены, раздраженный Алексей Васильевич махнул рукой на Ингу, перелез через сугроб на каток и потащил переводчицу в раздевалку. Она ехала за ним на коньках и противно хихикала, словно не она, а он подвернул ногу. Она хихикала, а он тащил ее за руку по льду.

- Зачем сердитесь, Алешенька? Сердитесь и надулись, как чижик.

- Крепче держитесь, а то грохнемся, - недовольно бормотал доцент.

- И чего я раньше в ней мог найти? - злился на себя. - Дура и дура. И еще морда обезьянья. Хорошо хоть слепая: Инги не заметила.

- У нас дамский разговор с Марьяшкой, - тараторила переводчица. - Ну и жена у вас, Лешенька! Загадочная личность. Вы ее недооцениваете!

- Надеюсь, - буркнул доцент, втаскивая переводчицу на деревянную ступеньку гардероба "Люкс".

- Я бы вас оставила, Лешенька, но у нас дамский интим.

- Спасибо. Я уже сказал - тороплюсь. Всего доброго. Не падайте больше. Надеюсь, ничего страшного?

Он вышел из душной парной раздевалки на лед, но, опасаясь встретить жену, пошел не к центральным воротам, а к памятному еще по студенческому времени проходу к Горному институту. Выйдя на Калужскую улицу, он позвонил Крапивникову и тот сообщил, что у него сидят два прелестных создания, а он, Алексей, молодец и джентльмен, что его с нетерпением ждут и желательно - с горючим. У Сеничкина оставалось рублей сорок. На Калужской в угловом магазине он хотел купить коньяку, но был только грузинский, как его называли - клоповник. Тогда для оригинальности доцент взял сорокапятиградусный "джин голландский". Порядочные англичане, он знал, джина не потребляют, но виски в советских магазинах не продавалось, да и к тому же джин был не английский, а голландский и уж во всяком случае лучше заурядной "водяры", которую надо пить с закуской, а закуски у Крапивникова не водилось.

На оставшийся червонец он доехал до Никитских ворот, заплатив рубль в рубль. Больше денег не было.

Дамы, сидевшие у Крапивникова, были хоть и не старые, но совсем не очаровательные, как уверял по телефону хозяин. Так, мелкий середнячок. Одна оказалась большой рыхловатой крашеной блондинкой, вторая, менее заметная, была худощавей и привлекательней. Но, в общем, они в содружестве с двумя рюмками джина быстро исправили доценту настроение. Все было достойно и прилично, никакого свального греха и даже просто греха. Крапивников, слегка захмелев, начал применять искушение для дам попроще. Было смешно смотреть, как он, маленький, красноносый, лысый, встал на колени перед огромной рыхлой блондинкой и пугал ее, как малютка-удав огромную крольчиху:

- Бойтесь меня! Я - стихия! Вот я поднимаюсь! Вот я захлестываю вас!..

Сеничкина трясло от смеха, а блондинка и впрямь пугалась. Ее незаметная подруга тоже была взволнована и похоже ревновала.

Вскоре появилось несколько мужчин с закуской, водкой и не очень молодой, но привлекательной женщиной.

- А, товарищ прокурора!

- Привет, товарищу прокурора!

- Салют, прокурорскому товарищу! - пожимали они Сеничкину руки и при этом смеялись. И Крапивников тоже смеялся. Со стороны могло показаться, что они издеваются над доцентом. Но тому это не приходило в голову. Он не верил, что может быть кому-то смешон, и что "товарищ прокурора" - обидная

кличка, которую придумал не кто иной, как сам Крапивников, наткнувшись как-то на цитату в толстовском "Воскресении".

- Марьяна - следователь, - сказал Сеничкин.

- Ну, это неважно, - похлопал доцента по плечу Георгий Крапивников и все снова расхохотались. Цитата же из Толстого была такая: "Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно".

Гости сбросили на сундук пальто и шубы. Началось чтение стихов, пьяная болтовня с анекдотами и подзуживанием друг друга. Сеничкина несколько оттеснили, да и он, слегка утомившись, не особенно пытался занимать площадку. Вставать ему завтра было рано. Поэтому, улучив момент, он выпросил у незаметной нетолстой гостьи ее координаты и по-английски, не прощаясь, покинул крапивниковскую гавань.

В общем все было не так уж плохо. Зря Инга. Ведь он от нее ничего не утаил. Если же она оказалась такой нечуткой и грубой, то тем хуже. Впрочем, он надеялся, что это типичная юношеская истерика и аспирантка скоро одумается.

Дома родители уже спали, а из-под Надькиной двери выбивалась полоска света. Алексей Васильевич, вспомнив вчерашнее, улыбнулся, снял шапку, повесил пальто и до прихода жены часа полтора плодотворно работал. Голова у него от водки не раскалывалась. Человек он был здоровый.

8

Дело о стенгазете не перешло в ЧП. Смершевцы не могли из него состряпать подходящего блюда и потому спихнули его в политуправление корпуса, где стали скучно склонять имя подполковника Колпикова.

В полку был прочитан строгий циркуляр относительно стенной печати, и сержант Хрусталев отстранен от должности редактора. Во всех взводах выпустили боевые листки, и спешно выпиливались стенгазетные стенды ленинки. Стенд, похищенный у стройбата, смершевцы увезли с собой и что они там с ним сделали, было неизвестно. По всей видимости, отклеили фотографию - и все.

После допроса Курчева капитан Зубихин дней десять в полку не появлялся, а когда наконец приехал, был встречен молчаливым презрением. На смех подымать его боялись, но всем было ясно, что сыщик из него липовый, если даже такой чудило, как Курчев, и то его обштопал.

Курчеву же за сообразительность даже как бы простили шмаляние в воздух, тем более, что лейтенант лежал больной в страшной сорокаградусной ангине.

Даже Ращупкин смилостивился к Борису, сам понимая, что погорячился и что ставить Курчева взводным - все равно что лепить из навоза бронебойный снаряд. Курчевская ангина пришлась Ращупкину весьма кстати. Приказ не проводился в жизнь, но и не отменялся, и авторитет командира полка даже в этом малом пункте не был поколеблен.

Что же до посрамления Зубихина, то подполковник был доволен. Этот капитан вообще себе напозволял. Но Ращупкин видел его насквозь и, как говорится, на два метра глубже. Капитан был толст, ленив и поселился в корпусном городке, потому что дома там были лучше. Машины ему по штату не полагалось, а числилось за ним целых три полка. Ездить же на попутных он не любил и потому каждый свой приезд обставлял как появление Христа, развивал активность, прямо-таки кипятил свою бдительность и чуть ли не весь личный состав стремился тайно пристегнуть к своему ведомству.

Прошлую осень он пронюхал про пять кабанов, как будто этих хрюков Ращупкин сам зажаривать собирался. Дурень! Константин Романович Ращупкин человек широкий и вовсе не хапуга. Три кабана честь по чести он пустил в солдатский котел, а двумя остальными распоряжался зам по снабжению, распределяя парную свинину между женатыми офицерами. Майор Чашин, по давней привычке, не взял, отказался. Может быть, вспомнил, как в детстве, в русской школе, мальчишки зажимали в руках полы пиджаков, дразня свиным ухом. А может быть, просто гордым был майор Чашин и не пожелал есть сомнительное, хотя и парное, мясо. И Ращупкин тоже не взял. Всем распоряжался престарелый, пятидесятилетний, обремененный семьей, снабженец. Он же и предложил капитану Зубихину чуть ли не четверть туши и тот, покочевряжившись, взял, а уж писал ли о том, кому следует, это было его дело. Ращупкин к сему отношения не имел.

В другой раз Зубихин заактивничал, когда разбился "ЗИС-151". Пришлось Константину Романовичу послать по гаражам личного шофера Ишкова. Сережка Ишков знал о комполка, если не все,, то во всяком случае такое, чего не знала сама подполковница. И для вывески был придан Ишкову лопух Курчев, который сидел в кабине и читал в десятый раз свою "Войну и мир".

Вот тогда-то Зубихин сходу хотел подцепить Ишкова, но солдат свалял ваньку, выпучил непонимающие глаза, и Зубихину не обломалось. С Курчевым получилось еще хуже, потому что

Борис во время разговора был смертельно пьян (дело происходило на крыльце только что открывшейся офицерской столовой). Зубихин, считая, что пьяного цеплять легче, на этот раз ошибся, ибо Курчев только и сказал:

- Пошел к ...! - но тут же, сдвинув ушанку к затылку, слегка покачнувшись, добавил: - Отставить! Пшел к Лаврушке. Вольно!

С Берией как раз несколько дней назад было покончено. Никого, вроде, кругом не было и Зубихин съел молча. Курчев же был настолько пьян и не в себе, что назавтра ничего не помнил, но Ращупкин как-то узнал об этом коротком разговоре и это не увеличило его симпатии к особисту.

Что ж, Зубихину в этом полку явно не фартило и, перебарывая лень, капитан стал всерьез наезжать в эту сволочную передовую часть. "Рыба тухнет с головы", - знал он и потому продолжал потихоньку обкладывать Ращупкина. Что-то тот чересчур зачастил в Москву. Дружки в штабе или баба? Где дружки, там и баба! - решил находчивый капитан, как ловкий шахматист беря на вилку сразу ферзя и короля. Но дальше догадки дело не продвинулось. И Курчева он тоже решил не оставлять без наблюдения.

Таковы примерно были отношения между капитаном особого ведомства и молодым подполковником, действительно влюбившимся не на радость себе в одну столичную жительницу, женщину лихую, хотя и замужнюю.

Так что посрамление Зубихина даже примирило великолепного подполковника с зачуханным техником-лейтенантом, к тому же подхватившим свирепую ангину.

- Что там с Курчевым? - спросил он в пятницу вечером врача.

- Неясно, товарищ подполковник. Симптомы еще не проявлены.

- Так, что - филонит?

- Нет. Температура есть. Но симптомы себя не показали.

- Какие еще симптомы, если температура, - скривился подполковник. Он давно подозревал, что медицинский лейтенант из штатских - порядочное бревно.

- Квартиру Колпикова, - сказал, снимая трубку. - Ирина Леонидовна? Вечер добрый. Не очень заняты? Просьба к вам некоторая. Надо консилиум устроить. Офицер один занемог.

- Какая температура? - спросил Музыченку, прикрывая трубку.

- Тридцать девять и девять... Почти сорок.

- Ах, чтоб вас... - не закончил подполковник и снял ладонь с микрофонного раструба. - Сорок у него, Ирина Леонидовна. Понимаете, боюсь, вдруг тиф. Где он? - спросил врача.

- У себя, - потупился медик.

- Если можно, придите, пожалуйста, в штаб. Офицер не госпитализирован. Сейчас наведем порядок. Большое спасибо. Пока.

Он бросил трубку и полоснул взглядом медицинского лейтенанта.

- Скорее всего ангина, товарищ подполковник, - сдавленным голосом пробурчал Музыченко. В нем боролись обида и страх, и в данный момент страх пересиливал.

- А если тиф? Вы понимаете или... - подполковник не нашел подходящего определения и коротко выматерился.

- Это ангина. Он горло показать не мог. Все забито.

- Забито и при дифтерите, - ощерился Ращупкин. - Что вы ему давали?

- Стрептоцид с аспирином.

- Детское дело, - хмыкнул подполковник, вспоминая все болезни своих пацанов. - Пенициллин ваш готов?

- Не в должной кондиции, - потупился врач.

У него был казенный пенициллин, но он боялся признаться, что не помнит пропорции, а сделать укол не решается.

- Позвоните в корпус или сами поезжайте. Но чтобы офицер был здоров. И немедленно в санчасть. Подождите пока в коридоре, - и подполковник стал принимать рапорта дежурных.

Мадам Колпикова, как ее прозвали между собой старшие офицеры, тридцатилетняя гранддама, бывший врач-терапевт, признала самую простую, хотя и тяжелую, фолликулярную ангину.

Курчев временами бредил, но в санчасть переходить отказался. Ближайшая к нему, бывшая Гришкина койка пустовала и лейтенанта решили не трогать. Целый день он мучался от жара, аспирин температуры не сбивал и мадам Колпикова стала колоть его, к большому неудовольствию своего политического мужа. Тот никак не мог примириться с шутками офицеров, хотя был женат на врачихе шестой год. Но для Ирины Леонидовны это было радостью. Она извелась без работы в этом трижды противном закрытом полку и ангина лейтенанта была для нее праздником.

Да и Ращупкин весь рассыпался в комплиментах и восторгах.

- Давайте вас аттестуем, а этого профессора спихнем в ветеринары или в Академию меднаук. Ваше здоровье, Ирина Леонидовна, - чокался он в субботу за предпраздничным столом, вызывая очевидную ревность замполита и своей толстой, невероятно раздобревшей от двух беременностей командирши. - Вот бы нам такого врача. Давайте ее аттестуем, Иван Осипович!

- Спасибо, спасибо, - краснела большеглазая черноволосая

врачиха. Ваше здоровье, - чокалась с командиршей и с красивой женой майора Чашина. Спасибо. Только, ради Бога, не растравляйте меня, Константин Романович. Я ведь поверить могу. Мне бы хоть сестрой устроиться, - и она погрустнела. Среди офицерских жен она единственная окончила медицинский институт. Другие были с агрономическим образованием или просто учительницы. Устроиться по специальности никому не удавалось, все колдовали у своих печек.

- Да, - вздохнул подполковник в эту предварительную субботу, так сказать в генеральную репетицию перед 23-м февраля. - Да, тяжкая ваша доля, дорогие мои подруги! - Он поднялся во все свои без малого два метра и дальше продолжал со слезой. - Тяжкая, но завидная у вас судьба. Пью за вас всех и за тебя, моя Маша. - Он согнулся, чмокнул в голову и обнял свою семипудовую жену. - Нет ничего достойнее вашей жертвы. За вас всех, ура! Спасибо вам, дорогие женщины!

За столом чокнулись и всплакнули. Большеглазая врачиха рыдала, как санитарка. Ей нравился командир части, но здесь, в полку, дальше чоканья за столом и вежливых обращений по имени-отчеству дело не шло. Она предполагала, что и сама ему мила, во всяком случае куда милее уже опустившейся жены, и плакала от неудавшейся своей судьбы, еще более печальной после трех рюмок вермута. Она знала, что у полковых дам не в чести, так же, как, правда по другой причине, не в чести у офицеров ее муж, замполит, и нещадно тиранила супруга. А он служил ей верно, как престарелый поклонник, носил ее на руках, как отец, подметал квартиру, чистил картошку, топил плиту и чуть ли не сам готовил обед. Знали об этом все, и в семье Колпиковых жизнь была беспросветным кошмаром. И даже ночью, когда засыпала четырехгодовалая дочь, когда все в полку затихало, Ирина Леонидовна лежала, открыв большие глаза и стиснув зубы, долго не подпуская к себе Ивана Осиповича, пока гробовыми клятвами, самоунижением и славословиями он не колебал ее презрительного и гордого упрямства.

Эта самая врачиха и выходила Курчева. А может быть, он бы и сам поднялся, потому что ангина все-таки не смертельна и во всяком случае не бесконечна.

9

Удача никогда не бывает полной и окончательной. Больше того, она почти всегда приходит в неудачное время. Тридцати лет приняв полк, Ращупкин был горд, но едва ли весел. Да, ему нравилось ходить по поселку, где все, завидя его длинную ладную фигуру кентавра, тотчас вытягивались, причем не из одного страха и порядка, а потому, что глядеть на такого молодого

подтянутого и привлекательного офицера было приятно. Ращупкина почти любили. Власть всегда притягательна, а Константин Романович не был кичлив и не перегибал палки ни в одну из сторон. Вежливости во всяком случае никогда не терял.

Было весело и приятно выйти и за ворота, пройтись по бетонке до "овощехранилища" и потом назад по бетонке вверх за участок бывшего стройбата, который сейчас несколько мозолит глаза и портит впечатление, но вскоре отойдет в полное распоряжение Ращупкина и надо будет что-то сообразить на этом плацдарме. Да, приятно было, миновав стройбат, пройти по бетонке вверх и левее, туда, где вскоре будет сосредоточена вся огневая мощь полка, настолько грозная, что мысли о ней почти всегда пугали Константина Романовича, зенитчика с тринадцатилетним стажем. Долговязый, тощий, худошеенький Костик Ращупкин в юности вовсе не собирался стать военным. Шестой, последний из детей, он рос при школе, где его отец с конца нэпа исполнял должность завхоза. Городишко хоть был областной, но не крупный, да и школа стояла на самых задворках. Рядом был огород, и большая семья как-то перебивалась. Один за другим, облегчая семейный бюджет, уходили на производство братья, не задерживаясь в школе дальше седьмого класса, да и сестры держались немногим дольше. Один Костик прилип к школьному дому и двору, к учителям и к учебе. Уже почти вся стена вокруг портрета товарища Сталина была обклеена похвальными грамотами Ращупкина-младшего и никто не сомневался, что впереди у поскребыша институт, и будет в семье Ращупкиных первый образованный - инженер или там ученый, как вдруг на пороге десятого класса случилось непредвиденное событие. Не заболей в детстве Костик тяжелым крупом с долгими осложнениями и поспей в школу, как все, к восьми, а не к девяти годам, быть бы ему в сороковом году студентом. Но в тот сороковой год, когда Костик стал десятиклассником, вышло решение перекрестить эту окраинную десятилетку в авиационную спецшколу и завхоз, оставшись на прежней работе, не отпустил от себя сына, хотя самая обыкновенная школа была в четырех кварталах. Так не стал инженером Костя Ращупкин, но зато остался жив. А ведь кто знает, не сложил ли бы он головы в московском ополчении или просто в пехоте, куда загремели многие студенты после первого курса. А Константин Ращупкин прибыл после спецшколы в авиационное училище, тут же был забракован (нашли какие-то малые шумы в сердце) и сплавлен в зенитно-артиллерийское, в котором проторчал полгода и потом охранял небо приволжских городов, за что в конце войны, уже командиром батареи, не получив ни единой ссадины, был

награжден орденом Красной Звезды.

За войну Ращупкин основательно подзабыл школьную премудрость, но зато окреп, возмужал и стал на редкость красивым парнем. Теперь бы в нем никто не признал худощавого отличника с первой парты, который втайне писал стихи и первым вызывался разрисовывать стенгазеты. Теперь капитан Ращупкин выжимал левой два пуда и лучше всех в полку крутил солнце. Весь женский состав (в полку во время войны было много зенитчиц) обмирал по длинноногому комбату, но у капитана еще не погасла мечта демобилизоваться и Победу он встретил холостым офицером.

После войны опять подвел тот же детский круп. Имей за плечами Ращупкин хоть курс вуза, он бы выбрался, а с десятилеткой офицеров не демобилизовывали. Зенитчиц из армии отпустили и жизнь в захолустном (полк с Волги перевели) украинском городке стала тошной. А тут еще комполка приревновал к молодому капитану свою жену. Дело пахло керосином и Ращупкин с тоски, от неудачи с демобилизацией и академией (куда комполка из вредности его не отпускал) стал захаживать в ближайший от батареи совхоз, где сошелся с недавно выпущенной из Тимирязевской сельхозакадемии молодой агрономшей и, махнув рукой на будущее, расписался с ней. Тут же родился первый сын, а через полтора года второй, а потом в той же дивизии, но в другом полку освободилась должность комдива (командир дивизиона; то же, что в пехоте комбат) и Ращупкины переехали в большой областной город. Терять было нечего: Марья Александровна за беременностями не работала, да и карточная система кончилась, продукты уже прежней ценности не представляли.

Но жить в большом городе вчетвером на одном комдивском жаловании было трудно, да и должность комдива была по ращупкинскому образованию последней. Без поплавка выше подняться не светило, и Константин Романович под визг и вой младенцев засел за учебники. Теперь было ясно, что надо идти по командной линии, что на технике в двадцать семь плюс пять лет учебы далеко не уедешь. Да и привык он уже к командирской должности. И генерал, настоящий комдив (командир дивизии), которому Ращупкин приглянулся своей обстоятельностью, выправкой и отличным характером, советовал идти в Академию им. Фрунзе, куда Ращупкин и попал с первого захода.

И все бы сложилось лучше не надо, если б не эта Москва, город, в котором раньше Ращупкин нигде, кроме вокзалов и мавзолея, не бывал.

Ращупкин знал, что Москва - столица мира, центр

социализма и рабочего движения, город, где живет Сталин и похоронен Ленин. Он знал, что Москва твердыня мира, мост в будущее, форпост науки, в том числе военной, самой передовой науки побеждать. Но он никогда не знал, что Москва - это город молодых, симпатичных, удивительно красивых и хорошо одетых женщин.

Даже при всей заполненности академического дня эти женщины попадались ему на каждом шагу и прежде всего в скверике против Академии, где он гулял с сыновьями. Там паслось всегда пропасть студенток из двух медицинских, одного педагогического и одного института резины, точнее - тонкой технологии. Это было молодое невоенное поколение. В нем была какая-то тайна, не то что в зенитчицах, которые вызывали у молодого лейтенанта брезгливость и жалость, потому что каждый раз после воздушного налета ему лично приходилось сдавать в стирку их исподнее. Правда, и среди зенитчиц попадались интересные экземпляры, но в них не было ничего загадочного. Собственно, он знал про них все, как знал все про их обмундирование, верхнее и нательное.

А эти студентки и аспирантки из четырех окрестных вузов волновали своей непонятностью, непостижимостью, и майор Ращупкин, глядя на них, снова становился долговязым и тонкошеим школьником, который с завистью следил за дверью директорской квартиры, из-за которой до его ушей когда-то доносились обрывки непонятных, неясных и поэтому так волновавших его разговоров.

Москва была городом женщин, а женщины теперь влекли Ращупкина. И не только потому, что он был молод, здоров, любвеобилен, а еще влекли своей непонятливостью, тайной, что ли, каким-то секретом или, как он говорил себе, - интеллигентностью. Они его волновали так же, как директорская дверь, за которой шли удивительные и загадочные для малолетнего завхозского отпрыска споры. И хотя потом, когда Косте сравнялось пятнадцать, за этой дверью поселился он сам (директора и директоршу арестовали), все равно память о неясном и непонятном, о чем-то высшем и недостижимом, - жила в нем; и теперь, как рана, как каверна, раскрылась в этом городе Москве.

Он был уже взрослый двадцатисемилетний офицер. Он знал, что в жизни почем, и понимал, что интеллигентность связана с беззащитностью и какой-то жизненной недостаточностью. И дело вовсе не в том, что директора с женой арестовали. Арестовывали людей и куда защищенней. Просто интеллигентность подразумевала невозможность целого ряда поступков,

необходимых для служебного и семейного благополучия.

Поэтому Ращупкину казалось, что женщины интеллигентнее, духовнее, что ли, мужчин, бескорыстней, во всяком случае. И те девушки, что сидели в скверике, раскрыв толстые учебники, но, не глядя в них, щебетали о своих тайнах, казались Константину Романовичу воплощением самого высшего и лучшего в этом раздираемом войной и злобой мире.

Но клин не сходился на одних студентках. Женщины были и в самой Академии. Была там пропасть лаборанток, да и кафедра иностранных языков почти сплошь состояла из женщин. Лаборантки, впрочем, немногим отличались от зенитчиц. Хотя они и носили цивильное, но отчаянно липли к неженатым, а некоторые и к женатым слушателям. Зато на кафедре иностранных языков было несколько молодых преподавательниц и с одной из них, немкой, Кларой Викторовной Шустовой, Ращупкин очень сдружился и через нее проник в общество штатских молодых мужчин и женщин. С самой немкой у него романа не состоялось. Марья Александровна была начеку. В общежитии, которое отделяло от Академии не более ста метров, было не только все видно, но и слышно. Но даже и без любовной связи общение с молодой преподавательницей было для Константина Романовича чрезвычайно увлекательно и полезно, хотя повлекло немало семейных неурядиц.

Ращупкин любил жену. Она была всего на два года старше, по-своему неглупа, надежна, распорядительна. Она родила ему двух сыновей, вела дом и служила верно и уважительно, как старшина-сверхсрочник. Но она у него уже была, а всех остальных женщин, из библиотек и вообще со всех московских улиц, - у него еще не было. Она жила с ним с самого конца победного года. Ради него бросила работу, располнела от родов и постепенно опускалась нравственно и физически именно потому, что он поднимался и рос. Он ее любил из благодарности и еще потому, что она была ему нужна. Он тосковал по ней с третьего дня ее отъездов (она часто, но с большой неохотой уезжала на Украину к родителям). Но она у него была. Была, как Вчера, как в лучшем случае Сегодня, как в свое время батарея, дивизион (как сейчас - полк), и не было в ней никакой мечты, ничего непознаваемого, запретного, высшего. Просто она была и была, и даже понемногу становилась хуже, в чем Ращупкин сам себе боялся признаться. Она была реальная, а Константина Романовича тянуло к чему-то смутному, неопределенному. Она была своя, а его тянуло к чужому. Ему хотелось чего-то такого, чего нельзя вычитать в книге и вызубрить к экзамену, чего-то вне правил, не в смысле крамольного политически, но такого, как писал Есенин, чтоб

"мечтать по-мальчишески - в дым".

Преподавательница немецкого не была такой, хотя и в ней были какие-то зачатки непознаваемого. Но она познакомила его с другими людьми. Он побывал на нескольких праздничных сборищах у Крапивникова, где сходились журналисты, начинающие литераторы, кандидаты наук, аспиранты и тому подобный народ, но ни с кем Ращупкин не сдружился, скорее мешал другим разговаривать и шутить. У него не было штатского костюма. Таких больших размеров не продавалось, а возиться с шитьем не было времени и денег. И, конечно, этих штатских тревожил его китель. Но, возможно, еще сильней кителя раздражала его безапелляционная манера разговаривать. Он не намного был старше этих штатских, даже моложе некоторых, но давняя привычка отвечать за людей и повелевать людьми не могла не сказаться. И еще мешало вечное желание быть первым. Еще не дослушав собеседника, он, сам того не желая, начинал его поучать - и это смешило штатских, привыкших к легким, неуставным разговорам.

Поэтому с мужчинами он не сошелся, хотя ему этого хотелось. Всякий раз после праздничной пьянки (пить он умел и редко выходил из допуска) он клял себя. Ведь как-никак он стремился к этим людям, у которых было то, чего он пока лишен, и где, как не у них, он мог этого поднабраться. Но желание показать, что у него самого этого добра хоть отбавляй, было так велико, что он уходил ни с чем. Эти штатские с ним не откровенничали, даже наоборот, задирались. Подвыпивший Бороздыка даже как-то сказал при Константине Романовиче какому-то уткнувшемуся в книгу юнцу:

- Учитесь, учитесь, кандидатом станете. А не доучитесь - тогда офицером.

Анекдот был старый и за него Бороздыку мало было убить, но Константин Романович сдержался и даже сострил: дескать, научимся в ходе третьей мировой войны, - но сближения со штатскими не получилось.

Зато с женщинами Ращупкину повезло больше. Красота и самоуверенность в их глазах как-то уменьшали его военную бурбонистость. Несколько молодых женщин были готовы завести с ним легкий роман, но он, на свое несчастье, безнадежно влюбился в подругу немецкой преподавательницы, молодую и лихую юристку. Роман был бесплодный и мучительный, как у пятнадцатилетних школьников. Короткие встречи у метро, прогулки под дождем и объятия в чужих подъездах. У юристки не было квартиры, она жила у родных за городом. И кроме того, - это Ращупкин понимал и, собственно, это больше всего тянуло его к

ней - Марьяна Фирсанова его не любила; у нее был еще один ухажер, молодой занозистый аспирант Сеничкин.

- Ну, чего вы хотите? - хмурила брови Марьяна. - Вы же, как католик. Там у папы Римского выпрашивают разрешение на развод, а у вас - у военного министра. Разведет он, как же! Так что, Костенька, ловите мгновение и ни о чем не задумывайтесь.

"Я у нее на запасном пути", - вздыхал Ращупкин и хотел бы послать ее ко всем чертям, но ничего поделать не мог. Все мечтательное, все тайное и неясное, все, что нес он с детства в себе, вдруг взяло спрессовалось, сублимировалось, как говорили у Крапивникова, в этой Марьяне - лихой, задорной, несносной, жестокой, нежной, очаровательной, пьющей и трезвой, смелой и робкой, на словах позволявшей себе все и в последний момент отпихивающей Ращупкина и выскальзывающей из его не таких уж вялых рук.

- Я не голодающая женщина, подполковник, - вскидывала она голову и хмурила брови.

"Ты б...", - удерживался он, чтобы не выложить этого слова вслух. Но не в характере подполковника было что-нибудь бросать на полдороге или от чего-нибудь отступаться. Даже брак Марьяны с защитившимся аспирантом не отпугнул Ращупкина. Наоборот, тут-то они и стали близки.

У немецкой преподавательницы вдруг умерла мать и она ушла из Академии в одно из спецучреждений и была отправлена на работу в ГДР. Так нашлась комната. Ее за небольшую плату Клара Викторовна сдала одной из Марьяниных незамужних подруг, а та, в благодарность за комиссию, время от времени давала Марьяне ключ.

От этих дневных свиданий, бесстыдных по своей четкости, ясности и осторожности, у подполковника, как у мальчишки, шла кругом голова и он еще больше запутывался и вяз в своей сумасшедшей любви. Действительно, где он еще мог встретить такую отчаянную девку, не девку даже, а как говорят в казармах, коня?!

- Лучшего мужика, чем ты, не надо, - признавалась Марьяна. - Даже в половину лучше - лучше будет. А то калекой оставишь. Жену ведь изуродовал, а? - дразнила его, а он все ей прощал, надеясь: еще одна, другая встреча и он освободится. Но свободы не было, наоборот, свобода убывала, как вода из дырявой фляги.

Жена после отъезда немки немного поутихла, но по-прежнему была полна всевозможных подозрений. Девушки в Новодевичьем скверике по-прежнему строили ему глазки. А когда он возвращался с дневного свидания, все встречные женщины понимающе улыбались. Он злился на себя, почему именно ему

досталась такая невообразимая шлюха, и именно он, которому все по плечу, с которым удача спит рядом и ест из одной тарелки, никак не может отвязаться от этой сволочной следовательши.

Ему не с кем было поделиться. В Академии его любили, но одновременно завидовали. На факультете состряпалось несколько бытовых персональных дел и бдительность постоянно повышалась. Во всяком случае, разводы никак не поощрялись и просьбы такого рода командование оставляло в лучшем случае без последствий.

Во время отлучек жены к престарелым родителям на Украину Константин Романович несколько раз участвовал в холостых попойках, на которые приглашались женщины, но это не приносило ни радости, ни освобождения.

Несмотря на неотвязный роман, Константин Романович как-то жил, превосходно учился (что при его способностях, здоровье и собранности было нетрудно), кончил с отличием и правом выбора места службы. Он мог бы остаться при кафедре, но должность была небольшая и не слишком перспективная, и поэтому взял себе этот особый полк, войсковую единицу новую и должность многообещающую. Правда, в будущем предполагали, что такие полки перейдут в руки людей с инженерным образованием, но и Ращупкин ведь не век собирался сидеть в комполках. Авось и попадет в генштабисты.

Кроме всего прочего, он выбрал этот подмосковный полк потому, что близко было от столицы и он знал, что по должности ему часто придется выбираться в штаб армии. Ему, но никак не жене. И поэтому, если он подберет себе хорошего, молчаливого шофера, то московские дела будут за семью замками, и жена, оторванная от своих московских осведомителей (по лестничной клетке общежития), не узнает его похождений. Сергей Ишков оказался надежным парнем, а за полсотни с большим гаком километров Марье Александровне было не унюхать, чем ее Костя занят в столице.

Выбираться, правда, удавалось не часто и, выбравшись, не всегда можно было дозвониться в прокуратуру. Но почти весь год они с Марьяной встречались, точнее за год таких встреч было ровно одиннадцать, и вот как раз в среду, в февральский День Пехоты, Марьяна ему сказала, что все... Приехала из Германии Кларка. Встречаться негде. Да и, честно говоря, ей, Марьяне, сейчас не до того...

Все это она говорила в телефон не прямо, а обиняками (видимо, кто-то был в кабинете) и, наконец, не вытерпела, бросила:

- Позвоните попозже.

Но когда он позвонил попозже, ему ответили, что Сеничкина ушла домой.

В штабе армии у него дел не было. Он велел шоферу дожидаться начфина и потом в шестом часу подъехать к Академии Фрунзе. Ишков его всегда там ждал, потому что Клара Викторовна жила неподалеку, сразу за клубом "Каучук".

Шофер с начфином подъехали к Академии в четверть шестого, но Ращупкина не было. Они прождали час с небольшим и, наконец, он прибыл в такси, невероятно бухой - таким Сережка Ишков его никогда не видел! - с двумя четвертинками за пазухой, которые, несмотря на просьбы начфина, все еще пытался сосать по дороге.

Этот День Пехоты был одним из самых позорных в жизни Константина Романовича Ращупкина. Дважды позвонив в прокуратуру из автоматной будки у ворот штабарма, он плюнул, пошел пешком к трамвайной остановке и там у ларька принял свои первые двести грамм. Затем, доехав на трамвае до мало-мальски людной улицы, он тихо выпил вторую порцию. Тут он почувствовал, что еще немного и он не вытерпит и спьяну позвонит Марьяне домой. Телефон он когда-то узнал у самого Сеничкина, но ни разу не воспользовался.

Тогда он позвонил преподавательнице немецкого Шустовой и, накупив закусок и четыре четвертинки (лучше было бы взять коньяку, но он мешать не любил), помчался на такси к клубу "Каучук". В квартире переводчицы его проняло. Он пил и плакал, и выбалтывал холостой "немке" все подробности и перипетии своего несчастного романа. Немка только диву давалась, сочувственно кивала головой, вежливо ахала, а когда Константин Романович начал плакать, даже погладила по голове, как маленького. Для нее это была сверхпотрясная (как говорили молодые пижоны) новость. Ну и Марьяна! Действительно личность! Прямо-таки на ходу отрывает каблуки. И в нападении и в защите. Как она прошлым летом из-за флирта с Алешей на дыбы встала! Чудака-лейтенанта нарочно на Кавказ взяла. Совершенно непостижимая женщина!

Кларе Викторовне было грустно. Жаль себя и этого очаровательного глупыша-подполковника и вообще весь мир. Она даже выпила с гостем. Тот хлебал, как лошадь, как и полагается кентавру. Пьяному жалкому кентавру.

Наконец, испугавшись, что он, напившись, вытянется в ее крохотной комнатенке, она тайком стащила со стола бутылки и сунула ему в карман шинели. Он как будто не заметил и продолжал пить, почти не заедая.

Вдруг часы пробили пять и подполковник вроде бы

протрезвел, встал, сорвал с вешалки шинель, но тут его качнуло и он рухнул назад на тахту. Силой Клара Викторовна подняла его, запихнула в шинель и вывела на лестницу. Он не мог идти один и ей пришлось свести его вниз и остановить такси. Таксист не хотел везти пьяного, и она села вместе с Ращупкиным и полтора часа они колесили по городу.

У подполковника случилось прободение памяти. Он забыл, куда ему надо ехать, и они сначала помчались на окраину (подполковник твердил, засыпая, ее короткое название). Но, подъезжая к войсковой части, Константин Романович, то ли от быстрой езды и полуоткрытого окошка, то ли от вида военных зеленых "Побед" и проходящих мимо офицеров, несколько очнулся и промычал:

- Нет, не то... На-азад...

Таксист начал злиться. Клара Викторовна пообещала вознаградить его, но вдруг подполковник очнулся и сказал:

- В Академию.

- Но я вас такого туда не пущу, - взмолилась переводчица.

- В Академию... В Академию и все... Все в порядке... Та... Так точно... Слушаюсь... Ша...

- Езжайте назад, - вздохнула Клара Викторовна и, когда такси прошло мимо фронтона Академии, подполковник, снова проснувшись, улыбнулся:

- Вот она, моя... личная...

Шофер обогнул сквер, высадил переводчицу у клуба и, развернувшись, подвез Ращупкина к Сереге Ишкову. На этом, собственно, все кончилось, но "немка" запаслась важным компроматом на свою закадычную подругу.

10

У Клары Викторовны Шустовой не было личной жизни. Вернее, недолгое время была, но не задалась и ничем не кончилась. Проходив до двадцати шести лет, хотя вокруг хватало мужчин, в девицах, она неожиданно вышла уже в Германии за двадцатидвухлетнего, столь же неопытного техника-геодезиста, с которым прожила меньше года. У них, как и у всех советских граждан, живущих за границей, было много денег, много тряпок, вполне приличная казенная квартира с современной мебелью, приемником, магнитофоном и маленьким кабинетным фортепиано, но чего-то главного у них не получилось и они тихо и мирно разошлись. Техник вернулся в Москву и поступил в институт, а теперь, в самом начале 54-го, вернулась и Клара Викторовна.

Деньги у нее были. Во-первых, набралось за два с лишком года от сдачи квартиры. Во-вторых, часть зарплаты шла в рублях

и накапливалась на сберкнижке. Так что устраиваться на работу Клара Викторовна не торопилась, хотя ее усиленно звали назад в Академию и предлагали еще несколько мест, в частности, в Министерстве внутренних дел. Но она не спешила, собираясь и никак не решаясь лечь на операцию щитовидной железы.

Именно в ней, в этой мерзкой щитовидке, Клара Викторовна видела причину всех своих бед: неудачного замужества и еще менее удачных коротких романов, которые стоило бы назвать грубее и выразительней.

- С Димкой (Димка был двадцатидвухлетний супруг) мы так ничего и не поняли, - как-то разоткровенничалась она на юге с Курчевым.

Это было августовской ночью. В распахнутое окно лезли большие южные звезды и кривая турецкая луна. Курчев и переводчица лежали рядом на узкой хозяйской кровати и курили одну сигарету за другой. Говорить им было не о чем, но молчать тоже было неловко, потому что близость у них не ладилась. Они не подходили друг к другу, но отпуск только начался.

Они и Сеничкины сняли две комнаты в одном доме, правда, в разных крыльях, и Курчев с переводчицей все тянули лямку, каждый раз наивно надеясь, что в следующую ночь им повезет больше.

- С Димкой мы не понимали, - повторила Клара Викторовна, - а с тобой все понятно. Это - не то, не то и не то... Это профанация, а не близость. Ты нетерпелив, ты все время спешишь. Это все не то. Это вообще редко удается. Но, когда удается, это чудесно. Это праздник тела...

"Именины сердца" - чуть не сказал Курчев, вспомнив гоголевского Манилова. Но крыть было нечем. Рядом лежала женщина и ей было плохо. Он не понимал, в чем дело. Он был здоров, его тянуло к этой женщине, каждый день тянуло и каждую ночь, но когда после поспешной близости она начинала нервничать, сердиться, впадать в тихую истерику, пропадала всякая охота ее обнимать и хотелось бежать через окно куда-нибудь к морю или в горы. Несколько раз после таких истерик он вылезал на крышу сарая и дымил там сигаретой, а однажды там же заснул и утром, под смех сбежавшихся квартирантов, был стащен оттуда Алешкой.

Курчев тоже был раздосадован. Не такой уж он был опытный парень, но прежде у него не было оснований жаловаться на женщин. Впрочем, это были короткие (если не считать первого романа с хлебной продавщицей) солдатские или еще студенческие грешки.

"Может, я вправду никуда не гожусь? - раздумывал он днем,

лежа у моря на крупной горячей проламывающей спину гальке. - А чёрт!.. Но она тоже хороша. И влипнуть боится и беречься не хочет... Разбери пойми..." - Он злился на переводчицу, но и жалел ее. Наверно, если бы им не пришлось вместе спать, они бы подружились. Но они спали в одной комнате и не высыпались, мучаясь и ссорясь.

Хитрая, зоркая Марьяна давно догадалась, что у Кларки с лейтенантом не клеится и, уже не опасаясь, что переводчица умыкнет драгоценного Алешку, начала шутливо задирать Курчева, приставать к нему на пляже и обниматься с ним в менее многолюдных и освещенных местах. Это было вполне несерьезно и делалось лишь для расшевеления приунывшего мужа.

Но лейтенант обычно держал себя в рамках, да и Сеничкин нисколько не ревновал свою Марьяну. Лейтенант держал себя в рамках, но кое-чего это ему стоило. Марьяна нравилась куда больше переводчицы. Она была красивей (это бы и слепой разглядел). Кожа у нее была чистая, да и характер, несмотря на хваткость и хитрость, легкий. Наверно, она спала с мужчинами весело и без трагедий.

Марьяна нравилась Курчеву, но она была женой двоюродного брата и он мысли о ней глушил, однако понимал, что в несуразицах с переводчицей, хотя и косвенно, но виновата и привлекательная невестка.

Словом, Курчев с Кларой Викторовной кое-как дотянули отпуск и с облегчением расстались. Она вернулась еще на четыре месяца в ГДР, а он в полк.

В Германии работы на объекте уже свернули и преобладало чемоданное умонастроение. Многие понимали, что жизнь на родине, несмотря на окончание ностальгии, будет куда бедней и неуютней, и гуляли на чужбине из последних сил. Клара Викторовна, которая не так уж и любила, как она выражалась, "клюкнуть", поддалась общему загулу и, понятно спьяну, сошлась (вернее, просто дала себя увести на ночь) с одним военным инженером, в котором тут же разочаровалась. Затем в другой подвыпившей компании к ней пристал ее непосредственный начальник, который раньше с ней заигрывал весьма тактично и скромно. На этот раз Клара Викторовна не кобенилась и повела начальника к себе. Но "праздника тела" тоже не получилось. Может быть, его вообще не бывало. О нем насочиняли западные писатели, а потом стали попугайничать всякие гулящие личности, вроде прокурорши Марьяны.

- Ты пей меньше, а то у тебя глаза вылазить начали, - сказала Кларе Викторовне соседка по коттеджу, геодезистка.

- Веки красные. Очки менять надо, - вздохнула, глядя в

зеркало, переводчица. - Минус восемь уже не годятся...

- Это базедка, - безапелляционно фыркнула геодезистка.

"Всегда обрадует", - рассердилась переводчица, но вслух сказала:

- От базедовой болезни глаза не краснеют.

- Кто спорит? Краснеют от выпивки, а вылезают от базедки. В госпиталь сбегай, подруга.

И дня через два, не ожидая и не надеясь, что Кларка пойдет к врачу, сама привела к ней своего ухажера из соседнего немецкого городка: там стоял военный госпиталь. Ухажер намял Кларе Викторовне шею и сказал, что прощупаться прощупывается, но точно он ручаться не может. Все-таки он хирург, а не эндокринолог. Надо ехать в Берлин.

Но Клара Викторовна, не желая посвящать окружающих в свои недуги, не пожалела дефицитных марок и пошла к местному немецкому врачу. Он был строг и сух. По-видимому, не любил русских. Но, снизойдя к ее прекрасному немецкому выговору, постепенно разговорился и объявил, что так оно и есть базедова болезнь во всей форме. Зря она ездила в августе на этот раскаленный юг; теперь лечить уже поздно - надо резать.

- Вырежут - все будет в идеальном виде. Вздохнете легко и увидите счастье или, как у вас говорят...

- Небо в алмазах, - подсказала, переведя на немецкий, Клара Викторовна.

- Вот, вот...

Но не слишком надеясь на небо, точнее, надеясь и боясь потерять эту надежду, Клара Викторовна протянула с операцией до самого отъезда, продолжала тянуть и в Москве. Вчерашнее появление Кости Ращупкина и сногсшибательный компромат на закадычную подругу несколько растормошили переводчицу и развлекли в ее унылом ничегонеделанье.

11

Выскочив в тот злополучный День Пехоты из надышанного водочным перегаром такси, Клара Викторовна влетела в свою квартиру и, не снимая шубки, набрала Марьянин телефон.

- Ну, надо, очень надо, - лукаво и необычно для себя весело запищала в трубку.

У Марьяны, видно, кто-то был и разговаривала она неохотно.

- Как хочешь, - уже начинала обижаться переводчица. - Но у меня потрясающие о тебе новостишки.

- Тогда давай завтра, - шепотом сказала Марьяна.

- Завтра я хотела наконец добраться до льда, - обидчиво, будто говорила с мужчиной, протянула Клара Викторовна. - После операции не покатаешься.

- Не ной. Это же не мениск, - сказала Марьяна. - Катайся на здоровье. Я к тебе подскачу.

- С коньками?

- Если к Бутыркам подвезешь.

И вот они сидели в ресторане, у которого должны были встретиться еще час назад. Потрясающие новости никакого эффекта на Марьяну не произвели.

- Ну и что? - скривилась она. - Думаешь, велика радость?

- Он импозантен, - пыталась защитить Ращупкина подруга.

- Слизняк, - небрежно отмахнулась Марьяна.

Ожидая бифштекса с луком, они пили сладкое вино. Сухое уже кончилось, а от коньяка Марьяна отказалась. Она привыкла платить за себя, а денег у нее было всего двадцать пять рублей.

- Не знаю... Может, я зла и несправедлива. Сегодня опять собачье дело. Изнасилование. Жилищный кризис. Людям негде по-человечески перетрахаться. Демобилизованный солдат, набравшись, полез, представляешь к стрелочнице. Тетке 48 лет. Сидела на путях в ватнике и платке, как кулема. Начала орать, так он ее ломом... Парню - 23 года, а теперь вышкой пахнет. Особенно, если пустят показательным...

- Ужас, - вздохнула переводчица, не зная уж как теперь вернуться к разговору о Ращупкине.

Но, догадываясь о желании подруги, Марьяна, закурив длинную болгарскую сигарету, сама сказала:

- Боюсь, этот подполковник тоже меня когда-нибудь пришьет. Плохо их обуздывают в Вооруженных Силах. Сам министр, говорят, большой селадон.

- Он старый, седенький, - улыбнулась переводчица, вспоминая маршала Булганина. - Хотя моськой - ничего.

- И Ращупкин рылом вышел, - скривилась Марьяна. - Вообще-то я зря... Он парень что надо. Только устала я от всего, от него и от... В общем, от всех.

Переводчица замерла, ожидая исповеди, и Марьяна, помедлив и раздув начавшую гаснуть сигарету, стала говорить мягко и без раздражения, что с ней случалось теперь не так уж часто.

- Ах, Кларка, не у тебя одной шиворот-наперед и еще раз навыворот. Чёрта лысого меня потянуло на этот говенный юрфак. И денег тут - на три дня после получки, и работа - одно дерьмо и чужие слезы. Война была - не рассуждали. Четыре года - и в дамках. После войны, мол, преступлений будет навалом. Дело перспективное, расти сможешь. Насчет преступлений - не обманули, а все равно лучше б куда-нибудь в другое место пошла.

- Но ведь растешь!.. - уже жалела подругу сердобольная

переводчица.

- Хм... Расту?!. Вон Борька, лейтенант без училища - и то на полторы сотни больше гребет. Что ж мне - взятки брать?

- Бери, - улыбнулась Клара Викторовна, впервые подумав, берут ли взятки в прокуратуре.

- После тебя, - отмахнулась Марьяна. - Свекровь, жеребячье племя, больше половины отбирает. Свекор пятнадцать тысяч, не считая пайка, приносит и все равно с меня и Лешки эта поповна за жратву и домработу вычитает. Кого-нибудь пригласишь, разговорами закармливай. Чаю - и то для гостей не выпросишь. Вчера Лешкина новая пассия прибыла. Я ее из читалки сама за руку привела. Наврала, мол, Алешка зовет. Так даже накормить нечем было. Представляешь, такая, новый тип. Одета - не то, что мы с тобой расфуфыр! а так, скромно, ничего лишнего. В общем, не простой орешек. Скромняга. Алешка ее закадрил на Новый год у Крапивникова.

- Та ягода?..

- Эта... - рассердилась Марьяна. - Я тоже, по-твоему, того поля?..

Когда-то они обе прошли через крапивниковский дом, причем Марьяна ненадолго там зацепилась.

- Прости, - сказала переводчица. - Я не хотела... Честное слово, я даже забыла...

- Я тоже, - усмехнулась Марьяна. - Так вот, она не такая. С ней Жорочка даже расписался. Только - увы и ах - загс - не психолечебница и Жорочку не вылечил. И через месяца три или четыре показал ей наш красавчик от ворот на запад...

- Бедная, - искренне вздохнула Клара Викторовна и чокнулась с подругой.

- И тут мой ненаглядный и разлетелся. Понимаешь, не простой обычный подзаход, а высокое чувство, философские антимонии. Думаю, по кабакам ее начал таскать. Гонорары какие-то куцые стали.

- Жена всегда узнает последней, - вставила не к месту переводчица, но умолчала, что встретила доцента час назад у этого ресторана.

- Какая жена! - отмахнулась прокурорша. - Дура - последней.

Она взяла у Клары Викторовны вторую сигарету.

- К вам можно подсадить этих двух товарищей? - склонился над ними официант, кивая на двух мужчин, стоявших в дверях зала. Со времени прихода подруг в ресторан, зал как будто сузился. Все столики были заняты.

- Нельзя. Мы мужей ждем, - не поворачивая лица, буркнула Марьяна. Служите жантильней, - выпустила дымок, и молодой

официант, что-то бурча под нос, отошел пожимая плечами.

- Стажироваться - стажируйся, а хамить нечего, - довольно громко сказала Сеничкина.

- Здесь? - удивленно вскинула близорукие глаза подруга.

- А не все ли равно, где учиться тарелок не бить? Рохля - та последней узнает, - вернулась к прерванному разговору. - А не хочешь в соломенных вдовах бегать, стой на стрёме. Ах, чёрт меня потащил на юридический. Пошла бы на философский, может, уже докторскую писала б.

- Ты?

- А кто? Думаешь, они, филозофы, особенные? Типичные олухи. Павлины. "Я - философ, я - элита", распустят хвосты и пойдут цитатами махать. Все на один пошиб. Только что у моего морда симпатичная и язык подвешен, а соображения на тридцать пять и пять. Ниже нормального. Зато амбиции мамочки! Этот - не понял, тот - не вскрыл, третий - исказил. Мальтус (он с Мальтуса начал)... "английский мракобес выступил со своей человеконенавистнической теорией на рубеже XVIII и XIX веков. Его основная работа "Опыт о законе народонаселения" появилась..." и так далее. Вчера над благоверным издевался Борька, сегодня я потихонечку позволяю. Но дома ни-ни. Стой по струнке, отражай на лице эмоции. Короче, работай зеркало. "Ах, замечательно! Ну конечно, куда этим перечницам Юдину и Константинову?! Из них же песок сыпется. А ты, Алешка, наша молодая надежда..." И знаешь, что самое уморительное? Не я одна надрываюсь. Все вокруг. Вся кафедра от Алешки без ума. Даже Жорка Крапивников в журнале печатает. Но с Жорки станется. Ничего для него святого. По-моему, за спиной над Алешкой хохочет. А у того юмора на старую копейку.

- Этого еще не хватало! - вздрогнула Марьяна, потому что в приглушенном и уже привычном жужжании ресторанного зала вдруг раздался барабанный грохот, на затемненной прежде эстраде зажегся свет, и пианист со взбитым коком отчаянно залабал мелодию "Я иду не по нашей земле", которую через минуту, поднеся ко рту микрофон, стала рассусоливать низким и надтреснутым голосом пожилая женщина в длинном переламывающемся на полу платье. - Не поговоришь. Поехали к тебе или плясать хочешь? - спросила Марьяна.

- Что ты? У меня нога, кажется, распухла. Да, точно распухать начинает, - усмехнулась переводчица, высовывая из-под стола ногу, которую юбка прикрывала почти по щиколотку.

И тут же с шамкающим: "Разрешите пригласить!" - склонился над переводчицей невысокий лысый субъект с усталым морщинистым пьяным лицом.

- Брысь! - злобно зашипела Марьяна.

- Простите, я не вас... - оторопело отодвинулся любитель танцев.

Это был Гришка Новосельнов. Он уже третий час сидел в углу зала в компании абрикосочника Игната Трофимовича и еще одного деятеля, в данном случае квартирного маклера. Они нарочно выбрали неприметный ресторан, потому что Игнат не уважал такие глупости. Да и в хороший Игнату в бурках войти было неудобно, а в ботинках у него ноги после лагеря мерзли.

Деловая часть встречи была закончена. Все вспрыснуто и обговорено, и теперь Гришка был как на крыльях и ерзал в кресле. Хотелось чем-нибудь необычным отметить демобилизацию и будущую квартирную удачу. Из двух сидевших неподалеку женщин ему куда больше нравилась пухлогубая Марьяна, но даже в большой пьяни Гришка оставался реалистом. Поэтому при первых звуках танго он, рассчитывая на верняк, подскочил не к красавице, а к ее подслеповатой подруге. И вот теперь обиженно терся у стола. Отчаливать было обидно.

- У меня нога подвернулась, - неуверенно пискнула переводчица. Ей было неловко так вот ни за что, ни про что оскорбить пусть пьяного, но ничем не провинившегося перед ней человека.

- Иди, иди, пока трамваи ходят, - пустила в Гришку дымком Марьяна. - Я сказала - иди! - повторила зло и резко.

- Что, нервная?

- Иди, в другой раз не отпущу, - брызнула в него брезгливым смехом. А, хёзнул? Вижу, что привлекался.

- Че-го?! - пьяно раззявил рот Новосельнов. Он вовсе не пугался Марьяны, ему было любопытно. - Слушай, не строй из себя лягашку, - сказал уверенный, что эта красивая фря - неудавшаяся актерка.

- Интересно. А ну, садись, - Марьяна отодвинула справа от себя стул. Садись, садись. Гришка сел без особого удовольствия.

- Ну, так вот, слушай. Если две симпатичные бабы пришли в такой зачуханный ресторан, значит у них дело. Так же, как у тебя и тех мордатых, - она кивнула в сторону Гришкиного столика. - А ты головой не верти, а слушай, что скажу. Пока не сидишь, гуляй тихо. А с теми, - она опять кивнула в сторону абрикосочника и маклера, - лучше вовсе не гуляй. Угробят и передачи не принесут.

- Ты что, гадать подрядилась? - неуверенно хихикнул Новосельнов.

- Отгадывать.

Ей стало вдруг жаль лысого незадачливого мужика и одновременно скучно, и она поняла всю бессмысленность пустой

перебранки.

- Идите, мужчина, - сказала безразлично и устало. - Желаю не скоро загреметь.

Гришка тяжело поднялся и, стирая с круглого голого лица глупую ухмылку, побрел к своему столику.

- Зачем ты? - спросила Клара Викторовна.

- Нервы, - отмахнулась Марьяна. Снова ударили тарелки и залабал пианист.

- За день на таких насмотришься. Уйду в аспирантуру. Пусть шестьсот восемьдесят. Буду какой-нибудь древней мурой заниматься. Римскими сервитутами. Какая разница? Я всегда любила учиться. Вчера эта девчонка была у нас, - не жнет, не сеет, никому сроков не паяет. Сидит себе английского классика почитывает. А всякую идейность - для нее мой влюбленный антропос сочиняет. Ему - не привыкать. Он эту муру целый день студиозам мурлычет, а вечером еще для журналов перекатывает. Ох, устала я, Кларка... Жуть.

- Ты? - удивилась Шустова.

- Я. Я самая. Вертись, крутись, поворачивайся. Вечно начеку. Думала, за Лешку выскочу, отдохну. Наоборот вышло. Чуть что - выдумывай новенькое. Сочиняй, как Шехерезада, - нехорошо усмехнулась она, вспомнив, как вчера в передней прилипала к мужу.

- Устала. Хочется, знаешь, чтоб кто-нибудь поберег тебя. Поухаживал. Не так... - она кивнула на сидевшего с мужиками Гришку, - а знаешь, чтобы одеялом накрыл, чай с печеньем в кровать принес. Ох, сильной быть надоело.

- А Леша?

- Что Леша? Леша - павлин. Леше зеркало подавай. Во всю стену, на всю жизнь. Чтобы я вечно рот раскрывала от удивления: какой гениальный! Он: "а вот послушай, что этот пишет", а ты пожимай плечами и кривляйся: "фи, бездарь!" И главное, начеку, все время начеку. Вчера аспирантку отшила. Отшила, а самой жалко девку. Ну чего, глупышка, лезешь к такому оболтусу. Даже хотелось сказать: "Да бери его себе на здоровье. Радость великая!" Господи, нет больше мужчин на свете.

- А Костя? - не вытерпела переводчица.

- Не знаю. Я его в полку не видела. Может, там он и настоящий, а со мной - слюнтяй. Да нет... Я не про то. Это - все умеют. Тут ума большого не надо.

- Надо, - твердо сказала переводчица.

- Может, ты много об этом думаешь и потому. А может, щитовидка... Ты когда в больницу?..

- Если решусь, на той неделе или через одну...

- Я к тебе ездить буду, - сказала Марьяна, почувствовав, что разговор идет только о ней, а Кларка тоже человек и, возможно, ей еще хуже в ее одиночестве.

- Не надо. Тебе ведь некогда, - отмахнулась Клара Викторовна.

- Нет, буду. Ты не думай, что я злая. Я просто закрученная. Дома чёрт-те что, на работе - и говорить не стоит. Кругом - хамье. Подследственные - те про себя, а сослуживцы - в открытую хамы. И вот только и делаешь, что перехамствуешь их. Раньше, до Лешки, приставали сплошь. Ну, и не всегда выдерживала... А знаешь, в кабинете... тьфу, вспоминать противно. Теперь - вроде замужняя и должность большая, но все равно редкий мимо тихо пройдет...

- Так что, ты потому на армию переключилась?

Все-таки переводчицу больше интересовали отношения подруги и Ращупкина. Ведь подумать только - это происходило в ее комнате!

- Кто про что, а ты все про это, - усмехнулась Марьяна. - Да ничего особенного. Обыкновенный пересып днем. Что ни говори, а все-таки приятно, если по тебе страдают. Взбадривает. Свободней с мужем себя чувствуешь...

- Хороший левак..?

- Ну, не так прямо... А в общем в святые мы не годимся. И ты, Клерхен, тоже...

- Я на чужое не замахиваюсь, - обиделась переводчица.

- Ну, ну... Сочтемся. Всем хочется казаться лучше. Только не удается.

12

Курчев пришел в себя лишь в воскресенье утром. Три дня температура, несмотря на уколы пенициллина, падала слабо, и он стонал, попеременно то матерясь, то плача "мама!", хотя мать потерял еще до войны.

Голова болела, как после страшной пьянки, и, как после пьянки, комната не стояла на месте, кружилась, то вдруг суживалась и стены лезли к самым зрачкам, то наоборот куда-то уходили, вытягивались, и лейтенант снова бредил.

- Опять замамкал, - ругался Секачёв, но и он жалел больного.

Федька Павлов, как за маленьким, ходил за Борисом, менял ему на лбу мокрое полотенце, поил из большой оловянной солдатской ложки, но тот был настолько плох, что даже не благодарил товарища.

- Как бы не перекувырнулся, - задумчиво сказал на второй вечер Морев, сидя с Федькой и Ванькой Секачёвым за преферансом. - Без четвертого играть придется.

- Сука ты, - разозлился Федька и чуть не врезал Мореву по сонному красивому лицу.

- От ангины не бывает, - рассудительно заметил Секачёв. - Отлежится.

И Курчев отлеживался. В минуты просветления, когда температура ненадолго сползала, ему вдруг вспоминались кузен Алешка с разносом реферата, полный провал с аспирантурой, разговор с особистами и Ращупкиным, и тогда Борис сжимался под своим синим тонким одеялом и двумя шинелями своей и Федькиной - и чувствовал, что сейчас он защищен от всего мира только одной ангиной, и ему даже хотелось, чтоб температура никогда не падала. Девушка Инга вспоминалась редко, хотя он чувствовал, что она где-то рядом, засела в мозгу, но выходить не хочет, будто боится заразы. А ангина была страшной. Казалось, еще немного, нарывы кляпом заткнут горло и задохнешься. Надо было полоскать горло, но чуть Борис набирал в рот теплой соленой воды и закидывал голову, все вокруг начинало кружиться и он, слабея, валился на подушку.

Пищи, слава Богу, не принимал, а мочиться его выводили на крыльцо летчик или Федька, когда вокруг в поселке было пустовато и давали нюхать одеколону, потому что несколько раз Курчев терял сознание.

Так тянулось до воскресенья, когда днем температура вдруг слезла до тридцати шести и шести, захотелось жрать и разговаривать. Солнце обложило все окна, во всяком случае наледь на них блестела. Офицеры разъехались кто куда и в комнате никого, кроме Федьки, не было. Курчев поглядел на его худую птичью голову со взъерошенной шевелюрой и впервые за три дня улыбнулся:

- Борща охота.

Федька в незастегнутом кителе сидел за столом. Он оторвал голову от книги, поглядел на будильник (свои часы давно пропил) и, почесав затылок, вылез из-за стола.

- Волхов, - крикнул в коридор. - Пошли кого-нибудь в камбуз. Пусть лазаретному принесут.

- Ладно, - послышался голос Волхова и стук подкованных, грубых неофицерских сапог. По-видимому, парторг собирался идти запитываться.

- Доставят, - сказал Федька, возвращаясь. - Смотри, здорово как! Хоть наизусть учи! - снова склонился над книгой (он читал "Воскресение" Толстого) и с удовольствием продекламировал цитату об армейской службе.

- Что, раньше не знал? - охладил его восторг Курчев. - У нас в батарее все это переписывали.

- И они разрешают такое?!

- Толстого не запретишь.

- А ты не того... от температуры? - пошевелил пальцем у своего виска... - Живых запрещают, а мертвого - тьфу, пустяков пара... Да, да, знаю, - толкнул ладонью по воздуху, будто отбивал возражения Бориса. Срывание масок... Читал. Грамотный. Только б все равно не печатал. Где маски срывает, оставлял, а это, - он ткнул в прочитанную цитату, заклеивал.

- Тогда бы уж точно читали.

- Да ну тебя, - засмеялся Федька. - Запретить можно. "Швейка" ведь запрещают.

- Не запрещают, а просто не издавали давно. А старое издание не сохранилось.

- Да ну тебя, - засмеялся Федька. - Ну, как с рефератом? Братан одобрил?

- Уехал он, - помрачнел Борис.

- Я поглядел, - кивнул Федька на курчевскую тумбочку, куда тот в среду переложил из чемодана папку с третьим экземпляром. - Там конца нет, но в общем понятно, куда гнешь. Пишешь толково, а в целом не годится. И потом, для аспирантуры не подойдет. Отвлеченно слишком. Цитат мало. Больше цитат надо. А то одного Толстого пихаешь. Толстой - что? Писатель, - с напускным презрением скривился Федька, словно минуту назад декламировал не из "Воскресения". - У тебя же не про литературу. А про серьезное надо либо так писать, чтоб на стипендию зачислили, либо уж во всю дуть и не в тумбочку прятать. А у тебя - ни туда, ни сюда. И туману напустил. Фурштадтский солдат. Обозник. То в воздух пуляешь из-за него, то бумагу изводишь.

Курчев улыбнулся. Было приятно, что, оказывается, и в жизни поступает, как на бумаге. Он об этом как-то не думал.

- Да нет, смешного мало, - тоже почему-то улыбнулся Федька. - Ведь я не спорю. Соображалка у тебя работает, только не оттуда начинаешь. Ну, какой дурак начнет отсчет от бездельника и на бездельнике все общество построит?!

- Не о бездельнике речь.

- Слабосильный все одно, что бездельник. А кто взял палку, тот и начальник. Сам знаешь...

- И все-таки все валилось, когда слабосильный кончал вкалывать. Вон и их прошлый год из-за этого распустили, - махнул Борис рукой на окно, выходившее в сторону стройбата и бывшего лагеря.

- Это не потому.

- Нет, потому самому. Тебя еще не было - в прошлом ноябре, уже шкафы мои завезли, к монтажу подбирались, - и вдруг - бах! -

шкафы назад потащили, лак-муар покарябали и стенку погнули. Оказывается - нате вам! грунтовые воды вышли. Представляешь, температура в бункере должна быть постоянной. На пол градуса в сторону - и уже режим ламп другой. А тут тебе воды в грунте. Ну, пригнали солдат с пневматическими молотками. Дыр-дыр весь бетон исковыряли. Потом через антенный выход воду выкачали. И надолго ли? А все потому, что заключенные строили.

- Гражданские работают не лучше.

- Все ж таки... Нет, все на распоследнем слабо-сильнике держится. Из-за него рабский строй пал.

- И капитализм пришел?

- Нет, капитализм не из-за него. Капитализм из-за лихости и жадности не отсталых, а самых первых, самых ловких и сильных. А в моем фурштадтнике какая лихость или сила? И жадничать ему не от чего...

- Значит, капитализм начальство придумало?

- Подпольное начальство. А вообще точных границ между капитализмом и средними веками (или как там - феодальным строем), по-моему, не было. Все это в учебниках насочиняли. А в жизни, как всегда, винегрет сплошной.

- Это - согласен, - кивнул Федька. - Только не верю, что из-за последнего засранца все меняется. А то, что у нас лагеря разогнали - тут причина другая. Это политика. Кто-то кого-то подсидеть хочет.

- Так ведь всё - политика.

- Нет, тут счеты. Раз Берию съели, так и лагеря его туда же.

- Лагеря потрясли раньше.

- То уголовные. А теперь и политиков потихоньку отпускают. Это не из-за производства, хотя, согласен, зэки много не наработают. Только и на производстве груши околачивают...

Вошел посыльный с горкой оловянной посуды.

- Вам тоже, товарищ младший лейтенант, - обратился он к Федьке, ставя миски на стол. - Буфетчица в город уехала.

- Ладно, погуляй пока, - сказал Павлов. Ему не хотелось прерывать интересный разговор, но Курчев уже, приподнявшись, взял со стола миску с остывающим картофельным супом и стал жадно хлебать.

- Открытка вам, товарищ лейтенант, - вдруг вспомнил посыльный. Не хотелось на мороз, и еще он надеялся стрельнуть у офицеров хорошего курева.

Махорка осточертела, а на папиросы денег не хватало. Солдаты ждали марта, когда кончатся вычеты за заем и хоть на два месяца вздохнешь и подымишь по-человечески.

Он протянул Курчеву Ингину праздничную открытку с

женщиной в косынке и большой восьмеркой.

Борис опустил миску на пол, схватил открытку, прочел раз, второй, третий - и в минуту выучил наизусть.

- Хорошее? - спросил Федька, лениво ворочая ложкой.

- Да нет, так... - засмеялся Курчев и снова поглядел в открытку. Второе сам съешь, - кивнул посыльному. - Больше не хочу.

У него действительно пропал аппетит и он толкнул по полу миску с недоеденным супом. Посыльный, не заставляя себя просить дважды, присел на Гришкину пустую койку, достал из левого сапога наколотую инициалами ложку и стал быстро работать перловую кашу с мясом. Порция, наложенная поваром для офицеров, была побольше и мясо в ней попадалось чаще. Посыльный это сразу заметил и от солдатской обиды каша показалась ему жутко аппетитной.

- Папиросы есть? - спросил Курчев Федьку, отрываясь от праздничной открытки. - Дай ему.

Федька отодвинул свою миску с почти нетронутым супом, достал смятую пачку "Прибоя" и, щелкнув по ней, пустил по столу. Посыльный вытащил две папиросы, оставив последнюю, сломанную.

- Здравствуйте, товарищи! - раздался голос откуда-то с потолка. Курчев остался лежать. Федька поднялся в наброшенном на плечи кителе, а посыльный вскочил и замер с кашей в руке.

- Вольно, - брезгливо сказал Ращупкин. - Приятного аппетита.

- Пшел, - прошипел Федька. Посыльный поднял с пола курчевскую миску и, схватив свою с кашей, юркнул в дверь.

- Четвертый день не ест, - мотнул Федька головой в сторону Курчева. Так чтоб не пропадало...

- Ладно, - усмехнулся Ращупкин, садясь к печке. - Если б только это. А то у вас хлев, а в хлеву - свинство и панибратство. Сходят фурункулы?

- Не торопятся, - улыбнулся Федька и с миской каши вышел на кухню. При подполковнике ложка в рот не шла.

- Очухались, Курчев? - усмехнулся комполка.

Борис не ответил и только под шинелями пожал плечами. Он не знал, к чему относится вопрос - к ангине или стрельбе в небо.

- Везет вам, а то бы взводным походили, - снова неизвестно чему улыбнулся Ращупкин.

Курчев опять сжался под шинелями и открытка упала на пол. Он вытянул руку, пошарил по полу, нашел открытку и засунул под подушку.

- Выкрутились, - повторил Ращупкин. Он видел, что лейтенанту не по себе и что воровской жест с открыткой тоже

что-то означает. Ему жаль было офицера, но как часто уже случалось, слова не слушались подполковника и он говорил вовсе не то, что собирался, и обижал людей, с которыми хотел быть добрым и внимательным.

13

Сегодня, в воскресенье, подполковник особенно томился, потому что заняться было нечем. Почти весь личный состав под командой четырех офицеров и замполита Колпикова отпущен был в райцентр на просмотр кинофильма. Сидеть дома с женой было тошно. Главный инженер наверняка бабится со своей красавицей-супругой, да и без дела и без зову вваливаться в чужой дом неловко. Пить на другой день после субботней пьянки не хотелось. Да и пить было не с кем. Идти к докторше в отсутствие мужа тоже нехорошо.

Изводя себя самоанализом, подполковник с утра заперся в служебном кабинете, вытащил лист бумаги, разделил продольной чертой надвое и стал писать: справа - достоинства Марьяны, слева - недостатки.

Константин Романович не жалел ни себя, ни лихой прокурорши, старался быть сколько возможно циничным, но ничего толкового из этого не вышло. Только расстраивал себя. Голова разболелась.

Зазвонил телефон. Он ответил жене:

- Да, Маша. Занят. Погоди.

Но писать дальше не стал и сжег бумагу над пепельницей. Расплеваться с Марьяной было не просто, особенно в воскресенье. Но душа болела и хотелось с кем-нибудь поделиться, если не болью, то хоть общими соображениями по поводу несчастной любви и ее печальных последствий. Единственным годным для такого разговора человеческим существом в полку была врачиха, и Ращупкин, надеясь, что она у заболевшего техника, побрел к курчевскому домику, решив, что если врачихи у Курчева нет, все равно посидит у больного и потолкует о женщинах. Курчев знает эту гражданскую публику. Все-таки кончил институт и потом у него какие-то родственники в ученом и чиновном мире. То, что Курчев даже в некотором родстве с Марьяной, Ращупкин предположить не мог.

Сидя у слабо нагретой печки, он глядел на сжавшегося больного, хотел сказать: "Брось, парень. Мне самому хреново", но вместо этого спросил:

- Ну, как? Осознали, Курчев? Курчев по-прежнему молчал.

- Ладно, не мучайтесь. Лечат хоть вас хорошо? Ирина Леонидовна заходит?

- Да, - кивнул Борис. - Хорошая женщина.

- Очень, - обрадовался Ращупкин.

- Разрешите, товарищ подполковник, - влез в дверь Федька и, не ожидая ответа, прошел мимо Ращупкина, сел за стол и открыл своего Толстого.

- Что там у вас начеркано? - спросил комполка.

Он взял грязно-серый, похожий на учебник том огоньковского издания и стал читать вслух там, где стояли четыре чернильных восклицательных знака:

"Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над людьми, а с другой - рабскую покорность высшим себя начальникам".

Он прочел абзац четко, без всякого выражения, как штабной циркуляр, и отложив книгу, уставился на Федьку.

- Так. Понятно. И что вы хотите доказать?

- Ничего, - ответил Федька, снова беря книгу в руки.

- Это о царской армии, - твердо, словно исключал возможность всяческой насмешки, сказал Ращупкин.

- Так точно, товарищ подполковник, - кивнул Федька.

- А вы себе чёрт-те чего вбили в башку. Намеки, понимаете ли... И нечего библиотечную книгу портить. Солдаты могут прочесть.

- Это моя, - сказал Курчев.

- Что ж, и вы демонстрируете любовь к армии?

- К царской, - усмехнулся Борис. - Я купил у букиниста. Там и не такое подчеркнуто.

- Стереть надо было, - сам чувствуя, что мелет глупости, выдохнул Ращупкин.

- Сотрите, младший лейтенант, - в тон подполковнику сказал Борис.

- Слушаюсь, - отчеканил Федька и перевернул страницу.

- У вас не соскучишься, - усмехнулся Ращупкин.

- Стараемся, - сказал Борис.

Он уже отлежал все бока. Хотелось сесть, а в перспективе и выйти на двор, но при подполковнике было неловко, а тот неизвестно зачем сидел у печки: то ли учить собирался, то ли, как когда-то, до Дня Пехоты, хотел покалякать по душам.

- Беззаботно живете, - вздохнул подполковник. Интересно было, чем живут эти никудышные офицеры - один с чирьями на шее, другой с ангиной в горле и чёрте-те чем за пазухой.

О Павлове Ращупкин не слишком тревожился. Это тип

конченный, вот-вот сопьется, и самое простое - сплавить его куда-нибудь подальше. Но обидно, что вот живет на твоей территории сопляк, которому чхать на тебя. Пьет сам по себе, играет в карты сам по себе и умри завтра Константин Романович этот тип даже не почешется. Для него Ращупкин не батя, как принято называть командира части, никакой не пример и не указ. Вот сейчас уткнул морду в книгу, словно не он, Ращупкин, а Лев Толстой для него начальство. Правда, сегодня выходной. Но возьми даже не армию, а просто общежитие, студенческое хотя бы, и то, когда приходит в гости директор или декан, книгу откладывать надо. А этот младший лейтенант сидел и читал, и даже не демонстративно (если бы так, спесь сбить - дело нетрудное!), а словно подполковника в комнате не было. Ращупкин еле сдерживался, чтобы не накричать на нахала и не поднять по стойке "смирно". Но не затем сюда пришел. Сейчас он был не только подполковником: ему еще хотелось узнать, как писал все тот же язвительный старик Толстой, - чем люди живы? Даже вот такие, как этот с чирьями, из которого армия не сделала человека (и уж, верно, не сделает!) и в котором осталась та собачья "гражданка", которую как ни ругай, все равно выскочит в тебе самом, - то тоской по московской юристке, то еще чем-то вроде воспоминания о директорской двери, за которой шли чудные разговоры. И хотя в известный год юный Костя Ращупкин проник за ту дверь даже не гостем, а самым полномочным хозяином, тайна ушла из комнаты вместе с ее прежними обитателями, и разговоры на стенке не записались.

Вот так же будет с этими двумя. Курчев удерет из полка сам. А младшего лейтенанта - пусть только чирьи заживут - придется при помощи начальника отдела кадров подполковника Затирухина сплавить во ВНОС (войска наблюдения, обнаружения и связи) или куда-нибудь еще, как несоответствующего занимаемой должности.

И все равно Константин Романович чувствовал, что каким образом он ни избавится от этих офицеров, тайна их, их особая сущность, так отличающая их от остальных офицеров полка, уйдет вместе с ними, и подполковник Ращупкин так и останется с нерешенной загадкой. А все неясное, недоследованное угнетало и мучило.

Константин Романович не любил наказывать подчиненных, а тем более издеваться над ними. Ему важно было не подчинение нижестоящих, а лишь сама возможность их подчинения, которую он никогда бы в личных корыстных целях не использовал. Но точно так же, как он не любил унижать подчиненных, он не терпел в них независимости. Свобода - это пожалуйста! В рамках

устава ты свободен. Сорок минут личного времени у солдата - всегда его. Восемь часов сна - тоже. Обмундирование, питание - все должно быть, как положено. И офицер тоже свободен, когда не занят. Офицер осознанно и необходимо свободен. А эти двое еще чего-то лишнего желают себе ухватить, - и вот сейчас один прячет под подушку любовную открытку, а другой демонстративно уткнулся в роман беспартийного писателя.

Но и сам он, Ращупкин, при своем росте 192 сантиметра тоже не очень умещался в короткой формуле необходимости, а также на двух с половиной страничках (с 27-й по середку 29-й) Устава Внутренней Службы (глава 3-я "Обязанности должностных лиц", параграфы 64-66). Ему еще многого хотелось сверх; сверх Устава и сверх жены, сверх штатного расписания и сверх мечты об Академии генштаба. Он чувствовал, что в свои 32 года еще не заматерел, не обрюзг и, кроме ясных и необходимых материальных недостатков, ему еще нужно что-то непознаваемое, голубое, вроде стихов или философии, что-то не очень уважаемое, даже скорей презираемое в военных кругах. Но оно необходимо ему, Константину Романовичу, чтобы не чувствовать себя ниже штатских, особенно тех острословов, вроде Крапивникова, Бороздыки и мужа Марьяны Сеничкина.

Да, он хотел власти. Но не простой субординационной, какая принята в армии, а власти сложной, где подчинение, не только и не столько физическое, сколько духовное, основано на высшем сложнейшем интеллекте. Поэтому-то Ращупкину нравилось, глядя на портрет Сталина, о котором он еще год назад ничего не мог сказать сверх того, что говорили другие, отпустить в присутствии некоторых офицеров несколько неопределенных замечаний, свидетельствующих о независимости суждений, а также о том, что командиру столь особого и особенного полка есть еще много чего сказать, но покамест он воздерживается, и не из страха, а оттого, что другие офицеры не подготовлены и не поймут.

14

- Да, беззаботность... Слишком беззаботно живете, - повторил Константин Романович. - А женщина у вас, Павлов, есть?

Федька вздрогнул и злобно полоснул глазами Курчева: не протрепался ли тот про сестру. Но Курчев, поймав Федькин взгляд, сам ответил.

- Они ему остолбенели, товарищ подполковник.

- Так не бывает, - довольный, что разговор все-таки вышел на нужную линию, благодушно улыбнулся Ращупкин. - Женщины надоесть не могут.

- Как взяться! - вставил Курчев.

- Излишествовали, что ли? - снова уставился командир полка на Федьку, пытаясь оторвать от книги.

- По-всякому, - ответил Федька, толком не зная, как говорить с Ращупкиным, и одновременно не желая, чтобы за него отвечал Курчев.

- Ну и напрасно, - не удержался от поучений подполковник. - Женщина великая сила.

- В колхозе? - работая под наивного, переспросил Федька.

- И в армии тоже, - не давал себя сбить Ращупкин. - Женщина, даже если она не участвует в работе, по-вашему, по-бывшему химическому, Павлов, в реакции, то все равно ускоряет ее, как катализатор. Стимулирует, короче.

- Да, их только пусти, - присвистнул Федька.

- И ускорят и без чего-то оставят.

- Без часов, например? - подмигнул Ращупкин, который, конечно, слышал, что Федька обменял свою новую ручную "Победу" у краснофлотца-ларечника на шесть поллитров, то есть отдал за треть цены.

- Что часы? Часы - фигня, - даже не обиделся Федька. - Последней свободы жалко.

- Чего, чего? Свободы? А какая у вас, разрешите спросить, Павлов, свобода? И на кой чёрт она вам? Что вы с ней делать собираетесь?

- А ничего, - промычал Павлов. - Свобода как раз на то, чтобы ничего не делать.

- Оригинальный взгляд. Новое в философии. Что до марксизма, то тут им и не пахнет. Но, по-моему, Курчев, в этом и здравого смысла нет.

- Нет, почему же, - поднялся на локтях Борис.

- Свобода - это свобода, товарищ подполковник. Это, знаете, как девственность. Либо она есть, либо ее нету. А если есть, то можешь вполне свободно ничего не делать. Вот я как понимаю.

- Это анархизм какой-то и вообще чёрт знает что!.. - Ращупкин хотел разозлиться, но тут же осадил себя и ухватился за конец курчевской фразы. Лучше бы уж вместо своей копеечной философии девок портили...

- А мы жениться не любим, товарищ подполковник, - бодро усмехнулся Борис.

- Можно и не жениться. Вон Залетаев буфетчицу подцепил, а не женится.

- Ну, это еще смотря как выпутается... - зевнул Федька. - А потом - в Зинке портить нечего.

- Нехорошо говорите, Павлов, - помрачнел Ращупкин. - Не по-офицерски и вообще не по-мужски. Каша у вас в голове

порядочная. Посмотрим, что скажет старший по званию, - повернулся к Борису.

- А ничего, товарищ подполковник. Женитьба, сами знаете, шаг серьезный. А жениться сюда, в полк, вообще гроб с музыкой. Солдаты здешних женщин глазами обгладывают. Если меня не демобилизнете, холостым подохну.

- Холостым и взводным, - поправил Ращупкин.

- Ну и что! Переведу, то есть сублимирую половой потенциал в политико-моральный. Ать-два, левой, левой!..

- Не частить! - вставил Федька.

- Брось, - засмеялся Борис. - Да нет, товарищ подполковник... Армия не для семейной жизни. Может, вам с женой повезло, а другие офицерши, вижу, томятся. Та же Ирина Леонидовна...

- Ну, вы это... - погрозил Ращупкин, вроде бы защищая врачиху, а на самом деле соображая, с подковыркой или без сказал лейтенант про его, Ращупкина, везение с женой.

- Желторотые, - вздохнул, чувствуя, что говорит совсем не то. Если они желтороты, то какого дьявола с ними откровенничать? Нет, все так вышло оттого, что не поставил себе Константин Романович четкой и ясной задачи: чего, собственно, ему надо от этих двух нерадивых типов?! Лучше бы им выложил: так, мол, и так. Была у меня, ребята, женщина. Встречались с ней днем на одной квартире, выпивали и позволяли себе. А тут вдруг закобенилась и от ворот на сто восемьдесят.

Но не было на земле такого человека (кроме преподавательницы немецкого Клары Викторовны), которому можно было все это рассказать. Не было у Ращупкина такого друга. Кругом были только подчиненные, в Москве и в корпусе - начальники, а с соседними командирами полков он лишь соперничал и хоть не ссорился, но были они ему вовсе не близки и выкладывать им душу было бы, по меньшей мере, глупо. И, мучась от своего одиночества, сидел он у слабо нагретой печки и не знал, как ему держать себя с этими двумя липовыми лейтенантами.

- А почему на этой монтажнице не женитесь? Глядите, Курчев, прозеваете. Инженер свое ухажерство прочно поставил, на все четыре колеса, - улыбнулся комполка собственной шутке. - Девчонка красивая. Жалко, если отобьет.

- От судьбы не уйдешь, - отмахнулся Борис, вовсе не удивленный осведомленностью Ращупкина. В полку, как на футбольном поле, все видно. Командир полка не жаловал унылого инженера Забродина, а с тех пор, как тот купил "Победу", ращупкинская неприязнь еще усилилась. Личный транспорт, с одной стороны, как бы раскрепощал офицера, с другой, отвлекал

от служебных обязанностей и, с третьей, заражал других лейтенантов духом приобретательства. Уже около десятка офицеров, в том числе и сквалыга Волхов, смотались в Москву на Перов рынок, где по воскресеньям записывали в очередь на автомобили.

- Кто-нибудь еще есть? - спросил Ращупкин, вспомнив спрятанную под подушку открытку с размашистым женским почерком,

- Ага, - соврал Курчев.

- Значит, в Москве женитесь?

- Если отпустите...

- Да я вас дня лишнего не задержу. Только помните - никто вас сюда не звал. Сами напросились.

- Ошибка молодости, - вздохнул Курчев.

- Хорошо, если последняя... Значит, план у вас - в аспирантуру. На шестьсот рублей в месяц? Три года. Нет, не три, в три никто не укладывается. В тридцать лет станете кандидатом наук с окладом нашего техника-лейтенанта. Так?

- Похоже.

- Когда ж жениться?

- Параллельно.

- Невеста красивая? Карточки нет? - спросил Ращупкин, будто не командовал полком, а все еще был желторотым курсантом.

- Нету, - улыбнулся Курчев. - Я не люблю, когда засматривают.

- И сюда не привезете?

- Нет, - покачал головой лейтенант.

- Он Вальки боится. Она купоросом окатить может, - подал голос Федька.

- Бросьте, Павлов, - осадил Ращупкин, все еще надеясь на серьезный разговор. - Значит, в примаки пойдете?

- Там разберусь, - отмахнулся Борис.

"Скоро Журавль смоется", - думал он.

Но чего-то Ращупкину надо было, потому что сиднем сидел и не уходил. И Курчев с нетерпением ждал возвращения преферансистов, которые повезли солдат в районный центр на кинокартину.

Действительно, как только Секачёв с Моревым ввалились в комнату, Ращупкин поднялся, пожелал Курчеву быстрого выздоровления и, сгибаясь, вышел.

- Чего заходил? - напуская сердитую важность, спросил маленький Секачёв.

- А ер его знает, - отозвался Федька.

Курчев достал из-под подушки открытку, перечел ее дважды и

стал писать в тетради ответ. Но лежа писать было неудобно, выходило неразборчиво, да и что писать он толком не знал. "Еще ангиной заражу", - подумал и захлопнул тетрадь.

- Чего печку проморгал? - накинулся между тем на Павлова Морев. Затухла, мать ее и твою...

- На, разожги, - открыл Борис тумбочку и достал третий экземпляр "фурштадтского солдата". - Тьфу ты, - удивился, - тощий. Вы что, на пульку употребляли?

Не хватало многих листов.

- Давай, давай, не жмись, раз очухался, - усмехнулся Морев.

- Берешь, так на место клади! - напустился вдруг Борис на Павлова. Его разозлило, что в тумбочку лазили без спросу.

- Я назад положил, - обиделся Федька.

- Так ты, что ли? - покосился Борис на Морева.

- Дерьма не видел? Вон у меня "Звездочки" навалом. Да не расстраивайся. Кто-нибудь взял на двор сходить.

- Сволочи, - нехорошо усмехнулся Борис. - Чертите!..

15

На другой день после свидания с Сеничкиным Инга в библиотеку не пошла. Выпив знаменитого кофе, она вернулась к себе в комнату и открыла курчевскую машинку.

- Чья техника? - спросила дотошная Вава.

- Я уже отвечала тебе: технического лейтенанта, - стараясь не раздражаться, медленно выговорила Инга. Она печатала на машинке не больше пяти раз в жизни и дело у нее не слишком ладилось.

- Того, который про роль личности?..

- Именно, тетя, именно...

Престарелая родственница вздела очки и принялась штудировать это самое сочинение.

- Он не очень грамотен. Я насчитала три ошибки, - проворчала через четверть часа.

- Наверно, опечатки, - оторвалась от машинки Инга.

- Нет, именно ошибки, и не спорь. Я бы подобных личностей к аспирантуре не подпускала.

- Не волнуйся. Он туда не собирается.

- Как? - взметнулась тетка Вава. - Он похоронит себя в армии?

- Не знаю. Ему, кажется, всего двадцать шесть лет.

- Ах, ты хочешь сказать, что ему рано себя хоронить, что он не кандидат туда...

- Никуда, тетя, он не кандидат. Если тебе не очень трудно, разреши мне напечатать несколько страниц.

- Пожалуйста, пожалуйста... Я слова не вымолвлю... - обиделась Вава, но вряд ли бы замолчала, если бы за стенкой не

зазвучал третий концерт Рахманинова.

- За мои за грехи заповедны... - в такт фортепьяно замурлыкала она и снова уткнулась в реферат.

"Неужели и я старой девой, старой девой, старой девой... - подумала Инга, незаметно подчиняясь материнской игре. Стучать в такт на машинке не удавалось. - Неужели и я буду тоже потом вот такая, вот такая... Господи!" - стряхивая с себя музыку, Инга встала и, глотая слезы, выбежала в переднюю. Москвошвеевская выворотка, слегка укороченная и перешитая, висела на вешалке. Инга схватила ее, но тут вспомнив, что она в домашних туфлях и за меховыми ботинками надо возвращаться назад в комнату, тут же в коридоре расхлюпалась.

- Ты чего? - спросила толстая, еще не старая соседка. Она выходила из кухни, держа на отлете шипящую сковородку. - Пусть ее играет. Пошли ко мне.

- Опять то самое или переучилась? - вскинула на Ингу бровастое кукольное лицо и закрыла за собой дверь.

- Тренируется? - спросила соседка.

- Ей необходимо, - пожала плечами Инга.

- Знаю, слыхала. Я-то привыкла. Только хлеб это нелегкий. Не юная - на клавишах барабанить... Так с чего это у тебя, Ингушка?

- Сама не знаю. Нервы.

- Какие там нервы. Четвертака тебе нет, а нервы. Этот, в модном пальтишке, холостой?

- Женатый, - покраснела Инга, вспомнив, что соседка видела ее с доцентом возле парадного.

- Садись, картошку рубай, - сунула ей вилку Полина. - А то хочешь? - у меня сегодня отгул - по малой?.. - И, не дожидаясь Ингиного согласия, достала из буфета неполную бутылку московской и две тонконогих рюмки.

- То, что женатый, Бог с ним. Закусывай. Главное, из себя подходявый. А тот твой козел - прямо никуда не годился. На что я, скоро уже старуха, и то бы с ним не легла...

- Брось, - вздрогнула Инга. На соседку она не сердилась, но разговор был ей неприятен.

- А чего кидать? Ты его бросила, и верно. Не один еще у тебя мужик будет, хоть с виду и легковатая. Ничего, Бог даст, гладкой станешь. А что козла прогнала - молодец. Не спорь. Козел - он и есть козел. А что без бороды и лысый, так одна видимость и порода такая. А ты девка чистая и культурная из себя. У тебя мужиков пульмана будут. Детный этот, в пальтишке? Ну не тушуйся. Хочешь, ключ оставлю?

- Да, да! - повысила голос соседка, потому что в дверь постучали. Толкайте - не заперто.

- Доброе утро, Варвара Терентьевна! - под бравурные звуки фортепьяно весело приветствовала она Ингину тетку. - К нашему шалашу не желаете?

- Извините, - оставаясь в дверном проеме, буркнула тетка. - Тебя, Инга, к телефону.

- Скажи, ушла.

- Ну, как знаешь... Спивайся себе на здоровье.

- Да вы что?!. - подняла голос Полина, но Варвара Терентьевна уже закрыла дверь.

- Ох, и карга она у тебя, Ингушка!

- Есть слегка... Но зато добрая.

- Знаю. Если б злая - чего говорить? Со злой оборот короткий. Беда вся не от злых, а от добрых. Не отвяжешься...

- Пожалуй.

- Я тебе у сослуживицы устрою. А то у меня - они вам в дверь стучать будут.

- Да нет. Мне сейчас ни к чему...

- Холостуешь?

- Ага.

- А в пальтишечке?

- Да так... Ничего не было.

- Значит, порядочный. Самостоятельный. Так чего ж ревела? - зевнула, глядя на тоненькую, загрустившую аспирантку. - Хочешь в кино пойдем? Город какой-то...

- "Рим в одиннадцать часов". Наверно, хорошая картина. Пошла бы, да не могу. Зашиваюсь.

- Ты и так вон... Только, что розовая, а тоща, как в голодушку. На поправку надо. Каникулы зимние были, а ты в городе пропадала.

- У нас каникул нет. Это у студентов.

- Чудачка. Ты ж на службу не ходишь. Поехала себе в дом отдыха и сиди. Как получка - приедешь. Хочешь, устрою? У нас в завкоме сейчас путевок завались!

- Дорогие?

- Не дороже денег. Я тебе со скидкой проведу. На юг тебе или под Москву?

- Куда-нибудь поближе. Хоть на лыжах похожу... "И вправду, почему не уехать? - решила про себя. - Дома - не работа. В библиотеке - Бороздыка и Алеша. Нет, честное слово, самое время из Москвы сбежать."

- Хочешь в... ? - спросила Полина. - Там наш есть. И еще по Павелецкой есть один. И где-то еще есть. Автобусом ехать надо.

- Мне лучше, где поездом. По пятницам кафедра... - сказала Инга, загадав, а вдруг Полина достанет в .... где недалеко служит

лейтенант. Не так уж ей хотелось сейчас его видеть, но все-таки неплохо иметь про запас и технического лейтенанта, если окажется, что в доме отдыха смертная тоска.

16

Домашнего ареста оставалось еще четверо суток и лейтенант надеялся, что как-нибудь протянет их на койке, тихо и мирно дожидаясь высочайшего ответа из Кремля. Ему почему-то верилось, что юная женщина в башлыке принесет счастье. На розыгрыши государственных займов ставят невинных младенцев в пионерских галстучках и они вытаскивают номера из вертящихся барабанов. У них нет облигаций. Им совершенно безразлично, кто выиграет. Наверно, и аспирантке так. Что ей Курчев? Она просто сунула письмо в окошечко. Никакой заинтересованности.

Он лежал на койке и быстро глотал "Ярмарку тщеславия". Бекки Шарп была прелесть. Она обводила всех вокруг пальца и не больно смущалась, если ее тоже обжуливали. Конечно, она была прохвостка. Но - Бог мой! - энергии у нее было на троих!

Курчев читал целый воскресный вечер и все утро понедельника до прихода врачихи Ирины Леонидовны.

- Не беспокойтесь. Я уже вышел из пике.

- Дышите, - приложила врачиха холодный стетоскоп к его спине.

Деликатный Федька Павлов ушел в заднюю комнату. Больше никого в домике не было.

- Вам лежать надо, Борис Кузьмич. И чтобы завтра ни на какие танцы... Завтра было 23-е февраля.

- Что вы? Я и так, без ангины, еле ногами двигаю. Не беспокойтесь. Вылежу. А у вас без меня дел хватает. Праздник.

- Ненавижу праздники, - вздохнула Ирина Леонидовна.

- Потом хуже?.. - сбавив голос, спросил лейтенант.

- Угу.

- А отсюда нельзя..? - прочертил Курчев в воздухе пальцем, намекая на перевод в другой полк.

- Не нам.

Она сидела на стуле возле кровати - полная, черноволосая, большеглазая, - и Курчеву очень хотелось ее пожалеть и утешить, хотя бы за одно то, что она тут всем чужая, даже больше чужая, чем он.

- Да... Ваш супруг не карьерист. Другой бы, ловкач какой-нибудь...

- Не надо, - опустила ресницы врачиха.

- Я не хотел...

- Я все поняла. Спасибо, Борис Кузьмич. Вы только подольше

не поднимайтесь.

- Я же арестован. Счастливо.

Она поднялась, взяла брошенное на Гришкину пустую койку черное суконное пальто с седоватым лисьим воротником и накинула его поверх чистого, явно не казенного, обтягивающего ее полную фигуру халата.

- Простудитесь, - сказал Борис.

Она покачала головой, а он, приткнувшись к окну, смотрел, как она, опустив голову, спускается по улице. Не по моде короткое пальто накинуто на плечи и от этого видны длинные худые ноги.

- Страдает, - присвистнул Федька, вылезая из секачевской комнатенки.

Курчев не ответил. Он снова вспомнил, что кто-то рылся в его тумбочке, ворошил реферат, о котором двоюродный Алешка сказал, что он попахивает большим керосином.

17

По субботам Георгий Ильич Крапивников в журнале не бывал, и Инга, отпечатав на курчевской машинке короткую записку и приложив к первому экземпляру реферата забытый Бороздыкой импортный блокнот, смело отвезла все это хозяйство в редакцию. Сидевшая в пустом холле секретарша Серафима Львовна узнала Ингу и попыталась с ней разговориться. Просила присесть подождать. Сегодня как будто обещали верстку, и Георгий Ильич грозился быть с минуты на минуту. Инга еле отвязалась от этой назойливой, хотя и вежливой женщины, которой хотелось выведать у аспирантки, как та переживает разъезд с Крапивниковым.

В эту субботу снег сверкал по-праздничному. Впереди было ровно двадцать четыре дня лыж, покоя, ничегонеделанья, а если и ничегонеделанье вдруг надоест, можно захватить с собой толстых тетрадок в клетку и писать на них следующую главу (а эту - потом докорябаем!). Главное, будут сплошные - лес, снег, тишина, никаких Сеничкиных и Бороздык, никакой тетки Вавы, которая даже вчера не удержалась и после ухода соседки стала кряхтеть:

- Ну что у тебя общего с этой шантрапой? Хочешь стать такой же неразборчивой и пьющей?

- Она - народ, - отрезала Инга. - Она народ, а мы, по-моему, вышли из народа или во всяком случае из народников...

- Пить с утра? - не унялась тетка.

Инга, не ответив, пошла в материнскую комнату и объявила, обрывая сонату, что едет в дом отдыха. Мать подняла руки, сначала не поняла. Пальцы у нее дрожали и она положила их на пюпитр.

- Да, да... Конечно, конечно, девочка! Как же мы не додумались?! Ты вся извелась.

- Это я виновата, - повторила Татьяна Федоровна через минуту, захлопывая крышку инструмента и на бегу одеваясь. По рассеянности она хотела бежать в магазин за продуктами, забывая, что Инга командируется не в несытую провинцию, а в подмосковный дом отдыха с трех- или даже четырехразовой кормежкой.

В воскресенье утром, выйдя из электрички в районном городке, Инга прошла с нетяжелым чемоданом и лыжами два километра вдоль шоссе. Снег неподвижно лежал на елях, словно его приклеили к лапам и веткам. Ветра не было. Машины по воскресной магистрали пролетали редко, да и сам дом отдыха стоял в глубине, в трехстах метрах от шоссе. Лес начинался от самой калитки и конца ему не было. Дежурная сказала, что в одну сторону он тянется до Казани, а в другую - до Архангельска.

"Красота какая! И он еще жалуется",- подумала Инга о техническом лейтенанте, который где-то здесь служил, не ценя ни снега, ни леса, и изо всех сил рвался в Москву.

Первую неделю она только и делала, что ходила на лыжах да спала по два раза в день. В комнате их было трое - восемнадцатилетняя миловидная девчонка с кирпичного завода и еще одна женщина - не то техник, не то инженер, очень костлявая, сухая - с невыразительным лицом и редкими волосами. Возраст ее Инга определить не могла. Девчонка водилась с обитательницами других комнат и по вечерам пропадала на танцах. Худощавая же либо читала, либо спала - и Инга была довольна своими соседками.

"Хорошо бы так жить всегда, вечно, - твердила себе. - Никто тебе не нужен и ты - никому. Спать, есть и с горок спускаться."

Горки были небольшие и не крутые. Зато лес был абсолютно безлюден - не то что в Сокольниках или в Измайлове. Но заблудиться было трудно, потому что рядом гудела шоссейная магистраль. В лесу уже появились знакомые деревья, разлапистые кусты, запомнившиеся перелески, изученные спуски. Все это было приятно встречать по утрам и видеть во сне.

- Деревья, деревья, деревья, - напевала Инга, идя легким шагом, словно на ногах не было лыж, а в руках палок. - Деревья, деревья, дубы... пробовала она что-то сочинять, но стихов не получалось. Деревья в основном были хвойные. Только по краям неглубоких оврагов взапуски носились озябшие березки, а потом опять шли ели да ели, вперемежку с красноватыми чопорными (словно незамужними - так казалось Инге...) соснами. Лес был нескончаем и покой тоже. Одно только пугало: вдруг в марте все

растает, начнется тоска, слякоть, захочется в Москву, а в Москве - ничего хорошего.

Но в марте не стало теплее. Все тот же был снег. Даже нового немного подсыпало и этот новый начал прилипать к лыжам. Нужно было пойти к молодым людям на второй этаж просить лыжной мази другого номера, но не очень хотелось с ними знакомиться. Инга три дня провалялась в комнате, пытаясь начать вторую главу. Так прошло полсрока, и в доме отдыха все уже было не в новинку: и сидевшие в холле вокруг круглых столов прокуренные преферансисты, и унылый культурник, пожиратель сердец, высокий и ладный парень с коком, который днем, свободный от умственной работы, чинил замки, пробки и вставлял разбитые стекла. Впрочем, к Инге он даже не прицеливался, понимая, что она ему не ко двору и хлопот с ней не оберешься, а насчет удовольствия, это еще как сказать...

Мужчин в доме отдыха было немного и в основном пожилые или средних лет. Они больше резались в "козла" или в карты, а вечерами появлялись в зале изрядно подвыпив, и девчонки танцевали чаще друг с другом, а иногда, разойдясь, тоже распив бутылку, пели:

Мой миленок меня бросил,
Я сказала только: - Да!
У меня таких хороших
До Берлина два ряда.

Или:

Раньше мы ходили в лес,
Не боялися волков.
Раньше был товарищ Сталин,
А теперь стал Маленков.

Вечерами Инга уходила в районный городок и на почте подолгу разговаривала с Москвой. Письмо ей пришло только одно.

- На штемпеле твой городок. Я решила - от тебя и чуть не вскрыла, сказала Татьяна Федоровна.

И дважды вызывала междугородняя из Ленинграда.

- Ты отдыхай, девочка, - успокаивала мать. - В городе грипп. В прошлую пятницу кафедры у вас не было и на этой неделе не будет.

В марте в доме отдыха дни тянулись медленнее и уже становилось тоскливо. Лыжные ботинки начали натирать ногу. На одном отлипла стелька, на другом неожиданно выскочил гвоздь. Лыжи из удовольствия превратились в мероприятие.

Худощавая сухая соседка уехала, и в комнату вселились подруги девахи с кирпичного, побойчей ее и постарше. В комнате

стало шумно, попахивало водкой и мужчинами. Сначала соседки стеснялись и приводили парней утром, когда Инга уходила в лес, а потом осмелели и стали просить Ингу выйти погулять на полчасика. Она выходила с тетрадкой в холл, где ей мешали преферансисты. Один, даже не очень пожилой, с лицом старшего бухгалтера, пытался обучить ее игре, но она никак не могла понять, что это значит шесть бубен или семь пик, когда на руках четыре бубны или три пики.

18

Курчев проболел больше недели, прихватив сверх ареста два дня, да три дня отпуска, по совету замполитовой жены, ему подкинул Ращупкин. Так что в "овощехранилище" лейтенант появился лишь в первый вторник марта. Тут по-прежнему шумели моторы и шушукались монтажницы и по-прежнему скучен и ленив был секретчик на выдаче. Только инженер Забродин несколько повеселел и постоянно крутился вокруг Вальки, не обращая внимания на насмешки техников. Валька краснела и с печальной нерешительностью улыбалась Борису. Видно, о чем-то хотела поговорить, но все мешкала. Но Курчеву уже было не до нее. Пришло письмо от мачехи и еще одно в фирменном конверте.

"Боря, - писала путейская инженерша, - все наладилось очень хорошо. Мы уже почти перевезлись. Михал Михалыч достал хороший предмет - мебель: буфет и шкаф, вместе собранные. Пол отциклевали. Скоро справим новоселье и вас позовем. (Неизвестно почему она вдруг стала называть его на "вы". Может, это была ее манера писать письма, а может быть, она вдруг прониклась к пасынку особым уважением, как к будущему квартировладельцу.)

Боря, вам придется приехать хоть на пару деньков, чтобы оформить площадь и жировку переписать. Я вам тогда телеграмму пошлю. Попросите командиров, чтобы отпустили, а то всякое случается. Очень серьезно, Боря, попросите.

Мы вам оставляем шкаф, стол на кухне и другой в комнате и кровать с матрасом. Извините, что старое. С этим и жили. Только теперь новое покупать начали. Еще остались обои. Вы обклейте, если понравятся. Мой совет: кровать выбросьте, а к матрасу (он еще годный: три года, как перетягивали) привинтите ножки. Михал Михалыч нарезал и шурупы к ним готовые. Счастливо вам, Боря, в новой жизни. Обязательно прошу: отпроситесь у начальников. А то людей завидущих много, особенно на нашу халабуду. Ходит слух (не знаю, врут или нет), года через два-три ломать ее будут. По Первой Мещанской уже ломают - магистраль ведут на Выставку. А взамен дают хорошие дома. Так что не

пропустите, Боря.

Привет вам от Михал Михалыча и Славки.

До свидания, ваша Елизавета Никаноровна."

Во втором письме было:

"Дорогой Борис Кузьмич!

Инга передала мне Вашу работу. Хотелось бы переговорить. В журнале я каждый день после часу, кроме субботы. В субботу или воскресенье звоните домой.

Зовут меня Крапивников Георгий Ильич. Рад буду покалякать. До скорого."

Письмо было напечатано на машинке. От руки были только подпись и номер домашнего телефона. Служебный значился на бланке.

"То в год ни одного не прибудет, а то в неделю три и все важные", подумал лейтенант, не почувствовав при этом никакой радости. Наоборот, стало еще тоскливей и горше от армейской безнадеги, от того, что сам себе не принадлежишь и даже не можешь съездить в Москву, поговорить с нужным человеком.

"Хоть вешайся на верхнем реле", - подумал, глядя на свой огромный, покрытый муаром шкаф, в котором Сонька и еще одна девчонка маркировали провода.

- Лейтенанта Курчева в штаб, - раздался у них за спиной ломкий крик телефониста. В отсутствие начальства все себе позволяли.

- Закукарекал, - засмеялась Сонька, высовываясь из шкафа.

- А, один чёрт! - отмахнулся Борис. - Хоть здесь не томиться. Сдашь, кивнул на папки с развернутыми схемами.

- Доигрался, Курчев, - сказал ему минут через двадцать начштаба Сазонов. - В Москву тебя вызывают. Завтра в 10.00.

- В ... ? - назвал Курчев московскую окраину.

- Ага. Ты писал туда?

- Вроде нет, - неопределенно хмыкнул Борис. Он писал выше - в Совет Министров.

- Не темни. Кому писал?

- Корпусному.

- Это я в курсе. А еще?

- А еще кому? Сталину не напишешь, - попытался увести разговор Борис.

- Сталину - да. Сталин бы тебя к ногтю прижал. При нем порядок был.

- Это точно. Прошлый год порядку навалом было. У нас перед самой его смертью один технарь из военной приемки перебрал, сцепился с кем-то на шоссе, а тут, как по заказу, маршал Василевский на своем лимузине. Ну и сразу пятнадцать суток

влепил. Теперь технарь так и гуляет с подарком от бывшего министра. Снять ведь не могут.

- Пусть рапорт подает. Теперь запросто снимут. Дисциплина не та. Разгильдяй на разгильдяе сидит. Дерьмо, вроде тебя и этого, Павлова твоего, держат, а хороших людей списывают.

- Вот я и говорю. Разрешите идти?

В "овощехранилище" Курчев не вернулся. Времени было возле двенадцати и он решил двигать в Москву, не заходя домой. Как раз крытая полуторка, свернув у штаба, подъехала к КПП. Курчев полез в кабину.

- Скажешь лейтенантам: в Москву уехал, - кивнул Черенкову, открывавшему ворота.

- Ясно, - ощерился дневальный.

Машина шла в ближний поселок за школьниками и завезла Курчева на станцию. Поездом ему было удобней, потому что от Комсомольской площади до Ингиного переулка рукой подать.

19

- Она в доме отдыха, - ответил старушечий голос. - А вы не военный? Я сразу догадалась. Вам машинка нужна?

- Нет, что вы?

- Инга вернется в марте.

Из той же будки Курчев позвонил в журнал Крапивникову. Ответили:

- На редколлегии. Звоните завтра.

- Кругом шешнадцать! - вздохнул лейтенант. Деваться было некуда. То есть, кругом была Москва с миллионом соблазнов, начиная от кино или чуть позже - театра и кончая Ленинкой, рестораном или просто "культзаходом" к кому-нибудь из знакомых, хотя бы к переводчице Шустовой. Но Борис зарядил себя на встречу с аспиранткой и ничто другое не приходило в голову.

Он лениво прошел вдоль вокзала. У газетного киоска какой-то тощеватый ханурик с усиками читал толстый журнал в серо-голубой обложке, а старик-киоскер ворчал на него, дескать, не читальня. Вокруг шумела вокзальная Москва, лязгали трамваи, фырчали такси и автобусы, а тут один хмырь читал, а другой на него злился - и смотреть на эту комедь раздосадованному лейтенанту было чудно и почему-то приятно. Так и разило штатской юностью с сидением в библиотеках.

Через плечо тощего очкарика лейтенант заглянул в журнал и увидел, что ханурик глотает стихи. Стихи не больно интересовали, но ханурик, которого Курчев по неосторожности толкнул, с презрением взглянул на лейтенанта и тут же уткнулся в журнал.

В полку Борис ходил за штатского, но в городе почему-то вдруг становился оскорбленным армейцем. Словно внутри вырастала какая-то лишняя военная косточка.

- Папаша, дайте и мне, - кивнул Курчев на книжку журнала. Он заметил, что на прилавке больше грязно-голубых обложек не было.

- Отдайте, гражданин, - с удовольствием сказал киоскер. - В читальне досмотрите.

- Пусть читает, - с показной ленцой отмахнулся Курчев.

Очкарик в сомнении оторвался от журнала, беспомощно и беззащитно поглядел на офицера, но интерес к стихам пересилил, и он снова уткнулся в страницу.

- Возьмите себе, - брезгливо бросил Курчев и покраснел. Реплика попахивала пошлостью.

- Спасибо, я домой получаю, - дернулся, как от пощечины, очкарик и возвратил журнал.

Курчев скатал его в трубку и засунул в карман шинели, но тот наполовину высовывался.

"Чёрт, сумки не взял. В урну, что ли, кинуть? Пижон проклятый", ругнул себя. - Позвонить опять старушенции? Сказать, что передумал машинка нужна? Заодно и узнаю дом отдыха. Может, съезжу сегодня. Съездишь, как же, - передразнил самого себя, снова закрываясь в автоматной будке. Она с Лешкой в Питер умоталась. А дом отдыха - предлог для домашних".

Он набрал телефон Сеничкиных.

- Да, - отозвался голос министра. - Ты, Борис? Далеко? Дуй сюда. Пообедаем вместе.

- Сейчас буду, - обрадовался Курчев, словно ему было двенадцать лет и дядька приехал к ним в Серпухов. Он бросился к стоянке такси и в четверть часа добрался до Кудринки.

- Давай поухаживаю, - сказал министр, стаскивая с племянника шинель. Что, тоже купил?

- Чего? - не понял Борис. Он улыбался, глядя на родича. Тот высился в коридоре - огромный, без пиджака, в жилете, похожий на цивилизованного купчину или американского заматеревшего боксера, оставившего ринг. За ворот свежей, видимо, только утром надетой рубахи была заправлена жестко накрахмаленная салфетка.

- Прасковья Прокофьевна, еще прибор, - пробасил дядька в сторону кухни. - Тетя Оля на совещании, так мы с тобой по-холостяцки, - подмигнул племяннику и достал из буфета начатую бутылку армянского коньяка.

Гостиная вся светилась, будто солнце било в нее не из окна, а со всех четырех стен. Шелковая спина дядькиного жилета

сверкала, как выпуклое зеркало.

Горбатенькая домработница внесла тарелку с супом.

- Ни-ни, не уносите, - запротестовал министр, когда она хотела переложить на диван "Огонек", раскрытый на портрете Сталина, и третий номер "Нового мира" в картонной обложке, который (это помнил Курчев) стоил на два рубля дороже.

- Вон гляди. Видел? - взял "Огонек". - Старик ничего, а?

- Неизвестный снимок, - сказал племянник. На Сталине не было погон, хотя фотография была явно последних лет.

- Неизвестный? Сказал тоже... Самый что ни на есть известный. Такой и был. А все остальные - намалеваны, ретуши на них больше, чем снимка.

- Часто видели?

- Часто не часто, но доводилось. Год назад что было?! А теперь - всего один портрет.

- Так сегодня только третье.

Курчеву хотелось есть. Суп стыл на тарелке, а дядька, воодушевленный снимком, коньяку еще не разливал.

- И пятого тоже не будет. Вот снимок, стихи - и все. Теперь постановление - одни рождения отмечать.

- Да, я слышал.

- А чего слышать? В газетах было. Стихи прочел?

- Какие?

- Журнал купил, а стихи не читал. Спереди они. Сейчас зачту тебе. Вот выпьем только.

- Ни-ни, в память не чокаются, - отстранил Василий Митрофанович рюмку.

- Так ведь третье еще, - повторил племянник.

- Все равно. По такому человеку можно и неделю отмечать. Вот послушай. Или голодный? Так ты ешь, а я тебе главное. Где оно? Я вроде подчеркивал.

Министр пошарил на столе очки. Не нашел, крикнул домработницу. Она принесла, но не те. Тогда решив, что шрифт достаточно крупный, министр, вытянув журнал в увесистой левой ручище, стал громко, но запинаясь, как в первом классе приходского училища, читать:

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть сорок лет и больше будь.

- Понимаешь, Борька, а?! - прервал чтение. - Да нет. Тебе не понять. Ты сирота, - запустил он свободную руку в негустую шевелюру племянника.

- Вот это - стихи! Не то что у контрика... Как его фамилия,

забыл...

- Гумилев?

- Да. По кронштадтскому мятежу припух. Вот нашел:

И тем верней, неотвратимей
Ты в новый возраст входишь вдруг,
Что был он чтимый и любимый
Отец - наставник твой и друг...
Так мы на мартовской неделе,
Когда беда постигла нас,
Мы все как будто постарели
В жестокий этот день и час.

- Здорово, правда?

- Угу, - кивнул Курчев, наклоняя тарелку от себя, как учила переводчица.

- Там еще хорошее есть. Давайте второе, Прасковья Прокофьевна. Еще по одной примем, а?

Горбатенькая внесла шипящую, сверкающую, как чайник, сковородку. Министру жаркого наложила с верхом, а лейтенанту деликатно, чуть прикрыв донышко тарелки.

- Чего жидитесь? - сдвинул брови Василий Митрофанович. - Солдата накормить не можете?

- Алексей Васильевич и Марьяна Сергеевна не кушали...

- Кладите все. Еще чего-нибудь сочините. Подумаешь, пища. Голод на Волге, да?

- Мне больше не надо, - отодвинул тарелку Курчев. Он обрадовался, что Лешка в Москве и дом отдыха действительно оказался домом отдыха.

- Ничего, не красней, - снова погладил его министр. - Весь уют нам попортила, Прокофьевна.

- А мне чего? Я, как велено, - ухмыльнулась горбатенькая и вывалила лейтенанту в тарелку все, что осталось на сковородке.

- А, мать ее бляху кривую, - пустил ей вслед министр. - Сбила меня. Придется добить бутылку. Как полагаешь?

- Я всегда... - усмехнулся Курчев. - А Ольга Витальевна?

- Ну, ты это брось, - подмигнул Василий Митрофанович. - Это бабка твоя все пела, что я под каблуком, царствие ей небесное. А я просто уважаю тетю Олю. Уважаю и люблю. И обижать ее не к чему. Люблю и уважаю, - повторил с вызовом. - А ты - нет. И тебя, Борис, все равно люблю. Ты мне родная кровь. Ты один да Надька. А Надька начала... Догадываешься?

- Нет, - солгал Борис. Он понял, что дядька не пьян, а только хочет напиться и выпросить жалости.

- Да-да, племяш. Начала. Оленька ее накрыла. Ну, что будешь делать? Позор на седины мои, - провел ладонью по вполне

плешивой голове. - Как помер отец родной, все сикось-накось пошло.

- Так это ж не связано... - сказал племянник. Он доел жаркое и теперь попивал компот.

- Не связано? Как же... Всё в заёме, то есть... сбился... взаиме... Алешка из института придет, объяснит тебе по-своему. А я тебе по-нашему, по-старому так скажу: пришла беда, отворяй ворота. Может, коллективом в чем и справимся, но того уже не будет.

Министр вылез из-за стола и пересел на диван, указывая племяннику место рядом.

В коридоре раздался звонок, потом в комнату снова вошла горбатенькая и сказала, что вернулся шофер.

- Пусть ждет, - отмахнулся Василий Митрофанович. - А, все равно! - он посмотрел на красивые импортные часы на широком белого металла браслете. Скажите, пусть едет один. У меня что-то с давлением.

- Я здесь, - ответил из коридора высокий голос.

- А? Ну хорошо. Скажи Крючкину, Вадим Михалыч, что с давлением у Сеничкина не порядок. А завтра подавай, как всегда.

- Ясно.

- Нехорошо вам? - спросил племянник.

- Да нет. Это так... Чего там... Мы теперь ночами не работаем. Забота об людях, - усмехнулся, видимо, кого-то передразнивая.

- Так ведь лучше, - не удержался племянник.

- Кому лучше, а делу - вред. Вон я тебя давно не видел, - он обнял Бориса, - и на дело плюнул. Пусть до завтра ждет. И другой так, и третий... Нет никого над нами. До шести вечера сидим - и шабаш. Иди домой в ящик глядеть, - кивнул на покрытый черной бархатной накидкой большой телевизионный приемник. - Нет никого. Как шесть часов, так наверху пусто. Чувствуешь? Как все равно, если б Господь на небе был и в четверть седьмого пошабашил, и айда до утра - вселенная без хозяина.

- Подходяще, - усмехнулся Курчев. Ему хотелось спросить, сам дядька придумал сравнение или где-то услышал.

- Если б год, вернее, полтора назад работали б только до вечера, ты б меня и живого сейчас не видел. А дознались бы, что родичи, тебе б лейтенанта не приклеили.

- Так тухло было?

- Ага. Сталин меня спас. В четверть третьего утра...

- Надо же, - выдохнул Борис, боясь спугнуть разговорившегося родича.

- Спас, - повторил тот. - Синоптики, бляхи, подвели. В позапрошлом году, помнишь, авиационный парад переносили.

Это из-за меня.

- Надо же.

- Натерпелся я тогда. Назначили праздник. Меня, само собой, не спросили. Я своим говорю, чтоб погода была. А они, черти, отвечают: не будет погоды, Василий Митрофанович. Не будет и все. Ну, что делать?! Я вашему теперешнему министру: "Не будет погоды, товарищ Заместитель Председателя". А он матом: "Я тебя так и переэтак, Сеничкин. Цыц и смолкни". А в самый парад дождь полил. И давай отбой. Я, Борис, застрелиться думал. Честное слово. А тут еще ваш козел бородатый, маршал обозный, по вертушке мне наяривает: "Я тебя, Сеничкин, в дым пущу. Я тебя, я перетебя..." Отвечаю: "Слушаюсь. Будет сделано, товарищ Заместитель Председателя". А что его предупреждал, мол, чистого неба не будет, про то не заикаюсь. Дальше - хуже. Маленков звонит. Голос, как стук в дверь, когда ночью приходят. "Мы вам доверили, товарищ Сеничкин, ответственное дело, а вы подвели партию и народ". Без мата, но лучше бы четырехэтажным крыл. "Как с вами поступить, товарищ Сеничкин? Можно ли доверять вашей партийной совести?"

- Ну, что скажешь? Сижу в своем кабинете, как в Бутырках. Домой не иду, хоть воскресенье. Тетя Оля звонит. Я ей: "После, милая, после". Чувствую, что-то еще будет. И не подвела нюхалка. В третьем часу звонок. Поскрёбышев. "С вами будет говорить товарищ Сталин". И знаешь - выручил: "Мы вам доверяем, товарищ Сеничкин, - так и сказал. - Парад переносим на неделю. Но вы уж нас не подведите". - "Будет сделано", - отвечаю. Как на магнитофоне, вот здесь запомнилось, - постучал министр пальцами по жилету слева. - Больше ничего не сказал. Ну, я неделю жил, сам понимаешь, как. Но, верно, Бог есть. 24-го числа было полное солнце. Вот оно как. А не будь самого, меня бы еще до ночи куда-нибудь свезли. Век не забуду ему, хоть и нет его.

Раздался звонок, пришла министерша и устроила лейтенанту разнос, что подбил Василия Митрофановича на выпивку.

- У него давление. Ему нельзя. Ты, кажется, знаешь, а все равно мимо бутылки...

- Три рюмки, только три, Оленька, - сопел министр.

Курчев рассчитывал переночевать сегодня у родственников, но министерша его разозлила и, не дождавшись молодых Сеничкиных, он буркнул что-то нечленораздельное, схватил скатанный в трубку журнал и выскочил на улицу.

20

Начинало темнеть и надо было как-то убить время. Заваливаться раньше одиннадцати в офицерское общежитие, именуемое в просторечии "коробкой", смысла не было. Могли, не

разобравшись, упечь куда-нибудь в наряд, а разобравшись, попросту выставить. "Коробка" предназначалась для только что выпущенных офицеров, ожидавших назначения. Это был своего рода перевалочный пункт. После одиннадцати там все замирало. Караульные у ворот пропусков не спрашивали, а на офицерском этаже в каком-нибудь кубрике всегда пустовали койки. Важно было прийти туда не слишком пьяным, чтобы не обчистили. Кражи в "коробке" были делом постоянным, хотя офицеры все время менялись.

"Не завел опорных мест", - ругнул себя Борис.

Год назад во время курчевского военпредства техники-лейтенанты шарашили по всей Москве и окрестностям. Многие заимели кучу адресов. Некоторые бедняги даже женились. А Курчев, как в студенческие годы, торчал больше в читальнях и никаких знакомых женщин у него не прибавилось.

В конце концов, махнув рукой на женщин, он спустился к Зоопарку. В кинотеатре "Баррикады" шел итальянский фильм "Рим в одиннадцать часов". Хвост стоял не слишком длинный. Курчев купил билет на восьмичасовой сеанс, но времени еще оставалось целый вагон и он снова позвонил по Ингиному телефону.

На этот раз трубку снял мужчина. Ясно было, что это не муж, а лишь отец или сосед, но Курчев растерялся и бросил трубку, так и не узнав, в каком доме отдыха обитает аспирантка.

Тогда он позвонил Крапивникову.

- Где вы? - раздался веселый голос. - Давайте на одной ноге. У нас очень милое общество. Да, захватите, пожалуйста, горючего. Две бутылки, больше не стоит. Лучше возьмите коньяку и лимонов. Тогда не нужно закуски. Адрес запомнили?

- Ясно-понятно! - ответил радостный Курчев и, забыв про "Рим в одиннадцать...", бросился в магазин.

Через четверть часа с двумя бутылками грузинского коньяку и четырьмя лимонами, которые топырили карманы и без того тесной шинели, он постучал в крапивниковскую квартиру.

- А! Принесли?!

Маленький лысый человечек в роговых очках выхватил у нею из рук журнал.

- Входите, входите!

Из полутемного коридора Курчев попал в комнату немногим светлее. То ли от плохого освещения, то ли от старой мебели и пожелтевшего печного кафеля она казалась запущенной, но холодное оружие, висевшее на ковре вдоль стены, придавало ей загадочность. Борису тут понравилось больше, чем у аккуратных Сеничкиных.

- Вот, - сказал выходя на середину комнаты и вытаскивая бутылки и лимоны.

- Выставили все-таки юношу, Юочка, - програссировала очень симпатичная средней молодости женщина. Она сидела с ногами на длинной тахте, которую покрывал повешенный на стену ковер и, хотя в комнате было холодновато, прижималась щекой к широкому лезвию меча. Женщину обнимал чернявый мужчина. Он был то ли пьян, то ли нагл и женщину обнимал так, будто в комнате они были одни. Женщина, по-видимому, не придавала этому значения, но Курчев был обескуражен.

"Про реферат, - подумал, - не поговоришь." В комнате был еще один, тоже очень крупный, лысый мужчина, который понимающе улыбался лейтенанту: дескать, не тушуйся. Лысый сидел в углу у печки и, хотя был в свитере, видимо, мерз.

- Молодец, Борис Кузьмич, - пел меж тем хозяин. Он раскрыл журнал, вышел на середину под висячую лампу и собирался, как министр, читать поэму.

- Оставь, - бросил с тахты чернявый, которого Курчев мысленно обозвал жуком.

- Да. Хватит с нас, Юочка, сейвиистов, - медленно и капризно протянула женщина.

- Лучше выпьем, и я пойду, - сказал мужчина в свитере.

- Глупцы! - не унимался хозяин. - Тут не сервилизм, а бунт. Вон глядите:

Да, это было наше счастье,

Что жил он с нами на земле.

- Спасибо, - откликнулась женщина.

- Хорошо, хоть несчастье помогло, - сказал чернявый, не снимая пятерни с груди грассирующей гостьи.

- Будет вам, - скривился мужчина в свитере.

- А что! Юрка прав! - раздался приятный голос и в комнате появился худощавый, очкастый и усатый человечек, которого Курчев видел днем на Комсомольской площади!

"И он же ожидал в Докучаевом! - тут же понял лейтенант, глядя на поднятый воротник рваного демисезонного пальто и опущенные уши меховой шапки. - Да они тут все Ингу знают. Все. И муж, и вот этот плюгавенький, быстро соображал лейтенант, новыми глазами оглядывая комнату. - Что ж, вообще-то интересно..."

- Юрка прав, - повторил Бороздыка, который не узнал или сделал вид, что не узнал Курчева. - Это действительно выпад. Что было Симонову в прошлом году, когда он в своей газетенке заявил, что теперь задача литературы воспеть Сталина, как когда-то Ленина?!.

- Ладно, - повторил мужчина в свитере. - Не слушайте их, - подошел он к Курчеву и положил свою большую ладонь на погон шинели. - Я читал ваш опус. Вы умнее их.

- Раздевайтесь и знакомьтесь, - с обезьяньей улыбкой суетился хозяин. - Вот сюда, на сундук. В коридоре случаются экспроприации.

"На Радека похож", - подумал Курчев, сбрасывая шинель на темный невысокий комод, где вповалку лежали телогрейки, два мужских пальто и женская шубка из буроватого меха.

- Там еще про коллективизацию есть, - сказал Бороздыка. Он выдернул из рук Крапивникова журнал и красивым с надрывом голосом почти запел:

Суровый год судьбы народной
Страны Великий перелом
Был нашей молодости сходной
Неповторимым Октябрем.
Ее войной и голодухой,
Порывом, верой и мечтой,
Ее испытанного духа
Победой. Памятью святой
Ночей и дней весны тридцатой,
Тогдашних песен и речей,
Тревог и дум отцовской хаты,
Дорог далеких и путей;
Просторов Юга и Сибири
В разливе полном тысяч рек,
Всего, что стало в этом мире,
Чем наш в веках отмечен век.

- Темно, - сказал мужчина, гревшийся у голландки.

- Тем более, - сказала женщина. Она оттолкнула чернявого и спустила ноги на пол. - Холодно у вас, Юочка, - сказала, подходя к старому буфету и доставая желтые, как печные изразцы, маленькие чашечки.

- Не хочу сушать этой гадости, Ига. П'ошлый г'аз вы п'ивели какого-то Воодю Ког'нилова и он читай такую же мг'азь.

- Точно, - поддакнул чернявый. - Лейтенант, вы пятого марта плакали?

- Шестого, - уточнил Бороздыка, приглядываясь с интересом к Курчеву.

- Плакал, - в тон чернявому ответил Борис. - Мне в очереди новые хромачи ободрали. До бела стерли. Теперь вот в чем хожу, - поднял он свой милицейский сапог.

- Молодец, - засмеялся мужчина. - А вот Ига притащил нам сюда такого, как вы, лейтенанта. Тоже с белыми погонами. Так

тот полвечера читал, как армия рыдала, увидев усы в траурной рамочке.

- Там не армия, а один часовой, - попробовал защитить неизвестного Курчеву поэта Бороздыка.

- Тот лейтенант - эпигон этого, - кивнул мужчина в свитере на журнал.

К стыду народа своего

Вождь умер собственною смертью...

- Да! Это стихи, - сказала женщина, расставляя чашечки на ломберном столе.

- Стихи - не стихи, а смысл великий, - сказал лысый в свитере. Он открыл бутылку, разлил коньяк по чашечкам, но чокнулся с одним Борисом.

- Рад, что познакомился. Счастливо.

Лысый подошел к комоду, вытащил из-под женской шубки и курчевской шинели потрепанную стеганку, напялил ее и ушел.

- Не обращайте внимания, - улыбнулся хозяин.

- Он со странностями. Но художник великий!

- А картины поглядеть можно?

- Он не 'юбит показывать. Пока свет'о пишет, а п'и эйектг'ичестве его к'асок не г'азгьядите.

- Единственный образованный художник, - сказал Бороздыка.

- Что ж, пока мы воевали, он Гегеля читал, - отозвался чернявый.

- Юочка тоже читай. Один ты, Сейж, темный,

- сказала женщина, возвращаясь с кофейной чашечкой на тахту и сама теперь обнимая мужчину.

- Вот рекомендую. Супруги. Восемь лет живут. Обнимаются только в гостях, - сказал Крапивников.

- А это Ига Бороздыка. Кандидат наук. Прошу любить и так далее.

- Вас я сегодня видел, - не удержался Курчев.

- Возможно, - высокомерно кивнул Игорь Александрович.

- Внешность запоминающаяся, - зевнул чернявый.

- Заткнись, - дернулся Бороздыка.

- Будет вам. Офицей Бог знает что подумает. Г'азлии бы еще.

- Алкоголичка, на мою голову, - вздохнул чернявый и тут же налил во все пять чашек.

- За вас, Борис Кузьмич, - жеманно поклонился Крапивников. - Дай вам Бог счастья и свободы. Чего куксишься. Ига? Тебе разве не понравился реферат?

- Понравился, - промычал Игорь Александрович. - Но вообще-то...

- Если критикуешь, не пей, - сказал чернявый.

- А мне понравился и я еще налью. - Он пододвинул к тахте ломберный столик. - Вот, мать, не могла найти посуду поменьше.

- Не торопись, товарищ прокурора придет, - улыбнулся хозяин.

- Тогда тем более поторопимся. Ваше здоровье, лейтенант. И пусть доцент сам горючее приносит.

- Ты несправедлив, Серж, - сказал хозяин. - Товарищ прокурора никогда не скупится.

- Вы об Алешке? - спросил Курчев.

- О нем, - ехидно кивнул Бороздыка. - Сейчас скажете, что Марьяна Сергеевна - следователь.

- Брось. К чему детали? - величественно махнул рукой Крапивников.

- Это из "Воскресенья". Я знаю, - сказал Борис.

- Опасный чеовек, - засмеялась женщина. - Тойко, пожауйста, нас не г'азобачайте.

- Пустяки, - актерски размахивал руками Крапивников. - Алеша наш друг и товарищ. Наш, а не какого-то прокурора. И ты, Ига, не ревнуй. Ему, Борис Кузьмич, понравился ваш опус. Правда, Ига?

- Я уже сказал. Во всяком случае больше, чем писанина доцента.

- А вы напечатайте.

- Где? - засмеялся Крапивников. - Где? Укажи мне такую обитель?! Не надейтесь, Борис Кузьмич. Вам на роду написано не печататься.

- Вы меня утешили.

- Это действительно так, - кивнул Бороздыка. - Вам, лейтенант, не светит. Вот вашему кузену...

- Не ревнуй. Я просил... - повторил Крапивников.

- Это что... про Ингу? - спросил чернявый.

- А ты о ком думай? О ней, об очаг'овательной Инге. У Юи - амуы, у Иги - веиги, - продекламировала женщина.

Все засмеялись.

- Вы правы, - сказал Крапивников, - но только насчет вериг. Ига женится.

- На Инге? Вот счастливчик! - вздохнул чернявый, но Крапивников тут же внес ясность:

- С Ингой Антоновной я еще сам, грешник, не развелся. А Ига женится на очаровательном существе, представительнице братского татарского народа Зареме Хабибулиной.

- Моодец! - воскликнула гостья.

- Татарское иго в миниатюре, - буркнул ее скептический муж.

- Поосторожней, - вспыхнул Бороздыка.

- Пайдон, пайдон, как сказала бы моя жена, - засмеялся чернявый. - А Инга, выходит, свободна. Или товарищ прокурора...?

- Вы, как об обмене жилплощади, - не выдержал Курчев, но все-таки постарался придать голосу максимум безразличия.

- О, кругом сплошные высокие чувства! - воскликнул чернявый. Лейтенант тоже соискатель.

- Кони вороные, нам не ко двору, - отмахнулся Борис.

- Г'ысаки, Г'ысаковы, - попробовала скаламбурить гостья.

- Бросьте вы. В конце концов она моя жена, - сказал Крапивников.

- Привет от Александра Блока, - сказал чернявый. - Тебе, Юрка, гарем, а евнухом и для учета - Игу.

- Заткнись или выйдем в коридор, - сказал Бороздыка.

- Пожаейте его, Игочка, - всплеснула руками гостья.

Курчеву стало жалко Бороздыку, такого тощего, хилого и взъерошенного.

- Однако доцента нету, - миротворчески вмешался Крапивников. Откупоривай вторую, Серж. Вы, лейтенант, не против не ждать кузена? Он обязательно принесет. Явится с мадам. Они разводиться собираются.

- Шутка? - не понял Борис.

- К сожалению, нет.

- Давай мы тоже г'азведемся, - сказала гостья.

- Если хочешь, - ответил муж, и Курчев понял, что у них тоже не все ладится.

- У вас тут, как в нарсуде, - сказал, чувствуя, что в своем легком подпитии переходит границы, отведенные человеку, впервые попавшему в незнакомую компанию.

- Да, - подхватил хозяин, - Суд не суд, но что-то вроде церкви. Остается в попы постричься.

- А что? - сказал чернявый. - Она падает на колени, а Юрка гладит ее и приговаривает: "Крепись, дочь моя".

- Перестань, - крикнул Бороздыка. - Не тебе надругиваться...

- Над святыней? Знаю. Достоевский на Тверском бульваре.

- Да, Достоевский.

- Успокойся, - перебил Крапивников.

- А почему? Пг'одойжайте, - сказала женщина. - Пг'одойжайте. Скажите, почему Сейжу нейзя г'угать Татьяну Айну?

- Бросьте, - скривился Крапивников.

- Потому что Пушкин - наша гордость и единственное наше спасение, сказал Игорь Александрович.

- Я думал - Булгарин, - не выдержал Крапивников.

Курчев не понял, супруги, по-видимому, тоже.

- Сейж тоже г'усский, - сказала женщина.

- Только по матери, - уточнил чернявый. - Это, кажется, для них недостаточно.

- Для кого - "них"? - спросил Курчев, но ему не ответили.

- С тобой откровенничать нельзя, Юрка. Больше ничего не скажу, покраснел Бороздыка, обижаясь за Булгарина, о котором он написал лишь одну фразу.

- Да, Пушкин наше спасение, - обернулся к супругам.

- От инородцев? - спросил Серж. Теперь в его голосе не слышалось шутки.

- Не только. От развала, от гнилья. От всего.

- И от Запада? - спросил Крапивников, который тоже стал серьезным.

- Да! Да! От Запада и от Востока.

- А как же "друг степей калмык"? - спросил Курчев, раздосадованный, что ему не ответили на прежний вопрос.

- С калмыками все ясно, - отмахнулся Серж.

- С калмыками был интересный эпизод. Кстати, это и к Пушкину относится, - сказал Крапивников. - Когда было полтораста? В сорок девятом? Мне рассказывали, 6 июня никто из высланных в места отдаленные на работу не вышел, а весь калмыцкий народ, как один человек, потянулся в район, Бог знает за сколько километров, где было радио. Прямо всем выводком шли, как цыгане. Только что - на своих двоих. Знали, что юбилей и что без "Памятника" не обойдется. И вот, читает Ермилов по бумаге, а вся нация замерла: скажет или нет? На финне оборвал.

- Калмыки воевали против, - сказал Бороздыка.

- А ты - за... - усмехнулся чернявый. - Да и не все против. Многих сразу после войны, в самом Берлине в "Столыпины" запихивали. Так с орденами и ехали.

- Ну, а татары все. Сплошь, - не хотел отступать Бороздыка.

- Про татар не знаю. По татарам не специалист.

- Она не крымская.

- Приятно слышать, - чернявый опрокинул последнюю порцию коньяка. Пойдем, Танька. Больше уже ничего не будет. И доцент ничего не принесет, поскольку не явится. Ох, уж эти мне гости!

- А что? Ничего пьеска! - подхватил Крапивников. - Читали, Борис Кузьмич?

- Нет, - не понял Курчев.

- Гости, - хмыкнул Бороздыка. - Лучше бы уж назвал месячные или еще точнее.

- С кем не бывает, - усмехнулся Крапивников. - Но репризы там прелесть. Как это:

Расстройство в доме Кирпичевых,

Ах, что же в доме Кирпичевых?

Ах, Кирпичевы ждут гостей.

- И вовсе не так. Вы, Юочка, учше бы пг'очьи стихи Эхнатона. А эти вы запомнить не в состоянии.

- Бог мой, чего тут запоминать?! Он же стащил из "Трех сестер". Старшая, Маша, без конца твердит:

"У лукоморья дуб зеленый..." - сказал Бороздыка.

- Нет, нет, не говорите, - запротестовал Крапивников. - Все-таки зерно он протащил. Начальник не может быть хорошим человеком. Власть портит людей. Это зерно он протащил.

- Ну, зерно ему склюнут, - сказал Бороздыка. - А названием выдал себя. Языка ведь не знает. Гости!...

И тут как раз ввалились Сеничкины.

- Салют!

- Привет!

- Дай облобызаю, - галантно обнял Крапивников Марьяну и демонстративно поцеловал ее в губы.

- Давно не чмокались, Юрочка, - усмехнулась та.

- Здравствуй, Танька. Мы разводимся, - повернулась к картавящей женщине.

- В добг'ый час.

- А ты как здесь? - строго спросил Сеничкин лейтенанта. - Нечего тебе тут делать. Написал, что я велел?

- Здравствуй, Боренька, - отталкивая мужа, кинулась на шею лейтенанту Марьяна. - Мы с ним разводимся!

Курчева она тоже поцеловала в губы, и он, хотя и сам выпил, услышал запах спиртного. Но ему были приятны ее пухлые и одновременно плотные, а теперь еще и холодные с мартовского мороза губы.

- Бросьте лизаться, - сказал доцент. - Ну, ну. Не дразни солдата. Ему в казарму назад.

- Я в городе ночую, - огрызнулся Борис.

- Выпивки не принесли, а у нас кончилась, - сказал Крапивников.

- Мы, Юрочка, с банкета. Я хотела украсть бутылку, но бывший супруг не дал.

- Не смешно, - скривился доцент.

- Кто защищался? - спросил Бороздыка, ревниво относящийся ко всем соискателям.

- Витька Поздеев.

- Христопродавец.

- Ну, уж вы слишком. Немного есть, но на полного Искариота не тянет, улыбнулся Сеничкин.

- Точно, Искариот, - засмеялась Марьяна. - И зря бутылки не утащили. А то целых три часа: Чернышевский, Чернышевский, и еще этот, как его, Варфоломей...?

- Зайцев, - подсказал Бороздыка. - Тоже сволочь.

- Ну, зачем же так, - улыбнулся Крапивников. - Игоруша сегодня перебрал. Борис Кузьмич многовато принес.

- Гуляет армия, - буркнул доцент. - Ты что, демобилизовываться раздумал? Почему не пишешь? Я же говорил.

- Он уже написал и весьма толково, - сказал Крапивников.

- Это что? Про обозника? Лучше бы, как Витька, про Чернышевского написал, раз языков не знаешь.

- Ненавижу Чернышевского, - вмешался Бороздыка.

- Почему же? Примечательная личность, - возразил хозяин.

- Никогда не читала, - влезла в разговор Марьяна. - Помню только, что чем-то от него веет.

- Духом кассовой бойбы.

- Христопродавец, - повторил Бороздыка.

- Какая тебя сегодня муха укусила? - удивился хозяин. - Славянофилы, Ига, хорошие люди, но и западники тоже.

- Нищие духом! - Игорь Александрович пытался себя взвинтить.

- Да. Дон-Кихот бый написан в Суздайе.

- Ига, сбавьте пены и найдите себе какую-нибудь женщину, а то ваша озабоченность из всех дыр лезет, - не выдержала Марьяна. Она на дух не переносила Бороздыку.

- Уже нашел. Повернулся, так сказать, к востоку, - усмехнулся Серж.

- Я бы поговорил с тобой, - насупился Бороздыка, вытащил из кучи сваленных пальто свое демисезонное и вдруг, повернувшись к Курчеву, точно был его начальством или научным руководителем, повелительным голосом спросил: - Вы идете, лейтенант?

- Иду, - от неожиданности Курчев тоже взял шинель.

- Куда? - обняла его Марьяна. - Уже в Тьмутаракань?

- Да нет. Я сегодня в "коробку". Твоя свекруха меня шуганула.

- Денег попросил? - вызвав злобный взгляд доцента, усмехнулась она. Не надейся. Это министр так... расчувствовался...

- Брось язвить, - сказал жене доцент.

- Нет, не денег, - улыбнулся лейтенант. - Просто мы выпили по поводу послезавтрашней смерти.

- Каждый за свое? - полюбопытствовала Татьяна.

- Примерно. - Курчеву не хотелось порочить родственника. Он

уже насовывал на себя шинель и торопился в "коробку". Времени было половина одиннадцатого.

- Заходите завтра, - сказал Крапивников. - Сегодня у меня шумно. Поговорить не удалось.

- Завтра - вряд ли. Завтра у меня многое решается, - ответил Борис.

- Что у тебя? - спросил доцент. Он примостился у печки, где прежде сидел художник.

- Прошение написал.

- Эх, не так действуете, лейтенант, - улыбнулся Крапивников. Пропадет рапорт. Застрянет в нашей бюрмашине. В таких вопросах лучше на собственные силы рассчитывать. Мне лично известно около четырехсот честных способов демобилизации.

- Ну, завел! - скривился Бороздыка. Он уже стоял в дверях.

- Ничего, подождешь. Дай поучу молодого человека. Вы, Борис Кузьмич, холостой, так что для вас все подходит. Вот, скажем, способ первый. Вы пишете командиру вашей части: я, такой-то, возмущенный наглым разбоем французских колонизаторов, проливающих мужественную кровь вьетнамского народа, призываю всех офицеров нашего полка отдать в фонд сражающегося Вьетнама шесть месячных окладов.

- Браво, - сказал Серж. - Кащенко обеспечено.

- Да, не годится, - вздохнула Марьяна. Доцент молчал, словно его здесь не было.

- А без Кащенко ничего не выйдет, - улыбнулся Крапивников, несколько обескураженный слабостью произведенного эффекта. - Все четыреста способов через это учреждение. Без того - служить двадцать пять, как при Николае Палыче.

- А чего-нибудь другого нет? - спросил Курчев.

- Есть. Но тут вам придется ждать праздников, поскольку на послезавтра торжества не намечены. А вот перед первым мая вы приходите в зал, садитесь в первом ряду и поднимаете портреты Ленина и Сталина. Когда вас вызывают в "Смерш", вы с невинным видом отвечаете, что вас давно уже берет досада, почему это президиум сидит спиной к портретам. Вам жалко президиум и хотите, чтобы он тоже посмотрел на них.

- Ну, это уже не Кащенко, а Казань, - печально вздохнул Серж.

- Спасибо. Только меня уже и без того вызывают, - сказал Курчев. - Я написал Маленкову.

- Тогда понятно, - вздрогнул доцент, вспомнив, как ждал Ингу у Кутафьей башни.

- Что тебе, Лешенька, понятно? - не удержалась Марьяна. - Ты просто ему завидуешь. Знаете, - она, как в переплясе, развела руками, приглашая всех участвовать в изобличении мужа. -

Смешно, но мой бывший супруг завидует Борьке. А, Алешенька?!

- Завидую, завидую.

- И не соглашайся, будто я дура. И так все видят. У Борьки - слог, у Борьки собственное соображение. А у тебя одни цитаты, а то, что между ними, такое дубовое, будто боишься, что развалится. Дуборез ты, Лешенька.

- Амплуа четвертое: Марьяна Сергеевна в роли государственного обвинителя, - раздраженно сказал доцент. - Идем, - кинул он Курчеву. - Мать уже успокоилась и спит давно.

- У меня переночует, - сказал Бороздыка требовательно и строго, словно ему поручено было оберегать лейтенанта.

- Пойдемте, - согласился Борис. - А ты, Лешка, с ней не разводись. Видишь, какая она красивая.

- Не беги, Борька, поцелую, - крикнула Марьяна, но Курчев с Бороздыкой уже были в коридоре.

22

К ночи опять завернуло холодом и Курчеву, несмотря на выпитое, в узкой шинелишке было зябковато. Бороздыка тоже дрожал в своем пальтеце, и поначалу они молчали.

"Надо идти в 'коробку'. Чего я поперся за ним? - думал Борис. Небось, какая-нибудь халупа. Не приткнешься".

- Может, подъедем? - сказал вслух.

- Дойдем.

- До вокзалов? - удивился Борис.

- Почему - вокзалов? Ближе.

- Я вас там сегодня видел.

- Это я от женщины шел.

- Поздновато однако, - пошутил Борис.

- Так уж получилось, - скромно засмеялся Бороздыка. - Но вот сегодня у меня ночь свободная. Заварим кофейку и поговорим.

По поводу кофе у Курчева не было определенных воззрений. Он знал, что кофе по-турецки принято заказывать в ресторанах в конце выпивона, но можно также обойтись мороженым или гляссе. Кроме того, он помнил, что черным кофе баловались Кларка и Марьяна на юге, утверждая, что без него у них болят головы.

- У Юрки милый дом, но компании зачастую отвратительны. Как вам понравилась эта кривляка? А муж у нее - прямо жук на палочке. Новоиспеченный гений. Пробивной и дошлый, но ни славы пока, ни денег. Все накануне. Но скоро будет праздник на его проспекте.

- Талантлив?

- Нет. Такой прозападно-еврейский вариант. Сейчас для них самое время. Космополитизм снова попер.

- Вы серьезно?

- Вполне. Русскому человеку сейчас очень плохо.

- Чем? Я думал, плохо евреям. У нас после училища их в самые дыры распихали, а под Москву - никого.

- Шутите! - сказал Бороздыка. - Да что там! Русскому человеку уже тридцать семь лет плохо. Со станции Дно, когда отрекся.

- Так ведь он немец был, - сказал Курчев.

- Все это ерунда, - помрачнел Игорь Александрович. - Бульварщины, дорогой вы мой, начитались. Какой там немец? Самый разнесчастный русский человек.

- Чудно! А как же "тюрьма народов"?

- Никак. Не было тюрьмы. Было государство. В чем-то даже прекрасное государство. С реформы 61-го - просто великолепное государство. Гласный суд. Земство. И на те! Чернышевский - к топору!.. А евреи и всякое польское отребье - за бомбы. Кстати, Ингин двоюродный дедушка тоже вложил лепту: в Освободителя метнул.

- Так вы, значит, и поляков не любите?

- Безразличен, - отмахнулся Бороздыка.

- А я поначалу думал, вы поляк или еврей. У вас фамилия чудная. Да и вид не здешний.

- Я потомственный дворянин, - сказал Бороздыка.

"Пойди проверь, - подумал Курчев. - Хотя голос у него красивый. Впрочем, голоса больше нужны тенорам".

- Мне один приятель говорил, - сказал вслух, вспоминая последний разговор с Гришкой, - что всех дворян в расход пустили или выслали.

- Было такое, - согласился Игорь Александрович. - Но в основном в Ленинграде. А я вот уцелел, сам не знаю зачем.

"Я тоже", - хотел сказать Борис, но удержался и спросил: - А почему русским плохо?

Они шли вверх по бульвару. Несмотря на хрупкую комплекцию, Бороздыка задыхался.

- Растлили их. Видели кривляку? Она из хорошей семьи, а за кого вышла? Жук-прохиндей. "Дон-Кихот не в Суздае написан". При чем тут Дон-Кихот? Изгадили всё. Изнутри и снаружи. Крым хохлам отдают в честь воссоединения.

- Ну, это чепуха. Границ-то ведь там нет.

- Не в границах счастье, лейтенант. Границы - ерунда. Евреи вообще нация без границ. В любую дырку влезут. Прав был Федор Михайлович, когда славил черту оседлости.

- Ну, Достоевский никого не любил, - сказал лейтенант. - И поляков, и немцев с французами, в общем, весь Запад. По-моему, просто боялся.

- Чего? - повернул к нему лицо Бороздыка. - Чего русскому человеку бояться? Русский человек - носитель правды, а правда бесстрашна и бессмертна.

- Вас не переспоришь. Только Достоевский точно боялся Запада. И поляков боялся. Их тогда до чёрта было в России. Сколько восстаний поднимали! А чего боялся евреев, этого я понять не могу. Может быть, просто не любил за то, что Христа распяли. Но Христос сам был евреем, так что там так на так выходило...

- У вас в голове каша, лейтенант. Каша и каша, и еще раз она самая. Достоевский никого не боялся. Он лишь не хотел, чтобы нечистый дух захватил Россию. Чтобы дух Запада, дух стяжательства, скопидомства, немецкого бюргерства, французской жадности, английского высокомерия и еврейского прохиндейства растлил чистое русское сердце. Русская душа призвана была, как Иисус, спасти Европу. Русский народ - богоносец, а его развратили, с дерьмом смешали. Нам сюда, - свернул с бульвара и, перейдя трамвайную линию, потащил Курчева в переулок. - Достоевский страшился одного: что народ утеряет свою высшую суть. Так оно и случилось.

Борис заметил, что чем дальше они отходили от крапивниковского дома, тем больше важничал Игорь Александрович, а в этом глухом, безразличном ветру переулке Бороздыка в своем продутом пальтишке становился полным хозяином. Голос его приобрел уверенность и презрительное добродушие, как у экзаменатора.

Они свернули в подворотню большой шестиэтажной коробки тридцатых годов. Курчеву казалось, что Бороздыка должен ютиться в какой-нибудь старой деревянной развалюхе, но дом, хоть и был обшарпан, выглядел на порядок выше, чем крапивниковский. "Авось, клопов не будет", - подумал лейтенант.

- Шестой этаж. Лифт не предусмотрен, - не теряя важности, оповестил Игорь Александрович.

- Достоевский - писатель охранительный, - сказал Курчев, услышав тяжкое пыхтение хозяина.

В подъезде было абсолютно темно. Бороздыка шел на полмарша впереди.

- Помните детский стишок "Жили три друга-товарища в маленьком городе Эн. Были три друга-товарища взяты фашистами в плен", - спросил Борис. Молодой, хотя и заматерелый, он подымался, чуть пританцовывая. Ему нравилось то, что он сейчас говорил. - Так вот, там первого стали допрашивать - молчал, второй - молчал, а "третьего стали допрашивать, третий язык развязал: "Не о чем нам разговаривать"

- он перед смертью сказал". То же и ваш Достоевский. О чем ему было говорить с Западом, когда у них в конце прошлого века были электрические доилки и коровники, чистые, как госпитали. А у нас под Москвой, где теперь служу, прошлой осенью колхозницы выкопали руками картошку, а председатель повез ее на базар и всю пропил. Потому и мечтал ваш Достоевский о железном занавесе. Не для всех, конечно. Себе-то он разрешал в западную рулетку баловаться и русскую женину тальму немецким бюргерам закладывать.

Курчев нарочно злил Бороздыку. Сам он Достоевского читал с великим увлечением, просиживая все институтские утра и вечера в читалках, если не предвиделось никакой левой работенки в речном порту или на сортировочной. Впрочем, такие заработки были не столь часты, да и Курчев не всегда с охотой отправлялся на них, предпочитая жевать хлеб всухомятку, осторожно отламывая в кармане по небольшому куску. Весь Достоевский (марксовского издания) был прочитан именно так, и поэтому роднился у лейтенанта с кисловатым запахом черняшки и легкой изжогой.

- Это величайшее кощунство, - сквозь одышку выговорил Бороздыка, звякая ключом. - Сволочной замок. Это кощунство, - повторил сдавленным голосом.

Дверь открылась и, схватив лейтенанта за руку, он, ступая на носках, протащил его через темный заставленный сундуками и шкафами коридор к себе в келью.

Комната в свете настольной без абажура лампы была именно такой, как представлял себе Курчев: грязной, пыльной и полной книг. Вместо койки была расставлена раскладушка с неприбранной смятой постелью. На письменном столе стояли сковородка, чайник и подстаканник, а книги заполняли стеллажи, два стула, подоконник и еще одна стопка, перевязанная и то ли предназначенная для букиниста, то ли купленная и еще не прочитанная, торчала у самых дверей.

- Располагайтесь. Давайте шинель. Что еще осталось в нас русского это вот такие ночные бдения,- выговорил важно хозяин, и Курчев понял, что выспаться этой ночью не удастся.

- Ну, это как раз не русское - спорить полночь-заполночь, - сказал вслух, чтобы сбить с хозяина спесь. - То есть русское, но от разночинцев. От Белинского пошло. А веселие Руси - пити. Как я понимаю, дворяне не спорили, а жженку жгли, - подмигнул Игорю Александ-ровичу. Ясно было, что тот выпивки у себя не держит.

- Я вам кофе сварю, - не обращая внимания на курчевский выпад насчет жженки, сказал хозяин. - Ваш реферат меня заинтересовал. Вы невежественны и необразованны. Обижаться

нечего. Ваш кузен тоже необразован. Но вы ищете, и я это ценю.

- Спасибо.

- Вы ищете, но вы не найдете. Что значит последний человек? В сталинской формулировке (помните?) и то больше духовности, чем в вашем реферате. Отрицание религиозности порой есть выражение скрытой, внутренней, так сказать, духовности. Ваше же отрицание - просто нуль. Мистика - высшее достижение человечества. Высшее, лейтенант.

Из ящика письменного стола Бороздыка достал банку с кофе, но обнаружив, что она пустая, отошел от стола и сел на раскладушку.

- Если вам непременно надо выпить, можно раздобыть у таксистов, сказал с печальной важностью.

- Да нет. Спасибо. Так поговорим. Мне завтра с утра к начальству.

- Кончилось кофе. А то бы я вам дал зерен пожевать. Это отбивает, усмехнулся Игорь Александрович. - Так вот и живем, - махнул рукой на книги и прочий беспорядок. - Зато не служим, и главное, - никому не кланяемся. За свободу надо платить, молодой человек.

- Согласен. А вы свободны?

- Да. Что-что, а свобода у меня совершенно моя, как сказал бы Федор Михайлович. Вот этого я ни на что не променяю. Ни на красивую мебель, ни на красивую женщину для мебели.

"Это он про Ингу", - подумал Курчев, чувствуя, что разговор об аспирантке состоится.

- Я свободен, хотя и загнан. Я свободен, но я как кладбище. В этом столе, - он показал на сковороду, - и вот здесь, - осторожно похлопал себя по лбу, - столько похоронено, столько начато и не завершено, что хватило бы на три Оксфорда и две Сорбонны.

- Почему так? - лениво спросил Курчев, ожидая, скоро ли разговор повернется к реферату или к аспирантке.

- Почему? Вы же не младенец. Сами понимаете, что сейчас ничего не опубликуешь. Все перекрыто. Даже стараться нечего.

- Старались?

- Нет. Я выше этого. Просить, умолять, к тому же корежить свои мысли нет! Увольте! Мне - либо все, либо - ничего.

- Дайте почитать, - сказал Борис.

- Не могу, молодой человек. Это для себя. Я не тщеславен.

- Но мне действительно интересно.

- Перетоскуете, - усмехнулся хозяин, явно стараясь избежать продолжения разговора. - Я не тщеславен. Чужие мнения меня не интересуют. Раз нельзя публиковать и нести разум в народ, то и писать нечего. Что толку от вашего реферата, лейтенант, если это

не напечатают и дальше Крапивникова его и показывать небезопасно?

- Да, вроде так, - кивнул Курчев и вдруг, вспомнив, что часть третьего экземпляра куда-то исчезла, сказал с вызовом:

- Но пока я не написал, откуда мне знать, можно это напечатать или нельзя? Знаете, как в армии: откуда ты знаешь, что приказ невыполним, если ты его выполнить не пытался?

- Софистика. Софистика, демагогия и прочее. Читайте лучше Леонтьева, Бердяева, и никакая аспирантура вам не нужна. И оставайтесь в армии. Шинель вас прикроет. На хлеб зарабатывать вам не надо. А мысли ваши всегда при вас. Маршировать их никто не заставит.

- Да, как будто оно так, - согласился лейтенант. - Только офицер из меня, как из дерьма пуля. Нет, я демобилизуюсь. Квартира своя светит. Недалеко отсюда.

- Женитесь?

- Нет. А вы?

- Видимо, к тому идет. Не хочется, конечно. Но, с другой стороны, удивительное существо. Такой самоотверженности больше не встретишь.

- Простая русская душа, - с невинным видом поддакнул Курчев, помня, что у Крапив-никова невесту называли "татарским игом".

- Что значит - русская?! - взвился Игорь Александрович. - Я говорю о духе, о душе, а полового шовинизма во мне ни капли. И кроме того, если хотите, татары спасли Россию.

- Вот как! - полюбопытствовал Курчев. Он сидел у письменного стола и правую щеку припекала полуторастосвечовая лишенная абажура лампа.

- Да, не удивляйтесь. Если бы не татары, мы превратились бы в безъязыких белорусов. Нас бы онемечили германские ордена. А татар мы растворили в себе. Да и иго, собственно, не было игом. Церкви трудились. Татары в наши дела не лезли. А посмотрите, что сделали немцы с Литвой и Белой Русью? Это же немые народы. Ни культуры, ничего...

- Белорусы здорово партизанили. Да и литовцы по-своему дрались неплохо. Недаром столько в Сибири очутилось...

- Вы опять, лейтенант, не о том. Вы слишком прямолинейны.

- Возможно. Только война - дело прямолинейное, - опять уколол Бороздыку, поскольку тот, как понял Курчев, войны не нюхал. - Выходит, татары нас от немцев защитили. А почему мы сами от татар не защищались? Нас-то больше было? А? Где же ваша церковь была?

- Татары помогли сохранить русский дух. Через тернии к

звездам! Слышали?

- Да. А со звезд нас стащили шестидесятники? Так я вас понял?

- Приблизительно. Через муки ига мы обрели национальную идею. Мы были духовнее татар. Татары нам не были страшны. А немцы...

- Были духовнее нас, - подсказал Курчев.

- Не так прямо! Не так быстро, молодой человек. Новгород не уступал Ганзе.

- Так чего ж было бояться? Тем более, что псы-рыцари скоро дуба дали. Впрочем, я спорить с вами не берусь. Вон вы сколько прочли! - он обвел рукой стеллажи и книги, наваленные на полу и подоконнике. - А я все, чего помню, один стишок Алексея Толстого: "Надели шаровары, поехали на Русь." Только духа, наверно, особого не было, если он должен был заявиться через рабство.

- Междоусобицы всюду были.

- Но у нас этого добра даже чересчур. Князья монголам нас прокакали. Потому бы я на месте дворян заткнулся и скрывал свое происхождение. Если кто и погубил Россию, так только они. И когда-то, и недавно.

- Лейтенант, я извиняю людские комплексы, но все-таки они унижают личность, - важно и благодушно, видимо, подражая какому-то мхатовскому актеру, ответил хозяин. - Дворяне были единственным светом в русской тьме. Дворяне, а не купцы. Спросите детей. Все они мечтают быть д'Артаньянами и Атосами. Все поклоняются королям и князьям. Вальтер Скотту, а не Гайдару. Жажда благородства - первая потребность чистой души. И вы сами мечтали родиться знатным.

- Нет, - соврал Борис. - Я не Павлик Морозов, но и дворянство для меня - тьфу.

- Что же для вас не тьф-у?

- Не знаю. Если бы не стеснялся, сказал бы - истина. Но истина не может быть целью. Истина изначальна.

- Ничего, ничего, лейтенант, - подбодрил Игорь Александрович. Кое-чего вы все-таки добились. Вы мне нравитесь. Если человек ощущает свою бездуховность, то он уже как-то духовен. Вы молодец.

- А если импотент ощущает свою импотентность, он уже не импотент? передразнил Борис и сам же рассмеялся.

- Вот мы и подошли к женщинам, - обрадовался Бороздыка, позволив себе легкий смешок.

- Тут я не мастак. Тут у меня далеко не полное собрание неудач. Как говорится в полку, набор колунов на шее.

- От Инги тоже экземпляр? - не удержался Бороздыка.

- Нет. Я ее видел-то всего раз. А вот Крапивников...

Он смешался, но тут же сказал:

- А Крапивников был бы лихим попом. Девок, сразу видно, у него до чёрта.

- Да. И кокнули бы его, как в стишке. Помните?

На заборе про актрис
Интересно пишут.
Ну-ка, батя, становись,
Почитай афишу!

- Чудно, - засмеялся Курчев. - Прямо, как в цыганском хоре:

Эх, раз, еще раз
Почитай афишу... - пропел хрипловатым от коньяка голосом.

- Ничего себе смех!.. Или вам приходилось?.. - вскинул кучерявую голову Бороздыка.

- Чего? - нахмурился лейтенант и тут же понял. - Нет, я никого... Только однажды саданул в воздух, когда самосуд разнимал.

- Значит, против расстрелов? Хоть и за это спасибо. А знаете, кто эту подлость сочинил? Уткин.

- В первый раз слышу.

- Был такой. Прибарахлился в Румынии, и самолет не выдержал груза. Расшиблись. Человек известной нации. Ему - почитай афишу - ну, вот и дочитались. Поголовная грамотность. Пришли, испохабили!..

- Им тоже досталось, - сказал Курчев. - Прошлый год - дело врачей...

- Ну что ж, я не за месть. Но отчасти это справедливо, - ответил хозяин. - Нечего им было гадить в России. Расправляться, конечно, с ними не следует. Выслать просто всех на Иордан. Пусть себе греются на солнышке. "Почитай афишу!" Вы только вдумайтесь, лейтенант! Троцкий, собака, носился со своей черной матросней, пускал в расход направо и налево...

- Вы всерьез? Я думал в расход пускали только в тридцать седьмом.

- Н-да! Тридцать седьмой - отголоски, эхо. Восстановление справедливости несправедливыми средствами. Те, кто поднял меч, через двадцать лет назад получили... Сталин хотел восстановить Россию. Но уже поздно было. Выпустил всех священников, кто афиш не дочитал. Честь вернул. Почти дворянство. Ведь есть же разница между погонами с просветом и без?! Вы сразу стали офицером?

- Нет. Но разницы тоже нет, - солгал Борис. Бороздыка добрался до его больного места.

Год с небольшим назад, Курчев, только что получив офицерское обмундирование, самовольно, до оглашения приказа, прикрепил к плечам погоны, и в Питере небо показалось ему с овчинку. "Чин такой, что в рестораны пускают", - вспомнил он хемингуэевское рассуждение о лейтенантстве, и тут же познакомясь на Невском с шикарной девицей, завалился с ней в ресторан. Погоны, несколько квадратных сантиметров шелковых ниток, распрямили человека.

Но сейчас, год спустя, когда все мысли были о демобилизации, вспомнить тот первый офицерский выход было стыдно. Да и никакого дворянства Курчев в себе не ощущал.

- У вас что - многие так думают? - спросил Курчев после некоторого раздумья. Бороздыка усмехнулся.

- Вопрос не армейский, скорее полицейский... Но я вам отвечу. Группы еще нет, но есть общее чувство и общая идея. И она овладевает всеми порядочными людьми. Собственно, она уже владеет ими, но они глушат ее в себе из-за ложно понятой стыдливости. Не стыдиться следует, а гордиться.

- Понятно, - кивнул Курчев. - Извините, что спать не дал, - сказал, надевая шинель.

- Ничего. Я очень рад, - ответил тот.

Перейдя Садовое кольцо, Курчев прошел Докучаевым переулком мимо дома аспирантки и вышел к вокзалу. Внутри было суетливо и дымновато, и, перекусив у стойки, он еще подремал часа четыре в зале ожидания.

23

Подполковник Затирухин, никак не отвечающий своей фамилии, ладный, выбритый, щеголеватый офицер, принял Курчева сразу, был вежлив, но все-таки полюбопытствовал, почему через голову командующего вызывают лейтенанта на набережную. На набережной был главный штаб курчевских войск.

- Мне зарез, товарищ подполковник. Невеста пропадает. А ехать в полк не может - в аспирантуре...

- Так. Понятно, - качнул красивой продолговатой русой головой подполковник. - Что ж, выйдет - ваше счастье. А не выйдет - не позавидую, лейтенант. Есть порядок и перепрыгивать, особенно через генералов, не положено.

К дому на набережной лейтенант добрался только к одиннадцати. С полчаса мурыжили в бюро пропусков. Наконец, голос, назвавший себя майором Поликановым, пробурчал:

- Ладно, поднимайтесь. Может, до перерыва успею.

Курчев пешком взбежал на нужный этаж. В коридоре возле двери майора сидело несколько золотопогонных капитанов. У одного, наголо бритого, болталась на кителе Золотая Звезда

Героя, - и Курчев понял, что до перерыва его не примут. Он скромно сел подальше от двери, прислушиваясь к разговору старших по званию. Разговор был неинтересный. Капитаны ожидали назначений.

- Где тут гальюн? - стараясь придать бодрости голосу, спросил один. Курить охота.

- Потерпишь, - отозвался второй.

- Эх, ребята, не дрейфьте, - улыбнулся Герой Советского Союза. Лицо у него было хитроватое, но приятное.

- Чего улыбишься, технарь? - подмигнул Курчеву. - Дальше Кушки не пошлют.

- Мне назад, - зевнул Борис. - На гражданку.

- Ну и как? - спросил один. Остальные тоже повернулись к Борису. Неужели не пускают?

- Ага. Только прохарями вперед.

- Комедия, - усмехнулся Герой. - Кто туда, кто обратно! А ты что блатной?

- Да нет, скорей голодный. У нас не увольняют.

- А это где? - спросили сразу два офицера.

- У него узнайте, - ткнул Борис пальцем в сторону майорской двери, на табличке которой значилось несколько фамилий.

Дверь открылась, вышел тучноватый майор и прошел в конец коридора. Курчев привстал, но майор махнул рукой: дескать, не училище, не вскакивай.

- Не тушуйся, - сказал Герой.

- А мне что, - отмахнулся Борис. - Нам, татарам, все равно, что малина, а что ... это самое.

Действительно, внешний вид лейтенанта, особенно рядом с подтянутыми строевыми офицерами, свидетельствовал о равнодушии к службе.

- Я б тебя сразу шуганул, в дух один, - сказал капитан, интересовавшийся местонахождением гальюна.

- Жаль, что увольнялка у вас не выросла. Другие капитаны засмеялись.

- Ты какой-то чокнутый, - сказал Герой. - Случаем, не оттуда, ну, не из этого, особого, сам не знаю, как это зовут, ну, не от...? - он назвал фамилию генерала.

- Угу, - кивнул Борис.

- Ну, и как там? - уважительно спросил Герой. - Нас вот всех вроде туда...

- Обыкновенно, - усмехнулся Курчев. - Через день на ремень, через два на кухню.

Тучный майор, возвращаясь назад по коридору, неодобрительно поглядел на столпившихся вокруг техника

строевых капитанов.

- Пока груши околачивают, а потом - не бей лежачего! - Борис не замечал тучного майора. - Ну, надбавку платят, чтоб не трепались очень. Печки дымят. Дрова пили сам. Солдат не дают. Военларек - дерьмо... Ну, это, правда, как где... Но вообще-то все на один фасон. Техника на первом месте.

- Чего ж когти рвешь?

- Душа болит, домой хочется. А вот вам - будет хорошо, - улыбнулся Герою. - Выше "ЗБЗ" ни у кого в полку нет. У бати - "Звездочка" и то случаем. А чтобы такое, - он ткнул пальцем в "Золотую Звезду", но до самого металла не дотронулся, - ...чтоб такое, я во всем ПВО не видел.

- Курчев кто тут? - раздался за спиной голос, и Борис в дверном проеме увидел второго майора, рыжеватого и щуплого.

- Заходите, - кивнул майор, пропуская лейтенанта.

24

Клара Викторовна, переводчица на вакациях, за две недели после катка нисколько не приблизилась к скальпелю эндокринолога. Первые дни она еще звонила в клинику, справлялась относительно очереди, но, почувствовав, что та движется достаточно быстро и час неминуем, оставила телефон в покое, впала в хандру, валялась на кушетке и читала немецкое издание "Тысячи и одной ночи". Восточные сказки слегка распаляли и одновременно тешили Клару Викторовну в ее неопределенном и по всем статьям неблагополучном состоянии. Вообще Клара Викторовна предпочитала Генриха или уж, на крайний случай, Томаса Манна. Но сейчас, в Москве, эти авторы выбивали ее из столь дорогого ей желания "забыться и заснуть". Каждая страница больно ушибала, возвращая в вовсе не радовавшую ее жизнь, и на днях, расставив немецких классиков по полкам, Клара Викторовна решила пока что только стирать пыль с суперов.

Просыпаясь часа за два до рассвета, она долго валялась на кушетке, потом зажигала свет, принималась за сказки, лениво завтракала бутербродом или холодной котлетой и, полуумытая и плохо причесанная, в халате или в синих псевдовосточных шелковых шароварах валилась опять на постель и читала, читала запоем, будто пила коньяк или водку.

Курчев позвонил ей в первом часу. Голос у него был настолько раздраженный и загробный, что она даже удивилась. Но и мрачный, лейтенант был каким-то разнообразием. Обрадовавшись, она крикнула в трубку:

- Заходи, заходи, лучший друг. Я по тебе соскучилась.

- Сейчас, - буркнул он, нисколько не повеселев.

Она кинулась расчесывать волосы и прибирать в комнате. Том сказок убрала в шкаф для посуды и бросила на кушетку "Доктора Фаустуса". Нет, она не притворялась и не стеснялась. Просто из деликатности ей не хотелось выпячивать свое дурное настроение. Она осталась в синих шароварах и такой же блузке.

За полгода память Клары Викторовны несколько ослабла и соответственно усилилась надежда: вдруг Борис переменился, возмужал, во всяком случае.

Тот Курчев, которому она через четверть часа после звонка открыла дверь, действительно был старше, чем на юге, загадочнее и еще безнадежней. Даже когда он скинул с себя эту ужасную короткую, чуть не трескавшуюся на швах шинель, вид у него не стал веселее. Замызганные погоны соответствовали мрачности и невыбритости лица, а плечи, несмотря на узкий китель, тоже поникли. Потерянность лейтенанта могла соперничать лишь с потерянностью подполковника, когда тот полмесяца назад пьяный ввалился в шустовскую обитель. Впрочем, лейтенант был трезв.

- Что с тобой, лучший друг? - спросила Клара Викторовна, удивляясь, что же это Курчев не обнял ее и не поцеловал, хотя она сама бросилась к нему на шею и чмокнула в щеку.

- Амба, Кларка. Хана мне. Хоть топись.

"Вот так они все", - с грустью подумала переводчица, но тут же победила природная доброта и Клара Викторовна потащила лейтенанта на кушетку, усадила, провела ладонью по двухдневной щетине и стала успокаивать, как маленького, - совсем как две недели назад очаровательного подполковника.

- Брось, лучший друг, брось. Ну, не будь чижиком. Бриться надо, герр лойтнант.

- Дерьмово, - повторил лейтенант, несколько смягчаясь.

Полчаса назад майор Пеликанов ввел его в кабинет, сел за стол и, уставясь необычайно светлыми глазами без ресниц в Курчева, сходу спросил:

- Ну? Чего там агитировал?

Толстый майор, сидевший за вторым столом, поднял голову и стал с интересом пожирать глазами лейтенанта.

- Вы где служите? - продолжал майор Поликанов. - Что за политинформация в коридоре?

- Что? Я - ничего... - пробурчал Борис.

- Вы знаете этих людей? Вам поручено было с ними разговаривать? Что за разболтанность? Разгильдяйство. Поглядите на себя, лейтенант. Это офицерский вид?

- Дай ему поглядеть, - кивнул майор своему толстому сослуживцу.

Тот вытащил из ящика большое, невесть откуда тут взявшееся прямоугольное зеркало.

- Возьмите, - брезгливо сказал майор. Курчев положил зеркало на край его стола.

- У меня, - соврал, - экзема.

- А сифона у вас нет?

- Кажется был, но вылечили.

- Ну, так вот полечитесь еще, до двух часов, - усмехнулся майор. Понюхаем пока вас. Где его дело? - повернулся к напарнику. - Затирухин почесался или нет?

- Погляди у себя. Вчера чего-то присылали, - откликнулся толстый и по тону толстяка Курчев понял, что между этим зданием на набережной и тем, на окраине Москвы, пробежала какая-то кошка.

- В два часа возвращайтесь. Пропуск будет, - буркнул рыжий майор, ныряя с головой к открытой тумбе стола.

- Слушаюсь, - поднялся Курчев и оттого, что был без шапки и козырнуть, естественно, не мог, больше обычного сутулясь, вышел вразвалку из кабинета.

- Ну как? - спросил Герой, от любопытства даже поднимаясь перед лейтенантом, будто Курчев был его временным начальством.

- Ничего. Хана, - мотнул головой Борис, решив, что в демобилизации отказано, а вызов на два часа грозит чем-то худшим, чем отказ в демобилизации.

- Ну и ну, - покачал бритой головой Герой.

"Еще счеты на мне начнут сводить с окраиной", - подумал лейтенант, не задерживаясь возле капитанов.

Перетянувшись в гардеробе портупеей, он выскочил на холод мартовской набережной, и первое, что пришло ему в голову, - позвонить переводчице. Не почему-нибудь, а просто он знал, что другого случая зайти к ней не будет, да и на набережной сильно дуло. Через проходные дворы до переводчицы было минут пятнадцать ходу.

Теперь, сидя с ней рядом на кушетке, он почти жалел, что завалился сюда. Псевдовосточные шаровары вместе с такой же блузкой не столько скрывали, сколько обещающе подчеркивали полузабытые Курчевым прелести переводчицы. Сама она была мила, даже нежна, гладила лейтенанта по щеке и, нисколько не страшась последующего, прижималась грудью к его плечу.

- Мне к двум туда, - показал он свободной рукой на потолок, то ли извиняясь, то ли наперед оправдываясь за грядущую неудачу. После переводчицы женщин у него не было.

"Эх, не надо было сюда заявляться", - вздыхал про себя, а

между тем, несмотря на разговор с майором Поликановым и на недобрую память о ночах с переводчицей, его не на шутку стало разбирать. Он впился в отдающие табаком и лимоном губы Клары Викторовны, и его руки уже сминали псевдовосточный шелк, высвобождая из-под него довольно крепкие и большие груди и бедра.

- Ну, ну, лучший друг, - неестественно хихикала женщина, то ли сопротивляясь, то ли раззадоривая лейтенанта.

Ему был неприятен ее резковатый визжащий голос, но он уже перешел ту черту, когда можно остановиться и отсесть на край кушетки.

"Полгода - не хрен собачий, - плыло в размякшем, вялом мозгу. Полгода... Чёрт... Сейчас опять сорвешься. Зачем я пришел? Надо бы скинуть сапоги. Все-таки я подонок... Так нельзя".

Было как-то не по себе оттого, что голова, хоть и вяло, но работала как-то отдельно от тела. Голова думала о своем, меж тем как тело все переместилось в низ живота и ждало полного и быстрого исхода.

"По-собачьи. Ну и подонок ты, - ползло в голове. - Подонок... Инге звонил... Влюбленный. Подонок. Надо бы раздеться. В два - к майору Поликанову".

- Ну, ну, лучший друг, - задыхалась переводчица. - Ну, опять торопишься, - уже не хихикала, а жестким недобрым шепотом дула лейтенанту в ухо.

Навалясь на нее всем своим пятипудовым весом, лейтенант закрыл глаза, чтобы не видеть это сероватое в черных точечках, такое богатое и такое нелюбимое, но сейчас позарез нужное ему тело переводчицы.

- Ну, ну, - хрипела женщина, позабыв прошлогодние мучения и надеясь на удачу. - Ну, лучший друг, - больно укусила его выше расстегнутого ворота. Теперь, когда они совсем слились, Курчева забило, как молот, и ему казалось, что било долго, дольше чем всегда и, упираясь коленями в кушетку, он надеялся, что и Кларе посчастливится и удастся, что никогда на юге не удавалось. Но тут в нем что-то рухнуло и он повалился рядом с ней, усталый, тяжелый и беспомощный, как после часового марш-броска в противогазах. Сквозь смеженные веки он видел, как недовольно, совсем как капризная девчонка, дернулась большая, сбитая, как Брунгильда, переводчица и, вскочив с кушетки, бросилась в коридор. Видимо, в квартире никого не было.

- Подонок, - сказал Курчев вслух. - Подонок.

Вид у него был, как у побитой собаки, да и чувствовал он себя собакой.

"Не надо было сюда заваливаться. Померз бы у парапета или

в столовку сбегал".

Отогнув рукав кителя, он взглянул на круглые часы "Победа". Времени было час с тремя минутами.

- Она ведь тоже человек. Не надо было, - пробормотал печально, прислушиваясь к тихому шуму воды, который проникал из коридора через незахлопнутую дверь.

- Влипнуть боится. - Он встал с тахты и пошел на звук шумящей воды.

Квартира была небольшая. Кроме двери, из которой он вышел, была еще одна, наглухо закрытая, видимо, соседская, да наискосок распахнутая дверь в кухню, да еще две узкие полудвери, видимо, от служб, за одной из которых шумно текла вода.

Он постучал в узкую дверь. Вода лилась с той же силой. Он вновь постучал и вдруг понял, что дверь не заперта. Переводчица стояла под душем. Ее прежде сероватое тело теперь белело в полутьме ванной комнаты, освещенной лишь мелким тусклым оконцем. Ванны не было, вместо нее на полу лежала большая решетка.

- Промокнешь, лучший друг, - сказала переводчица. Голос ее сквозь шум воды казался усталым, но не раздраженным. Она стояла спиной к двери.

- Ты что? - обернулась, услышав стук сбрасываемых сапог. - Что ты, лучший друг?

- Завидно, - усмехнулся он, подавляя остатки стыда и скидывая армейское белье быстро, как года два назад в банные дни училища, когда спешил занять прежде других место под душем.

- Ополоумел, - засмеялась переводчица, когда он стал за ее спиной. Щекотно. Часы сними, чижик.

Он стащил с руки уже намокшие часы и бросил их в раструб сапога.

- Щекотно, - повторила переводчица. Он обнял ее сзади, ласково, без желания. В серой тьме душевой тело ее казалось лучше, да и лейтенант не присматривался к нему, блаженно стоя под широкими струями воды, которая смывала невыспанность, провал с демобилизацией и конфуз на кушетке.

"Как лошади", - пронеслось в мозгу сравнение без стыдливости и без скабреза. Он стоял за спиной женщины, приникая к ней, врастая в нее, и желание хоть и росло, но росло медленно, плавно, без толчков, и пока что жалости и ласковости было в нем больше, чем остального.

- Лучший друг, лучший... - шептала женщина, водя его рукой по своей груди, животу, бедрам, везде-везде, нежно распаляя его

и грубо себя.

Под льющейся водой тело ее казалось непривычно радостным, возможно, оно таким было впервые со времени их близости. Сейчас в нем не было ни обиды, ни раздраженности, а только нежность и истовость. Курчев это чувствовал грудью, животом, низом живота, по-прежнему стоя сзади женщины, которая, не выпуская его руки, склонялась к стене, пока не оперлась на трубы, что поднимались к горловине душа.

Так он ее и взял, бережно и ласково, все еще испытывая больше жалости, чем страсти, и по-прежнему недоумевая, почему она так счастлива. А она была счастлива, вздрагивая, вскрикивая и замирая в шуме льющейся воды, и необыкновенно нежна потом, когда переборов истому, вытирала его, как ребенка, огромным махровым, по-видимому, немецким полотенцем.

25

- Банная идиллия, - снова стыдясь, бурчал про себя Курчев. Но ощущение скромного довольства не покинуло его, когда в полной выкладке, в шинели, перетянутый офицерским ремнем, он прощался с ней в дверях. Соседей не было, и переводчица больно целовала его в заросшее двухдневной щетиной лицо.

- Приходи, лучший друг. Как открутишься, сразу приходи. Ладно?

- Хорошо, - кивнул лейтенант, вовсе не уверенный, что удастся открутиться.

Он сбежал по лестнице. Ветра возле дома Клары Викторовны было меньше, чем на набережной, и Курчев пошел не торопясь. Он все равно уже опоздал. Ноги работали в сторону набережной, а голова думала о переводчице, точнее о биологии, которой он никак не мог понять.

"Вот она, жалость. Жалость и человеколюбие. Силой ничего не достигнешь. Да и сила не так, чтоб велика, а жалость города берет... усмехнулся на ветру. - Ну, города не города, а все-таки она человек и ей было хорошо. А мне? А мне так... Конечно, хорошо, потому что и ей, вернее, из-за нее... Тьфу ты, запутаешься! Главное, не с кем про это потолковать. Гришка уехал. Да и, может, разговаривать про это не надо. Никто не поймет. Еще вот так раз удастся и втюришься, влюбишься - и конец тебе... И тоже хорош. Не поговорил о ее делах. Ей ведь в больницу ложиться. Придется вернуться. А страшно. И стыдно как-то. Всё не то... И вдруг еще втюришься и прощай, всё. И рефераты, и аспирантка..."

"Об аспирантке раньше надо было думать", - перебил себя.

"Да, с Ингой не вышло. Не помогла... - Он снова вспомнил, что письмо в Кутафью башню не сработало. - Теперь зароют меня

у Ращупкина на двадцать пять лет и конец. Амба, Борис Кузьмич".

"Вот и остается жалость и человеколюбие - религия рабов", - свернул в длинную и тихую улицу, где ветер шумел только вдоль первых двух домов. Навстречу часто попадались военнослужащие, и Курчев механически отмахивал замерзшей ладонью. Здесь, вблизи набережной, замызганные и местами рваные перчатки надевать было неудобно.

"А что - раб и есть раб, - спорил с кем-то невидимым, морщась оттого, что сводило пальцы. - Раб не обязательно хам. Я не выбирал рабства. Так уж вышло без меня. Да и не фокус быть вольным на свободе. Ты вон свободным будь, когда давят со всех концов. Ничего плохого нет в человеколюбии. Ты пожалеешь, тебя пожалеют. Можно на Кларке жениться и в часть потащить. Только обхохочут ее там. Чертовая биология. Не могу запросто относиться к этой штуковине. Переспишь днем, а уж на всю жизнь жениться тянет. Да и добро бы по любви, а то так - из проклятой совести".

- На всех не переженишься, - сказал, пробираясь между полуразрушенных бараков к набережной Москва-реки. Снова задуло отчаянным холодом и, уже не размышляя о гуманизме, Курчев потрусил вдоль парапета к зданию, где должна была решиться его судьба.

Он опоздал на сорок минут, и в коридоре из четырех капитанов сидело только двое.

- Тебя уже вызывали, - сказал самый говорливый, тот, что хотел курить.

Курчев молча кивнул и, не постучавшись, толкнул дверь кабинета. В комнате прибавилось народу. Кроме толстого майора и Поликанова, за третьим столом восседал маленький подполковник, а сбоку от него на стуле Герой Советского Союза. Толстый майор тоже был занят одним из капитанов и только Пеликанов был свободен и читал журнал "Советский воин", держа его стоймя, как газету в вагоне метро, когда не желаешь уступить место женщине.

- Начальство задерживается, - поглядел с интересом на Курчева. - Позже не мог? - пробурчал недовольно, будто только ради него сидел в кабинете.

- Виноват, - сказал Борис и, не ожидая приглашения, сел у стола.

- Значит, сами четвертый? - спросил за спиной лейтенанта маленький подполковник. Жена и двое девочек? Старшая, 38-го года рождения, Наталия Федоровна?

- Так точно, - ответил Герой.

- Погодите, товарищ капитан, что-то не то... - шелестнул

страницей за спиной Курчева подполковник. - Вы ведь сами Игнатий Сергеевич? Накладка?

- Нет, все правильно, - глухо и, видимо, краснея, ответил капитан, и Курчев с трудом удержался, чтобы не обернуться. - Я на вдове женился.

- А, понятно. - Подполковник, чувствуя, что все в комнате прислушиваются, сбавил голос.

Майор Пеликанов, который тоже заинтересовался семейным положением Героя, хитровато подмигнул Курчеву: мол, вдова в порядке, а? - и достал из папок, лежащих стопкой на столе, курчевское личное дело в розоватом картонном переплете.

- Так. Борис Кузьмич, - протянул он. На внутренней стороне картона Курчев увидел высунувшееся из белого бумажного кармашка свое фото, размером 9х12. Тесный казенный китель, в котором фотографировались по очереди курсанты всех четырех взводов, вкупе с четырехмесячными усами и еще довольно густой прической отдавали чем-то прошловековым, гусарским. Курчев, который в жизни никогда не был хорош, а сейчас менее всего походил на армейского ухаря, поневоле залюбовался фотографией. Майор, поймав его взгляд, затолкнул снимок в кармашек.

- Показуха, а? - подмигнул, как бы намекая, что между сидящим у стола лейтенантом и фотоснимком нет ничего общего. После обеда майор несколько подобрел.

"Может, вроде меня, к какой-нибудь знакомой сбегал", - подумал Борис.

- Чего опоздал? У бабы был? - словно подслушал лейтенанта, спросил рыжий майор.

- Ага. - Курчев продолжал улыбаться.

- Вот еще потаскун на мою голову, - пробурчал майор и начал негромко читать личное дело техника-лейтенанта Курчева Бориса Кузьмича. Вопросов в анкете было много, и вопросы были длинные, зато ответы удивительно немногословны. Только пункт "образование" привлек майора.

- Да, не соответствует. На гражданке вы - академик, а у нас - курям на смех.

- Так точно.

- Не участвовал, не находился, не привлекался, не имею, не имею, не имею, - медленно читал майор выведенные четкой тушью ответы. - Холост, наконец, дошел он до семейного положения, - а пишете - женат.

- Никак нет, - усмехнулся Борис. - Собираюсь только.

- Или ошибся? - пролистнул майор дело. К задней обложке было подколото тонкой скрепкой курчевское письмо в Совет

министров.

- Вот, - майор отцепил два листа послания, и Курчев пожалел, что не нацепил в коридоре очков. На первой странице наискось уверенно была определена толстым синим карандашом его судьба, а как определена, он по близорукости прочесть не мог.

- Сиди, сиди. Это не для тебя, - заметив потуги лейтенанта, облизнулся майор и положил страницу текстом вниз. - Да, не женат, - проглядел он вторую. - Собираешься. У нее был?

- Ага, - соврал Борис.

- А чего, чудак, с образованными связываешься? Образование, лейтенант, еще не вещь. Это вон у Затирухина с академиями носятся. Технических набрали и нос дерут, - хмуро пробурчал рыжий Пеликанов, и Курчев понял, что у самого майора с образованием туго и (что для Курчева было куда важней) тут, на набережной, их армию не любят, завидуют ее особому положению, слегка боятся и всегда будут готовы безнаказанно насолить ее командованию.

- Образование - хрен без палочки, - повторил майор, и Курчев тут же согласился:

- Я им и говорю, а они держат... У меня курсы всего, а техника там... сами знаете, - невинным взглядом поглядел на Поликанова, понимая, что тот "овощехранилища" даже во сне не видел.

- Слышал, знаю, - отмахнулся майор. - Показуха одна. Показуха и сплошь разгильдяи. Вон, вроде тебя, - он провел себе по гладко выбритой щеке. Или его раздражала небритость Курчева или у него плохо росла борода.

- Предложено с вами разобраться, - сказал майор. - Предложено, повторил, и у Курчева сжалось сердце от тоски и унижения.

Этот щуплый, рыжий, ничтожный армейский чиновник лениво проглядит разные байки в тонком военном журнале, попробует решить кроссворд, зевнет и, как ему на душу ляжет, так и напишет в докладной: отпустить или оставить. И все. Будь ты разгениальный, или раздерьмовый, будь ты злой или добрый, холостой или женатый, русский или татарин, молодой или старый - все одно. Как этому рыжему и щуплому покажется, так и будет. Жаловаться некуда, писать некуда. Год назад был Сталин. Был Сталин и как Сталин хотел, так оно и было. Сталин менял, кого вздумается, переставлял, сажал, пускал в расход, возвращал из лагерей, снова сажал, выселял целые республики - все было правильно, потому что это делал Сталин. Никто не кочевряжился. Все соглашались и даже аплодировали. И вот год, как Сталина нет. Стали армию распускать. Налог селу наполовину скостили. В

Корее замирились. Все вроде идет не хуже, чем при вожде. Даже бумаги втрое быстрей ходят. А сидят вместо Сталина такие вот щуплые и рыжие.

"Напоить его, что ли? - раздумывал Борис, глядя на майора. - А как? Гришка бы придумал. А я - тюфяк..." и от чувства собственной никчемности, бессилия и зависимости от этого плюгавенького человечка лейтенант вместо того, чтобы заискивать, злобно и затравленно глядел на майора.

- Ну, и разобрались? - пустил вопрос, как сигаретный дымок, сквозь сжатые челюсти.

- Разберемся. Не ершись. У меня все. Можете быть свободны.

Курчев поднялся, понимая, что дела его швах. Но потому, что терять уже было нечего, он вложил в голос и в скривившееся лицо сколько возможно было презрения и брякнул:

- А подполковнику Затирухину, что передать, товарищ майор? Товарищ подполковник просил его в курсе держать, потому что, если не уволите, обещал меня со света сжить.

- Можешь послать своего Затирухина, - усмехнулся майор, и лицо у Курчева мгновенно просияло. - Если спросит, скажи - без него решат. А ты позванивай. Почта пока еще до вас дойдет. А я тебе по проводу скажу, подписано уже или нет. Бывай. Счастливо, - привстал майор и протянул руку не помнившему себя от счастья лейтенанту.

26

Ожидая Курчева и добродушно поругивая армейское начальство, которое для каких-то своих глупостей задерживало технического лейтенанта, Клара Викторовна убралась в комнате, приоделась, надушилась, накрасила губы и устроилась в кресле. Настроение у нее было совсем вокзальное, будто сейчас подойдет счастливый поезд и она полетит на нем, полетит невесть куда, да и неважно куда, а просто ей будет очень и очень хорошо.

Курчев не звонил, но Клара Викторовна сидела в кресле чинно и строго, словно была не в своей комнатенке, а в огромном зале ожидания и на нее глядели тысячи мужских и женских глаз и пытались догадаться, кто она такая, куда едет и кого ждет. А она сидела в кресле (собственно, это было собранное кресло-кровать) нарядная и таинственная, равнодушная к любопытным взглядам бесчисленных мужчин и пронзительно-завистливым и оценивающим взглядам женщин.

Она сняла с полки томик Томаса Манна (не будешь же при всех на вокзале читать арабские сказки).

Это были "Признания авантюриста Феликса Круля", самый легкий из манновских романов, единственный, который она одолела до конца. Кстати, конца до сих пор не дописано, хотя,

кажется, старичку скоро восемьдесят. Сегодня эта книга наиболее соответствовала ее игривому настроению.

Молоденький лифтер уже стучался в номер жены фабриканта унитазов, назревал самый волнующий эпизод романа, и как раз, отвечая состоянию Клары Викторовны, в коридоре весело прозвенел звонок.

Переводчица медленно и спокойно, словно она в самом деле находилась в зале огромного вокзала, положила раскрытый томик Манна страницей вниз на подлокотник кресла-кровати и вышла деловой походкой на высоких каблуках в коридор.

Ходят женщины разные,

Как изящны их талии...

- все-таки не выдержала она роли и пропела, возясь с английским замком.

- Это я, - сказала Марьяна. - Извини. Пятиалтынного не было. Мне в петлю лезть, если выгонишь...

В руке у нее был клетчатый чемодан.

- Что? - округлив подведенные глаза, уставилась на подругу хозяйка.

"Ох, некстати, - подумала про себя. - Не надо им тут встречаться. Наговорила я про Борьку всякого, а он все-таки ничего... Нет, не надо сегодня никого третьего..."

- Снимай свою белку, - сказала Марьяне, стараясь не выказывать огорчения. - Смотри, вполне носится, - погладила буро-сероватый мех.

- Скорей я сношусь. Бр-рр, холодно, - съежилась Марьяна, входя в комнату и валясь в кресло. Томик Манна, загибая страницы, мягко упал на пол.

- Извини. Что это? Ни бельмеса я по-гитлеровски. А, про официанта? Помню. Распаляет.

- Брось, - улыбнулась Клара Викторовна. - Что у тебя такое?

- От Алешки ушла. Да, да. Ушла и ушла. У тебя поживу недельку. Это ведь раздвигается? - хлопнула по креслу.

- А через неделю вернешься? - Клара Викторовна пыталась придать разговору шутливый тон.

- Не волнуйся. В неделю что-нибудь себе приищу. Осенью в аспирантуру пойду. Если в Университет, общежитие дадут. Или Сеничкины расщедрятся, чего-нибудь выделят. Все-таки я прописана.

- Клюкнуть хочешь? - спросила переводчица. Она все еще надеялась, что подруга отогреется и уйдет. Уже пора было бы возвращаться техническому лейтенанту.

- Хочу, - кивнула Марьяна. - А ты чего-то сегодня нарядная, расфуфыр! Ух... А ну повернись. Какая-то, чёрт возьми, особенная.

Случилось что?

- Да нет, так... - отмахнулась и тут же зарделась Клара Викторовна.

- Ну, говори. Вижу, что сказать распирает...

- Нет, ничего. Ровным счетом ничего.

Она достала из немецкого шкафа-буфета заткнутую пробкой начатую бутылку коньяка, рюмки, блюдца, сухарницу с печеньем и маленькое блюдце с нарезанными ломтиками лимона.

Ходят женщины разные,

Как прекрасны их талии,

- снова напевала, вертясь в тесной комнатенке на высоких каблуках.

Так прекрасны их ноги,

Цвет лица и так далее...

- улыбаясь, подтянула Марьяна:

И с эпохи язычества

Чудеса мироздания!

В них первична материя,

И вторично сознание.

И такое создание

Вам закатит истерику,

Если дать ей сознание

И не дать ей материю.

- Нет, честное слово, ты сегодня на себя не похожа. Каблуки. На бал, что ли, позвали? Сто лет на танцах не была, - вздохнула Марьяна. - Ну, не темни. Хочешь меня напоить и выгнать на западный манер? Не старайся. Все равно останусь. У меня дела - швах.

- У всех у вас дела швах, - сказала переводчица. - Все приходите и плачетесь, а посмотришь на вас - кровь с молоком. В доноры вас гнать надо. Амба, швах... - наморщив нос, передразнила Марьяну, а заодно и лейтенанта, который невесть где пропадал.

- Не кладут в больницу?

- Положат. Успеется... Что у тебя с Алешей?

- Ну и не ложись, раз такая красивая, - пропустила вопрос Марьяна. Выпьем, Кларка, за твое счастье и мой швах. Честное слово, швах!

Она поставила рюмку на блюдце.

- Ты опаздываешь или ждешь?

- Не знаю.

- Ну, тогда я погреюсь и куда-нибудь подамся. А что у тебя, серьезно?

- Не знаю. Пока - это хорошо.

- Ого. Рада за тебя, Кларка, хотя, честное слова, надеялась у тебя прикорнуть. Хоть бы Борька скорей получил свою халупу. У него бы пожила.

- Лейтенант... - покраснела переводчица.

- Он, - кивнула Марьяна. - Мне ведь с ним не спать. А халупа все равно пустая стоять будет. Мачеха с семейством выезжает.

- А я и забыла, что он москвич.

- Он далеко пойдет. Вернее пошел бы далеко. Жалко, что у тебя с ним так... Не вышло... в общем. Вчера его у Крапивникова видела. Ничего, вписывался.

- Я его не ругаю, - повеселела переводчица. - Просто чижик еще. А воспитывать было некогда. Вот, если снова москвичом станет, тогда... - она допила рюмку и облизнула губы.

- Бог в помощь, - усмехнулась Марьяна. - Мы теперь с ним друзья по несчастью. Он, бродяга, в Лешкину пассию втрескался.

В дверь позвонили.

"Вот поймаю ее на вранье", - подумала Клара Викторовна, выходя в коридор.

Но это был не лейтенант, а разносчица телеграмм.

НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ СЛУЖБУ ИЗВИНИ ОБНИМАЮ БОРИС напечатано было на бланке. Отправлена телеграмма была час назад из того самого городка, который значился в курчевском адресе.

- Можешь оставаться, - сказала Марьяне, возвращаясь в комнату за рублем для разносчицы. - Он не приедет.

- Соболезную. А кто - он? - спросила Марьяна и тут же бесцеремонно развернула сложенный вчетверо бланк. - Смотри, к ней поехал! - засмеялась она.

- К кому к ней?

- К Инге. К Лешкиной пассии. Она от любовных печалей скрылась в доме отдыха под ...

- Ты всегда что-нибудь насочинишь.

- Да нет. Разведка доложила точно. Бедная девчонка. Она там на лыжах ходит, а мой бедный сохнет здесь.

- Все ты знаешь, во все лезешь, - недовольно протянула Клара Викторовна. - Чего ж ты за ним следишь, а сама от него уходишь? Надоели, Марка, твои фокусы. Всех оклевещешь, сама расхнычешься, а окажется - одни пустяки.

- Как сказать. Мне не пустяки. Мне вот так, - она резанула ладонью выше груди. - Мне вот так все обрыдло. И я не люблю Алешку, и он меня. И никого я не ругаю. А если тебе жаль этого кресла, так и скажи, - она подпрыгнула на сидении, как девчонка.

- Я про другое, - сморщилась Клара Викторовна. - Я про лучшего друга. Он сегодня заходил и был совсем другим.

- Сегодня Левочка был нежен, как писала в дневнике Софья Андреевна, усмехнулась Марьяна. - Нет, Кларка. Не втрескался он в аспирантку. Они и виделись всего раз. Это мой дурак в нее врезался, да так, что и не спал с ней. Вот чудило-чумичело. А Борька здесь ни при чем. Да и, кажется, это его адрес. У Кости Ращупкина вроде тот же город.

- Это его адрес, - гордо сказала переводчица.

- Да, наверно, там полно вояк, а дом отдыха ни при чем.

- Конечно.

- Только Борьку мне не испорть, - сказала Марьяна.

27

Весь вспотевший от неожиданной удачи Курчев выскочил на набережную, и тут же у входа в здание был остановлен артиллерийским подполковником, который минут десять выговаривал ему за незастегнутую шинель. Потом подполковник перешел к нечищенным пуговицам и невыбритой физии. Борис молча стоял на ветру, вспоминая все, слышанные за четверть века ругательства, а подполковник пилил его, как теша.

"А, впрочем, спасибо старому хрычу, - вдруг улыбнулся Курчев. - Второй раз буду аккуратней", - решил про себя и, бухнув вслух: - Слушаюсь, ссутулясь от ветра, быстро пошел вдоль парапета в сторону метро. - Глядеть надо, а то загремишь напоследок. Теперь все. Улицу по шашечкам переходить буду.

О переводчице он не вспоминал. Встреча с подполковником сбила пену радости, и теперь голова работала ясно и четко, как на экзамене. Он вышел из метро на Комсомольской площади, взял билет до своей станции и вдруг решил зайти в контору к мачехе, благо это было рядом, в полкилометре, сбоку от путей.

- Елизавета Никаноровна, к вам лейтенант! - закричало несколько девчачьих голосов, когда смущенный Курчев спросил, где можно отыскать инженера Скатерщикову.

Мачеха вышла из шумной комнаты в холодный полутемный коридор, где рядом с огнетушителем и титаном стоял ее великовозрастный и небритый пасынок.

- А я вас и не узнала, - сказала сощурившись, хотя не была близорукой. Просто все двери в коридор были открыты, и за встречей сомнительных родственников с интересом наблюдала не одна пара глаз. Елизавета Никаноровна последние дни в связи с переездом, покупкой мебели и прочими хозяйственными заботами являлась на работу наскоками и ей не хотелось привлекать к себе лишнее внимание.

Лет ей было под сорок и выглядела она даже в этом полутемном коридоре никак не моложе, хотя, видимо, за собой следила. Губы были намазаны и крашенные пергидролем волосы

старательно завиты. Но пальтишко с меховым под котик воротником, накинутое на плечи, было явно третьего срока носки. Пятнадцать лет назад в Серпухове техника Лизку называли не иначе, как "эта фря" или "эта бляха", - что вызывало у Борьки невольное к ней уважение и немалое любопытство. Но сейчас в темноватом коридоре стояла перед ним измотанная работой и семьей немолодая слегка запуганная женщина, которая, по-видимому, давно не гуляла и мечтала нравиться одному лишь Михал Михалычу. Удавалось ли ей, того Курчев не знал.

- Я телеграмму пошлю, Борис Кузьмич, - сказала инженер Скатерщикова. Но если вам сразу не отпроситься, не волнуйтесь. Я замок навешу, а ключ вот, - мачеха достала из внутреннего кармана пальто кожемитовую держку для ключей и отцепила от нее самый большой, черный и уродливый ключ. - Вот у вас и свое жилье, - нерешительно улыбнулась.

- В нашу комнату въезжает. Ордер уже выписывают, - объяснила проходящему мимо толстому и облезлому мужчине.

- Везет людям, - хмыкнул тот, мрачно взглянув на лейтенанта.

- Везенья мало, - вздохнула мачеха. - Но, говорят, я вам писала, ломать будут. Может, повезет тебе, Боря. Увольняться из армии будешь?

- Ага.

- Ой, не надо бы. Служи уж, где служится. В партию так и не вступил?

- Нет, Елизавета Никаноровна.

- Вступай. А если опять характеристика для чего-нибудь нужна, я напишу. Может, пригодится теперь.

- Спасибо, - сказал он, тронутый ее вниманием и помощью. - Спасибо. Если нужно будет, обязательно попрошу. В тот раз мне больше никто не дал.

- Теперь дадут. Ты вон какой... - она поискала слово и, наконец, найдя, сказала: - ...положительный... Только бриться надо.

Видимо, объяснив сослуживцу, кто такой лейтенант, она уже не стеснялась.

- Спасибо за все, - пожал ей руку Курчев и вышел на станционный двор.

"Все идет - ол райт, - сказал самому себе.- Только бы на патруль не напороться. А то тоже с парикмахерской пристанут".

Но на дачной платформе патруля не было. Он благополучно влез в электричку и сел у окна. Мысли были легкие, почти пушистые. Они пьянили и усыпляли. Он не заметил, как электричка отошла от перрона, а когда открыл глаза, она уже

стояла в районном городке и в вагоне никого не было.

"Вот чучело", - вздохнул Борис, но не рассердился. Ему по-прежнему было весело. Он вышел на дощатый перрон, взмахнул несколько раз руками, как на физзарядке и даже выжался на перилах лестницы. Сонливость прошла, а веселость не убывала.

Сразу за вокзалом стояла почта с переговорным пунктом, где ефрейтор Гордеев когда-то покупал лейтенанту талоны. Проснись лейтенант раньше и не топчись на платформе, он, может быть, столкнулся бы в дверях почтового отделения с аспиранткой. Она только что вышла оттуда в охапку с лыжами, прошла до шоссе и побежала вдоль обочины в другую от полка сторону - к дому отдыха.

Зайдя в почтовое отделение, Курчев решил было заказать Москву, но потом подумав, что врать сложно, подошел к телеграфному окошечку и написал ту самую телеграмму, которую спустя полтора часа получила Клара Викторовна.

"Мне, правда, пора в полк", - вздохнул и вышел на шоссе. Машин было немного и все они шли в Москву, а на "военку" никто не сворачивал. Проголодавшись и озябнув, лейтенант вернулся на почту и попросил телефонистку соединить его с полком.

- "Ядро"? Черенкова дай. Ты, Черенков?

- Я, товарищ лейтенант, - почему-то обрадовался дневальный. - Письмо вам тут есть. Из Ленинграда.

- Хлебная машина вернулась? Через день полк отправлял фургон за полста километров на хлебозавод.

- Нет еще. Сегодня позже вышла. Застукаете, товарищ лейтенант.

Курчев отдал телефонистке трубку и зашел в соседнее здание. Это была столовая, которая по вечерам превращалась в ресторан. Сейчас как раз наступил пересменок и в зале было пусто. Лишь в углу сидело несколько танкистов. Курчев тут же пожалел, что сдал гардеробщику шинель. Встречи с чужим родом войск в лучшем случае кончались неприятными разговорами, "толковищем", как выражались офицеры холостяцкого домика, завсегдатаи районной ресторации.

- Сто грамм и два бутерброда, - сказал, подходя к буфету.

Худая буфетчица с кривым ртом и большим родимым пятном возле глаза, поняв или почувствовав испуг лейтенанта, быстро налила и бросила на тарелку два куска хлеба с семгой.

- Технарь, дуй сюда, - раздался голос из-за спины.

- Некогда, - не оборачиваясь бросил Борис и пальцем показал буфетчице на стакан. Понимая, что от драки не отвертеться, он старался потянуть время и медленно дожевывал бутерброд. Все могло кончиться крупной гауптвахтой.

- Мандражирует, - засмеялся за спиной тот же хамоватый пьяный голос.

- Трухает, заправляется, - поддакнул второй, пожиже. Наверно, это сказал щуплый танкист, сидевший лицом к дверям.

- Да что с него, очкарика?! - протянул третий голос, порассудительней.

- А чёрт!.. - не то рассердился, не то обрадовался Борис. Он забыл, что выйдя на шоссе, нацепил очки, чтобы видеть, свободно ли в кабинах грузовиков, а в гардеробе, когда очки запотели с мороза, он, протерев их невыглаженным платком, не сунул в карман, а машинально воротил на нос.

Он расплатился, вышел в коридор и взял шинель у гардеробщика.

- Слепнешь, привыкаешь, - промычал, перетягиваясь ремнем. - Ну и правильно. Нечего тебе тут делать. Сматываться надо.

Он стащил очки с носа и с обидой вспомнил, как два с лишним года назад в приазовской степи, когда батарея шла походной колонной, вдруг вырулил со стороны моря и повис над дорогой маленький пассажирский самолет. Была отдана команда "По штурмовику", но Курчев, будучи первым номером, беспомощно мигал в окуляр, потому что засунул очешник в рюкзак, а тот трясся где-то позади на "студебеккере" взвода управления.

В тот день рядовой Курчев был обруган интеллигентом и засранцем и с позором переведен из наводчиков в старшие телефонисты. Сейчас, наоборот, очки выручили его.

Он выскочил из ресторана и чуть не наткнулся на маленького Секачёва, который важно вылезал из большой хлебной машины.

- Ты как тут, чума?

- Поворачивай, - сказал Курчев. - Комбайнеры там.

(Комбайнерами называли офицеров танковой части.)

Секачёв с сомнением сдвинул ушанку к затылку, обернулся, поглядел на шофера и большой фанерный кузов хлебной полуторки.

- Много? - спросил.

- На тебя хватит.

- А на тебя?

- Мне теперь ни к чему. Я не буду, - твердо сказал Борис.

- Ладно, лезь в кузов. Не упрей только. Горячие, - не теряя важности, сказал Секачёв.

Курчев обошел полуторку и стукнул в дверь. Дверь раскрылась и высунулась рука в большой брезентовой рукавице.

- Залезайте, товарищ лейтенант, - раздался голос почтальона Гордеева.

Борис схватился за притолоку хлебной будки и неловко вскарабкался в кисловато-теплую ржаную темноту машины. Гордеев и двое солдат, привалясь спинами к буханкам, лениво жевали хлеб с луком.

- Хотите, товарищ лейтенант? - спросил почтальон.

- Спасибо, - отмахнулся Курчев. Он знал, что хлеб и лук не казенные. Их всегда совали солдатам сердобольные женщины с хлебозавода. Но ему после Дня Пехоты не хотелось разговаривать с ефрейтором. Он забрался в свободный от буханок угол и попытался вздремнуть. Но сильно трясло, в щели било холодом, и Курчев успокаивал себя, что, слава Богу, недалеко, столько-то километров, поворот, восемь километров, опять поворот, а там КПП, письмо от Гришки, натопленная финская фатера и сон до развода.

Солдаты, не обращая внимания на чокнутого идейного лейтенанта, лежали на буханках, как на сене, разве что подбирали под шинели смазанные соляркой сапоги.

Через час, когда распаренный от еды и чая Курчев уже спал под одеялом и шинелью, Ванька Секачёв неодобрительно бормотнул в своей комнатенке:

- Храпит, сука.

Ваньке не спалось. С делом отца ничего не вытанцовывалось и академия тоже не клевала. Был март. Надо было серьезно садиться за учебники, но все что-нибудь мешало, то вот погнали не в очередь с хлебной машиной, то вчера пристегнули к нему пятерых гавриков из зимнего набора - обучать электричеству и радиотехнике.

"Дармоедов до хрена. Вот один храпит. Толкнуть его, что ли?!"

Но подыматься с койки и босиком ступать по грязному полу было лень, и Ванька еще долго думал о своей жизни, о дурне-отце, который так глупо влип с кожей, и о танкистах, с которыми задирался в районном городке.

"Нет, этот год не проханже..." - решил про академию и тоже заснул.

Финский домик, понемногу выстывая, наполнялся дружным храпом и запахом молодых мужских тел, очень похожим на запах солдатской казармы, но все-таки не таким откровенным, потому что койки были в один этаж и стояли пореже.

Конец второй части

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Восьмого марта, в понедельник, в доме отдыха устраивали бал, который ничем не отличался бы от обычных вечерних танцев,

если бы не появились танковые офицеры и артиллерийские техники, с такими же, как у Курчева, погонами. Проходя по коридору в умывальную, Инга увидела трех танкистов. Они у окна о чем-то сердито разговаривали с двумя техническими офицерами. Инга была немного пьяна, потому что ухажеры кирпичниц принесли в комнату водки с консервами и уклониться по случаю праздника было невозможно. Она была пьяна и потому весела - ах, все равно наша жизнь пропащая! - и, увидя пятерых офицеров, подумала: может, и этот здесь.

- Ну, что вы, ребята, не поделили? - сказала для себя неестественно смело. - Идите в зал.

- С вами - с удовольствием! - ответил один.

- Сейчас, - она прошла в умывальную.

Когда минут через десять Инга возвращалась назад, этот технический лейтенант по-прежнему стоял у окна, танкистов уже не было, а у второго, маленького и лысоватого техника, под глазом оплывал фонарь.

- Поговорили? - улыбнулась Инга.

Она танцевала весь вечер с первым, очень красивым, но не очень разговорчивым офицером, и со вторым, которому посадили синяк и который поэтому был мрачен. Танковые лейтенанты больше не появлялись, и Курчева тоже не было. "Он, наверно, вообще не танцует", - подумала Инга, вспомнив его большие с круглыми головками нелепые сапоги.

Маленький с подбитым глазом офицер разошелся - стал вертеться бойчее (это был Ванька Секачёв) и покрепче сжимать Ингу, отчего ей было только смешно.

"Маленький пыхтелкин", - думала она.

Второй, красивый и молчаливый (Морев), ей нравился немногим больше, но она все же согласилась пройти с ними два километра до городка: вдруг удастся попасть в ресторан.

В ресторан уже не пускали, и они поплелись за ней назад в дом отдыха. Мороз к полуночи закрутил. Инге было жаль лейтенантов, и она гнала их домой в полк. С полкилометра они сопротивлялись, но потом проголосовали на шоссе и влезли в кузов затормозившей трехтонки. Так окончился праздник, и о Курчеве она не спросила.

После 8-го марта отдыхающие ходили с больными головами и опухшими лицами. Денег ни у кого не было. Прострадав два дня, ухажеры кирпичных девах заняли, наконец, у Инги полсотни на позднюю опохмелку, но она пить с ними не стала, а, надев лыжи, побежала вдоль магистрали на почту. Было морозно, но по накатанной лыжне бежать было хорошо. Оставалось всего пять дней и стало жаль ни на что истраченного отпуска.

"А что? Позвоню ему. Поговорим. Может быть, приедет. Кстати, и Теккерея привезет. Тут в библиотеке нету".

Телефонная девушка вскинула голову и неодобрительно поглядела на Ингу, когда та с лыжами подошла к ее окошечку.

- Это чергз "Ядро" надо, - буркнула, услышав адрес части. - Без денег, - отмахнулась от Ингиной трешки. - Сейчас соединю. Страдаешь?

- Есть немного, - в тон ответила Инга.

- На, говори, - просунула телефонистка в окошко нагретую трубку.

- Простите, это "Ядро"?

- Ну, "Ядро". А тебе чего? - ответил ленивый и грубый голос.

- Лейтенанта Курчева, пожалуйста.

- Какого еще лейтенанта? Нет у нас лейтенантов. Курчева? Курчев имеется. А по телефону лейтенантов не бывает.

В трубке на секунду замолчали, потом тот же голос, но гораздо тише спросил:

- Курчева там нету? - и ответил уже спокойней: - Сейчас переключим.

Опять что-то зашуршало, защелкало и бравый голос пропел:

- Рядовой Черенков слушает.

- Курчева можно? - опасливо повторила Инга.

- Курчева? Курчева опоздали, гражданочка. Лейтенант сегодня тю-тю - в отпуск отбыл.

- Куда? - не удержалась аспирантка.

- А вот это он уж вам сказать был должен. Мы не в курсе, - засмеялся рядовой Черенков и добавил потише и поглуше, видимо, кому-то на КПП: - Фря какая-то. Лейтенант ей колун повесил. Страдает.

Инга усмехнулась и просунула трубку в окошко.

- Переживаешь? - спросила телефонистка.

- Да нет. Это несерьезно.

Это, правда, было несерьезно, и Инга расстроилась только выйдя за пределы городка. Теперь ветер дул в лицо и идти вверх по шоссе было трудно.

На другой день в обеденный перерыв пришло письмо от матери:

"Девочка, дорогая!

Не знаю, огорчу тебя или обрадую - раньше тревожить не хотелось. Ты бы кинулась нас провожать, а ездить туда-сюда - не отдых. Так вот, Ингуша, мы с папой завтра уезжаем в Кисловодск. Всё - твоя Полина. Дай ей Бог здоровья! Достала две путевки - заметь, не курсовки, а самые настоящие путевки. Нам дадут отдельную комнату, и отец, наконец-то, по-настоящему отдохнет

и подлечится. Сколько пришлось его уламывать, чтобы добился отпуска. В конце концов согласился попросить в деканате и, представь, его вполне заменили на март и начало апреля, а в августе он отработает в приемной комиссии.

Я очень рада, только немного тревожусь о тебе и еще беспокоит Вава. По-моему, у нее нелады с сердечно-сосудистой. Но ведь ее не расспросишь, вернее, она не ответит. Что поделаешь - возраст! Да и она герой. Все-таки восемьдесят четыре. Иногда мне кажется, что она моложе меня. Но что-то последние дни чаще молчит и нет-нет прикорнет с книжечкой, а читать - не читает. Ты, когда вернешься, не очень ее дразни. Впрочем, ты у меня умная, чуткая, и я это напоминаю тебе так, больше по старушечьей манере поучать. Будь здорова и не куксись.

Крепко тебя целую. Мама

Отец еще в институте, а то бы приписал несколько строк. Он по тебе очень скучает".

Инга перечла письмо дважды, собрала чемодан и, завещав четыре оставшихся ужина и три завтрака и обеда соседкам по комнате, с легким сердцем пошла на станцию. Никто ее не провожал.

"Не пришлась я тут, - подумала, усаживаясь в пустом вагоне. - И там я тоже не ко двору".

"Ну и ладно, ну и прекрасно. Хорошо бы еще Вава куда-нибудь уехала. Мне одной лучше всего. Не нужно ничего - ни диссертации, ни этих болтунов, ни этого в страшных сапогах чудака... 'Колун повесил'", - вспомнила голос дневального Черенкова и рассмеялась.

- Давно надо было уехать, - сказала громко, потому что вагон все еще был пуст.

Под ногами тепло и ласково, как огромная кошка, заурчал мотор, и вагон, всего на четверть наполнясь людьми, качнулся и поплыл в Москву. В отпотевшем окошке среди желтовато-серого снега стали мелькать редкие полузнакомые названия платформ, которые состав проскакивал с изюбриным ревом, как бы сожалея, что не может здесь зазимовать навсегда.

"Спешить ему некуда, - думала Инга, сама торопясь в ту самую Москву, из которой - не прошло и трех недель - как бежала без оглядки. - Переберусь в большую комнату. Буду вставать, когда вздумается... Нет, буду вставать совсем рано и писать буду по восемь страниц в день. А Алеше звонить не буду. И к телефону подходить не буду. Ну, если только случайно..." улыбнулась и тут же прикусила губу, потому что напротив сидели двое солдат, которые могли понять улыбку как заигрывание.

Теперь поезд бежал среди густых елей.

"С Алешей - всё, - думала Инга, хитря сама с собой и надеясь, что еще не всё. - Я себя проверила и вижу, что всё. Да, да - всё! - начала сердиться на кого-то внутри себя. - Это ничего не значит. Бывают рецидивы. Но три недели я о нем не вспоминала. Почти".

Но несмотря на полную неясность и нерешенность отношений с доцентом, Москва манила, Москва притягивала, и еще за три остановки Инга прошла с лыжами и чемоданом в тамбур, где мужчины курили и матерились, но, взглянув в ее обрамленное красным башлыком лицо, конфузливо отворачивались.

В Москве на Комсомольской таяло, но на Домниковке и в Докучаевом снег держался. Весна уже явилась, но еще как бы пряталась, словно непрописанная квартирантка. Перекладывая чемодан и лыжи из руки в руку, Инга торопливо поднималась по переулку, будто кто-то ее нетерпеливо ждал. Но дома было пусто и тихо. Тетка Варвара сидела за шахматной доской, держа на отлете довольно пухлую брошюру. "Ботвинник - Смыслов" - прочла Инга на коричневой в клетку обложке.

- Готовишься? - спросила, подходя к тетке сбоку и осторожно целуя в голубовато-седую прореженную прядь.

- Зачем примчалась? - спросила старуха, оттирая плечом племянницу. Со стороны могло показаться, что Инга ей неприятна.

- Готовишься? - повторила племянница. - Где тут кто? - кивнула на доску, с которой были убраны ферзи и ладьи, и оставалось у черных и белых лишь по слону, коню и по нескольку пешек.

- Не вздумай уверять меня, что тебе интересно, - съязвила Варвара Терентьевна.

- Почему? - засмеялась Инга. - Или я так тупа?

- Нет, ты молода, девочка. А это - для стариков, - смахнула старуха фигуры. - Забава перед вечностью.

- Они еще не старые, - кивнула Инга на обложку брошюры.

- Они - нет. Я - старая. Я теперь мертвая... - качнула тетка головой, пытаясь сбить начавшуюся дрожь.

- Ты-то? - улыбнулась Инга. - Ты у нас воительница.

Но старуха действительно за три недели сдала.

"Это у них бывает, - подумала Инга. - Мы и то не всегда хорошо выглядим".

- Ну, как, выиграет твой Смыслов? - спросила ласково. - Ты меня подучи. Я с тобой ходить буду.

Инга поняла, что отъезд отца, тоже любителя дурацкой, деревянной, прескучной игры, был ударом для тетки. Тетка три года ждала начала этого ничтожного, никому не нужного матча.

Прошлый раз, когда состязались Ботвинник и еще этот, ну, с обычной, очень распространенной еврейской фамилией, тетка не пропустила ни одного дня. Страшно болела за (теперь Инга вспомнила) Бронштейна, считая, что он дурак, но шахматист прекрасный. Вся шипела, горела и жила полной жизнью.

У старухи не было своих денег. То есть была пенсия двести рублей (меньше стипендии первокурсника), но она ее всю, несмотря на протесты матери, вносила в общий котел. На прошлый матч билеты покупал ей отец, а как будет сейчас...

- Не беспокойся. Тошка обо мне позаботился, - прошамкала Варвара Терентьевна.

- А для меня не купил?

- Не ханжи, девочка. Я не рассыплюсь.

- При чем ты? Просто шахматы становятся формой общественного сознания. В шахматах полная демократия и свобода выбора. Я правильно говорю?

- Приблизительно. Только не думай, что оригинальна. Еще Алехин писал, что шахматы расцветают там, где задавлена мысль.

- Вот видишь. Так что быть мне твоей верной личардой.

- Других дел нет? Телефон без тебя не умолкает.

- Кафедра?

- К сожалению, мужчины.

- А... - скривилась Инга. - Что ж, надо быть вежливой.

Она подошла к круглому столику и набрала номер Бороздыки.

- Игорь, вы? Это Инга. Да, вернулась. Прекрасно. А что в ваших палестинах? Так-то и ничего?

Уныло-величественный голос Бороздыки так не гармонировал с Ингиной веселостью.

- У вас что - зубы болят? Ига, я вас тыщу лет не видела. Представляете, тысячу лет одних лыж и леса. Если вы не очень заняты своим Булгариным, я бы с удовольствием встретилась с вами. Выскакивайте на полчасика. Или, хотите, к вам поднимусь?

"Я, - подумала, - навязываюсь..."

- Минут через сорок, - выдавил Бороздыка, не теряя мрачности. Подходите к магазину радио. Если вам все равно, можете проводить меня в сторону центра. Сегодня я впопыхах.

- Ого! - усмехнулась Инга. - Радиомагазин исключительно подходит. Непременно буду.

- А говорит, ничего нового, - сказала, бросая трубку. - Ига - и занят! Это колоссально, джентльмены!

- Это что - тот, стрекулист? - спросила тетка.

Прошлой осенью Бороздыка часто обедал у Рысаковых, занимая старших бесконечными литературными сплетнями.

Сначала он всех очаровал, потом к нему привыкли, заметили его болтливость и явную несерьезность, вскоре он всем надоел. В конце концов он перестал появляться в Докучаевом, и тогда Рысаковы облегченно вздохнули, однако постепенно, втайне друг от друга, стали по нему слегка скучать. Игорь Александрович был какое ни какое, а развлечение в их улиточном быту. Правда, в шахматы, по заверению Вавы, он играл препосредственно.

- Почему стрекулист? - спросила Инга. - Разве он проныра? Хотя и это есть. - Она достала из шкафа махровое полотенце. - Ну и что? Все равно я по нему соскучилась.

- Не простудись, - наставительно буркнула тетка.

2

Через полчаса, замотав по-крестьянски голову шерстяным платком, Инга переходила набитое машинами Садовое кольцо, радуясь и напевая:

Стрекулист, стрюцкий,

Стрекулист, стрюцкий...

Было, конечно, неловко, что вот "стрекулист и стрюцкий", которого не уважаешь, так тебе необходим. Но и эта неловкость тонула в общем водовороте радости, что вот она, Москва, и все в ней новое, и вот он, первый вечер, с гудящими машинами, неоновой темнотой и ожиданием самого-самого по-студенчески необыкновенного.

"Если бы Иги не было, его пришлось бы изобрести", - усмехнулась Инга.

Возле радиомагазина редкими кучками подрагивали на морозе спекулянты, предлагая какие-то мудреные конденсаторы, лампы и дроссели.

- Нет у меня телевизора, - отвечала Инга. Здесь был деловой народ и с ней не заигрывали.

- Это, наверно, - решила, - по части технического лейтенанта. - И на минуту что-то шевельнулось в груди под выворотко й и блузкой, - но тут же подошел Бороздыка в длинном рваном облезлом пальто и в спущенной ушанке.

"Вид у него еще зачуханней, чем всегда, - подумала Инга. - Или я уже отвыкла? Нет, его непременно надо было бы создать, если бы он сам себя не придумал. Очень удобный экспонат. По сравнению с ним ты всегда в форме и благополучии, вся - сосредоточенность и работоспособность".

- Как ваш Булгарин? - улыбнулась, пожимая Бороздыке рукав выше локтя и беря его под руку. - Листа четыре готово?

- Нет, Булгарин подождет. Есть дела поважнее.

- Ого! Интересно, что именно?

- Русская культура. Мы решили спасти ее.

- От кого?

- От всех. От марксистов в первую голову и от Запада - во вторую.

- А! - вздохнула, предполагая, что это очередной Бороздыкин бзик. - А как быть с Тёккереем?

- Так и быть. Теккерёя, по-моему, еще никто не травит, - несколько обиделся Игорь Александрович. - Напишете и защититесь. Сейчас время космополитизма. Скоро откроют журнал абсолютно западной ориентации "Иностранная литература".

- Интернациональная?

- Нет, слава Богу, иностранная. Но все равно - окно в Европу. Дорога на Запад. А что нам от Запада?!

- Кофточки.

- Вам и русское подойдет. Вы очень похорошели, или деревенский платок вам к лицу?

- Спасибо. Но Восток мне куда менее симпатичен. Даже в киплинговском оформлении.

- Вас растлили.

- Спасибо.

- Да, вас растлили и вы этого не замечаете. Восток никогда не был опасен России. Восток - это необозримая пустыня, созданная для русского размаха. Только русские способны заселять мертвые пространства.

- Да, конечно. Американцы этого не умеют.

- Американцы выжигали прерии. Только русские способны оживить тайгу и тундру. Янки выстроили цивилизованный крематорий.

- Это интересно, - сказала Инга. - Это интересно и необыкновенно. Вам надо все это скорее записать.

"Господи, какая скучища!.." - подумала про себя.

- Это не только записано, - самодовольно кивнул Бороздыка. - Мы уже делаем кое-что...

- Слово и дело?

- Не придирайтесь. Вы знаете, из церквей тащат иконы. Храмы обваливаются. В монастырях запустение. Новгород, Псков...

- Там были немцы.

- А Ростов Великий? Кто там раскомиссарил?

- Не знаю, - смутилась Инга. - Все это для меня слишком внезапно. Это очень важно и существенно, но у меня никаких данных и, признаться, я в первый раз об этом задумываюсь...

- Что и печально, - наставительно буркнул Бороздыка.

- Конечно, печально. Мы еще вернемся к этой теме.

Расскажите, что вообще нового.

- Понятия не имею. Я сейчас весь в наших делах и никого не вижу.

- Даже моего супруга?

- Супруг по шею в текучке. Журнал и только журнал.

- А дамы?

- Не знаю. Мне не поверяет.

- А храмы его не интересуют?

- Нет, он книжник, - презрительно хмыкнул Игорь Александрович. Библию, правда, иногда листает.

"Господи, из него ничего не вытянешь, - подумала Инга. - Совсем ошалел или куражится?"

- Вы не слышали, Юрка прочел реферат? Я вам говорила, один лейтенант технической службы создал кое-что в плане личности...

- Я сам прочел и даже потратил полночи на разговор с этим фендриком. Не бездарен, но полная сумятица. Никакой ориентировки. Деревянный велосипед.

- А где он сейчас, не знаете? - отважилась Инга.

- Два часа назад расстались. Отправился к министерским родичам. Я думал, он по вашей части...

- Нет. Я видела его всего раз, - Инга почувствовала, что краснеет. Но Бороздыка не смотрел на нее. Он шел, индифферентно вскинув голову, глядя сквозь очки на ненавистный (прежде горячо любимый!) город. В данную минуту Инга его почти не интересовала.

- А как же наш великолепный доцент? - осмелела она.

- Ничего. Лучше, чем я ожидал. Между прочим, начинает прозревать. От него тут жена уходила, а страдание, знаете, облагораживает...

- Вот как!.. - от неожиданности зарделась Инга, и тут Бороздыка повернул к ней голову.

- Очень любопытно, - сказала, торопясь и морщась, чтобы сбить конфуз. Но Бороздыка знал, что она будет взбудоражена этой новостью.

- Неужели не слыхали?

- Где мне, Ига? Я была в Тмутаракани. Снег и сосны. Знаете, солнце, воздух и вода...

"Господи, я теряю лицо, - торопливо думала Инга. - Вот тебе и Алексей Васильевич. Вот забыла, вычеркнула. Растоптала. Так значит, мадам его бросила?! Очень нравная мадам. Нет, это удивительно! Взяла и бросила. Бедный Алеша! Но, уйти от мужа - это исключительно благородно. Возвышенно и благородно уйти от мужа, если муж тебя не любит. Я ведь ушла... А хорошо бы

встретиться с мадам Фирсановой. Теперь ведь она Фирсанова?! Здравствуйте, Марьяна Сергеевна. Или она Марианна? Франция? Францию называют Марианной, а Париж - Лютецией. Кажется, так. Значит, она бросила Алешеньку. Я ей позвоню и приглашу куда-нибудь в кафе. Мы посидим... Брось! Что за глупости?! - тут же перебила себя. - Но, главное, Алексей Васильевич свободен. Почему же он не звонит? Нет, звонит. Вава ведь сказала, что обрывали телефон. Надо дойти с Игорушей до угла, проститься и быстрей на троллейбус. Может быть, он как раз сейчас набирает мой номер. Господи, какая глупость была торчать в этом доме отдыха! Три недели попусту. Три недели... Мне скоро двадцать четыре года. Я уже пожилая особа... Но какова Марьяна? Взяла и ушла. Сама решилась. Наверно, собрала чемодан. А куда она ушла? Ведь она у них, наверно, прописана. Что же, он оставил ее без жилья? Нет, он такой деликатный. Это он ушел. Он так ловко, то есть не ловко, но умело... Нет, даже не умело... ну, словом, так все толково объяснил, что она поняла. Просто он ей дал возможность бросить себя, чтобы не страдала ее гордость. И мадам, несмотря на профессию, оказалась разумной женщиной. Боже мой, у меня к ней почти сестринское чувство. Никогда не имела сестер..."

- А куда делась мадам Фирсанова? - спросила ледяным голосом.

- Сначала ушла к подруге, - растягивал фразу, словно рогатку, Бороздыка.

"...Ах, все-таки ушла. Ну, они там чего-нибудь придумают. Хотя люди, безусловно, черствые. С лейтенантом они тоже как-то не так поступили. Но это они, а не Алеша. Алеша просто очень тонкий человек. Человек без кожи. Именно без кожи. Бывают люди без кожи, потому что с них ее содрали. Они от этого нервные и психи. Вот лейтенант немного такой... А Алеша просто родился таким - чутким, тонким... Господи, Алеша, Алешенька..."

- Вы, возможно, ее не застали, - продолжал растягивать слова Игорь Александрович. - Была такая на моей памяти, вернее, есть, - Клара Шустова. Она с Марьяной бывала у Юрки. Переводчица, кажется, с немецкого. Уезжала в советскую зону, поэтому вы ее не застали. Впрочем, погодите, в прошлом году она тоже была здесь. Да, с Сеничкиными и лейтенантом ездила, кажется, в Гудауты или еще куда-то. Видите, все на свете перепутано.

- Ужасно, - кивнула Инга, крепче сжимая локоть Игоря Александровича. Новостей - хоть отбавляй, а вы, Игоруша, жадничали.

- Ну, это не новости, - осклабился Бороздыка.

"...Да, действительно все ужасно перепутано и смешано.

Оказывается, лейтенант тоже не промах. Да, я что-то будто слышала. Шустова? Шустова? Что-то с разводом. Муж моложе и лейтенант тоже, значит, моложе... Что-то говорили на Новом годе. Чем-то больна. Я еще тогда подумала, как это все далеко: кто-то болен, а я весела и здорова, и расстаюсь со старым и никудышным супругом. Какое счастье, что мы расстались! Какое счастье, что мы не нужны друг другу, что ему вообще женщины не нужны. То есть нужны, но очень ненадолго".

"Ты еще скажешь: какое счастье, что он псих", - перебила себя.

- Ига, я вас тут покину и побегу домой, а то у меня Вава одна.

- Что ж, привет Варваре Терентьевне, Антону Николаевичу и маман.

- Спасибо. Они у меня в Кисловодске. А вы передайте привет доценту, созорничала, потому что была уверена, что тот позвонит ей не позже, чем через четверть часа.

- Передам, - ухмыльнулся Бороздыка. - Он как раз звал меня в субботу к прокурорским предкам, - бросил небрежно, хотя понимал, что наносит ей страшный удар.

- Ах, вот как... - протянула с твердой решимостью никогда не рыдать на груди Бороздыки.

- Я вам не досказал. Вчера доцент явился к переводчице, забрал чемодан и супругу и увез за город. Знаете, как в таких случаях? - либо последняя попытка перед разрывом, либо заново медовый месяц.

- Да, понимаю. Как же не понять. Счастливого уикэнда, Ига. Привет Марьяне Сергеевне! - и, выдернув руку из-под руки Бороздыки, Инга перебежала улицу, чуть не ударившись о затормозивший на остановке троллейбус.

"Хорошо, что успела сдержаться. Шиш ему плакать буду! Сволочь! Ведь нарочно, нарочно!.. С оттяжкой, как гестаповец. Дрянь, - ругалась она шепотом, стоя у задних дверей. - Как плетется троллейбус. Нет, я не выдержу. Гад. С оттяжкой... Так медленно, медленно оттягивал, чтобы сразу отпустить и сюда мне, - вдавила варежкой в середину груди. - Нет, не могу. Еле плетется..."

- Выходите, девушка, через переднюю, - обернулась кондукторша.

- Простите, мне плохо, - Инга выскочила на тротуар.

"Его счастье, что живет на пятом этаже, а то бы я ему все стекла выбила, - подумала, сворачивая со Сретенки в переулок. - Брось, брось, одернула себя. - Чего ты хочешь? Они муж и жена. Жена уходит, муж бежит за ней и возвращает. Твой муж тебя не возвратил. Его из психбольницы не выпускали. Но какое это имеет значение?.. Ты своему мужу не нужна, а она своему -

нужна. Последняя попытка... Медовый месяц... Гад ползучий! Монастыри, храмы. Полное запустение... Показала бы тебе запустение... Ну, ну, держись, - пыталась взять себя в руки. - Держись и не распускайся. Какое тебе дело, если кто-то кого-то бросил, а кто-то кого-то догнал и воротил?! Тебе ни до кого нету дела. Иди домой и садись за главу. У тебя есть машинка и печатай свою работу. Печатай главу, пока не отняли машинку. У тебя все отняли - молодость, любовь, любимого - и оставили только машинку... Как красиво! - снова перебила себя. - Как красиво! Ты еще зареви, что тебя бросили предки и поехали развлекаться в Кисловодск. - Она как раз проходила мимо дома Бороздыки, в окно которого минуту назад собиралась запустить булыжником. - Любовь. Любимого... Ничего у тебя не было и нету. Ты - нищая. Нищая и нищая. Любимого?! Тебе дали его на подержание, напрокат. Как машинку фирмы "гермес-бэби". Дали, потому что был не нужен. На подержание. Тоже слово. От корня подержанный. Все мы подержанные. Как говорят, "бэу", бывшие в употреблении. Вы, Инга Антоновна, тоже "бэу". Точнее недо-"бэу". Недоупотребили вас, вот вы и мечетесь. Вам угодно смазливого доцента? А ему вас не угодно. Ему нужны дом и жена, и на стороне красивая любовь без постели. Ему надоели сложности. Он сытый мужчина. Ему нужна бесплотная красота. Красота и возвышенность. А я не хочу возвышенности. Я хочу самого грубого, самого живого. Я надерусь водки и бери меня все равно кто. Все равно. Я закрою глаза и бери меня, кто хочет, потому что я надерусь водки".

Она, покачиваясь, словно пьяная, перешла опустевшее уже Садовое кольцо и свернула со Спасской в свой Докучаев. До чего он был сейчас тих, печален и безрадостен. Казалось, в него никогда не заходила весна. Он был именно такой ей по плечу и по душе, словно он и она были сотворены в один день.

Инга хлопнула дверью парадного и поднялась по темной, старой, как раз такой, какая должна быть в настоящем доме, лестнице на свой третий этаж и так же тихо, как днем, отворила дверь. Тетка Вава лежала на кушетке, примостив шахматную доску на круглый материнский табурет. По-видимому, у нее всерьез болело сердце.

- Тебе два раза звонили. Один и тот же голос, - сказала Вава, даже не пытаясь подняться с узкого ложа. - Я ответила, что ты скоро будешь.

3

Телеграмму от Елизаветы передали по телефону вечером в среду. Курчев, сидя в "овоще-хранилище", написал рапорт и протянул майору Чашину. Тот оторвался от соседнего осцилло-

графа и удивленно хмыкнул:

- Ну, вот. Только я вас расхвалить хотел, а вы - в отпуск. Не сезон сейчас.

- Квартира горит, товарищ майор.

- Залетаев, - крикнул Чашин в коридор летчику. - Пошлите солдата в штаб, а то лейтенант вибрирует - развертка вон куда поползла! - кивнул на осциллограф Бориса, где импульсы прыгали, как бешеные. - Идите, Курчев. Все равно с этой минуты из вас работник, как ... В общем, замнем для ясности.

- Слушаюсь, - благодарно улыбнулся лейтенант.

- Идешь? - спросил летчика.

- Можно, - невесело кивнул тот. - Ладно. Сам рапорт передам, - сказал Залетаев солдату и вышел вслед за Борисом.

На бетонке было морозно, но даже сейчас, в темноте и на ветру, чувствовалось, что с зимой - всё, что она демобилизована и лишь последние дни качает права, как сверхсрочник, с которым не продлили договора.

- Федька без тебя пропадет, - сказал Залетаев.

- Выкрутится, - отмахнулся Борис. Ему не хотелось думать сейчас о печальном и постороннем. Только бы Ращупкин подписал!..

- Пропадет, - повторил летчик. - Ты ему скажи, пусть хоть жмет на технику. Комиссуют - на завод устроится.

- Скажу. Только бы подписал...

Только что сменился суточный наряд, и из кабинета Ращупкина вышли два младших лейтенанта-огневика, оба с наганами и один с красной повязкой.

- Разрешите, товарищ подполковник, - толкнул дверь Залетаев.

- К фину иди, - усмехнулся, возвращаясь через минуту.

- А меня звал? - удивился Курчев, который волновался, как перед дверью дантиста.

- На хрен ты ему?

Тут же распахнулась дверь, и огромный Ращупкин в шинели и шапке вырос в коридоре. Залетаев посторонился и козырнул командиру полка, а Курчев, не выдержав распиравшей его радости, побагровел и выдохнул:

- Спасибо, товарищ подполковник.

- В армии, лейтенант, младшие по званию не благодарят, - презрительно, будто сплевывая, бросил на ходу Ращупкин.

Вечер обошелся без бутылки, потому что Лешка-военторг, прихватив сопровождающим оклемавшегося Федьку Павлова, отбыл за продуктами в Москву. Летчик ушел к буфетчице, и Борис, воротясь в финский домик, думал уже завалиться и дать

храпака (благо в соседней комнатенке сладко посапывал Секачёв), но, чувствуя, что от мгновенного поворота судьбы сразу заснуть не удастся, потоптавшись в комнате и нервно помешав угли в топке, выскочил, не надевая шинели, к монтажницам.

Ветер разгулялся и фонарь у забора раскачивался, как взбесившийся маятник. По улице вверх от КПП споро шагал стройный офицер, и Курчев, угадав в нем Морева, быстро перескочил улицу и через участок майора Чашина прошел к домику монтажниц.

- Бегство - и нечего врать, - сказал вслух. - Бежишь и неохота тебе вовсе бороться за общее или частичное благо. И справедливость ты видал в гробу и в тапочках.

- А пальба вверх? - перебил себя, скользя накатанной ледяной дорожкой, по которой утром со смехом съезжали обитательницы девчачьего домика.

- Пальба ни при чем. Пальба - естественная реакция на хамство и мордобой. А вообще тебе на всех наплевать. Ты лентяй и этот, как его... в общем - себялюбец.

- Я хочу объяснить мир, - снова перебил себя.

- Я хочу объяснить, что к чему, где свобода, а где необходимость.

- Не строй из себя ученого!..

- Да, ученого. Дело ученого объяснить, что к чему, так, чтобы все поняли.

- А неуча - переделать?

- Нет. Если неуч начнет переделывать, то опять - двадцать пять. Мочало - сначала. И вообще, не придирайся к слову. Дело ученого, чтоб вовсе не было неучей. Вот как, - обрадовался, будто впрямь нашел ответ, если не на все, то хоть на часть вечных вопросов.

- И многих ты обучил? - не унимался в нем второй, злобный и саркастический Курчев, тот, что всегда выбирал неподходящее время и с охотой мотал душу и нервы.

- Сколько мог, столько мог, и не приставай, - буркнул Борис, вытирая в сенях ноги о большую новую тряпку.

В проходной комнате три младших огневика и пятеро монтажниц пили чай с круглыми черными коржиками.

- Не запылился, - присвистнула Сонька-перестарка, отрывая накрашенные губы от блюдца. Она сидела на койке рядом с только что сменившимся с дежурства младшим лейтенантом и явно имела на него виды. Второй "микромайор" сидел на койке рядом с длинной, сухой, очень некрасивой инженершей Томилиной и говорил с ней о децибелах. На краткосрочные шестимесячные курсы, которые окончил этот младший лейтенант,

принимали сержантов с восемью классами, и, по-видимому, он весьма смутно представлял себе даже логарифмы. Но час назад он принял известное количество водки и поэтому давил на науку.

Замученной инженерше он был явно ни к чему, но она не знала, как отцепиться от пьяного огневика, и из деликатности чертила на бумажке какие-то не нужные ни ему, ни ей линии и цифры.

- Можно, Александра Фаддеевна? - спросил Курчев, садясь на ее койку. Децибелы - по-английски блохи, - прищурился на огневика. - А при женщинах о блохах не говорят.

- Он шутит, - сказала инженерша.

- Шути, знаешь где! - обозлился огневик.

- Знаю, знаю. А ты не вы... не выпендривайся. На фиг тебе децибелы?

- Борис, - шепнула инженерша.

- Потолкуем, может? - спросил огневик.

- Вот, всегда так. Придет - нашумит, испортит... - зашипела Сонька. И чего ты в нем, Валюха, нашла? Харя да лысина.

- Точно, - засмеялся сидевший рядом с Валькой третий младший лейтенант, маленький курчавый владелец автомашины "Москвич-401", прозванный в полку крохобором. На машину ушли все суточные, подъемные, все жалованье за год и за полгода вперед, и младший лейтенант, вечно стрелявший рубли и трешки, не пил своей водки, не курил своих папирос, не покупал ни мыла, ни пасты, с охотой ходил в наряд, потому что дежурный по части снимает в столовой пробу, и вообще норовил пожрать в гостях. Вот и сейчас он с удовольствием грыз черный ржаной пряник, не обращая никакого внимания на прижавшуюся к нему от тесноты Вальку (на койке сидели еще две монтажницы).

Руки у крохобора были черны, как пряник. Он только числился по огневому объекту, а на самом деле заправлял всем автохозяйством полка. Ращупкин давно пробивал ему эту должность и очередное звание. Но у младшего лейтенанта было плохо с образованием. Он ушел шоферить, не закончив 8-го класса.

- Вот именно - харя, - обрадовался огневик, интересовавшийся децибелами.

- Значит, толковать раздумал? - спросил Борис. - Пожалеешь. Я завтра тю-тю... В отпуск и не вернусь уже.

- Давай гуляй, пока трамваи ходят, - хмыкнул любознательный огневик. Он был на хорошем счету у Ращупкина, и драка с Курчевым была ему ни к чему.

- Спасибо, - засмеялся Борис. - И, обидно, не узнаю, что же такое децибелы. Я вас, Александра Фаддевна, три раза

спрашивал, и каждый раз из головы вон. Это выше моих мозгов.

- Вам необязательно, Борис, - мягко сказала инженерша, с тоской прислушиваясь к посапыванию из-за дверей, где спали другие командировочные женщины.

Инженер Томилина была не намного старше других монтажниц и гораздо моложе Соньки, но она уже махнула рукой на замужество, и в полку ей хотелось лишь одного - сна и покоя, да еще по возможности - теплой воды. Конечно, суточные, которые выплачивало новое министерство, были очень кстати. Но на окраине Москвы, где она снимала комнатенку, оставался малолетний брат, который не то что децибел, никак не мог постичь простых дробей, занимался в основном голубями и, вполне возможно, уже связался с окрестной шпаной. Больше двух раз в неделю Александре Фаддеевне не удавалось выбираться из полка. Она варила мальчишке суп на три дня и, пока стояли холода, знала, что он сыт. Последнее время все ее помыслы сводились к покупке холодильника. Но приобретать такую дорогую вещь, живя на чужой квартире, было боязно, и инженерша лишь позволяла себе мечтать о маленьком белом, таком уютном и надежном помощнике. Девчонкам о рефрижераторе она даже не заикалась. Те бы ее засмеяли.

Отказавшись от чая и забыв спасительные в таких случаях сигареты в кармане шинели, Курчев уныло сидел рядом с озабоченной инженершей. Несмотря на общую скуку, его сообщение об отпуске никого не заинтересовало. Валька все так же жалась на чужой кровати. Она была в длинном старом ситцевом платье и накинутой поверх тоже старой и местами рваной зеленой кофте. Видимо, ждала инженера Забродина, который после обеда уехал на своей "Победе" в Москву вставлять перед свадьбой золотые коронки.

"Посижу малость и смоюсь, - решил Борис. - Красивого расставания не получается. Ну и ладно. Жалко только инженершу. Нет, и Вальку тоже жалко. Вальку-инженершу", - улыбнулся он.

- Чего улыбишься? - огрызнулась Сонька, которая, как маленького, обнимала сменившегося с наряда огневика.

- Ничего. Проститься пришел. Завтра утром - тю-тю, - повторил и поднялся с койки. Никто его не удерживал.

"Вот и не вышло, - вздохнул, выскакивая на мороз и жалея, что не накинул шинели. Не хватало новой ангины. - Теперь спать, спать и спать. А завтра - айда и аля-улю! - старался не расстраиваться от того, что отъезд проходит так буднично. - Ну, ну, нечего было притворяться. Тоже мне защитник угнетенных", - усмехнулся и вошел в свой дом.

У пехотных света не было. В большой комнате печка прогорела и заслонка была прикрыта. Морев, по-видимому, уже спал, а Федька и летчик еще не вернулись.

4

Утром он не поднялся со всеми, хотя проснулся и слышал, как кряхтел Секачёв, чертыхался Морев и жаловался на паскуду-головную боль Володька Залетаев. Федька Павлов, временно сунутый Ращупкиным взводным в батарею (на вакантное место, обещанное было Курчеву), несмотря на то, что приехал с военторговской машиной за полночь, ушел ни свет ни заря.

- Вот и всё, - вздохнул Борис, дождавшись, пока опустеет домик. Он встал, связал ремнями постель и вытащил из-под голой койки большой желтый, купленный еще в Питере на первое офицерское жалованье чемодан с томами Теккерея и Толстого.

- Очень смахивает на дезертирство, - сказал громко. - Но как бы обратно тащить всего не пришлось. Нет, повешусь лучше!..

Солнце уже поднялось над штабом и било прямо в глаза, отчего лейтенанту казалось, что из всех финских домиков глядят, как он плетется со своим незатейливым барахлишком. Чемодан был еще куда ни шло, но казенный матрас выглядел по-крохоборски.

"Чхать, - решил, но тут же увидел у крыльца штаба светло-серую "Победу" и затылок Ращупкина. Командир был срезан по шею крышей автомобиля. - Чёрт, нарочно в Москву собрался. А мне что? Я в отпуску", - и Курчев, свернув к КПП, прошел в ворота, которые уже распахивал Черенков.

- В отпуск, товарищ лейтенант?

- Ага.

Впереди, как всегда в этот час, видны были серые растянувшиеся медленной цепочкой фигурки офицеров, понуро бредущих к "овощехранилищу". Курчев сбежал в балку, надеясь, что Ращупкин проедет поверху. Идти по вытоптанной петлястой тропке с узлом и чемоданом было неловко. Иглы елок впивались в ватный матрас. Курчев то и дело останавливался, менял руки, но, когда выбрался на бетонку, офицеры уже зашли за проволоку, а серая автомашина, все равно как сторожевая собака, ждала в трех метрах впереди на обочине.

- Садитесь, Курчев, - сказал, наклонясь к шоферу, Ращупкин. - Глядеть на вас стыдно.

- Ничего. Дойду.

- Садитесь.

Водитель Ишков, перегнувшись на сиденье, распахнул лейтенанту заднюю дверку. Курчев, по-прежнему стыдясь казенного в полоску матраса, пихнул его в ноги, а желтый

чемодан поставил на покрытое суровым полотном сиденье.

- Значит всё, лейтенант? - не оборачиваясь, спросил подполковник. Затирухин сказал, бумаги ваши ушли. Я еще сегодня узнаю. Позвоните завтра в полк.

- Слушаюсь!

- Да уж чего. Слушаться теперь поздно. Думаю, отпуска на оформление хватит. Приедете, получите выходное - и вольная птица. Как у вас с аспирантурой?

- Ну, это еще рано, - Борису не хотелось врать.

- Устроится. У вас все устроится. Повезло вам, что на меня напали.

- Повезло, - согласился лейтенант.

- Вообще стоило бы сочинить вам характеристику, и тогда не то что аспирантуры, двух окладов и года за звание не увидели бы. Ну, да ладно.

- У автобуса высади, - сказал Курчев водителю.

- Ничего. До дому довезем. Как, Ишков, довезем?

- Довезем, Константин Романович. Квартиру посмотрим, - осклабился в зеркале шофер.

- Чего там смотреть? Хибара.

- Поглядим, - усмехнулся Ращупкин. "Вот еще гостей на мою голову", подумал Курчев, но ничего не сказал.

- Значит, это я вам организовал жилье? - снова спросил подполковник.

- Да. Только благодарить мне вас не положено.

- Ничего. В Москве - положено. Гебен мир айн шлюссель?

- О, я, я, натюрлих, - засмеялся Курчев. - Вот он, - полез во внутренний карман кителя.

- Хорошо. Потом покажете. Может быть, я еще шучу. Но в общем, вы везучий, Борис Кузьмич. Жилье в Москве - это священная мечта каждого гражданина СССР.

"А он - ничего", - подумал лейтенант и вслух сказал: - Нет, у меня вам не понравится. Мебель еще отцовская, какую в войну сжечь забыли.

- Мне не поселяться, - улыбнулся подполковник. - Новосельнов пишет?

- Да. В Москву перебирается.

- Бойтесь его, лейтенант, - посерьезнел подполковник. - По нему решетка плачет. Не помри Иосиф Виссарионович, за милую душу сидел бы. Про дизели слышали?

- Нет.

- Ну и хорошо. Он тоже вроде вас - везучий. "Да и ты не из несчастных", - подумал Курчев.

- А все-таки вы, лейтенант, маху дали. Надо было в партию

подавать, а то когда еще в аспирантуре вступите. Теперь, кажется, в учебных заведениях ограничен прием или вовсе закрыт. Вот через три года локти кусать начнете, когда подойдет распределение!

- Ваша правда.

- Или вообще не думаете в партию?..

- Нет, почему...

- Теперь до двадцати восьми в комсомоле можно, - подал голос Сережка Ишков.

"Они твою биографию насквозь и поперек... - подумал Курчев, вспомнив, что почти месяц назад, в Гришкин отъезд, то же самое сказал дневальный Черенков. - Да они тут со скуки всем кости перемывают".

- Мне двадцать шесть через месяц. Продлюсь, - ответил, чтобы покончить с этой темой.

Москва катилась навстречу окраинами, притормаживая на перекрестках, серая и будничная, вовсе не похожая на ту, субботнюю, которую лейтенант наблюдал из окна автобуса... Впрочем, теперь она была своя, может быть, даже по гроб, а свое, как известно, всегда, если не хуже, то во всяком случае обычней. Солнце где-то затерялось. В городе было суетливо и пасмурно.

- Показывайте, куда? - сказал Ращупкин.

"Лучше было бы самому добираться", - подумал Курчев. Присутствие командира полка придавало возвращению оттенок принудительности, вносило субординационность, хотя подполковник сейчас не налегал на дисциплину и даже шоферу позволял себя называть Константином Романовичем.

"Интересно, что у него за баба? Хотя какой там интерес? А мне куда деться? Разве что в баню сбегать..."

"Победа" развернулась на перекрестке и ловко въехала в подворотню, куда, сколько помнил Курчев, до войны не рисковали въезжать автомашины.

- Возьми у лейтенанта вещи, - сказал Ращупкин Ишкову и пошел вслед за Курчевым по неровному, похожему на воронку мощеному двору. Квартира была в правом, если смотреть со стороны двора, крыле дома. Входная дверь не была закрыта. Курчев не был больше года, но в сенях ничего не переменилось.

- Здравствуйте, - встретила его единственная соседка Степанида, то ли вахтерша, то ли уборщица при Елизаветиной конторе. - Офицерья-то сколько!

- Третий - солдат, - засмеялся Курчев и полез в китель за ключом. Замок почти амбарный, весом что-нибудь в килограмм, был смазан и открылся сразу.

- Ничего, - сказал Ращупкин, оглядывая комнату. -

Троллейбус только ни к чему.

Как раз к остановке подошел троллейбус и закрыл собой все левое окно и полрамы правого...

- Похлопотать надо. Может, перенесут, - усмехнулся Борис.

Елизавета, как обещала, оставила всю отцовскую мебель и застелила клеенкой обеденный стол, на который взгромоздила три тарелки, две кастрюли, сковородку, чугунный утюг, черную покоробившуюся тарелку громкоговорителя и старый, еще купленный матерью, облезлый патефон с кучей таких же старых пластинок. Но Бориса больше всего обрадовала большая с выщербленными краями и зеленым на боку трактором фаянсовая чашка, из которой он в детстве хлебал молоко.

На кроватном матрасе лежали стопкой газеты и рядом с десяток рулонов обоев: длинные и толстые - для стен и два тонких и коротких - потолочных.

- Кнопки есть? - спросил Ращупкин, глядя с неодобрением на маленькие голые окна.

- Были, кажется, - кивнул Курчев и полез в полевую сумку. - Только обои не надо.

Он подошел к кровати, поднял несколько рулонов и переложил в шкаф.

- Распорядитесь. Я сейчас вернусь, - сказал Ращупкин и, пригнувшись, вышел из комнаты.

- Звонить пошел, - присвистнул Ишков, ожидая, что лейтенант откликнется, но Курчев, занятый оборудованием маскировки, молчал.

- Да, фатерка так себе, - сказал Ишков.

- А ты что - в машине пока загораешь? - спросил, не оборачиваясь.

- Я не мерзлый, - буркнул шофер и замолчал.

В присутствии посторонних комната явно теряла свои достоинства. Особенно досаждал троллейбус. Прикнопливая газеты к ветхим, изъеденным древоточцем рамам, Курчев почти впритык видел скучные лица пассажиров. Одна девчонка высунула ему язык; а когда троллейбус отошел, Борис увидел автоматную будку на другой стороне улицы и Ращупкина, наполовину высунувшегося из нее. (Константин Романович говорил с Марьяной, которая была сегодня с Ращупкиным мила и даже нежна, но никак не могла встретиться, потому что выезжала с минуты на минуту на следствие. На самом деле она собиралась с мужем за город к своим родителям на последний уикэнд или на второй медовый месяц, то есть закрывать брак или начинать его сначала - так они решили с Алешей.

- С радостью б, Костенька, но не могу... Не могу, - щебетала в

трубку. Ей хотелось встретиться с Ращупкиным. Она почти наверняка знала, что из последней попытки сойтись с Алешей ничего не выйдет, кроме ругани и пьяных слез. Просто нужно поехать, чтобы потом не терзаться, что, мол, не сделала всего, что могла... - Я очень соскучилась, Костенька, но правда не могу... - бросила в трубку и положила ее на рычаг.)

Пристраивая последнюю газету, Курчев из уже потемневшей комнаты глядел на переходившего улицу подполковника. Теперь даже без очков было видно, что сегодня тому не обломилось.

- Поехали, Ишков, - сказал подполковник, входя в сени. - Будем считать, что я пошутил. Желаю удачи и надеюсь на вашу скромность, козырнул Борису из коридора.

- Этого могли бы не говорить, - ответил Курчев, с неохотой выходя из дверей.

Ишков, ловко развернувшись в тесной воронке двора, поставил машину мордой к подворотне.

- До скорого, - кивнул Ращупкин, захлопывая дверцу.

- Проводили? - спросила Степанида, выходя из своей клетушки. Курчев в щель неприкрытой двери заметил высокую постель с горкой подушек и образ с маленькой елочной свечкой. - Идемте, покажу ваше, - сказала соседка.

5

Через четверть часа, сбегав напротив и вернувшись с бутылкой водки, бутылкой портвейна, полкилограммом колбасы, буханкой хлеба и двумя пачками пельменей, Борис приступил к налаживанию контактов. От водки Степанида отказалась, а для вина принесла две своих рюмки. Пельмени она осудила как баловство, объяснив, что мясо "дешевше" и "кастрюли вам с верхом на три дня будет - и первое, и второе - и все за один раз. В сенях сейчас холодно. Только крышку перевернуть и камнем надавить. Мышей нету, но кошки, бывает, наведываются".

- А вообще жить тут можно. С Лизаветой ладили и с вами будем, болтала, накладывая на хлеб тонкие кружки колбасы. - Жены у вас нет?

- Нет.

- Ну, дело молодое. Какая, может, и подвернется. Тридцать вам уже?

- Будет, - хмыкнул лейтенант.

Чуть позже, убрав колбасу и водку в шкаф, а пачку пельменей выставив в холодные сенцы, он, перетянувшись ремнем, спустился по Переяславке к вокзалам, а оттуда, переулками, дошел до городской комендатуры, набитой младшими офицерами всех родов и званий. Полчаса обыкновенно уходило на регистрацию отпускного билета. Правда, сейчас еще выдавали пропуска в мавзолей.

Заняв очередь, он вышел на улицу к автомату, но старуха ответила, что Инга еще под Москвой.

Прислонясь в коридоре к подоконнику, два старших летных лейтенанта и один с погонами общевойсковика спорили, кто сейчас главный. Летчики утверждали, что Маленков, а общевойсковик стоял за Ворошилова.

- А ты как, лейтенант? - спросил один из летунов.

- Мне без разницы! - отшутился Борис. - Свято место, сам знаешь, пусто не бывает...

- Не скажи, - отозвался второй летун. - Личность тоже кое-что значит.

- Ворошилов посолидней будет, - сказал пехотный офицер.

- Да не о Ворошилове разговор, - поморщился летчик. - Вот лейтенант говорит, кого назначат, тот и главный. Нет, тут не как в армии. Тут показать себя надо.

- Ворошилов еще в Гражданскую показывал.

- В Отечественную надо, - снова поморщился летчик.

- Ну, и ваш в Отечественную ничего такого не сделал, - обиделся пехотинец.

- В Отечественную - Жуков, - тихо сказал, будто подумал вслух, стоявший за Курчевым капитан-артиллерист.

- Не о нашем брате-военном речь, - теперь уже поморщился общевойсковик.

- Да что вы, ребята, чудные, что ли? Или беспартийные? - не выдержал Курчев. - Кто руководящая сила?..

- Да, оно-то так, - ответил общевойсковик, - только перепутано все. Без поллитры не разберешься. Стойте, я покурю пойду.

- Без поллитры - факт, - снова согласился Борис и вспомнил, что у него в пустом платяном шкафу осталась нетронутая "банка" и в сенях пельмени. "Пригласить их, что ли, напоследок? Да нет. Не трави себя. Уходя уходи так, что ли, говорят англичане?"

С полным ощущением, что первый день отпуска пропал, он достоял очередь, отметил документы и поднялся по стемневшей улице до скверика у Красных ворот. Там, в туалете, построенном на манер бункера, запершись за гривенник в кабинке, снял с шинели погоны и с шапки звезду, а ремнем перетянул китель.

"Теперь всё", - улыбнулся, поднялся наверх и, чтобы по оплошке не козырять встречным военным, сунул руки в карманы шинели. Ходить так - ни то, ни се - он за четыре неполных года отвык начисто, но рукам было тепло, да и спешить уже было некуда. В первом же хозяйственном магазине он купил молоток, разводной ключ, гвоздей, шурупов с гайками, маленькую одноручную пилу и три пачки клея. Клей был для обоев с примесью какого-то порошка против клопов.

- Подойдет, - улыбнулся Борис продавщице, вспомнив, что рамы изъедены жучком.

- Да это только пишут, - сказала продавщица, - а помогает плохо. Дезинсекталю возьмите.

- Рук не хватит, - снова улыбнулся он, подумав, что клоп - не древоточец, а Елизавета - баба аккуратная и вряд ли допускала, чтобы из нее еще и ночью пили кровь, и бутылки не взял.

Теперь, с покупкой под мышкой, не козырять было легко. Он шел тихой Переяславкой, запоминая, где что - тут газеты наклеивают, тут пообедать можно, тут вон, на углу - прачечная. Аптеки не было, но болеть он и не собирался. Булочную и продмаг он запомнил еще раньше.

Дома Борис вскипятил на газу чайник и, найдя в кухонном столе большую банку из-под сельди, развел клей. Запах у вязкой жижи был не из приятных, но придавал некоторую уверенность. Впрочем, на старых обоях клопиных следов заметно не было. Переодевшись в хлопчатобумажную робу, Курчев сдвинул в угол стол и на чистом, почти белом, кое-где испачканном сапогами Ращупкина и Ишкова полу стал намазывать газеты и клеить поверх старых обоев. Работа шла споро. Потолок был низкий и Борис доставал с табурета до верха стены. Пустой фанерный шкаф легко сдвинулся с места, но оттуда, распахнув узкую створку отделения для белья, выпала бутылка водки и осталась цела лишь потому, что плюхнулась на тюк с постелью. В шкафу что-то еще деревянно-металлически звякнуло и громыхнуло, и, открыв большую дверцу, Борис чуть не прослезился: четыре ножки от табурета с продетыми болтами и навернутыми на болты гайками, лежали на фанерном дне нижнего ящика.

- Да я бы в жизни так не просверлил, - улыбнулся лейтенант. - Голова садовая, свёрла-то не купил.

Он нагнулся к кроватному матрасу. У его углов тоже были заботливо просверлены отверстия.

- Вот, чёрт, забота об людях! - вздохнул лейтенант, чувствуя, что теперь действительно наворачиваются на глаза слезы. - И кто они мне? А? Нет, вправду, ты везучий, Борька.

Он поднял с кровати тяжелый матрас, поставил на попа,

разобрал кровать и вынес в сенцы раму с сеткой и когда-то никелированные спинки. Затем, перевернув матрас пружинами вверх, он собрался было прикрутить к нему ножки, но, сообразив, что они несколько длинны, уложил их в ряд на табурете и со всех четырех отпилил ножовкой добрую треть.

"А подметать, - подумал, - двигать буду." Зато с низкого матраса обклеенная газетами комната казалась просторней и выше.

"Жалко, обновить не с кем, - подмигнул себе, словно был завзятым бабником. - Но, ей-Богу, здорово! А что до стен, то без обоев лучше. Начитаешься!"

Он быстро доклеил газеты за шкафом и от угла до двери, распаковал тюк с постелью и уснул впервые праведным сном обладателя собственного жилья.

- Умаялись? - спросила соседка Степанида на другой день, когда в одиннадцатом часу в бриджах и нижней рубахе он вышел с полотенцем и зубной щеткой к кухонному рукомойнику.

- В отпуске можно, - отшутился Курчев.

- Пельмени будете? Я трясла, стучат. Тольки это не питания. Дело ваше молодое. Супу надо. Завтра с утречка на рынок пойду. Денег дадите - мясу вам куплю. Она утром подходящая. Я Лизавете завсегда покупала.

- Спасибо, - обрадовался, что не в армии и может благодарить.

Соседка была невысокая, коренастая с морщинистым и удивительно неприметным лицом. Вчера он сидел с ней бок о бок, но мог бы поклясться, что, столкнись с нею сегодня на улице или в троллейбусе, наверняка б не узнал.

- А отца моего не помните? - вдруг спросил, чувствуя, что симпатия дошла до высшей отметки. Он думал спросить об отце еще вчера, но за бутылкой портвейна было как-то неловко, потому что и портвейн и разговоры за столом - были, если не хитрость, то все-таки обряд, налаживание соседских отношений, а отец для Курчева был чем-то, если и не высшим, то во всяком случае тайным, и мешать одно с другим не хотелось.

- Нет, не помню, - вздохнула соседка. - Я с войны тут. Как похоронка прибыла, помню. Это уже при мне.

- Он заезжал сюда. Его не сразу разбомбило, - все еще надеялся Борис. - Кучерявый такой.

- Нет, не помню, - повторила соседка и отвернулась, видимо, не желая чего-то договаривать. Может быть, она помнила других железнодорожников, приезжавших к Елизавете. Но лейтенанта это не касалось. Его интересовал только отец. Отец был тайной и потому, что Борька помнил его плохо, много хуже, чем разговоры

о нем. О родителе он всегда расспрашивал осторожно, словно дотрагивался до больного, еле зажившего места. Любопытство никогда не осиливало страха: а вдруг отец и в самом деле, как твердила бабка, пустельга и даже хуже.

"Эй ты, Иван не помнящий родства!" - усмехнулся, возвращаясь с полотенцем в комнату. Соседка вошла следом.

- Обклеились? Надо было старые содрать.

- Плотно висели.

- Ну и мостили б поверх. С газетами двойная работа. Обои покажьте.

Он снял со шкафа и протянул ей рулон.

- С конторы Михалыч унес. У нас такие ж. Для жилья не годятся. Вы б какие с цветочками взяли. На Мещанке бывают.

- Сойдут, - усмехнулся Курчев. Ворованные обои с тонкими светло-синими полосами ему нравились. Но тут же пришло в голову, что если обклеить комнату белыми потолочными, то можно пригласить в гости лысого художника, и тот спьяну по доброте душевной что-нибудь изобразит тушью или еще чем-нибудь.

- А такие на Мещанке есть? - спросил, доставая рулон поменьше.

- Навалом. Тольки этих вам за глаза останется. А за в цветочках сходите. Клеить все равно нельзя. Сырые, - для верности провела рукой по газетам.

"Теперь не отвяжется, - подумал лейтенант.

И обидится еще, что не послушался. Не умеешь ты, Борька, с людьми. Или держишь их на километр или запанибрата. Вот и мучаешься".

Пожевав на ходу хлеба с колбасой, он достал из чемодана две общих тетради, сел к столу и стал набрасывать давно проклятый реферат.

Несмотря на отпуск и собственное убежище, фразы точно так же не выплясывались, как неделю назад. Промучавшись около часа, он перевернул несколько страниц и стал набрасывать давно задуманную статью о лейтенанте Мореве.

"ЧТО ТАКОЕ БОЛОТО?" - вывел вверху страницы. "Эх, малявки нет", вздохнул и тут же начал писать, обрывая слова и не ставя на обрывках точек:

"У реки есть цель. Река течет и попробуй не пусти ее к морю. У горы тоже есть цель или суть, или еще как-нибудь (затрудняюсь назвать назначение, что ли?!). Гора желает сохранить себя. Скажем, не обвалиться. Правда, геологи полагают, что горы самообразовывались. Честно говоря, я в это не верю, но ведь в обозримый человечеством период горы не образовывались. Иначе

бы не искали американцы на Арарате остатки Ноевой посудины.

Лес, говорят, движется со скоростью (ускорением?!) два метра в год. Представьте вымерший город или брошенный город, на который стеной идет лес".

За окном остановился троллейбус и прикрыл собой и без того затемненные газетами окна.

"На марлю разориться придется", - подумал Курчев, не поднимая головы.

"Вымер город или опустел. Стали трамваи, троллейбус застрял под окном, а лес прет, прет стеной и посылает подземный десант пробивать асфальт, и десант воздушный - с неба. Вот картина, а?! - писал он, не замечая, что разговаривает с самим собой. - У всего сущего есть цель. У болота цели нет.

Болото не может существовать для производства торфа. Болото было уже тогда, когда еще торф никому не был нужен. Болото не может существовать и для охоты. Если на болоте водится дичь, то это дело дичи, а не болота. У болота какие-то иные цели, вернее, у болота своя необходимость.

Болото - это единство всего негодного. Именно - единство. На Хитровом рынке единства не было. Была свалка отбросов. А болото - это единство. И река заболачивается, и земля разжижается, но болото не есть среднее между водой и сушей.

Болото - что-то другое. Болото не существует в единице. Болото - это собранная вместе масса, с очень сложной естественной организацией. Как болото ни противно, оно привлекательно. В болоте есть свобода и неподвижность. Именно, экспансия неподвижности. Болото ничего не хочет, но все получает. При всей своей вязкости оно необычайно прочно. (Я говорю не о прочности на морозе. На морозе болото все выдержит, как выдержит земля.)"

"Нет, - подумал, - ничего не клеится. Мороз, болото. Подмораживай болото. Нет, не то".

Он пошел на кухню, вскипятил чайник и заодно побрился.

"Не с того конца берешь. Слишком на красоту тянет. Решил писать о Мореве, а полез в образы. Масса, болота. Ну их в болото, - ворчал на себя. - Малявка будет - засяду".

Он вынул из кармана шинели и с неохотой водрузил на место погоны и эмалевую звезду. Потом оделся, надраил у чистильщика возле метро сапоги и поехал в журнал к Крапивникову.

6

Была пятница, последний редакционный день. Георгий Ильич торопился разбросать дела, снять с верстки корректорские вопросы и проглядеть несколько отвергнутых членами редколлегии статей. Ему не хотелось все это хозяйство тащить

домой. Осень и зима не столько из-за неурядиц с бывшей женой, сколько из-за всевозможных общих шатаний, шараханий, откатов и новых прогрессивных веяний были для Крапивникова тяжелыми. Он вымотался, изнервничался, устал и с нетерпением ждал среды - дня, когда сядет в поезд Москва - Симферополь и забудет этот трижды проклятый журнал, который только пьет кровь и не приносит ни радости, ни славы. Статьи писали, в основном, идиоты и за них приходилось все переписывать. Но если попадались умники, то с ними было хлопот еще больше, потому что умников надо было доводить до уровня полуидиотов, а те фордыбачили, цеплялись, если не за идеи, то хотя бы за фразы, обзывали непотребными словами, словно ему, Георгию Ильичу, больше других нужно.

Крапивников сам почти не сочинял, разве, если вылетал какой-нибудь чрезвычайно нужный материал и надо было к утру или через утро отгрохать передовую или спешную рецензию. Тогда он садился и писал, как надо, не хуже и не лучше, а как раз то, что необходимо и можно сразу запускать в машину.

В отличие от сидящего сейчас напротив него Бороздыки, Георгий Ильич давно махнул на себя рукой, понимая, что жизнь уже прошла и остались только женщины, женщины и женщины, которых он, как считал, беззаветно любил, как-то сразу всех, почти никого не выделяя. Редкие женитьбы были просто огрехами, так сказать, производственным браком. Впрочем, даже с бывшими женами, не говоря уже о просто знакомых, Крапивников умудрялся сохранять милые, теплые, почти дружеские отношения.

Сейчас он торопился покончить с редакционными делами, надеясь, что завтра, в субботу, его в журнал не вызовут, в понедельник, он выкроит библиотечный день, во вторник явится с коньяком и шоколадным набором, сделает общий привет и жизнь, наконец, станет прекрасной. Конечно, март еще не сезон, но в таком большом курортном центре, как Ялта, и в марте цветут кое-какие розы, и сейчас в предвкушении очаровательного романа, он быстро просматривал верстку, снимал корректорские кресты и выправлял

замечания главного редактора и всего синклита редакционной коллегии. Работать из-за нервной раздерганности он мог лишь в спешке и в шуме, и ноющий над ухом Бороздыка его не раздражал.

- Братья Киреевские, - бормотал Бороздыка.

- Да, конечно, - кивал Крапивников, выправляя статью о 300-летии воссоединения Украины с Россией.

- Ты понимаешь, что святее и чище не было людей...

- Сейчас не припомню, кто святее, - машинально кивнул Крапивников и приподнялся в кресле, потому что в комнату вошла секретарша Серафима Львовна.

- К вам армейский товарищ. Уверяет, что на две минуты. Входите, товарищ, - крикнула в приемную, где переминался в своих начищенных сапогах Борис.

- А, лейтенант, - вышел из-за стола Крапивников. Он сразу не вспомнил фамилии вошедшего и, улыбнувшись, подумал, что общение с военными проще, чем со стрюцкими.

- Привет, Курчев, - кивнул Бороздыка, не поднимаясь со стула.

- Извините, что помешал. Я на полслова, - покраснел Борис, входя в тесную, выгороженную из большой приемной комнатенку, где умещались лишь огромный стол с двумя стульями, да маленький столик с большим приемником "Рига-10".

- Садитесь, - Крапивников элегантным движением ресторанного мэтра сдвинул бумаги с края стола в центр, освобождая место для лейтенанта. Больше посадить было некуда. - Принесли что-нибудь?

- Нет. Практическая просьба, - снова покраснел Курчев. - Мне бы бумагу в Ленинку, в третий научный...

- Ради Бога! - засмеялся Крапивников и тем же ловким движением отправил стопку бумаг назад, на край стола. На освободившееся место он взгромоздил портативную машинку фирмы "Москва", снял с нее футляр и на типографском бланке напечатал короткое прошение.

- Курчев, Борис Кузьмич? Я не ошибся? - протянул он бланк под неодобрительным взглядом Бороздыки. - Прихлопните у Серафимы Львовны. Надолго в Москву?

- Наверно, насовсем.

- Тогда заходите. Только не позже среды.

- Спасибо, - кивнул лейтенант.

- Я тоже пойду, - поднялся Бороздыка и в большой комнате, полуобнимая Бориса, взял у него из рук бланк и положил перед секретаршей.

- Этого достаточно? - с сомнением посмотрела женщина на текст и достала печать.

- Я кое-кому скажу, - важно кивнул Бороздыка и увел лейтенанта из редакции.

- Такси! - поднял он у подъезда руку, подвез Бориса до улицы Калинина и не дал расплатиться с водителем.

- Не робейте, у меня здесь кое-какие связи, - кивнул на величественное здание Ленинки.

- Спасибо, - выдохнул лейтенант. Но билет ему выдали без

всяких препирательств.

- Вот вы тоже научная личность, - усмехнулся Бороздыка, как бы намекая, что хотя лейтенант обосновался в привилегированном зале, дистанция между ним и кандидатом наук Бороздыкой никак не уменьшилась.

- Спасибо, - повторил Борис, надеясь, что Игорь Александрович останется в библиотеке, но тот вышел вместе с ним.

- Я к брату, - сказал лейтенант.

- Он уехал. Сегодня утром, за город с прокуроршей. Попытка примирения. Хотите, пойдем ко мне?

- Мне чемодан забрать надо. Я вроде бы демобилизовываюсь.

- А вот это зря! Армии нужны образованные люди. В армии вы абсолютно на месте. Что вы штатский?! Нуль! Неужели же при вашем образе мыслей подадите в аспирантуру?

- Не знаю. Еще не решил.

- Не играйте с собой в прятки. Вам, русскому человеку, в армии самое место. В вас я вижу черты истинного армейского офицерства.

- Это во мне? - удивился лейтенант.

- Да, в вас. Ваша судьба темно служить в далеком полку. Вы умны, не тщеславны. Вы - крепь России.

- Спасибо. Но это не так.

- Так, так, - воодушевлялся Игорь Александрович. - К Жорке несколько лет назад захаживал артиллерист, майор, потом, кажется, подполковник. Красавец детина. Сажень в плечах. Росту - на двоих достанет. А уже порченный. Уже с тухлинкой и на московских аривисток заглядывался. Вот это уже гнилая крепь. Пижон, голос лощеный. А поглядишь, когда молчит, ну, прямо, Георгий Победоносец. Забыл фамилию... Рагозин, Распевин...?

- Ращупкин, может? - неожиданно для себя выпалил Курчев.

- Кажется. А что? Знакомы?

- Встречался, - хмыкнул Борис.

"Ничего себе кино, - вертелось в мозгу. - Вон куда залез Журавль. Еще недостало, чтоб он ко мне в фатеру Ингу привел. А что? Вполне возможно?! Ведь звонил из автомата и ему не обломилось. А Инги как раз в Москве нет. Да нет, брось! Она за доцентом..."

- Чудно, - сказал вслух. - Вот уж не думал, что Ращупкин вхож в вашу компанию. По-моему, полная несовместимость.

- Безусловно, - согласился Бороздыка. - Фанфарон ваш подполковник. Но у Жорки кого не бывает?! Этот, кажется, через немку, учительницу свою, попал. Да вы ее знаете. Алексей Васильевич говорил, что вы на юг вместе ездили.

- Через Клару Викторовну? Ого! - засмеялся обрадованный лейтенант. Прямо, как в игру - тепло, горячо, жарко...

- Лохшваге? - понимающе скорчил рожу Бороздыка.

- Нет, не то... - отмахнулся лейтенант. Он случайно знал это жаргонное немецкое словцо. - Просто чудно, что Журавль оказывается так рядом. Я в общем-то с ним здорово знаком. Вот удивится.

- Большой ходок?

- Там, где он, не расходишься.

"Бедная Кларка, - подумал Борис, поднимаясь с не отставшим от него Бороздыкой по бывшей Поварской. - Так вот он, праздник тела?! Н-да... Ничего не скажешь. Крыть нечем".

Ему немного было обидно, что не по своей воле пришлось соревноваться с командиром полка. Но в то же время новость, сообщенная Бороздыкой, вносила ясность в возобновленные отношения с переводчицей.

"Ну и фиг с ней. Звонить не буду".

"А причем она? - тут же перебил себя. - Почем она знала, что Журавль мой командир полка, если он тогда еще полком не командовал?"

- Да, гниловатая крепь, - будто опробовал голос, с удовольствием повторил Игорь Александрович. - Ваш брат метко его окрестил. Голиаф. В смысле - такой большой и такой ненужный.

- Чья бы корова... - не удержался Курчев.

- Что, не в ладах? А мне, признаться, последние дни ваш кузен нравится. Конечно, много наносного. Но внутри незамутненное, абсолютно русское нутро.

- Возможно, я так далеко не лазил.

- Я сам не думал. Человек занимается Западом, и вдруг такие исконные мысли и склад ума. И даже - трудно поверить - начатки религиозного воспитания.

- Он что, признался? - вздрогнул Курчев.

- В чем? Просто мы поговорили несколько вечеров и оказалось, что этот с виду англоман, мимошник, - весь в поисках, в смятении, но в то же время с чувством дороги...

- Это у него от семейных неурядиц. Еще Толстой писал, что в несчастливых семьях пробуждается либерализм.

- А чувство иконы - тоже от неурядиц? - перебил Бороздыка. - Я вам, лейтенант, если помните, в прошлый разговор объяснял, что у вас недоразвито приятие мистического. Вы ползете, а нужен полет. Вот в вашем кузене есть соборность.

- Почувствовали, или сам сказал?

- Такие вещи не расскажешь. Это есть или этого нет. В

Алексее Васильевиче есть.

- Должно быть, - согласился лейтенант. - В Греции всё есть. Мне сюда, - кивнул на дом Сеничкиных.

- А мне дальше, - кивнул Бороздыка в сторону Садового кольца. Звоните. И запомните, я на выпады не откликаюсь. А по сути мы с вами единоверцы, - и Игорь Александрович двинулся к остановке троллейбуса. Вечером он был приглашен к родственникам Хабибулиной. Но, встретясь чуть позже с Ингой, ограничился простым: "сегодня я впопыхах". Бороздыка любил напускать туману.

- Ну и наплел, - бормотал меж тем лейтенант, поднимаясь мимо лифта по узкой, но довольно чистой лестнице. - Темно служи в полку. Тоже нашел Николая Ростова. А Ращупкин - хорош! Но, слава Богу, не с Ингой...

- А тебе разница? - тут же перебил себя.

- Разница, - сказал почти громко и позвонил в дверь.

7

Дядька стоял в столовой и допивал компот, сплевывая косточки в блюдце, которое держала тетка.

- Опоздал, брат. Раньше бы тебе прийти, - улыбнулся племяннику.

- Уже поздно, Вася. Торопись, - сказала тетка и подала мужу пиджак. Опоздаешь, - добавила, вытягивая у него из-за ворота салфетку.

- Я на минуту, штатское забрать, - сказал Борис. - Елизавета выехала.

- Ух ты! Поздравляю, - министр положил руку на плечо племянника, тетка сняла ее с курчевской шинели и сунула в рукав синего драпового пальто.

- Ну, что ты, Вася, как маленький? Борис еще придет.

- Я в отпуске, - сказал Курчев. Он прошел в кладовку и взял свой желтый кожаный чемодан, близнец того, что стоял сейчас на Переяславке, хотя куплены они были - один в Ленинграде, другой - в сельпо под Москвой.

- Подкинете? - спросил отпиравшего дверь дядьку.

- Давай, - сказал тот и хотел пропустить племянника на лестницу, но Ольга Витальевна и тут их разлучила.

- Езжай, Вася. Мне с Борисом побеседовать надо. Раздевайся, Боря.

Курчев с неохотой снял шинель, чувствуя неловкость, как в былые годы в деканате после прогулов.

"Полтора таксишных червонца не дала сэкономить! Может, шеф бы еще у магазина на Мещанке постоял". Идея потолочных обоев, на которых можно было намалевать какую-нибудь

абстрактную чепуху, никак не покидала лейтенанта.

- Садись, - сказала тетка. - Или нет, пойдем.

Она повела его в соседнюю с ванной спальню, в которой лейтенант ни разу не был. Уходя или уезжая, Ольга Витальевна всегда запирала эту комнату.

"Золото у нее там или крест из алмазов?" - гадал когда-то Борис.

Спальня выходила во двор, но при двух больших окнах была необыкновенно светла. Мебели в ней было только две кровати, трюмо и два кресла по бокам низкого круглого столика.

- Садись, - толкнула его тетка, как первоклашку, в кресло, сама села во второе, но тут же поднялась и повернула ключ в замке.

"С чего это она? - подумал Борис. - Неужели гульдены хочет выдать, споловинив, понятно? Чёрт с ней. Половина больше нуля".

- Ты знаком с некоей Рысаковой? - вдруг спросила тетка.

- Нет, - не краснея ответил племянник, глядя в ее напудренное не старое лицо. - А кто такая? - тут же спросил, удивляясь своему спокойствию.

- Не притворяйся, пожалуйста. Ты ее видел у нас и даже провожал домой. Аспирантка Инга Рысакова.

- Ингу помню, а Рысакову нет. То есть не знал, что она Рысакова.

- Да. Рысакова, если не поменяла фамилии. Ее бывший супруг печатает Алешу у себя в журнале.

"Вот информация!" - подумал Борис и тут же согласился, что про Крапивникова слышал и даже однажды разговаривал с ним.

- А про нее что можешь сказать?

- Ничего. Красивая девушка.

- Девушка? Ничего себе девушка... Мужа отбивает.

- Василия Митрофановича?

- Не паясничай! Ты что, злить меня собрался? Лешку. Лешку у Марьяны из-под носа уводит.

- Скажите!

- Пойми меня, Боря. Я знаю, между нами большой любви нет. Но дядю Васю ты любишь и Алешка тебе почти брат. Пойми. Рушится семья. И ты знаешь, что это не простая семья. Ты знаешь то, чего никто не знает. Надька - и та не догадывается, а ты знаешь, - приглушила голос, хотя десятиклассницы не было дома.

- Пойми, Боря. Все это мне далось, - она сделала охватывающий жест рукой, намекая не только на квартиру, но и на семью, - ох, не просто. Ты маленький был. Ты нашей прежней жизни не видел. Ты не помнишь, какая я была и каким тогда был

Вася. Васька... Что Васька?! Васька плотник был. Загульный плотник. Вроде... Ну, чего там...

"Это она про моего отца хотела сказать", - подумал лейтенант, но промолчал.

- Ты не знаешь, чего мне стоило поднять Васю. А Алешку? Ведь Алешка двадцати восьми нет, а уже доцент. Жареный петух не клевал Алешку. И вот тебе, пожалуйста, - теперь пристает ко мне: кто мой отец, да что мой отец? Да расскажи про деда. Иконы, видите ли, ему нужны. Собирать задумал. А тут вчера перед отъездом (слава Богу, уломала - съездить с Марьянкой, может, помирятся), вчера перед самым отъездом вдруг такое сказал, что до утра капли пила:

- Я, мать, еще, может быть, верну себе настоящую фамилию. Понимаешь?

- Сильно забирает!

- Представляешь, каково отцу?! Ведь Вася Лешке отец. Ну, согласна, Сретенский звучит красивей. Но ведь я сама уже давно Сеничкина - и ничего. Заслуженная учительница. А Сретенских где теперь сыщешь?

- Да вы не расстраивайтесь. Это он так, для фасону.

- Думаешь?

- Факт. Что он, пойдет в отдел кадров или, еще хуже, - в райком и скажет: "Мол, так и так, обманывал вас и партию. Никакой я не сын в ранге министра, а отец мой посажен еще когда, и дед мой вообще поп, а мать - дочь расстрелянного попа?" Чёрта лысого так скажет. Может, теперь не посадят, но доцента отберут и еще из партии вытурят. Очень он им нужен без ранга министра...

- Ну, ты это положим... - заикнулась тетка. - Так, думаешь, не пойдет?

- Нет. Кишка тонка.

- Пожалуйста, без словечек. Тут тебе не казарма.

- Извините, как умею, - встал с кресла.

- Боря, держи себя. Я с тобой как с родным разговариваю. Нехорошо пользоваться чужой беспомощностью.

- Что вы, Ольга Витальевна? - снова сел в кресло. - Все это чепуха и волноваться нечего.

- А эта Инга Рысакова, она что - тоже славянофилка?

- Не знаю, - усмехнулся племянник. - По-моему, нет.

- По-моему, тоже. Ведь Теккерёй англичанин.

- Так точно. У вас хорошая информация.

- А ты думал? - не почувствовала насмешки тетка. - Но какова Марьянка?! Представь, я ожидала сцен, а она тихо уложила чемодан (даже твой чуть не взяла - он ей больше понравился) и

ушла к подруге. Скажите пожалуйста! Никогда бы не поверила. Гордость и гордость! А где была ее гордость, когда Алеша знать ее не хотел, когда я уже сосватала его со Светланой Филипченко? Где была ее гордость в новогоднюю ночь, когда явилась на чужую правительственную дачу?

- Я, кажется, понял, - рассмеялся лейтенант.

- Что ты понял?

"Ох, чуть не ляпнул ей, - подумал про себя. - Ну, теперь все ясно: Марьяшка шьется с Журавлем. И как мне раньше в голову не пришло?"

- Что ты понял? - властно повторила тетка. - Что тут вообще можно понять?

- Ничего. У нее была гордость, но Марьяшка ее подавляла, а теперь перестала подавлять. Вот и все.

- Умник. Подавляла, перестала. Я всегда догадывалась, что это за особа и все ее похождения предвидела. Но уж если расписался с ней, то держись. И что он нашел в этой аспирантке? Гладильная доска!

"Ух ты, - подумал Курчев. - А что? У тетки вполне хватит пороху провести по девчонке утюгом".

- А вам что - киоск с пивом нужен? - спросил сердито.

- Ох, ох! Значит, ты тоже влюбился? Ну, что же, потягайся с Алешкой.

- Спасибо.

- Ты понимаешь, что наш разговор - никому...

- Нет, не понимаю.

Он повернул ключ в замке и надел в коридоре шинель.

- Не сердись, Боря. У нас сейчас нет денег, - примирительно сказала тетка.

- Ладно, - козырнул он и поднял чемодан.

- Вот жеребячье отродье, - бормотал, спускаясь по лестнице. - Пожалей такую, а она на тебя тут же дерьма наложит. И все равно жалко. Ведь смешно. Тетке скоро пятьдесят, а у нее ни одной близкой души. Всю жизнь - прячься и таись. В советчики меня зовет, а из меня какой советчик? Да и плевать ей на меня. Секретничает, а в грош не ставит. "Денег у нас сейчас нет, Боря..." Будто я просил. Съедят они Ингу. А Алешка - гусь лапчатый, фраер. Вот бы кому я с удовольствием врезал. И вправду петух не клевал...

Он вышел из подъезда и зашел в автоматную будку. Старуха сказала, что Инга вернулась, но куда-то выскочила на полчаса.

Тогда он схватил на стоянке такси, доехал до хозяйственного магазина на Мещанке и купил десять рулонов потолочных обоев.

- Погоди минутку, - кивнул шоферу и снова позвонил

аспирантке. Прошло двадцать восемь минут, но Инга еще не вернулась.

Он влез в такси и открыл чемодан, чтобы уложить в него хоть часть рулонов. Не хотелось обижать соседку. В чемодане костюм и рубашки были скомканы. Видимо, Марьяна действительно собиралась уйти с его чемоданом, но была вовремя уличена.

"Сволочи, в грош меня не ставят, - снова подумал с обидой. - Эта роется, как в своем гардеробе, тетка лезет со своими переживаниями и тут же: это тебе не казарма! И даже не скрывает, что я для нее - тьфу и растереть".

Он захлопнул чемодан, злясь еще и на соседку, которую почему-то надо бояться, хотя обои клеятся на его собственные стены.

- Хрен с вами со всеми, - сказал вслух, остановил такси, расплатился, вытащил чемодан и плохо связанные бечевкой рулоны и медленно побрел мимо своих окон, забранных изнутри газетами. Степаниды дома не было, а в полутемных сенцах на лавке, поигрывая от скуки никелированными когда-то шишечками кровати, сидела чернявая Валька-монтажница.

- Ты как здесь? - спросил, доставая с дверной притолоки ключ от коридора.

- Мог бы и повежливей!

- Давно ждешь? - спросил мягче, надеясь, что Степанида ушла раньше Валькиного появления.

- Нет, - усмехнулась девушка, вольной походочкой вошла за лейтенантом в коридор и, напевая, ждала, пока он снимет со своей двери амбарный замок.

8

Алексей Васильевич и Марьяна понимали, что из примирения ничего не выйдет. Но ни он, ни она не думали, что им с самого начала настолько не захочется притворяться и предпринимать самые ничтожные попытки для восстановления какого-то подобия семейных отношений.

Едва распаковав чемодан и выкурив из комнаты Марьянину сестру, второкурсницу, восемнадцатилетнюю избалованную девчонку, предпочитавшую тратить каждый день чуть ли не три часа на дорогу, лишь бы не жить в общежитии, они заперли дверь и сели играть в карты. Карты были маленькие, пасьянсные, а игра называлась "бёзик". Играли в нее двумя колодами, начиная от семерок.

"За два года так осточертеть!" - думал доцент, глядя в развернутые веером карточные фигуры. - Квинта, - сказал вслух.

- Какая квинта, когда у тебя взяток нет, - усмехнулась жена. - Нет уж, фигушки. Давай на деньги и всерьез. Хоть навар будет.

- Давай, - кивнул доцент, смешивая карты. Но игра все равно не ладилась.

"За два года... Нет, будем точными, за два года и восемь месяцев... размышлял про себя, снося всяческую мелочь и придерживая бубновых валетов, которые в парах с пиковыми дамами назывались "бёзиком" и приносили сразу пятьсот очков. - Красивая баба. Губы вон какие и сама какая, а никак... Ну просто ничего... - думал доцент, косясь на узкую девичью тахту, на которой ему предстояло провести с женой минимум три ночи. - Хотя бы Бороздыка не подвел и прибыл в субботу. Все же не так тошно будет. Раскладушку тут поставим".

- Сорок, - усмехнулась Марьяна, открывая пикового короля с дамой. Зря надеялся.

- А я и не надеялся.

- Тогда и начинать нечего.

- Я про карты, - покраснел Алексей Васильевич.

- А я про всё...

Кон был доигран и Марьяна записала за мужем два рубля с мелочью.

"Если бы у нее квартира была, - размышлял доцент, сдавая на вторую игру, - тогда все просто. Берешь чемодан и уходишь. Или она к себе возвращается. А так - слишком по-кулацки. Ей ведь приткнуться некуда. У Шустовой - это не жизнь. Та в нервотрепке. И вообще, сколько можно жить у подруги. А мать даже на эшафоте не разменяет квартиры. И, кажется, казенную менять нельзя. Конечно, это красиво - взять чемодан и уйти. Правда, если это твой чемодан, а не Борькин. Хорошо еще, - усмехнулся, - Проська заметила".

- Чему смеетесь, Алексей Васильевич? - спросила жена. - Пусть квартирные дела вас не заботят. Я у Борьки поживу.

- Его демобилизуют.

- Улита едет...

"Рентгеновая женщина, - подумал доцент, даже не удивляясь. - Впрочем, это у нее профессиональное. Но деться ей действительно некуда. С мамаши еще станет выписать ее из лицевого счета. Впрочем, нет. Мать не глупа. Марьяшка в бутылку полезть может. В конце концов, чего уж такого страшного? Все разводятся и мы разведемся. Детей нет и кому какое дело? Жалко, конечно, что рушится семья. Но, с другой стороны, какая семья? Гражданский брак. Загс. С Ингой мы повенчаемся".

- Восемьдесят, - сказала жена, открывая четыре бородатых карты.

- Везет, - усмехнулся доцент. - Впрочем, у тебя их больше было.

- Все мои. И твоя тоже здесь, - показала на пухленькую бубновую даму, нисколько не похожую на Ингу.

- Она - червовая.

- Ах, да. Я забыла. Моя сводная сестра.

- Могла бы не напоминать...

- Ох, простите, Алексей Васильевич. Простите. Вечно я вам наступаю на святые мозоли. Но, к сожалению, мы с Ингой Антоновной сестры. Не сводные, не единоутробные, а однофалли...

- Хорошо, хорошо. Если тебе так угодно. Никто у тебя не отнимает твоего остроумия. Только уж очень попахивает отделением милиции.

- Ну и что? Я из отделения милиции. Ты нашел меня в отделении.

- Ты меня нашла.

- Хорошо, хорошо. Мы нашли друг друга. Твоя милиция тебя подстерегла. Чего ты еще хочешь? Я милицейская шлюха, а ты розовый философ, доцент, влюбленный в мисс Седли? Так? Ничего у тебя не выйдет, Лешенька. Борька на ней женится. Она для Борьки.

- Ради Бога...

- Какое благородство! Господи, какое благородство! Родон Кроули, джентльмен от мальтузианства... Простите, от антимальтузианства! Или нет, я уже заговариваюсь. Новоиспеченный славянофил Алексей Сретенский уходит от порочной жены! Голубица, гряди! Во втором браке надевают фату?

"Чёрт ее знает, что такое, - снова усмехнулся доцент. - Вот рентгеноскопия!"

- Еще три сорок припиши. Может быть, я передумаю и сниму себе комнату. Три сорок и два двадцать - пять шестьдесят. Мало. Даже на день не снимешь. Плохо проигрываешь, Алешенька, - сказала, тасуя карты.

- Квартира - это твой козырь, - помрачнел доцент. - Но каждый раз козырять - неблагородно.

- Простите и не казнитесь. Я поселюсь здесь.

- Женька будет счастлива, - кивнул муж в сторону соседней комнаты, куда они вытеснили Марьянину сестру. - Я бы мог тебе помочь подыскать...

- Отступное? Родон Кроули предлагает Ребекке отступного. Извините, ваше преосвященство, дворяне взяток не берут.

- Ты? Ты дворянка? Господи, уморила!

- А ты думал? Станцию Фирсановку слышал?

- Родовое поместье?

- Бог его знает. Может, родовое, а может, на барщине там вкалывали. Надо отца спросить. Я как-то не интересовалась.

- Вот всегда у нас так, - вздохнул доцент, радуясь возможности перейти от препирательств к какому-то общему разговору. - Родства не помним. На предков плюем. Ты смеешься, а может, у тебя действительно благородная фамилия?!

- А чего в ней благородного? Я за пятнадцать рублей ее сменила. И плевать тебе на мою благородную фамилию и на свою - тоже.

- Я еще ее верну.

- Ох, испугал! Мамочку пугай, а я пуганая.

- Ничего ты не понимаешь. Думаешь, донкихотство какое-нибудь? Ничего подобного! Я не Дон-Кихот.

- О, конечно. Тут я с вами целиком и полностью. "В наш век, когда все дороги ведут..."

- Заткнись!

- Ого...!

- Ну, прости. С тобой говорить невозможно. Да, вчера было "в наш век", а завтра, вернее, послезавтра или после-послезавтра уже не будет "в наш век". Другой будет век. Ты же умная баба.

- Благодарю.

- Не за что. Ты - умная, Марьянка, и должна понять: ничего не стоит, все движется.

- Диалектика.

- Хотя бы, - поморщился доцент. - Эксперимент не получился. Отец родной уже чувствовал и, когда приперло, вспомнил и Ивана Грозного, и Донского, и синод открыл...

- Понимаю...

- Ну, вот. Чего ж ерепенишься? Государство есть государство, и без этих, ну, в общем, - балок... (он хотел сказать по Бороздыке - крепей, - но забыл это слово) не обойдется. Если балка - дрянь, то менять надо, а то все поплывет.

- И что же - благородные фамилии нужны?

- И они тоже. Якобинского дворянства не получилось.

- Ой ли?

- Да, не получилось. В 37-м перемололи, да и вообще Победоносиковы скапутились.

- Смелый ты стал.

- Это с тобой...

- А вдруг донесу? Лучше Инге своей вещай, а я слышать этого не слыхала и вообще ни к чему мне. Играть еще будем?

- Давай, - нахмурился доцент.

- Ты пойми, - сказал спустя две партии, в которых ему везло и он отыграл половину проигранных денег. - Идеи - это

материальная сила. Идеи те же опоры и одновременно рельсы, направляющие, трамплины, если хочешь... Нельзя все сводить к снижению цен.

- Давно, кстати, не было.

- Налог с крестьян снизили. Зато теперь народ накормим.

- Ой ли?

- Не кривляйся. Еда еще не все. Мы - люди, а людям нужен Град!

- Припаси это для Инги. Я тупая. Какой там Град, если на головах друг у друга живем, трех метров квадратных на человека не набирается!..

- Китеж-Град. Библию читать надо.

- В библии Китежа нет. Если уж слушаешь Бороздыку, так хоть запоминай, откуда что. И вообще припаси все это для аспирантки. Меня охмурять нечего. Сам из долгополых. И Инга твоя такая.

- Она настоящая.

- Как же! Родственник бомбу в царя кидал?

- Ну?

- Тихвинский был мещанин. Дворянством там и не пахло.

- Все равно. В истории он есть. Помнят.

- И чего помнить? Кучера убил и своих всех заложил.

- Брось...

- Заложил. Сразу раскололся и всех как есть назвал. Почитай, если не веришь.

- Мне неинтересно. И вообще дочь за отца...

- Ну, это уж, конечно. Особенно за двоюродного дедушку. Только нечего хвастаться: История! Остался! Или Освободителя жалеешь?

Сеничкин, который еще не обсуждал с Бороздыкой деятельности Александра II, благора-зумно промолчал. "Конечно, я темноват, - думал он. - Не темноват, а точнее, кое-что пропустил. Всего объять невозможно. Игорь Александрович - болтун, но в начитанности ему не откажешь. А все-таки сути он не ухватывает. Не политик. Всякая мораль должна опираться на политику. Вопрос о власти выше вопросов морали. Морально все, что тебе на пользу. Но с мамашей я зря ссорился. Не поймет и еще отцу расскажет. Нет, пожалуй, не расскажет... И все-таки не надо было ее расстраивать. Пристала: 'Помирись с Марьяной, помирись. Представляешь, как расстроится Василий Митрофанович'. Чёрт, всюду Василий Митрофанович!.."

- Прошла весна, настало лето,

Спасибо Васеньке за это,

- не удержался он и, подражая материнскому голосу, выпалил

вслух.

- Бесчувственный ты, - сказала жена. - Кричишь о первородстве, а родную мать ни в грош не ставишь. Тебе ее ругать не за что.

- Как сказать...

- Не за что. Женщина, которая ради сына пошла на мезальянс, - уже Жанна д'Арк.

- Не кривляйся.

- А что, "гробик ребенку и ужин отцу", - пропела и показала мужу язык. - Жалко мне тебя, Лешка. Только не изображай смертельно обиженного. И с аспиранткой ты наплачешься и с Игиными идеями насидишься. Да, да и не спорь. Все кончится большими сухарями и адвокатами!..

- Много ты понимаешь!

- Сколько надо. Я же не говорю, что всего этого, о чем поет Бороздыка, не будет. Может, и будет. Может, произведут капремонт, заменят балки и перекрасят фасад. Только малярам и архитекторам никогда не светит. Вспомни Барму и Постника.

- Не каркай!..

- А ты не высовывайся. Кто опережает свое время, тот не доживает до следующего...

- Тебе бы лекции читать!..

- А что - буду! И статьи писать буду, и монографии! Все у меня, Лешенька, будет, а у тебя небо в клеточку, как говорят у нас в милиции! Эх ты, товарищ прокурора! Десять лет науку долдонишь, а ни черта не понял. Музыку заказывает тот, кто платит, а танцует меня тот, кто меня ужинает.

- Сейчас уже не то.

- Что не то? То самое. И сколько ни дуйся, приемного отца не переплюнешь. Ты у него плясать будешь, а не он у тебя.

- Отца академик съест.

- В данном случае, возможно. Но этому... - Марьяна назвала Героя, ... тоже не пофартит. И он - плясун и лабух. В общем не советую:

Никому не говори,

Залепи газетою,

- пропела, переделав на свой лад скабрезную частушку.

Они еще долго спорили, пока Марьянины родители не вернулись с завода и Сеничкиных не позвали к обеду. У Фирсановых доценту всегда бывало не по себе, а теперь из-за неладов с женой он вовсе был не в своей тарелке и поэтому много пил и острил, большей частью не к месту. И, чего с ним никогда не случалось, рассказал при теще и свояченице пару сомнительных анекдотов.

- Разошелся, - усмехалась Марьяна, отчасти радуясь, что заботы о пьяном муже уведут ее от разговора с матерью, ошеломленной внезапным приездом дочери и зятя.

"Нет, я здесь не нужна, да и Женька психовать будет. Поздно ты очухалась, подруга", - сказала себе.

Ей стало грустно и зябко, и хотя Лешка, даже подвыпивши, не был ей неприятен, но его нежные и деликатные пассы не смогли побороть ее одиночества и тоски.

Утром они проснулись поздно, слонялись по пустой квартире, сходили в поселковый кинотеатр, где шел трофейный фильм из собрания Геринга, и потом разгуливали по платформе, с нетерпением ожидая Бороздыку, словно он был веселым и любимым родственником.

9

- Ты что, не радуешься? - спросила Валентина, снимая синее суконное пальто с цигейковым воротником. То ли от неожиданности ее визита, то ли надеясь, что визит не слишком продлится, Курчев не помог ей раздеться и не предложил сесть. Теперь, когда она стояла перед ним в зеленой вязаной кофте, в черной юбке и красных ботинках с желтыми облезлыми каблуками, по его лицу проползла невеселая ухмылка, и девушка, не поняв ее, на всякий случай сказала:

- Воспитанный, называется! Разве так гостей встречают?

- Садись, - сказал лейтенант и сам скинул шинель. - Ремонт, видишь. Не до гостеприимства.

- Незваный гость хуже татарина? Да? - робко усмехнулась девушка, которая тоже не знала, как себя держать. Вся ее храбрость ушла на то, чтобы явиться по этому, с трудом выманенному у "летчика" Залетаева адресу. Но теперь, сидя в оклеенной газетами комнате, она, хоть и пыжилась и напускала на себя разбитной вид, все-таки отчаянно трусила.

- При чем тут татары? Я и сам, может быть, татарин, - улыбнулся Курчев. Несмотря на пестроту одежды, девушка ему нравилась. Он боялся ее и себя и надеялся как-нибудь, не оскорбив, побыстрей спровадить. Степанида сегодня отгуливала ночное дежурство и могла явиться с минуты на минуту.

- Иди врать. Какой ты татарин?! Не похож.

- А фамилия? А плешь видишь?

- Фамилия не татарская, а от курчёнка. А потом они не плешивые. У них борода плохо растет, а волосы густые. У тебя плешь от старости.

- Спасибо.

- Точно. Ты вон какой - слепой, лысый и толстый. Китель расставлять надо.

- Угу. Чего еще?

- А ничего... Плохая у тебя комната. Обстановка - людям показать совестно. Москвич, называется. Интеллигенция!

- Угу, - повторил Борис, понимая, что за руганью начинаются слезы, а за слезами жалость и нерегулируемые поступки. Девушка все еще ему нравилась и его не укололи "слепой, лысый и толстый". Но она ему нравилась не настолько, чтобы броситься на нее очертя голову, и загубить жизнь себе и ей. Он понимал, зачем она пришла. Это была последняя ее попытка, проба, что ли, чтобы не казниться потом. Инженер Забродин был красив, не лыс и не слеп, разве что не худее Курчева, но что-то было, видно, в нем не того, раз девчонка сбежала в пятницу с объекта и тайком пробралась в эту оклеенную газетами комнатенку.

- Ты извини меня. У меня клей сохнет, - соврал он и вышел в кухню поставить на газ чайник.

"Может, Степанида уже вернулась, - постучал в комнату соседки. Познакомлю их и живо намахает Вальку".

- Извини, - повторил, возвращаясь в комнату и отодвигая к стене стол, чтобы было где развернуть обои.

- Дай помогу, - сказала девушка.

- Измажешься.

- А ты гимнастерку дай, - и, не дожидаясь помощи лейтенанта, сама откинула крышку чемодана, вытащила из-под толстовских томиков хлопчатобумажную гимнастерку и отцепила от нее почерневшие серебряные погоны с вовсе черными скрещенными пушками.

- Отвернись.

- Нет, - зевнул Курчев, следя с интересом за ней и думая, что теперь ее даже с помощью соседки отсюда не выкурить.

- Ну и смотри на здоровье, - покраснела девушка, расстегнула и сняла кофту. С открытыми руками и плечами она не выглядела такой худой, и грудь, прикрытая новой голубой комбинацией, казалась крепче и больше.

- Ничего, впечатляет, - улыбнулся лейтенант.

- Ты старый, - девушка всунула голову в гимнастерку. - Коротко. Брюки возьму, - сказала, оглядывая свою черную длинную юбку, лишь наполовину спрятанную под хлопчатобумажным хаки.

- Халат возить надо, - не выдержал Курчев и пошел за чайником.

Девушка, не снимая красных ботинок, натянула бриджи, потом сняла юбку и повесила вместе с кофтой в шкаф. Бриджи были ей широки и она, заправив в них гимнастерку, перепоясалась узким брючным ремнем.

- Чем не Швейк? - подмигнула вернувшемуся лейтенанту.

- Английский новобранец. - В бриджах и гимнастерке молоденькая монтажница нравилась ему куда больше.

"Влип ты, парень", - сказал себе.

Девушка работала легко и быстро, прихлопывая узкие белые полосы обоев к стене, продевая их под электрическую проводку и выстригая.

- Ничего, а? - спросила, когда первая стена от двери до окна была готова. - Только белыми зря. Вот те, с полоской, - кивнула на рулоны, сложенные на шкафу, - лучше были.

- Темно здесь, - сказал лейтенант.

- Ничего не темно. Тюлевые повесишь, снаружи не видно, а свету не мешает.

"Совсем влип", - снова подумал Борис. Ему нравилось, как она работает, споро и весело. Он не успевал на полу намазывать полосы.

- Сдвигай мебель. Здесь короткие надо, - сказала девушка и присела на корточки, проклеивая между окон и за трубами парового отопления. Штаны на ней пузырились, но все равно она была стройная и ладная, и оттого, что они работали вместе, стала ему ближе.

- Вторая готова! - крикнула девушка, подражая артиллерийским командам.

- Шальная, - сказал, отодвигая шкаф к двери.

- А что - не доволен?

- Мне-то что? А вот Севка обрадуется. Севка был унылый инженер Забродин.

- Высохнет - газету видно будет, - задумчиво поглядела девушка на оклеенную стену, не отвечая на вопрос.

"Поссорились, что ли?" - решил Курчев.

На третьей стене не было ни проводов, ни труб, у четвертой добрую треть занимала дверь и, работая почти молча, лейтенант и девушка быстро управлялись с обклейкой.

- Устала? - спросил он, когда она, откинув локтем выбившуюся из-под заколки прядь, спрыгнула с табурета.

- Нет. Потолок будешь?

- Надо бы, - поглядел он на пожелтевшую бумагу и выпиравшую темную продольную балку. Но на его ручных часах уже было начало десятого.

- Уйду, не бойся, - сказала девушка и развернула на полу следующий рулон.

- А мне-то что?

- Стола, жалко, второго нет, а с табуретки низко, - сказала девушка. В сенях у вас скамья. Принеси.

Он, недоумевая, принес скамейку, и монтажница, сдвинув стол к дверям и уложив скамью одним концом на стол, другим на подоконник, стала, слегка покачиваясь, как гимнастка по канату, ходить по скамье, прихлопывая узкие полосы бумаги к потолку и балке.

- Прямо как в цирке, - усмехнулся лейтенант.

- А тебе что, ученую надо?

- Не рухни, - сказал, передвигая стол и перенося конец скамьи на другой подоконник.

- Вот и вся любовь, - девушка спрыгнула на пол и поклонилась лейтенанту, впрямь как канатная плясунья.

- Сколько с меня? - улыбнулся он.

- С нищих не берем. А эти не нужны? - Она показала на рулоны, свернувшиеся на верху шкафа. - У Севки поклею.

- Бери, конечно.

- Обрадовался, - посмотрела на него девушка. - Отвернись.

Он послушно отвернулся, чувствуя, что сам себе противен, и толком не зная, что ему делать.

- Спасибо. - Это слово он последние два дня повторял на каждом шагу кстати и не кстати.

- Можешь, - сказала девушка. - Мыло дай и воды. Хоть над банкой польешь, а то там соседи.

- Никого нет.

- Ничего, придут. А тебе неловко. Как потом свою интеллигентную водить будешь?

- Да никого у меня.

- Ладно, ври. Я все про тебя знаю. Лей помаленьку.

- Да, правда, никого, - сказал, наклоняя чайник.

- Значит отворот получил. Старый ты, Борька...

- Лысый, слепой и толстый...

- Так точно, - усмехнулась, намыливая руки.

Теперь, сняв армейское и вновь напялив кофту и юбку, она уже не казалась лейтенанту близкой и необходимой, и он шутил вполне свободно. Но неловкость все-таки оставалась.

- Я пойду. Не провожай.

- Ну да, - засуетился, подал ей пальто и напялил шинель на измазанную клеем гимнастерку.

- Фортку только не открывай. Или задохнешься?

Чувство неловкости не прошло и на улице. Сильно похолодало и ветер забрался под шинель и не перехваченную ремнем рубаху.

- Не провожай, - повторила девушка. Она вырвала у лейтенанта связку обоев и впрыгнула в как раз подошедший к дому троллейбус.

- Прощай, Борька, - крикнула и столкнула его с подножки. Попровожались.

Он остался на тротуаре, а девушка, кинув рулоны на заднее сидение, протянула кондукторше мелочь и выпрыгнула на следующей остановке. Обои были ей не нужны.

Тут, на продутой ветром ночной Переяславке, она дала волю слезам. Она ревела, не понимая отчего и, если бы ее спросили, чего она хочет от лейтенанта, она затруднилась бы ответить. Не так уж ей хотелось за него замуж, а без загса она бы у него, так ей казалось, ни за что бы не переночевала. И Севка Забродин был куда красивей, и к тому же, инженер.

А этот был толстый, лысый и слепой. Правда, толст не так чтобы очень, и волосы у него были, и без очков чего-то тоже различал. Но вот обклеил с ней комнату и даже не проводил. И выпить тоже не предложил, хотя бутылка в шкафу у него была. Булькало, когда двигал гардероб.

"Дурень, - думала девушка, спускаясь в метро. - Дурень и идиот. Порядочный, называется".

Она знала, что в среду вечером он пришел в девчачий домик прощаться только с ней. Но тогда виду не подала, а теперь вот сама приехала к нему, а он стал задирать нос и строить из себя гордого.

- Вот ведь козел, - вспомнила, как глядел на нее, когда, скинув кофту, просовывала руки в холщевую гимнастерку. - Или комбинация красивая? Нет, на меня глядел, - сказала, нисколько не оспаривая красоты недавно купленного импортного гарнитура. - Ну и козел, - повторила, поднимаясь из метро по эскалатору и потом в загородном автобусе, который подвез ее к самому заводскому общежитию.

"Летчик говорил, что у него образованная есть, а у тебя, дура, только техникум, - сказала себе, накрывшись в своей комнате одеялом, и тихо заплакала от того, что они с Забродиным уже подали заявление и через три дня распишутся, а замужем какая учеба. Может сразу родиться ребенок и никогда-никогда не получить ей образования и не стать аспиранткой.

10

В эту ночь Курчеву приснился Сталин. Сон был нечеткий, и Сталин был какой-то нечеткий. Снилось, что Сталин принимает его под землей в бомбоубежище, где стены, как в "овощехранилище", - из бетона. Сталин ласков. Он без погон в светло-коричневом кителе, а вокруг него какие-то люди, видимо, члены Политбюро. Но он на них не обращает никакого внимания и разговаривает только с Курчевым.

Курчеву неловко. Он не знает, как называть Сталина: товарищ

Генералиссимус или Иосиф Виссарионович, потому что на Сталине нет погон, а сам лейтенант в форме, но китель страшно помят. Правда, Сталин не обращает внимания на китель.

В бункере душно. Ему хочется, чтобы это все было сном, и он старается доказать себе, что Сталин уже умер. Недавно ведь была годовщина.

Но Сталин с ним разговаривает очень сочувственно и доброжелательно; даже подставляет лейтенанту щеку, вроде для того, чтобы тот поцеловал, но Борис в смущении пожимает вождю руку. Ему, конечно, приятно, что Сталин с ним так короток. Но в то же время лейтенант боится, что все может вдруг перевернуться, и Сталин еще может разгневаться.

Курчев с удовольствием бы скрылся, спрятался за спины членов Политбюро, а еще лучше - выскочил бы так вот, без шинели, на мороз и побежал бы на свидание с Ингой. ("На дворе ведь действительно мороз, соображает лейтенант. - Ведь это встреча Нового года. В бункере это все только потому, что окна закупорены из-за обоев.")

А Сталин все еще ласков. Наливает себе и лейтенанту вина в бокалы. Они чокаются. Но вино почему-то сладковатое, хотя Курчев точно знает, что Сталин, как все грузины, любит сухое.

И тут вдруг к столу подходит особист Зубихин. Совершенно непонятно, как сюда пролез полковой опер. Ведь охрана такая, что никто не пройдет. Сталин поворачивается к Зубихину, зло смотрит на него: чего, мол, пришел. Но потом смягчается и тоже наливает ему вина, правда, не в бокал, а в солдатскую кружку. Зубихин пьет и морщится, словно это не вино, а самогон.

- Вы с ним не пейте, товарищ Сталин, - вдруг говорит Зубихин. Робости в особисте никакой, словно он говорит не со Сталиным и даже не с корпусным СМЕРШем, а так - с мелкой пехтурой. - Он реферат написал.

- Ну и что? - спрашивает Сталин и ласково улыбается Курчеву. - У нас рефераты писать никому не запрещается. - В его голосе проскальзывает грузинский акцент, и Курчеву уже чудится какой-то подвох, хотя Сталин по-прежнему улыбчив и даже кладет Курчеву руку на плечо, на не больно чистый погон. Лейтенант не знает, как быть. Душит тесный воротник кителя, но при Сталине не расстегнешься.

- Реферат нехороший, Иосиф Виссарионович, - говорит Зубихин. - Совсем не наш реферат. Какого-то обозника выкопал и все рассуждения вокруг повел, будто обозник - пуп земли.

- А что - ты хотел, чтобы все вокруг меня было? - с хитринкой спрашивает Сталин, но смотрит не на особиста, а на лейтенанта. И Курчеву опять страшно оттого, что Зубихину Сталин тыкает, а с

ним, с Борисом, по-прежнему на вы.

- Обозник тоже человек, Зубихин, - говорит Сталин, и вдруг лейтенант с ужасом замечает, что на Зубихине нет погон и одет он во френч или в сталинку, как Берия и Маленков.

- Обозник или фурштадтский солдат тоже человек, простой русский воин, и без него мы бы войну не выиграли. Правильно, лейтенант, - подмигивает Сталин Борису и того уже бьет мелкая дрожь.

- Да ничего там такого нет... - со страхом отвечает Борис вождю. - Я вам сейчас принесу, - спешно бормочет и уже готов бежать из бункера на мороз с твердой надеждой скрыться и никогда не возвращаться в это бомбоубежище.

- Не надо, - говорит Зубихин. - Я все основное переписал.

И он начинает читать из середины реферата: "Надо, чтобы каждый человек разделил тетрадную страницу пополам и слева писал, в чем он свободен, а справа - в чем не свободен, что мешает его свободе, и, поверьте, эта тетрадка будет интересней любого самого значительного романа. А если потом изобретут машину (а вероятно, ее уже изобрели, потому что изобретена же машина, решающая задачу о точке встречи!), и если вложат все эти данные из всех разграфленных тетрадок, взятых от всего человечества, в эту новую машину, то будет решена задача об идеальном обществе, где все по возможности свободны. Разумеется, нормальные люди. Психов мы в расчет не берем".

- А что? Интересно, - говорит Сталин. - Но ведь это не ваша мысль, поворачивается он к лейтенанту. - Это все переписано из Толстого.

- Так точно, - отвечает Курчев, даже не успев обидеться, что ему отказано в приоритете. - Я просто взял и переписал.

- Толстой - великий писатель и у него можно переписывать, - говорит Сталин и грозно смотрит на Зубихина.

- Нет, - отвечает особист, который уже, собственно, не особист, а, во-видимому, член Политбюро или, как теперь называется, Президиума, потому что на нем тужурка без погон. - Нет, Курчев, - повторяет Зубихин. - Толстой этого не сочинял и не выдавал военной тайны о точке встречи. При Толстом не было еще точки встречи.

- Но точка встречи в учебнике есть, - мямлит лейтенант, чувствуя, что ему уже никогда не выскочить отсюда и не увидеться с аспиранткой.

- Но учебник-то военный, - не унимается Зубихин.

- Ничего, мы разберемся, - говорит Сталин и тут становится жутко похожим на свой плакат под названием: "И засуху одолеем!", где он изображен с карандашом в руке над картой

Советского Союза с лесозащитными полосами.

- Идите, лейтенант, - говорит Сталин Борису и уже не подставляет щеки. Курчев козыряет, хотя на нем нет головного убора, и идет по узкому долгому бетонному коридору; сначала идет, потом бежит, потом несется, как на последней дистанции кросса, и вдруг без сил падает на бетонный мокрый пол... и просыпается на топчане.

В комнате нечем дышать. Курчев поднимается с постели и только последним усилием воли не распахивает окна. Но дышать все-таки нечем. Он подходит к шкафу, открывает дверку и вытаскивает из поллитровки пробку. Водка в шкафу согрелась и он, морщась, делает всего два глотка.

Сидя среди ночи на сколоченном матрасе и стараясь отогнать мысли о приснившемся Зубихине, Курчев думает об аспирантке. Его удивляет, что эта женщина так близко, и он, хотя времени лишь начало пятого, достает из чемодана чистую пару белья и вторые синие бриджи, что меньше вытерлись на заду и коленях.

"Был бы апрель", - вздыхает о венгерском костюме, легком пальто и черных полуботинках.

"Не страдай. Так тоже сойдет", - тут же перебил себя, влез в шинель и перекрещивается ремнём.

"Интересно, покорежила она малявку? - улыбается, потому что на самом деле ему приятно, что Инга печатает на его машинке фирмы "гермес-бэби", купленной каким-то чудом год назад в комиссионке на Колхозной. На "малявку" были ухлопаны полторы тыщи подъемных. Но лейтенант не пожалел бы и двух, даже трех, благо в прошлом году деньги были.

Он навешивает замок и выходит через притихший дворик на улицу. Переяславка темна. Только над крышами домов небо светлее, словно его, как стекло, протерли тряпкой. Оттуда же раздаются короткие гудки и частое шипение паровозов.

"Машинистов", - улыбнулся лейтенант, вспоминая, что так его называли в детстве. И вдруг, как живого, увидел пьяного отца в доме у бабки. Отец сидел за большим столом напротив шурина, инженера Сеничкина и, запустив ладонь в длинные вихры (к нему-то шла фамилия Курчев!), мотал вместе с ладонью опущенной по-бычьи головой и доказывал дядьке Василию:

- Я механик! Понимаешь, механик я. Это я до войны (он имел в виду первую империалистическую) перчатки носил и на извозчике в депо ездил. Соображаешь?! У меня дети в гимназию ходили...

- Сейчас не хуже, - хмуро отвечал дядька, который с удовольствием бы выгнал из материнского дома некстати пожаловавшего гостя.

- Хрен, не хуже. У меня бы кухарка была и квартира в пять комнат.

- Не пей, - просила мать. - Ну, Кузя, - тут же сказала потише, потому что отец повернул к ней голову и в глазах у него не было ни капли нежности, а лишь презрение и злоба. - Ну, прошу, Кузенька, - отвернулась мать. Она боялась отца и безнадежно его любила, а он ее не выносил.

- Посадят тебя, Кузька, - сказала бабка. Отец злобно поглядел на тещу, но ничего не сказал и налил себе и дяде Василию.

- Иди сюда, Борис, - поманил сына. - В гимназию хочешь?

Он посадил мальчишку на колени, погладил по голове, а когда выпил стопку, прижался щекой к затылку сына - и сейчас, через семнадцать лет, лейтенант помнил эту щеку и этот запах портвейна, смешанный с запахом машинного масла, дыма и металла. В то лето отца за пьянство списали из паровозной бригады и он слесарил в депо.

"Хорошо, что рядом дорога", - подумал лейтенант, спускаясь по спящей, почти черной улице. Ему хотелось еще что-нибудь вспомнить об отце, но другие воспоминания не приходили, а сапоги, весело стуча подковками по очищенному от снега тротуару, тащили его в сторону от железной дороги в горбатый Докучаев переулок.

"Я не знаю ее окна, - подумал лейтенант. - А может, она не спит и тарахтит на малявке?"

"Да что она, Сталин, что ли?" - улыбнулся самому себе. Но едва свернув с Переяславки на тоже тихую, спящую Домниковку, он почувствовал ту же неловкость, что три с лишним недели назад в доме Сеничкиных, когда аспирантка протянула ему свою тонкую и длинную ладонь, а он испугался, что она учует, как у него вспотела спина. Тогда, в феврале, он сутки перед этим был в наряде, а сейчас он спал раздевшись и вряд ли в нем остался какой-нибудь запах, кроме запаха разведенного клея. Но ему все равно было не по себе, и он не вошел в Докучаев переулок. Женщина Инга была мечта, а к мечте нехорошо примешивать посторонние запахи. Он прошел дальше по Домниковке, пересек еще довольно пустынное Садовое кольцо и вошел в тихий длинный узкий уютный переулок с высокими домами, в которых кое-где уже светились окна.

Он дошел до центра. Бани были закрыты и больше часу он ходил по просыпающимся бульварам, где на холоду трусили редкие прохожие в штатском, при встрече с которыми не надо было тянуть руку к ушанке.

Горячая вода вместе с куском купленного в киоске банного мыла сняла с души и тела неприятные воспоминания, и выйдя из

мыльни в предбанник, Курчев чувствовал себя очищенным для великой любви, как прошедший санпропускник новобранец ощущает себя готовым для действительной службы.

Но когда он спустился в раздевалку, где уже первые завсегдатаи пили, закусывая маленькими солеными сушками, свое первое пиво, и набрал телефон аспирантки, недовольный старушечий голос ответил, что Инга уже ушла.

- Не вибрируй, ничего страшного, - сказал почти вслух, потому что почувствовал, что его начинает трясти, как малярика. - Третий научный! Забыл, что ли?

Но билет остался вместе с удостоверением личности в кармане хлопчатобумажной гимнастерки и пришлось спешно ехать домой. В сенцах он чуть не толкнул Степаниду. Она колдовала, нагнувшись над кадкой с капустой.

- Что ж пельмени? - спросила не разгибаясь. - Холоду уже того нету. Пропадут.

- И правда. Сейчас поставлю.

- Сыпьте все. Я вам мясу купила. Сейчас сварю, как кастрюлю опростаете.

Они вдвоем поели за ее кухонным столом.

- Чтоб дома не пачкать, - сказала соседка, накладывая ему в тарелку пельменей и кислой капусты. - Поклеились? Погляжу, - поднялась и пошла в его комнату.

- Чудно. Как в больнице, - сказала возвращаясь. - Ничего, телевизор купите - красиво будет. "Еще чего", - подумал Борис, но вслух сказал:

- Куда мне? Я бедный.

- Бедный? Вот те на. Военный и бедный.

- Я последний месяц военный, - дал он соседке пятидесятирублевую бумажку.

- Много. Тут на семь кил хватит. Я запомню. Сегодня к сестре в Лобню поеду, а в понедельник еще куплю.

Разговор с соседкой несколько его отвлек и успокоил, и войдя за шинелью в комнату, водки он себе не налил, а только застелил матрас синим одеялом и закинул чемоданы на шкаф. Под матрас они не влезали. Не хватало как раз тех десяти сантиметров, на которые он убавил приготовленные Михал Михалычем ножки.

В комнате было по-прежнему натоплено и жутко разило клеем. Лейтенант чуть приоткрыл фортку и наполовину завинтил разводным ключом кран парового отопления, который только сейчас попался ему на глаза.

- А чего? - сказал, оправдывая свою рассеянность. - Я ведь впервые с радиаторами.

Действительно, до войны в этой комнате была печь, и в

Серпухове тоже была печь, и в армии все четыре года были одни печи - никаких водяных батарей. Правда, в общежитии были радиаторы, но по приказу коменданта были спилены все краны, и температура в комнатах регулировалась при помощи откидываемых фрамуг, отчего Курчев каждую зиму простужался.

"Ну, Бог в помощь", - сказал себе и поехал в Ленинку.

11

Раньше в библиотеках он никогда не терялся. Они были его домом, даже больше, чем домом. Дома у него не было, а в библиотеках Борис просиживал почти все вечера, если не набиралось денег на кино или не прорезывалась где-нибудь выпивка. Во всех читальнях, начиная от серпуховской и кончая общим залом Ленинки процветала демократичность и плевать было, блестят ли у тебя на заду штаны или бахромятся манжеты, как скатерть. В библиотеках царило равноправие, и будь ты самый расподонок, тебе все равно обязаны были выдать заказанную книгу.

Больше всего Курчеву нравились Историчка и Тургеневка. Особенно Тургеневка - старый особнячок у Кировских ворот, где можно было достать журналы 20-х годов, в которых пестрели не замаранные тушью, полные удивительной таинственности имена расстрелянных врагов народа. Все запретное притягательно, а что было запретнее этих фамилий? - и курчевский интерес не был чем-либо исключительным и выходящим из правил. Все его филологические сверстники, если не были абсолютными болванами, высматривали на свет зачеркнутые имена на страницах старых изданий.

В Тургеневке было вольготно духу, но душно и скученно, и еще была вечная опаска, что кто-нибудь заглянет через твое плечо, что ты там читаешь. В Историчке - наоборот - было просторно, но журналы давали либо уж совсем дореволюционные, либо последних скучных лет. Зато в курилке Исторички был один интересный субъект, худощавый лысоватый мужчина лет тридцати (Курчеву тогда было восемнадцать!), который знал абсолютно все, учился - если не врал! - в Литературном институте, печатал театральные рецензии в "Вечерней Москве" и еще делал литзаписи стахановцев и передовиков труда в "Профиздате".

Рецензии, не говоря уже о профиздатовских брошюрках, Курчеву не нравились, а говорить с этим чахлым типом всегда было любопытно. Тот был плохо выбрит, внешне неаккуратен, к тому же похож на какого-то грызуна. Глаза у него были расположены как-то сбоку, у самых висков, словно он всегда был настороже и ожидал подвоха. Денег у него не было и он

постоянно стрелял у Курчева - до реформы в пределах червонцев, а после - от рубля до трешницы и, разумеется, никогда не возвращал. Борис, собственно, относился к таким поборам как к чему-то естественному, как к плате за нравоучение, и не жадничал, хотя денег у него было только стипендия да изредка - левые заработки: разгрузка вагонов на Окружной дороге или барж в Южном порту.

Этот читатель Исторички знал всех врагов народа по имени-отчеству, знал все их советские должности и даже называл тюрьмы, в которых они сидели до революции. Знал он также всех их женщин, жен и любовниц, и Борис слушал его завороженно, как юный футбольный болельщик старожила Восточной трибуны.

Мужчина называл каждое имя с придыханием, как бы с оттяжкой, для придачи фразе большего эффекта. Курчев поддавался этой отвратительной и безвкусной манере, и только по выходе из курилки, на улице или в метро, отплевывался и костерил этого зачуханного ханурика. Но все равно его тянуло в Историчку и, выдерживая неделю-другую, Борис неизменно возвращался в Старосадский переулок, где снова слонялся с этим типом по этажам, пил чай в буфете или дымил в знаменитой курительной.

Иногда к мужчине подходил рослый мешковатый парень с большим дряблым лицом и бараньими глазами. .Говорил парень всегда медленно, длинно и округло, будто не знал, что существуют точки, и в конце каждой фразы тыкал запятую. Слушать его было невыносимо скучно, да и говорил он что-то несущественное. Поэтому Борис уходил при его появлении, что, собственно, его и спасло.

Может быть, Курчев и не загремел бы в лагерь, потому что никогда с мужчиной не спорил, называл его строго по имени-отчеству, слушал разинув рот и ничего недозволенного, если бы даже и хотел, сообщить ханурику не мог бы. Ханурик перекрывал его во всех областях. Но в свидетели могли бы потянуть и, наверно, потянули бы, если б не выручила ревность. (Конечно же, Курчев ревновал ханурика к увальню и потому уходил из курилки как только появлялась эта круглая бесформенная, будто набитая опилками, фигура.)

В конце институтского курса увалень исчез из библиотеки, а вскоре Борис благополучно, с кучей троек, сдал экзамены и его загребли в армию.

Резкая смена впечатлений почти вышибла из курчевской головы странного рецензента "Вечерней Москвы", да и разговаривать на подобные темы в армии было не с кем.

И вот, в самом начале января этого года на премьере

арбузовской пьесы, куда пошел с Марьяной вместо загрипповавшего Лешки, Курчев столкнулся, опять же в курилке, с этим огромным увальнем, который то ли из-за офицерского кителя, то ли оттого, что все-таки минуло пять лет, Курчева сначала не узнал.

- Мы в Историчке встречались. Помните... ? - назвал Борис имя-отчество рецензента.

- Где он? - спросил огромный парень, который теперь тоже повзрослел и не очень походил на того оболтуса из Исторички.

- Не знаю, - почему-то смутился Борис. - Я в армии давно.

- Ваше счастье, - сказал детина. - Ничего, я его встречу. Наверно, все в Историчку шастает.

- А может, он здесь? - спросил Курчев.

- Нет. Я наблюдал с балкона, - ощерил увалень неполные челюсти и показал театральный бинокль. - Наверно, на генералке был. Но ничего. Он уже знает, что я вернулся. Пусть помандражирует.

В увальне появилась какая-то резкость и одновременно театральность, что-то блатняцкое, что к нему не шло, но, видимо, уже прилипло. Костюм на нем был хотя и не поношенным, почти новым, но каким-то старомодным и явно тесным - и глядя на него, Курчев догадался, что тот только что из лагеря, и не подвел увальня к Марьяне.

- Если увижу, передам, что вы его ищете. Но я теперь все больше не в Москве, - быстро, словно извинялся, выговорил Борис.

- Не нужно. Я сам его найду, - сказал увалень с величавой брезгливостью и, кинув пронзительный взгляд на Марьяну, поднялся в зрительный зал.

- Кто такой? - спросила Марьяна. Курчев объяснил.

- Фраер. Но на уголовника не похож. Наверно, из "фашистов". Их уже потихоньку выдергивают назад. А кого ищет?

- Да был такой театральный писака. Я еще Алешке хвастался, что с ним знаком.

- Как будто слышала, - кивнула Марьяна, а через неделю огорошила Бориса известием, что действительно театральный рецензент оказался стукачом и засадил пять лет назад увальня в лагерь. И теперь увалень ходит по всем домам Москвы и разоблачает рецензента. И жена рецензента, которую он уже успел бросить, теперь от обиды и злобы подтверждает, что да, был ее муж осведомителем (по-лагерному "композитором", потому что писал "оперу") и подписывал свои сообщения словом "источник". Будто бы даже показывала увальню куски черновиков.

Теперь, подымаясь по лестнице в третий научный, Курчев на

мгновение вспомнил все свои библиотечные вечера и, радуясь удаче и ненаказанности, смело толкнул дверь этого святилища. В конце концов, что стоили мятый китель и неказистые сапоги по сравнению со свободой?! И он смело пошел по ковровой дорожке между столов с зелеными лампами, почти не стесняясь и не вжимая голову в засаленные погоны.

Конечно, в прошлогоднем феврале в еще новеньком обмундировании и в сияющих хромовых сапогах он гоголем ходил между молоденьких вузовок и чувствовал, что, только захоти, почти с любой познакомится - и оттого, что этой уверенности ему вполне хватало, не знакомился ни с кем. Но в начале марта на похоронах Сталина ему так за ночь обработали хромачи, что к утру они походили на обложки древней букинистической книги. И китель, правда, не так быстро, тоже вытерся, и волос за год на голове поубавилось - и теперь Борис шел между научными зелеными столами, как демобилизованный солдат между шеренг полковников и генералов. Инги нигде не было.

Он еще раз обошел все ряды, злясь, что забыл дома очки. Но он уже знал, что аспирантки в читальне нет. Если б она здесь была, он бы еще раньше, чем увидел ее, почувствовал это. Так случалось и с менее важными для него девчонками, а в Ингу - он в зале это понял - влюблен окончательно.

Чтобы не слишком досаждать своим хождением злобным научникам, лейтенант поднялся на хоры. Но здесь они были другие, чем в общей публичке. Тут люди тоже занимались, и стоять и разглядывать отсюда девчонок не полагалось. И все-таки сверху он успел заметить, что народу в зале не так уж густо. Много свободных стульев - но не столов, - на них лежат книги и тетради. Кинув взгляд на свои круглые, похожие на настенные, часы, Курчев понял, что подошло время обеда, и со всех ног кинулся с хоров в зал, а оттуда мимо стойки для выдачи книг вниз, в буфет, будто точно знал, что аспирантка там.

12

Она действительно сидела в буфете и, обжигая тонкие длинные пальцы, допивала чай. За три недели, что она провела в доме отдыха, подстаканники куда-то исчезли.

"Вот и уезжай", - подумала и вдруг увидела лейтенанта. Сейчас, при дневном, правда неярком, свете полуподвала Курчев показался ей шире и больше, и лицо у него было добрее, застенчивей и счастливей.

- Здравствуйте, - поднялась из-за стола, не допив чая и не успев ни удивиться, ни обрадоваться появлению технического лейтенанта.

- Еле вас нашел, - неловко пробурчал офицер.

- И я вам звонила, - смутилась Инга и с умышленной резкостью поборола смущенье. - Звонила, а мне ответили, что вас нет, а что я какая-то фря и вы мне навесили колун.

- Извините, - совсем смешался Борис. - Правда, звонили?

- Правда, правда, - кивнула, чувствуя, что в сумбурной застенчивости ей не перещеголять лейтенанта. Но ей было все равно весело и легко.

- Вам машинка нужна? Она в порядке. Я всего две страницы перестучала. У меня плохо печатается. И жалко - замечательная машинка.

- Да, хорошая. Но я вас искал не оттого... Вы меня тогда здорово выручили с башней. Знаете, завертелось и, тьфу-тьфу, обещают. Словом, я сейчас в отпуске.

- Вот как? Очень рада. Потому что жутко сначала трусила...

- Да, вы писали. Я помню. А я прочел Теккерея и куча была всяких мыслей, но почерк у меня никудышный. Вы, наверно, ничего не разобрали.

- С трудом... Вернее, почти ничего. Вчера вечером тетка мне дала. Куда-то по рассеянности засунула и в дом отдыха не отправила. Старухе скоро восемьдесят пять или четыре. Выйдем. Здесь говорить неудобно.

- Так вот, я вам звонила, - сказала Инга на лестничной площадке. - А что значит - "колун повесить"? - Она чувствовала, что чуточку, самую чуточку кокетничает, но ей не хотелось, чтобы разговор зашел о чем-то постороннем, пусть серьезном, но не слишком для нее интересном. Она не знала, для чего ей лейтенант, но он уже был тут и хотелось с ним разговаривать как-то легко и неосторожно, и чтобы он чувствовал себя смелее.

- Да так... Ничего особенного, - краснел Курчев. - Не обращайте внимания. У нас и не такое услышишь, как говорил полковник из анекдота.

- Какого анекдота?

- Да так, одного... малоприличного.

- Анекдоты бывают либо остроумные, либо - нет, - усмехнулась, чувствуя, что овладевает положением, и ей от этого даже стало чуть грустно. - Идемте, я верну вам машинку.

- Да нет, я подожду, - бормотал лейтенант у нее за спиной. Они поднимались по лестнице. - Работайте, я подожду.

- Ничего. Надо начинать с понедельника, а я начала с субботы и вот не то... Подождите, я сейчас принесу книги, - сказала в библиотечном предбаннике и открыла дверь в зал.

Курчев стоял и не верил, что это именно с ним сейчас, а не с кем-то другим вот тут, перед дверьми, разговаривала она, такая

длинная, худая, почти неземная. Правда, она уже однажды сидела с ним в вокзальном ресторане. Но тогда, сто лет назад (а точнее - двадцать четыре дня), все было проще. Тогда она была для него ничем. Он о ней столько не думал, и она просто из вежливости и любопытства посидела с ним за столиком. Тогда было легко, а теперь в нем была сильная напряженность и ему казалось, что эта напряженность передается аспирантке и пугает ее, и тяготит, и она торопится скорее развязаться с ним, и вот бросает даже в середине дня библиотеку, только бы раз и навсегда лейтенант отстал от нее и на глаза не показывался.

"Но чего же тогда звонила?" - подумал и тут же повторил вопрос вслух, потому что Инга вышла из зала в предбанник с папкой и двумя зелеными, точно такими, какие лежали в его чемодане, томиками Теккерея.

- Сейчас отвечу. Вот пожалуйста. Сбросьте, - сказала девушке на выдаче.

- Мне было скучно. Я пошла в ... и спросила, как звонить по вашему адресу. Девчонка на телефоне объяснила: "через 'Ядро'". Но вас уже не было.

- Вот, черт, не повезло.

- Почему? Вы ведь меня нашли. А машинку я вам сейчас верну.

- Да я не про машинку, - снова расстроился лейтенант. - Если бы я знал, что вы рядом!

- Ну, и что тогда?.. - пожала она плечами, как бы сводя на нет его бессмысленные сожаления. - К нам в дом отдыха приезжали какие-то офицеры вот с такими погонами, - осторожно, словно боясь запачкаться, дотронулась она до потемневшего серебра на левом плече Курчева. - Одному подбили глаз.

- Это Секачёву, - почему-то обрадовался лейтенант. - И вы их видели? Там еще один был, посмазливей.

- Видела и даже танцевала. Они мне понравились средне.

- А второму, Мореву, вы показались, - снова покраснел Борис. Он вспомнил, как на другой день после 8-го марта Секачёв ругался:

- Из-за историка блямбу посадили. Сапоги, видишь, у него не те. Поехал бы третьим, хрен бы привязались, а привязались, Борька первым бы схлопотал. У него ряжка шире.

- А девчонки были? - спросил кто-то из офицеров.

- Да так. Фря одна тощая увязалась. Но я ей до пупа.

- Ему "Пиво-воды" подавай, - усмехнулся Морев. - Кадр в порядке был. Только нам бы все равно не обломилось.

- Жалко. А я его плохо запомнила, - сказала Инга, понимая, что этот чудак-лейтенант уже начинает ее ревновать к своему

однополчанину. - Помню только, что танцует прилично.

- А я вовсе не умею, - нахмурился Борис.

- Зато пишете хорошо. Что-нибудь еще сочинили?

- Да так, пробовал... Ничего существенного, - ответил он, беря пальто у гардеробщика, за разговором он не заметил, как спустились к вешалке.

- Наверно, это из-за машинки. Теперь получится, - улыбнулась Инга, но тут же, помрачнев, добавила:

- Вы меня тут случайно нашли. Я теперь в Иностранке засяду. Сервису там меньше, зато по Теккерею больше шпаргалок.

"И Сеничкин там меня не найдет", - добавила про себя, хотя знала, что доцент английский знает не хуже ее и по работе Иностранка ему тоже нужна ничуть не меньше.

- Жалко, - вздохнул лейтенант, напяливая шинель и не протягивая гардеробщику мелочи: он считал, что такие поборы закономерны лишь в ресторанах, банях и парикмахерских. - А мне ваш муж как раз билет сюда устроил.

- Успели подружиться?

- Два раза всего встречались.

- Хвалит реферат?

- Не поймешь. Вроде бы... Собственно, ничего не сказал. Все собирался, но мешали.

- Он всегда так. Не расстраивайтесь, - тронула лейтенанта за руку. - У него узкие интересы, а вы - не женщина.

- Вроде бы, - усмехнулся Борис, чувствуя, что аспирантка хочет его как-то приободрить.

- Там была одна женщина, картавила, но кажется симпатичная. Они с мужем меня приглашали... - добавил, не зная, как вести разговор, и больше всего боясь, что он затухнет.

- Может быть, - нахмурилась Инга и ее странные, темные, гораздо темней волос, брови на мгновение срослись. - Я не люблю ту компанию.

- Там еще художник был...

- Художник, пожалуй, ничего. Хороший художник. Да и они все ничего. Просто я там раздружилась, - сказала веселее. - Сейчас возвращу вам вашу машинку. Вы напишете подходящую работу и ваш брат введет вас в историческую науку.

- Как барана, - скис Курчев, спускаясь с аспиранткой в метро.

- Не надо. У меня есть, - сказала, когда он кинулся к кассе. Отогнув два билета, Инга протянула книжечку контролеру - и лейтенант с аспиранткой вспомнили, что точно так же было три с лишком недели назад на той же станции, и одновременно улыбнулись общему, хоть и пустячному воспоминанию.

- Нет, не как барана, - сказала, снова притрагиваясь к

курчевской шинели. - Скромность прекрасна, но прибедняться не надо. У вас все получится.

- А у вас?

- И у меня, - кивнула, чувствуя себя сегодня гораздо старше этого смешного военного, который где-то кем-то командует и вообще повидал в жизни больше нее, а вот с ней такой зажатый и держится довольно глупо. - И у меня тоже, - повторила, беря его под руку.

Поезд, как казалось Борису, несся с сумасшедшей скоростью. Сейчас они вылезут из метро, дойдут до Докучаева. Аспирантка вынесет машинку и скажет "гуд бай". Он не знал, как развлечь женщину, понимая, что ей неинтересен, а ее доброжелательное отношение к его писанине - это так, печки-лавочки. Да и что общего между человеком и тем, что он корябает?

Стоя рядом в качающемся летящем вагоне, он чувствовал изгибом своей руки ее руку в варежке и молчал, мечтая, чтобы поезд летел и никогда бы нигде не притормаживал. Лучше уж не будет, казалось ему, хотя еще ничего не было.

Но когда они вышли на Комсомольской и прошли под мостом, ему бросилось в глаза на небольшом фанерном стенде спасительное объявление: "Заграничный фильм. Нач. 15 и 17 ч. Дети до 16 лет не допуск."

- Как? - расхрабрясь, подмигнул аспирантке.

- Впечатляет, - улыбнулась та. - Наверно, какая-нибудь дрянь, а все равно не пройдешь, надеешься.

- Может, попробуем? - Он почувствовал, что в таком шутливом необязательном тоне ему легче держаться.

- Давайте, - кивнула Инга. - Это тут рядом, в следующем переулке. Я иногда туда бегаю. Сейчас вынесу вам машинку и пойдем.

- Вы идите, а я за билетами, - сказал, почти не обижаясь, что аспирантка не зовет к себе. Прощание отодвигалось на два часа и сердиться раньше времени не стоило. - Идите по своей стороне, а я возьму билеты и навстречу...

- Хорошо. А то у меня тетка прихварывает и вообще кавардак. Предки на курорте, а я еще толком не прибрала, - покраснела Инга, потому что в комнатах она убралась, но звать к себе лейтенанта не хотела.

- Я тоже кавардак развел. Обои клеил, - зарделся Борис, словно заражаясь от аспирантки. Впрочем, краснел он оттого, что обои клеил не один.

- Ого! Так вы квартиру получили! Что ж молчали? Поздравляю. Теперь жених с жильем.

- С развалюхой, - усмехнулся, желая опровергнуть не столько

жилье, сколько жениха.

- Ну, счастливо, - подняла Инга варежку и слегка свела в ней пальцы, как в слабом "рот-фронте". - Я скоро.

13

Поднимаясь по переулку, она вовсе не была так весела, как Борис, подбегавший к какому-то второсортному фабричному клубу.

"Везет, - думала. - Жилье. Мужчина с квартирой. А у Алексея Васильевича ничего, кроме жены и четырехкомнатного палаццо. У Г. И. Крапивникова тоже было жилье", - вздохнула Инга, вспомнив, как полтора года назад в антракте одного поэтического вечера Георгий Ильич подошел к ней с глубокомысленно-серьезным, исключающим всякую возможность отказа, выражением лица и потребовал номер телефона. Маленький, лысенький, внешне абсолютно ничтожный, он не заинтересовал Ингу, и номер телефона она назвала просто из вежливости и еще, чтобы поскорей отстал. Конечно, это было ошибкой.

Через неделю она поняла, что не может дня провести без Крапивникова и крапивниковского окружения - всех этих великих, но непризнанных поэтов, художников, безработных актеров, журналистов, историков, без их полупьяной веселой болтовни, без последних самых свежих анекдотов, сплетен и непроверенных новостей; без довольно вольных разговоров, прерываемых в самый опасный момент магическим словом "пресикак", которое чаще всех произносил Георгий Ильич, центр, вдохновитель, глава кружка или общества.

Насколько с Крапивниковым было интересней, чем со сверстниками с филфака! Никто еще так не понимал Инги и никому она так охотно не поверяла себя.

"Это потому, что семья у нас дикая. Люди в дом не ходили... разбирала потом Инга казус своего замужества. - Комнатная бабочка на огонек..."

Но еще до замужества было далеко и все вообще было прилично. Крапивников до нее даже не дотрагивался и никаких искушений, вроде "Бойтесь меня. Я океан!" не применялось. Правда, однажды он прочел ей стихи Эхнатона, объясняя, что они ему приснились и, стало быть, он духовный двойник египетского владыки или даже сам фараон и таким образом мистический супруг Нефертити.

Но Инга лишь пожала плечами и Крапивников вернулся к медленному и церемонному почти невидимому ухаживанию, больше напоминающему глубокую интеллектуальную дружбу. Так длилось несколько месяцев, пока она не привыкла к его внешнему безобразию, перестала замечать, как он некрасив. Потом

безобразие каким-то чудом обернулось привлекательностью, и Инга осталась у Георгия Ильича, а затем вышла за него замуж и ни разу до самой осени не пожалела об этом.

Лишь теперь стало неловко перед отцом, матерью и Вавой, что вот старенький, лысенький, а поматросил и бросил. И еще стыдно стало некоторых знакомых, что уже поглядывали искоса и как-то чересчур задирали нос. Впрочем, что на них обращать внимание?

А все-таки что-то в Крапивникове было, если полгода он дурил ей голову, и она была в каком-то сумбуре и плелась за ним, как любая из девчонок в сказке про Крысолова. Да, что-то в нем было. В том, 53-м, таком богатом событиями году он, журнальный работник, взрослый, совсем не глупый, очень эрудированный человек, казалось, жил вовсе не новостями, а одним поклонением Инге Антоновне Рысаковой. Он был - само подобострастие, услужливость, весь - ее пустячные желания, он был влюблен в нее, как старый учитель в десятиклассницу, и трогателен, как юноша, ухаживающий за дамой. И когда она осталась у него впервые на ночь и потом до загса и несколько месяцев после загса на его широкой тахте под скрещенными ятаганами, кремневыми пистолетами и прочими военными безделушками, он, Жорка Крапивников, был чудо из чудес, он читал ее, как книгу, все в ней понимая, и знал и чувствовал, что она хочет в любую минуту, был нежен, нетребователен, внимателен, он переворачивал и выворачивал ее, но всегда только так, как она желала, словно она ему подсказывала. Словом, он был сплошное угадывание, и она была несказанно счастлива с ним целых четыре месяца, пока вдруг, разом в нем словно что-то оборвалось, и он однажды не ночевал дома, потом взял себе в журнале командировку и уехал с какой-то женщиной в Ленинград, после чего Инга перебралась домой, сначала временно, потом наподольше, а затем насовсем.

Лишь постепенно она стала понимать, что с ним творилось и что означала его формула: движение - всё, цель - ничто. Он был просто странный сексуальный маньяк, человек, получающий радость не от близости, а от игры в близость. Он был, как Кин из анекдота, в котором английская королева просит Кина изобразить ей сначала Цезаря, потом Александра Македонского, потом кого-то еще, кажется, Наполеона, и спит каждый раз с Кином, как с Цезарем, Македонским, Наполеоном, и вдруг, когда она просит его остаться просто Кином, Кин пасует, потому что он импотент.

Просто Георгий Ильич вымотался за четыре месяца служения. Ему нужен был новый предмет, новый допинг, и поэтому театр одного актера Г. И. Крапивникова уехал на гастроли.

По-человечески она простила мужа, но как мужчина он был

ей уже неприятен, почти мерзок, и она бы не смогла теперь лечь с ним в постель.

"А с Алешей?" - спросила себя.

"Алеше этого не надо. Он меня нравственно любит великой нравственной любовью. Он меня боготворит. Я для него богиня, худющая плоскогрудая богиня. А для земных дел у него следовательша, с которой он уехал за город налаживать прохудившиеся контакты". "Чёрт, почему они все меня любят за душу, за ум, даже за лицо, но никто меня не любит просто так - всю?.. Даже лейтенант смотрит на меня, как на ангела небесного. Что-то во мне неправильное. Но что? В тридцатых годах этот тип был в моде, правда, не у нас, а за железным занавесом. Тип... Мода... Все-таки я женщина, а не обложка журнала", - рванула она на себя дверь парадного и поднялась по лестнице.

- Почему рано? - спросила тетка, которая, по-видимому, несколько отошла, потому что сидела за столом в большой родительской комнате и решала кроссворд в старом пожелтевшем "Огоньке".

- Возвращаю печатный станок, - хмуро ответила Инга, злясь, что тетке не сидится на своей кушетке. Вчера вечером Инга явочным порядком оккупировала большую родительскую комнату и теперь сердилась на непрошенное вторжение.

- Вернусь поздно. Не жди, - сказала, доставая из-под письменного отцовского стола железную, похожую на электрический импортный прибор тестер или маленький частотомер - курчевскую драгоценность.

- Решила пуститься во все тяжкие? - не поднимая седой синеватой головы, буркнула тетка.

- Пожалуй. Только вряд ли удастся... Гуд бай, ма тант.

- Не торопись. Мне уже недолго заедать твой век. Совсем недолго.

- В таком случае я скоро вернусь. Гуд лак! - махнула Инга, как Курчеву, варежкой, но, передумав, подошла к тетке и чмокнула ее в веснушчатый прореженный затылок.

Лейтенант, по-видимому, несся на крыльях, потому что уже ждал ее у подъезда.

- Вот, пожалуйста, - протянула она небольшой железный ящик. - Пушинка. Ничего не весит!... Ах, реферат забыла. У меня второй экземпляр. Первый я передала Георгию Ильичу. Он вернул вам?

- Нет. Видимо, пустил по знакомым.

- Вот это зря, - нахмурилась аспирантка. - Боюсь, как бы я, кроме демобилизации, не принесла вам еще неприятностей. Это работа для узкого круга.

Она взяла Бориса под руку, и он опять решил, что из жалости. Теперь у него были заняты обе руки, и ему не хотелось бы встретить кого-нибудь из старших офицеров.

- Не беспокойтесь. У меня еще третий экземпляр был, но ребята на пульку растащили, - сказал и тут же с голой четкостью вспомнил сегодняшний сон, и ему, хотя он шел под руку с любимой женщиной, стало не по себе. Обойдется, - повторил без особой бодрости.

- Давайте сюда, так ближе, - повернула Инга, не доходя до угла. Обожаю, - усмехнулась, - проходнушки. Будем надеяться, что обойдется. А лучше - не надо бы... Особенно в армии.

- Это вы слышали, как доцент распекал?

- Нет, - мотнула головой. - Что распекал слышала, а слов - нет. Было, как "Голос Америки", сплошная глушилка, - сказала без всякой улыбки и вдруг, неизвестно почему, ведь лейтенант ее не спрашивал, добавила: - Я его с тех пор не видела, - и тут же вспомнила, что встретилась с доцентом на другой день.

Они молча дошли до клуба, неказистого, закопченного одноэтажного барака, раскрыли обитую ощипанным войлоком дверь, в грязном заплеванном коридоре протянули контролерше билеты и вдруг очутились в светлом, чистом, с новыми креслами и новым экраном зале, таком большом, что даже непонятно было, как он уместился в этом тесном с виду бараке.

- Оптический обман, - сказала аспирантка и тут же нахмурилась, вспомнив, как месяц назад она привела сюда доцента, и тот тоже был удивлен.

14

Фильм начался сразу, без журнала, и тут лейтенант вновь обнаружил, что забыл дома очки. Это была американская, видимо, довоенная лента с Флинном в главной роли. С предпоследнего ряда титры не были видны, лейтенант щурился и едва понимал содержание. Сюжет был типично ковбойский, правда, с историческим оттенком. Северяне бились насмерть с южанами, и одна сторона из-под носа другой увозила золотой песок. Флинн с друзьями бежал из тюрьмы и летел по пустыне в почтовой карете. Напротив него сидела шпионка-южанка (Флинн оказался янки), маленькая плюгавая красотка с букольками, которая Флинну в подметки не годилась. Сейчас, когда лейтенант глядел на Флинна без очков, тот не казался таким длинноносым и жутко смахивал на двоюродного брата.

- На Лешку похож, - не выдержал Борис.

- Нет, - помотала головой аспирантка. Похоже, что ее всерьез занимала картина или, возможно, она радовалась английской речи.

- Смотрите, - шепнула и тронула левую руку Курчева, которая скромно лежала на его собственном колене. Лейтенант огромным усилием удержался, чтобы не взять и не погладить эту тонкую и длинную освобожденную от варежки ладонь. Ему хотелось держать ее весь фильм в своей руке и - чёрт с ним! пусть это американское дерьмо никогда не кончится. Но он помнил наставления всех дон-жуанов: никогда сначала не гладить женщине руку и, если целовать, то непременно в губы.

Но о губах сейчас речи не было и он, косясь на Ингин курносый профиль с падающей челкой, радовался, что хоть через шинель и ее дубленую выворотку чувствует такое тонкое, трепетное, почти беззащитное плечо аспирантки.

Фильм, как недавно поезд метро, летел с дурацкой скоростью. Шпионка влюбилась во Флинна и одновременно вывезла с территории северян на быках кучу золотого песка. Флинн погнался за ней, но был пойман южанами, и ему уже грозила смерть. Тогда шпионка, эта кудрявенькая пергидролевая спирохета, помчалась к южному президенту молить, чтобы Флинна не казнили. Президент не соглашался, несмотря на героические заслуги шпионки.

И вот уже были построены солдаты, и забил барабан, и Флинна должны были немножко расстрелять, как вдруг раздался над городом орудийный салют, и тут даже близорукому Курчеву с предпоследнего ряда стало ясно, что фильму конец: южане сдались северянам и подписали мир. Президент Линкольн освободил и наградил Флинна, и на прощание в кадре Флинн и шпионка, которая стала северянкой, сочетались поцелуем.

- Ну как? - поднялась Инга, застегивая дубленое пальто. Лицо у нее теперь при ярком свете было смущенным, словно она стеснялась, что глядела с интересом такую муру.

- Ничего, - пожал плечами лейтенант, который почти ничего не видел и весь сеанс думал только о том, как бы аспирантка сразу не ушла. Правда, еще оставались два спасительных томика Теккерея, и он прикидывал, как бы это поделикатней и поненавязчивей повернуть к ним разговор. Впрочем, на худой конец можно было пригласить женщину в ресторан. Но обидно было сидеть в переполненном субботнем зале (и добро бы еще сидеть, а если замерзать у открытых дверей?!), когда у тебя собственная халабуда с окнами, завешенными от троллейбусов газетами.

- Вам очки нужны. Вы все время щурились, - сказала аспирантка, выходя с Курчевым на заваленный шлаком, грязными цистернами и чугунными чушками двор.

- Я их дома забыл.

- Ну вот, - снова нахмурилась. Ее сердило, что он сегодня такой тюха. В прошлый раз он был куда занятней. Теперь же рядом с ней шел влюбленный антропос, наподобие Бороздыки. Сейчас, в ее раздрызге, не хотелось никаких влюбленностей и переживаний, никаких сложностей, а самого простого и легкого общения. Ей хотелось, чтобы лейтенант взял ее сейчас под руку, привел в свое новое жилье и дальше... Впрочем, она не очень думала, что дальше. Просто ей не хотелось возвращаться домой к тетке или снова ехать в библиотеку, даже в Иностранку. Ей просто хотелось забыться с этим милым, чужим и чудаковатым офицером. Это желание не было ни сильным, ни надрывным. Честно говоря, оно было не сильнее, чем вот два часа назад жажда посмотреть заграничный фильм. Но, Господи, зачем лейтенант так ест ее глазами? Щурится и ест. И куда пропала его болтливость?

- А Теккерея вы мне возвратите? - спросила, стараясь не смущаться. Теккерей ей не так уж был нужен. Она знала его почти наизусть и в доме отдыха обходилась без этих двух зеленых томиков. В Москве же у нее было еще одно издание.

- О да! Конечно. Я-то вообще хотел вас пригласить... У меня кавардак. Обои... - заторопился он, вспомнив, что на полу остались следы клея, и он в спешке и по лености не соскоблил их ножом и не протер мокрой тряпкой.

- Пойдемте, - насмешливо мотнула головой. - Обожаю разглядывать всякие квартиры.

- Это не квартира, а развалюха. Я ж родился тут, - покраснел Курчев, который на самом деле родился в Серпухове, куда мать уехала на последнем месяце. Но лет с трех, когда его определили в детсад при дороге, и до самой смерти матери он действительно жил в этой комнатенке. Первые три класса он ходил через два переулка в школу, пока отец не женился на Елизавете и бабка не забрала Борьку к себе на Оку.

- Значит, мы соседи, - сказала Инга.

- Ага, - улыбнулся лейтенант. Его словно прорвало. Теперь он болтал, не переставая, чувствуя, что если остановится, то уже не заведется, как машина с испорченным стартером. Так бывает во сне, когда снится чудесное и все боишься, что спугнешь, рассыпешь и не соберешь. В экстазе он уже проглядел двух капитанов и одного подполковника, но те - то ли из-за субботнего дня, то ли из-за миловидности его спутницы - простили Курчеву некозырянье.

- Вы не следите, - сказала аспирантка. Хотя лейтенант был ее первым армейским знакомым, она знала, что военные должны при встрече отмахивать руками и за манкирование попадает

младшим. Она уже настроилась идти к Курчеву, не хотела, чтобы он влип в какую-нибудь неприятность, да и вообще не жаждала присутствовать при его унижении.

- Ничего, уже рядом, - улыбнулся он. - Вот только в магазин забежим.

Он надеялся, что Степанида сварила мясной суп, а вот предлагать аспирантке водку он бы не решился. Но магазин на Переяславке был плохонький и сухого вина в нем не оказалось.

Инга, поставив на подоконник железную коробку, с досадой наблюдала, как лейтенант судорожно накупает продукты - колбасу, сыр, две банки консервов, капусту провансаль, которую ему завернули в ненадежную бумагу, пачку соли, сахара и две пачки пельменей.

"Теперь уж, - подумала, - наверняка попадется".

Но, к счастью, жилье лейтенанта было через улицу и, когда они перешли Переяславку и вошли в низкую кирпичную подворотню, Инга с облегчением вздохнула, впрочем, еще и потому, что стояла ранняя весна, пожилые гражданки на крылечках не сидели и не судачили, и они с лейтенантом благополучно проскочили в его дверь, за которой шибало легкой сыростью и заквашенной капустой.

"Небогато", - подумала, проходя вслед за Курчевым сени и осматриваясь в полутемном коридоре, освещенном только маленьким и темным, выходящим в подворотню кухонным окошком.

Лейтенант, неловко эквилибрируя пакетами и свертками, отчего из кулька с провансалью уже капало на шинель, снимал с двери большой замок.

- А знаете, очень ничего! - сказала, с любопытством всовываясь за лейтенантом в отпертую дверь. - Правда, здорово!

Борис бросил покупки на обеденный стол и снял с аспирантки пальто. Хотя на дворе еще не стемнело, в комнате было темновато, несмотря на то, что край газеты на левом окне оторвался и в треугольный вырез была видна часть вывески продовольственного магазина.

Гостья, худая и рослая, одиноко стояла в темной низкой комнате, не зная, куда сесть, а рассматривать, кроме белых потолочных обоев, тут было нечего.

- Я сейчас соображу, - забеспокоился Курчев. - Только занять вас нечем. Кроме вашего Теккерея, ничего стоящего нет. Только огоньковский Толстой. Но вы его терпеть не можете.

- А патефон? - кивнула Инга на раскрытую дверку шкафа, откуда лейтенант доставал тарелки, мелкие и глубокие, вилки, нож, две оловянных ложки, солдатскую кружку и пожелтевшую

фаянсовую чашку с выщербленными краями.

- Не знаю, работает ли... - пожал плечами, удивляясь, как это за три дня не удосужился опробовать игральную машину.

Когда-то, почти двадцать лет назад, патефон был предметом гордости юного Курчева. Весь двор собирался у их крыльца, и подвыпивший отец заводил пластинки "Рио-Рита", "Утомленное солнце", "Саша" и еше штук двенадцать других. Не обладая слухом, Борька помнил наизусть лишь слова. До войны Курчевы были не то что богаче, а, пожалуй, из-за отцовских гулянок даже беднее соседей, но беззаветно влюбленная в отца мама Клава, учительша, как ее звали во дворе, завербовалась на все лето в пионерский лагерь и осенью подарила машинисту на день рождения новый, обитый коричневым дерматином патефон. Может быть, она надеялась, что с патефоном Кузьма Илларионович чаще будет оставаться дома. Кто ее знает? Бедная учительница начальных классов не долго прожила после этой покупки, а патефон без нее крутили сначала ее муж с техником Лизкой, потом сама техник Лизка невесть с кем, а потом уж, наверно, Михал Михалыч, мужчина положительный, купил радиолу, и патефон вернулся к наследнику первого владельца.

- Куда ни кинь - история! - улыбнулся на мгновение Курчев, вспоминая биографию ящика и вытаскивая его из шкафа. - Тут еще куча пластинок, но все довоенные. Нет, стоп! Одна чужая. Забыли...

Он повернул в руках маленький целлулоидный почти гнущийся диск, на котором сладко улыбался зализанный мужчина и было написано "Родные берега".

- Наверно, мура какая-нибудь, - сказал, раскрывая ящик и вставляя в него заводную ручку. К удивлению лейтенанта, патефон был хорошо смазан и пружина не скрипела. Но край пластинки был покорябан, иголка сразу прыгнула к центру и из-под нее с легким шипением задребезжал голос:

Нам в Сингапуре и в Бомбее
Сиял небес лазурный цвет.
Но верьте мне, что голубее
Родных небес на свете нет.
И нет прекрасней и дороже,
Звучней родного языка,
И нет средь нас таких, кто может
Забыть родные берега.

- Родные берега, - повторила зачем-то иголка, хотя и без того все ясно,

Кто знает, как для моряка,
Минута эта дорога,

Когда в туманном свете маяка

Вдали покажутся родные берега!

- Мура, - повторил лейтенант, вспоминая, что не раз слышал эту песню в увольнении. Под нее вертелись на огороженных танцплощадках морячки, отбивая у артиллерийских курсантов околопитерских невест.

- Ничего, кружиться можно, - снисходительно кивнула Инга, перебирая старые, стертые, кое-где отколотые или треснутые черные диски. - А вообще, очень интересно. Действительно история!

- Всё история! - согласился Борис, доставая из шкафа и вынося в сени бутылку водки.

"Даже моя фатера, - подумал, - за три дня биографию набирает: сначала Ращупкин приперся, потом Валька, а теперь..." - он открыл дверь в сени, достал из-за кадки кастрюлю с супом и поставил рядом поллитровку.

- Теперь... - он снова не мог подобрать подходящие слова и объяснить, что же теперь... Теперь женщина, самая, очевидно, лучшая в мире, пришла к нему в гости, вернее не к нему, а в его фатеру, и он готов был ревновать ее к своему жилью. И в то же время ему было стыдно за неказистую комнатенку, которая свалилась ему чуть ли не с неба, - хотя он почти родился здесь и прожил до полных одиннадцати лет.

В кухне черенком черпака лейтенант разбил лед в большой кастрюле, перелил половину содержимого в меньшую и выковырял полуторакилограммовый кусок мяса. Меньшую кастрюлю он поставил на газ, а большую отнес назад в сени и накрыл камнем.

- Проголодались? - улыбнулся аспирантке. Она уже сидела на покрытой тонким армейским одеялом самодельной тахте.

- Нет. Я ела, когда вы пришли.

- Ну, это когда было! - подошел он к окну и заново прикнопил оторвавшийся край газеты. Занятый пустячной работой, он чувствовал себя здесь куда уверенней, чем в библиотеке, в кино или просто на улице. Инга с любопытством следила за офицером.

- Нет, не надо. Не люблю верхнего света. Так лучше, - сказала, когда он подошел к выключателю.

- Сейчас закипит, - сказал, вываливая продукты на тарелки. Сыр пришлось поместить вместе с колбасой и провансалью. Тарелок не хватало.

- Помочь вам? - спросила гостья.

- Нет, не надо. А то неинтересно будет. Я ведь в первый раз в жизни принимаю гостей.

- Конечно! - сказала аспирантка. Ей начинало здесь

нравиться. Только хозяин по-прежнему был излишне суматошлив.

- Несут, несут! - подражая половому из второго акта "Ревизора", закричал, вталкиваясь в дверь с кастрюлей, и тут Инга загадала, что если лейтенант поставит кастрюлю на пол (собственно, больше ставить ее было некуда), то у доцента с прокуроршей примирения не выйдет. Но лейтенант, лишь секунду помедлив, толкнул правым локтем мембрану патефона (она, взвизгнув, легла на свое место) и, придавив другим локтем патефонную крышку, взгромоздил на нее кастрюлю.

- Вот хитрюга, - чуть не вскрикнула Инга и тут же усмехнулась своему невезению и солдатской находчивости хозяина.

Он в последний раз вышел в сени за бутылкой водки, которая почти не охладилась, потом пододвинул стол к тахте; сощурясь, налил в жестяную кружку и в фаянсовую и обе пододвинул гостье.

- Вам какую - армейскую или эту? Я из нее когда-то пенки вылавливал.

- Нет, жестяную. Терпеть не могу молока.

- А я люблю. Но это пью чаще. Вот демобилизуюсь и вернусь к первоисточникам. Ваше здоровье!

- Ваше! Пусть у вас все получится, - чокнулась с ним через стол. Звук получился странный, но она бодро выпила почти не остывшую водку. - Нет, нет! Мне супу не надо, - замахала, будто поперхнулась, когда лейтенант понес полный половник к ее глубокой тарелке с таким же трактором, как на фаянсовой кружке.

- Ну, тогда одного мяса, - удивился он и вылил половник себе.

Ему нравилось, как она ест, пьет, чокается, сидит на его тахте в его комнатенке, уже почти темной от исправленных на окнах газет, и он ловил себя на мысли, что еще никогда не был таким везучим.

15

Бороздыка рассчитывал пробыть за городом по крайней мере до понедельника. Как все неработающие люди, он не терпел воскресений и особенно невзлюбил их теперь, когда обзавелся невестой Заремой Хабибулиной, матерью-одиночкой. Дочка Заремы после шестидневки переворачивала дом вверх дном и заявляться к Хабибулиным в воскресенье было по меньшей мере неблагоразумно. Но и торчать у себя в грязной, запущенной, с подтеками на потолке светелке было невесело и поэтому Игорь Александрович предпочитал проводить уикэнды в гостях. Несмотря на пристрастие ко всему духовному, он обожал хорошую пищу и, охотно заглушая свой непримиримый

антисемитизм, посещал еврейские дома, где еще не разучились кормить.

Марьяну Сеничкину, хотя она была чистокровной славянкой, он не переваривал по иным причинам. Но перспектива подышать свежим воздухом была настолько соблазнительна, что на подмосковной платформе, где она ждала его с доцентом, он галантно поцеловал ей руку в разрез перчатки, за что был чмокнут куда-то возле уха.

За несколько минут обратной дороги к дому Фирсановых Бороздыка чутким нюхом неудачника определил, что никакого примирения между супругами не произошло, но, сосредоточив мысли на фирсановском хлебосольстве, которого еще не испытал, но о котором был наслышан, не счел свой субботний выезд таким уж бесперспективным.

И только на лестничной площадке заводского дома, когда они трое наткнулись на какую-то обрюзгшую немолодую женщину в странной стеганке с пришитым облезлым лисьим воротником, Бороздыка понял, что ничего не будет и придется поворачивать в столицу не солоно хлебавши.

Он не допытывался, что это за женщина и откуда она. Впрочем, откуда было ясно так же, как было ясно, что она не чужая. Возможно, он это понял даже раньше Марьяны, которая сначала оторопело глядела на женщину, словно что-то вспоминая, потом рывком обняла ее, зарыдала, наверно, как решил Бороздыка, больше от стыда, чем от радости.

Конечно, это была родственница, которую старались забыть и почти забыли, и уж никак не ожидали, а она вдруг вернулась. Ее надо было куда-то поместить, чуть отогреть, собрать вещей и денег на дорогу - и чужим в эти часы в доме было не место. Это сразу поняли Сеничкин и Бороздыка и, наскоро пожав гостье руку, скрылись на английский манер, не прощаясь.

- Извините, сэр, - сказал доцент в станционном буфете, протягивая Игорю Александровичу полстакана коньяку. - Этот предмет неожидан и для меня.

- Ничего. Бывает, - великодушно чокнулся с ним Бороздыка. Они сели в поезд. Доцент не слишком грустил. Ему не терпелось сбежать от Фирсановых, и явление Марьяниной тетки (он догадался, что это тщательно скрываемая жена пропавшего много лет назад материнского сводного брата) было ему на руку. Он не хотел с Марьяной ни мириться, ни ссориться. Ее побег с чемоданом к переводчице был шокингом и тут следовало что-то делать. Вот он и поехал с ней за город. А явление непредусмотренной родственницы было семейным бедствием и, стало быть, уважительной причиной, чтобы ничего не

предпринимать в плане примирения. Во всяком случае, шокинг прерывался, если не аннулировался.

При всей своей собранности, работоспособности, молодости и везучести Сеничкин не любил принимать самостоятельных решений. Он верил в свою звезду и считал, что все само собой уладится. И пока действительно улаживалось. А что Марьяна фордыбачит и бесится, то все они такие. Даже Инга - с виду олененок - тоже с характером и Бог знает чего выдумывает. Он верил, что если не очень расстраиваться, все само собой придет в норму. Кроме того, явление этой нелепо одетой старухи давало компромат на Марьяну и при случае можно было бы подпустить шпильку по поводу фирсановской семьи, ее человеколюбия и христианской отзывчивости. Во всяком случае, это будет шикарная и приятная неожиданность для Ольги Витальевны.

- Братья Киреевские, - меж тем бубнил под ухом Бороздыка в такт постукивания колес электрички.

"Да, - думал доцент. - Человечишко много знает. Такого грех отпускать".

- Сэр, если не пробьемся в какой-нибудь кабак, можно будет выгрузиться у вас? - спросил Игоря Александровича. - Мне страшно неудобно. Сломал вам день.

- Пустяки. Конечно, можно. По-студенчески, как в девятнадцатом веке.

- Угу, - кивнул доцент.

Они почти не расставались с пятого марта, годовщины смерти вождя, когда, случайно столкнувшись в редакции, завели разговор о прошлогоднем покойнике, и уже доцент собирался пустить в адрес усопшего пару колкостей, как Бороздыка сказал:

- Собиратель. Что там ни говорите, а восстановил империю. Единую и неделимую. Даже прибавил пол-Европы. Шутка ли?! Помните, у Шульгина в "20-м"? Выполнил белую идею. Те - всё раздали, этот собрал. А что не русский, так и Романовы - швабы. А теперь только год прошел, и уже Крым хохлам отдаем. Так недолго и все раздать - и Прибалтику, и еще Бог знает что!..

- Ну, это формальность, - сказал доцент.

- Не скажите. Сегодня формальность, а завтра могут и по форме спросить. Это - как повернуть. Конечно, деспот был... Но ведь кто не деспот? Деспот, но реальный человек. Государственник. Нелегко ему пришлось. С анархии начинал.

И дальше Бороздыка начал описывать красоты Львова, Вильнюса и Таллина, городов, где он никогда не был, и Рижского взморья, где никогда не отдыхал, а Сеничкин, объездивший за свои неполные двадцать восемь лет все курорты страны, представил вполне реально, что не собери всего этого Сталин, он,

Алексей Васильевич, был бы этого лишен и, отнеся гибель своего отца, Юрия Алексеевича Сретенского, на счет Дзержинского и его последышей, не стал ругать Сталина.

Всю неделю Бороздыка поражал его подобными открытиями, и Сеничкин честно поил неудачливого кандидатишку, провожал, как девушку, до дому, брал на ночь из дрожащих рук Бороздыки раритеты, вроде шульгинских книжонок, и постепенно проникался белыми и светлыми русофильскими настроениями. Нет, он не собирался немедля проводить их в жизнь, но он верил, что со временем они сами проведутся, и тогда уж наверняка он, Алексей Васильевич, будет во всеоружии и уж никак не аутсайдером. Но у себя на кафедре он о них, понятно, не распространялся. Да и в других местах тоже. И только нечаянно в день ухода Марьяны к Шустовой взорвался в разговоре с матерью, помянул своего настоящего родителя и помечтал о возвращении родовой фамилии.

Конечно, это было нехорошо, неблагородно, а главное, не к месту. Он и до скандала с матерью знал, что у его формального отца с президентством не вытанцовывается. Союзнички финтят и прочат француза, а наверху, в Совмине, волынят и никак не могут решить, посылать ли на выборы Василия Митрофановича или с самого начала отказаться от проигранной партии, Сеничкину сказаться больным, послать для проформы на заседание сеничкинского зама, а потом снять Сеничкина и назначить Героя. Для иностранцев Герой импозантней, знает английский и вообще сейчас, в период надвигающейся международной разрядки, смотрится более европейски.

Близкое поражение приемного отца тоже как-то прибивало Сеничкина-младшего к Бороздыкиным идеям. Он как бы чувствовал, что от отца и всей его команды ему, Алексею Васильевичу, ждать уже нечего. Все, что могли, они уже дали и теперь надо поворачиваться к другим источникам или, вернее, дожидаться, когда эти закрома сами повернутся к тебе. И он бы терпеливо ждал, если бы не некоторый разлад с Марьяной. Потому и взорвался с матерью и слишком открылся жене за городом во время игры в безик.

Больше он ни с кем не откровенничал. Жорку Крапивникова даже зондировать было нечего. Для того не было святынь. Он мог осмеять и, что еще хуже, пустить сплетню по всей Москве.

Но вот кому бы доцент охотно открылся, это Инге. Это стало бы их тайной и одновременно мостом к сближению. Они бы окончательно сошлись и это бы украсило их близость. Он бы бросил играть с ней в платонические прятки, а там... а там, как говорил режиссер актрисе, просившей главной роли: поживем

- увидим. Наперед загадывать не стоило.

- Да, кстати, вами интересовалась мадмуазель Рысакова, - сказал Бороздыка, когда они с доцентом уселись у него на пятом этаже на уголке письменного стола за бутылкой азербайджанского клоповника и сковородой с зажаренными в яйце кусками колбасы.

Бороздыка, будучи голоден и рассчитывая на более изысканный стол, был несколько язвителен.

- Ах вот как! Значит, вернулась, - спокойно сказал доцент, допил из стакана и вышел в коридор.

Игорь Александрович с неудовольствием слушал, как тот твердо, будто у себя в комнате, набирает номер, и давнишняя ревность к доценту, подогретая плохим коньяком и неудавшимся ужином, снова колыхнулась в его узкой и впалой грудной клетке.

- Ингу Антоновну можно? - небрежно спросил доцент, словно звонил к себе на кафедру. - Извините. Позвоню попозже.

- В библиотеке, видимо, - сказал, возвращаясь в комнату.

- В субботу?! Впрочем, она не еврейка, - хмыкнул Бороздыка, удивляясь сеничкинскому самообладанию. - Может быть, и не в библиотеке. В городе объявился технический лейтенант. Говорит, квартиру получил.

- Да. Развалюху какую-то. Где-то за вокзалами, - отмахнулся доцент. Слышал, что вполне аварийное жилье. Так, что вы говорили, братья Киреевские?

Но, позвонив еще дважды, в последний раз около полуночи, Сеничкин с неудовольствием подумал, что, Бог ее знает, может быть, Инга действительно справляет новоселье с его кузеном. Он не знал курчевского адреса, да если бы и знал, без зова и спросу ни за что бы туда не пошел. Он не был ревнив, но знакомство аспирантки с техническим офицером было ему неприятно. Романа там никакого быть не могло, но Борька родственник, и через Борьку Инга раньше времени могла узнать кое-какие семейные подробности, которые он предпочитал изложить ей лично.

Он просидел у Бороздыки до часу и тот ему сегодня (наверно, оттого, что можно было провести этот вечер удачней) порядком надоел. Расстались они холодней обычного. Раритетов Алексей Васильевич нынче не выпрашивал и, сбежав по темной узкой лестнице, перешел Садовое кольцо и сел в троллейбус. Очень тянуло свернуть в Спасскую, а оттуда в Докучаев и дождаться аспирантку. Но не так был воспитан доцент Сеничкин, и не стал бы замерзать, как Бороздыка. Он верил, что Инга от него не уйдет.

16

В комнате теперь стало настолько темно, что троллейбусы уже не затемняли, а освещали ее своими зажженными окнами. Лейтенант сволок на кухню грязную посуду, но мыть не стал, боясь, что пока будет возиться, аспирантка встанет и соберется домой.

Но когда он вернулся из кухни, стол от тахты был отодвинут, а Инга, сбросив закрытые, на каучуке, туфли, сидела на тахте, обняв руками колени и накрыв ступни подолом широкой юбки. Лица ее он в темноте не видел, но чувствовал, что женщине невесело.

- Расклякла я у вас, - сказала, поводя плечами. - Пластинки, жаль, все старые. Я вам другие принесу. Одну очень хорошую, - помедлила и он успел обрадоваться слову - принесу, - значит, придет еще раз. - Вот такую... - и она вдруг запела.

Это была английская песня, и Курчев не понял ни одного слова, кроме "грин", которое показалось ему созвучным

немецкому "грюн" - зеленый. Он даже не был уверен, есть ли у аспирантки слух (у него самого его не было). Но пела она как-то истово, видимо, вкладывая в песню что-то свое, и ее голос от этого стал еще ниже. От того, что стол был отодвинут, Борис, войдя в комнату, сразу не сел и теперь слушал стоя. Он видел, что с гостьей что-то творится, что песня неспроста и что относится она вовсе не к нему и даже поется, наверно, не для него.

Это было какое-то воспоминание с нарочито повторяемыми "гринфилдс". И сейчас, почти в полной темноте, обостренным слухом Борис понял, что "гринфилдс" - это как по-немецки: "грюнфельд", то есть зеленое поле или даже скорее - поля, но что, собственно, не в них дело. Аспирантка не была сельской жительницей, родилась неподалеку, на расстоянии каких-нибудь пяти-шести переулков отсюда и, должно быть, пела о своей незадавшейся любви к Лешке. Но все равно Курчеву было безумно ее жаль. Он уже был готов волочь сюда самого Лешку из Марьяниного загорода, только бы Ингин голос не звучал так низко, отчаянно, исступленно, как вдруг, допев последнее "гринфилдс" и медленно прошептав "энд ми уанс эгейн", она наклонила голову и разрыдалась.

В сгустившемся за время песни сумраке даже белые стены стали темны и сливались с полом и мебелью. Курчев уже не видел женщины, только слышал ее прерывистые всхлипы и легкий сухой звук старой фанерной стенки платяного шкафа, до которого аспирантка дотрагивалась плачущей головой.

- Что ты? - не выдержал он, неожиданно для себя выдохнув "ты", и подошел к тахте. - Ну, ты же красивая, - сел рядом, желая утешить. Он не понимал истерик и боялся их, и сейчас погладил ее по голове так же бескорыстно, как полтора месяца назад бедного Федьку, когда тот признался, что хотел жить со своей сестрой.

- Ну, ну, будет... - повторил, чувствуя, что бескорыстие убывает в нем слишком быстро и что плачущая по другому мужчине Инга ему дорога и нужна, и ему жутко неохота отрывать от нее свои руки. - Ну, будет, будет... машинально бормотал, поворачивая ее за плечи к себе. Она по-прежнему прижималась лбом к стенке шкафа. И тогда он осторожно, но крепко потянул ее сзади за волосы и поднял ее голову.

- Больно, - сказала тихо, и он обрадовался, не услышав в ее голосе плача.

- Ну, вот так, - повторил, повернул ее лицо, прижал его к своему кителю и поцеловал, забывая правила записных дон-жуанов, сначала в нос, потом в брови и в закрытые мокрые глаза.

Он не хотел, чтобы она поднялась и ушла, и был нетороплив, хотя уже весь напряжен, и сдерживал себя, зная, что она тоже чувствует, что он напряжен. Но он еще ничего такого не сделал, что помешало бы ей спустить с тахты ноги, влезть в дорожные туфли на толстом ребристом каучуке, поблагодарить его за гостеприимство, причесать волосы и махнуть с порога варежкой.

В комнате, как в погребе, было темно и тихо.

- Спасибо... Уже прошло... - прошептала Инга.

Тогда лейтенант, стараясь скрыть сожаление, хотя две минуты назад только и желал, чтобы гостья успокоилась, разжал руки и, как бы отрекаясь от надежды, смиряя себя, медленно провел ладонью по ее щеке, как будто этим ласковым и ни к чему не обязывающим жестом прощался со своей незадавшейся любовью. И тогда Инга, сама не зная почему, вернее, из тысячи самых разнородных чувств - из доброты, признательности к чуткости Курчева, из-за своей чуткости, из-за тоже несостоявшейся любви к доценту и злобы на него, из-за выпитой водки, усталости, темноты в комнате, из-за того, что она уже не девчонка и некрасиво играть на нервах постороннего, но вовсе не плохого человека, словом, из-за всего-всего - тихо и мягко сжала своей ладонью его кисть и потерлась глазами, носом и губами о мякоть его ладони.

Лейтенант вздрогнул, будто не поверил, потом медленно поднял ее голову и поцеловал крепко в самые губы, потом еще и еще, уже не отпуская и не давая ей ни дышать, ни возможности передумать, пока она вся, тонкая и худая, но в темноте большая, огромная, больше комнаты, больше улицы, больше всего на свете, но одновременно оставаясь худой и тонкой, зашевелилась, изогнулась и словно поплыла в его руках.

Целовал он ее крепко, а гладил, пока мог сдерживаться, мягко и ласково, как бы давая ей еще последнюю возможность одуматься, но она не вырывалась из его рук, только изгибалась все быстрей и покорней, и тогда, прикрыв ее тонким краем одеяла, он осторожно, боясь растянуть, стал закатывать на ней свитер.

- Сама, - шепнула она так тихо, что он скорей догадался, чем расслышал.

17

"Эх, Алексей Васильевич! И зачем вы только на мою голову? - думала Инга с самого полдня, когда увидела в библиотечной столовой смущенного технического лейтенанта. - Бедный парень! Не будь вас, Алексей Васильевич, я бы в него влюбилась. Бедный, - думала в метро, и в кино, и в магазине, когда ему взвешивали в оберточную бумагу капусту провансаль.

- Бедный, внимательный, чуткий, деликатный и не дурак. Господи, чего же еще от человека требовать?!"

Ей нравилось, как неумело он накрывал на стол и как сразу признался, что в первый раз принимает у себя женщину.

"Никакой, - думала, - в нем показушности. И все понимает. Сел на другой стороне стола. Не ноет, как Бороздыка: полюбите... А что, если я назло вам, Алексей Васильевич, вот сейчас напьюсь и полюблю его, и отдамся - что тогда скажете? Думаете, слабо? - сказала себе, как говорила в детстве мальчишкам. - Вовсе не слабо. Мне даже, если уж по самому честному, даже уходить отсюда не хочется. Вот сейчас стол отодвину. Слабо?!" подумала, когда лейтенант вынес на кухню грязную посуду.

- Расклякла я у вас, - сказала вслух, когда он вернулся.

Он заметил перемещение мебели, остановился посреди комнаты, и тут вдруг она запела свою любимую старую английскую песню "Зеленые поля", Бог весть почему в ее воображении связанную с доцентом. Познакомились они с Алексеем Васильевичем зимой и встречались в основном в кафе и тихих ресторанах, типа поплавков или вот этого, последнего, возле катка. И даже на лыжах ездили кататься не в Подрезково, а куда ближе - в городские Сокольники.

Но Инга запела эту песню, и слезы начали подыматься к ее горлу, словно она и впрямь прощалась с Алешей, доцентом Сеничкиным. Раньше она никогда не задумывалась, хорошо ли поет, потому что пела вообще редко и только когда Вава уходила из дому. Голос у нее был и слух тоже, хотя не Бог весть какие, но сейчас она чувствовала, что поет хорошо, и что лейтенант, который стоит возле противоположной стены, несмотря на то, что не знает английского, все-таки понимает, о чем она поет и для чего поет.

Она уже допевала третий куплет и, подходя к его последней самой любимой фразе

"насинг ин зис уайд уорлд лефт фор ми ту си"

- вдруг поняла, что не уйдет из этой комнаты, что просто не может уйти, потому что уйти отсюда вот так, спев эту вовсе не относящуюся к хозяину песню, встать, надеть берет и выворотку - это не по-человечески, не по-женски, так нельзя, это некрасиво, и вообще уже уходить поздно. Она попалась и должна остаться здесь; и тогда еще медленней, растягивая слова, словно отдаляя конец, четвертый, самый обнадеживающий куплет она допела грустней всех предыдущих и разрыдалась.

Лейтенант сел рядом с ней, обнял, прижал ее голову к своему кителю и, хотя она чувство-вала, как он напряжен, весь на пределе, в его руках не было настырности, и он держал ее так,

словно каждую минуту по малейшему ее знаку готов отпустить и даже не напомнить потом об этом вечере. И от этого она чувствовала, что вязнет еще сильнее. Но это не было ей неприятно. Ей нравились руки этого чудака-офицера, большие, какие-то странно добрые, ненавязчивые и даже нельзя сказать, что неуклюжие. Нет, сейчас в темноте этот парень был какой-то другой. Не было в нем смущения и робости, а одни лишь ласковость и напряженная мужская сдержанность, и Инга чувствовала, что ей действительно не хочется уходить отсюда и не только потому, что это неловко и некрасиво, а просто так - не хочется и всё.

- Спасибо... Уже прошло... - сказала тихо, чтобы лейтенант не подумал, что она какая-то истеричка. Но он понял это так, что надо ее отпустить и, ослабив руки, печально провел ладонью по ее щеке. И тогда она сама пошла к нему - и вот теперь, скинув свитер, юбку и чулки, лежала в одной сорочке под его тонким одеялом, а лейтенант по-прежнему целовал ее в губы, но гладил уже почти всюду. В темноте он был гораздо взрослее, и движения у него были уверенней, и руки неторопливей и гораздо крепче. Он как-то мгновенно очутился рядом с ней, словно их там, в казарме, учили не подыматься, а ложиться по тревоге, - только стукнули об пол его огромные бесформенные сапоги, и вот он уже был тут весь, чужой, незнакомый, незнаемый, непохожий на прежнего, смущенного и робкого, и гладил ей спину, лопатки и ниже спины, и она уже сама хотела, чтобы он спешил.

Теперь они были совсем вместе, одним целым, целым в объятии и в движении, но она все еще чувствовала, что он скован, и тихо, одними губами без голоса выдохнула:

- Не бойтесь. Сегодня можно, - и тут их закачало, занесло, и это было так, словно она его любила, и длилось долго и кончилось почти одновременно для двоих, и она не успела вспомнить об Алексее Васильевиче.

Лейтенант вдруг стал тяжелым, но словно сам это почувствовал, и тут же ласково обнял ее и повернулся с ней на бок. Его пальцы гладили ее подбородок, шею и, когда спустились к груди, она засмеялась и сказала:

- Не надо. Тут же ничего нет.

- Глупая, - выдохнул он первое свое слово со времени их близости. Глупая, - повторил, и его голос показался ей тоже другим.

Она подоткнула под себя одеяло, потому что по телу разливалась, как теплота, идущая от низа живота наполненность, и не хотелось, чтобы ее, как тепло, выдуло из-под одеяла. Инга читала в одной английской книжку, что если спишь с нелюбимым

человеком, то голова остается чистой и ясной, и сейчас, вспомнив эту сентенцию, решила, что автор что-то напутал. Но может быть, тут еще внесли свою лепту темнота и водка.

Ей было очень хорошо, свободно и спокойно, и только не хотелось одного - вставать, надевать чулки, юбку, свитер, выворотку и идти домой успокаивать вероятно разнервничавшуюся тетку.

Но рано или поздно уйти придется. Она понятия не имела, сколько сейчас времени, хотя слышала тоненький звон своих небольших квадратных часов и четкий, похожий на толчки сердца, стук курчевской круглой "Победы".

- Вовсе и есть, - сказал вдруг лейтенант и, отняв руку, поцеловал в грудь долго и больно, слишком больно для такой маленькой груди, и тут она поняла, что теперь он уже торопится, словно боится, что она уйдет, торопится и торопит ее, и она, улыбнувшись, снова почувствовав себя взрослой и смелой, сама придвинулась к нему, забывая доцента Сеничкина.

Они опять тихо лежали, боясь расплескать каждый свое.

"Что он думает? - представляла Инга. - Наверно, надо ему сказать, какой он... Или он сам знает? Ночью, в темноте в нем меньше комплексов. А как им не быть, если он лежит под одним одеялом с женщиной, которая влюблена в его брата. Бедный технический лейтенант! Но как все же хочется знать, что он обо мне думает! А может, вовсе ничего не думает. Просто рад, что я пришла, и боится, что сейчас уйду. Интересно, расскажет ли Алексею Васильевичу? Мужчины болтливей нас. Ну и пусть!.. Мне сейчас хорошо, и завтра будет хорошо, а захочу - и послезавтра, а если я скажу лейтенанту, что его люблю, он на мне женится. Потому что сам-то он меня любит. Иначе мне не было бы с ним так хорошо".

"Или ему все равно с кем?.. - тут же перебила себя. - Ведь спал же он на юге с этой, похожей на обезьяну, конькобежкой. Конечно, это была она, почему-то только сейчас догадалась Инга, вспоминая женщину в красной куртке, которая три недели назад, поглаживая ушибленную ногу, переговаривалась через сугроб с доцентом. - Нет, я не могу сказать ему, что люблю его, потому что это не так. Но я хочу приходить сюда и не хочу никаких сложностей".

- Вы курите? - спросила вслух.

- Вообще-то да... - смутился он, удивляясь своему голосу.

- Тогда дайте.

Ей не столько хотелось курить, сколько посмотреть на часы. Лейтенант перегнулся через нее и достал из кармана лежавших на полу бриджей начатую пачку "Астры" и спички.

- Не знал, что ты куришь, - всунул ей в губы сигарету.

- Балуюсь, - улыбнулась она и при свете вспыхнувшей спички разглядела круглый циферблат его "Победы". Было без чего-то одиннадцать.

Два красных огонька не освещали ни тел, ни комнаты. Курчев и Инга по-прежнему не видели друг друга. Он курил жадно, в полную затяжку, и красный огонь почти на глазах отползал к его губам, которых тоже не было видно.

- Давай лучше выпьем. Там еще есть, - сказал он, докуривая до самых пальцев.

- Давай, - сказала впервые "ты".

Он взял у нее недокуренную сигарету, перешагнул через женщину, ощупью нашел стол и на нем бутылку и кружку.

- Чёрт, чашки не найду. Ладно, из горлышка... - сказал, садясь на матрас.

- Зачем? Лей себе, а мне оставь самую чуть. Мне идти скоро.

- Ну вот... - только и выдохнул он, и стало слышно, как плескает водка в дно солдатской кружки. Он сделал два больших глотка и передал ей жестянку.

- Секреты твои узнаю, - засмеялась слишком смело и звонко для такой темной и тихой комнаты.

- У меня нету, - нахмурился он.

- У меня - тоже, - она бодро выпила. Водка после сигареты показалась приятной. - У меня тоже никаких секретов. Просто обещала тетке, что скоро вернусь и вот... - она помедлила и лейтенант, не видя ее, подумал, что она сейчас зябко поводит плечами, но она вместо этого потерлась лбом о его плечо и тихо весело добавила: - И вот осталась у тебя... Думаешь, самой подыматься охота?

Они вышли совсем не тотчас, и если бы доцент не сел в троллейбус, а как прежде Бороздыка - постоял немного в Докучаевом, он увидел бы, как они медленно, то и дело останавливаясь и целуясь, поднимаются по горбатому переулку.

- Ты же взрослая, - сказал лейтенант, не пуская ее в подъезд. - Ну оставь записку. Придумай чего-нибудь.

- Я завтра приду, - отвечала Инга. Она устала, но ей было жаль лейтенанта да и жаль было с ним расставаться. И еще было смешно, что он не верит в ее завтрашний приход.

- Иди. А я тут до утра ждать буду, - сказал серьезно.

- Что ж, попробуй, - улыбнулась и вошла в парадное. - Нет, нет, не заходи, прошу тебя, - крикнула, взбегая по лестнице.

Ей было весело. Она открыла ключом квартиру, увидела полоску света из-под двери своей комнатенки. Впрочем, полоска тут же исчезла: очевидно, услышав, что племянница явилась, Вава

тотчас притворилась спящей.

Тихо насвистывая мелодию из американского фильма, который видела днем, но вспомнила о котором только сейчас, Инга прошла в ванную, щелкнула выключателем, взяла коробку спичек и хотела зажечь газ, но спички отсырели и никак не загорались. Тогда она вышла в кухню и взяла новый коробок со стола Полины, который придвинут был к самому окну. За окном качался фонарь и, на миг остановившись с коробком в руке, Инга посмотрела на этот нервный вздрагивающий фонарь и увидела внизу, на другой стороне переулка, лейтенанта, который, сунув руки в карманы шинели, стоял и глядел на верх их дома.

"Вот так да", - подумала не сердясь, вошла в ванную, зажгла колонку, разделась и встала под горячую струю воды. Левая грудь чуть вспухла, но пятно от поцелуя было не очень заметно, потому что лейтенант впился в темный сосок.

- Вот и вас полюбили, - сказала Инга зацелованной груди, плечам, ногам, по которым сейчас сильно била обжигающая душевая вода. - Вот, засмеялась, - и полюбили.

Все это - и длинные ноги, и маленькие груди, и вовсе незаметный живот - ей и раньше нравились, но она сомневалась, так ли уж права, считая их привлекательными. Стоявший сейчас под фонарем на ветру и холоде Курчев, сам того не зная, доказывал ее правоту.

"Но может быть, он не разглядел. Темно было... Неужели всю ночь будет стоять или все-таки уйдет? - улыбалась, растирая тело длинной, похожей на белый хлебный батон, губкой. - Вот чудак. Или его Бороздыка караулить научил? Нет, Бороздыка стоял наверняка. Знал, что встретит".

Она закрыла горелку и завинтила воду.

"Надо спуститься и сказать, чтобы не ждал, а то замерзнет, - сказала, быстро одеваясь. - Да, но ведь я выстирала чулки!" - вспомнила, пошла в комнату и вынула из шкафа другие, самые дорогие и лучшие.

"Вава, со мной все в порядке. Не скучай и не расстраивайся. Вернусь завтра или чуть позже. Если предки позвонят, скажи - за городом. Лобзаю. Инга." - написала на листе бумаги и прислонила его к настольной лампе.

Закутавшись поверх выворотки в толстый серый платок, она тихо отперла дверь и спустилась в переулок.

- Вот простужусь и тебе же совестно будет, - сказала обнявшему ее лейтенанту.

18

Шахматный матч начинался в пять часов вечера, и Варвара Терентьевна заняла свое роскошное семнадцатирублевое кресло в

девятом ряду еще за сорок минут до начала, как только открыли двери. Зал наполнялся неспешно. Старички, школьники, несколько инвалидов с костылями, несколько горбатых калек. Потом замелькали фотокорреспонденты с мигалками. На сцену под большую почти трехэтажную шахматную доску выкатили юпитеры. Начало рябить в глазах, и Варвара Терентьевна то и дело вздрагивала и морщилась.

В молодости Варвара Терентьевна, как все московские барышни, бегала в Малый (позже во МХАТ) и на концерты, но сейчас, на девятом десятке, ее влекли только шахматы. Настенные зеркала консерватории и московских театров когда-то отражали стройную и гордую слушательницу бестужевских курсов Варвару, и теперь сгорбленная, сморщенная и полулысая старуха боялась этих зеркал, видевших и не забывших ее девичьего величия.

Зато шахматы не имели воспоминаний. Она играла в них с самого детства, но это было так, развлечение, вроде буриме или крокета. Идеологией и зрелищем шахматы стали недавно и, отстраненная от всех форм жизни, кроме ненавистного хозяйства, Варвара Терентьевна впилась в шахматы, как иные старухи во внучат или в общественную работу.

Кроме того, шахматы были демократичны. В зал можно было прийти в затрапезе, потому что матч был не только зрелищем, но и неким соавторством, и тут встречали не по одежде, которой Варвара Терентьевна похвастаться не могла.

На прошлом матче Ботвинник - Бронштейн к ней, восьмидесятилетней старухе, заискивающе обращались и маленький вспыльчивый, нервный, страшно сочувствующий Ботвиннику медицинский генерал-майор, и сухой важный подтянутый патрон чемпиона мира, руководитель или заместитель руководителя какого-то энергетического министерства. Школьники, студенты, просто молодые люди, инвалиды и бедняги-пенсионеры - все тут были одним целым. Варвара Терентьевна была тут своя, и она жила здесь все двадцать четыре партии, пока длился этот сумасшедший, душу и нервы выматывающий изнурительный и прекрасный матч, так и не закончившийся победой ее любимца, чудака и шалопая Бронштейна.

Теперь она болела за Смыслова. Собственно, она бы болела за самого чёрта, только бы он сел и выиграл у Ботвинника. Ботвинника она не любила, потому что он для нее представлял в шахматах все то, что она не любила в жизни, и еще потому, что он слишком был привязан к ненавистному ей времени.

- Нувориш, - хмыкала, когда разговор заходил о чемпионе. -

Ах, доктор наук? Знаем, как эти звания даются. Если ты доктор, то нечего пешки двигать. Пешки двигают артисты, вроде Алехина.

Она упорно произносила "Алехин" через е.

Три года с нетерпением старая женщина ждала нового поединка и вдруг эта квочка Танька повезла абсолютно здорового племянника в какой-то Кисловодск, лишив его последней несемейной радости.

Раздались аплодисменты и на сцене появился Ботвинник и почти тут же Смыслов. Варвара Терентьевна с удовольствием отметила, что чемпион сдал, посивел, и волосы у него на макушке слегка вытерлись.

"Да и как не сдать? - тут же оборвала себя. - После прошлогодних безобразий только чурбан бы не поседел".

Она вспомнила повесившегося год назад знакомого врача и на мгновение пожалела Ботвинника. Смыслов ей тоже не понравился, показался обабившимся, рыхловатым, будто набитым опилками.

"Как не стыдно! Говорят, боксом занимается, а на кого похож! Тридцать три года, как Христу. Неужто Спаситель таким был?"

Высокий, очень внешний и не запоминающийся Президент Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) подошел к столику и наклонился над часами. Смыслов играл белыми и уже сидел. Вновь вспыхнули юпитеры и стали щелкать мигалки. Президент нажал кнопку часов, Смыслов двинул королевскую пешку, и матч начался.

- Испанскую сыграет, - пискнул какой-то мальчишка в курточке и белой рубашке с галстучком.

- Ну да... держи карман, - сказал второй мальчишка, постарше. - Он открытых не играет.

Ботвинник сел за стол, подтянул на коленях отлично выглаженные брюки, характерным жестом взялся правой пятерней за затылок с уже намечающейся плешкой и двинул королевскую пешку на полшага.

- Французская! - пронеслось по залу и тут же вспыхнул матовый с черными буквами транспарант "Соблюдайте тишину".

Первые ходы были самыми обычными, но все равно Варвара Терентьевна испытывала блаженство. Последний месяц она, не признаваясь родным, чувствовала себя как никогда плохо и уже не верила, что доживет до матча, а вот дожила. Особенно худо было ей те два дня, когда уехал племянник с женой, а Инга еще не вернулась. Но та, видно, как-то учуяла, прискакала. Но тут же зафордыбачила. Три ночи не ночует.

Варвара Терентьевна ворчала, сердилась, но знала, что неправа, и негодовала больше от имени Ингиных родителей, чем

от своего. Сама она слишком хорошо помнила свою студенческую юность, когда все было просто, родители были далеко в Тихвине, а квартирная хозяйка следила только, чтобы студенты, приходя в гости, вытирали ноги. Никакие старухи не заедали молодых жизней, потому что жилья было пропасть, и даже если кто-нибудь из москвичей не хотел жить под родительским надзором, - селился отдельно.

Так что к Инге приставать нечего и сердиться на девчонку не стоит. Бедной уже скоро двадцать четыре года, а жизнь как-то не задалась. Лучшее время досталось лысому очкастому прохвосту. Так что, пусть себе бегает. Тошке и Таньке я не доложу, - рассуждала сама с собой Варвара Терентьевна, удобно утопая в мягком кресле зала имени Чайковского.

Сердце, перенесшее два удара (как сейчас говорят - инфаркта), тоже не болело, разве что отдавало в лопатку, хотя с утра было таким тяжелым, что старая женщина боялась повернуться на бок и уже горевала, что пропадет дорогой, подаренный племянником, комплект билетов в девятом ряду.

Нет, все было хорошо. И Смыслов играл солидно, не обостряя игры, с самого начала предоставляя Ботвиннику лезть на рожон, если его душенька того желает. Впрочем, лезть, особенно черными, было пока рано, да и чемпион был не из охотников рисковать. На шестом ходу белые пожертвовали пешку и по залу прокатился шепоток, но Варвара Терентьевна лишь хмыкнула. Это шептались простаки. Такие жертвы предпринимал Алехин еще до своего чемпионства.

Ботвинник забрал пешку, и тут Смыслов то ли промедлил, то ли сробел, и Ботвинник напал на вторую осиротевшую пешку. Ничего страшного не было. Пешка защищалась, но первую партию, если играешь белыми и желаешь стать чемпионом, надо выигрывать, а к восьмому ходу позиция уже была такая, словно игру вели черные, а не Смыслов.

Все эти перипетии, хотя прошло только десять ходов и меньше получаса игры, разволновали Варвару Терентьевну. Она встала и побрела из зала, чтобы в буфете купить сельтерской воды и принять сердечных капель. Но в буфете у прилавка стояла очередь, а в фойе продавали какой-то ромовый напиток в страшную цену, который надо было тянуть через соломинку, и, отдышавшись на скамеечке и успокоив свою тахикардию, Варвара Терентьевна, гордо предъявив капельдинерше билет, вернулась в кресло партера.

Ничего особенного не произошло, только Смыслов успел рокироваться, а Ботвинник вывел своего неугомонного слона через "форточку" и теперь давил на открытую рокировку белых.

Впрочем, тут же произошли размены, и скрытые за огромной доской демонстраторы убрали с нее этого коварного и ненавистного Варваре Терентьевне чемпионского слона. Теперь игра была равной, и победой претендента пока, к сожалению, не пахло.

В зале стало душно и шумно. Он уже был, несмотря на очередь в буфете, забит до краев и, сжавшись в кресле, старая женщина, опять заговаривая такую знакомую боль в руке и лопатке, грустно смотрела на огромную доску.

Ботвинник ферзем стреножил коня Смыслова, но Смыслов, ни минуты не думая, увел короля, как бы предлагая коня в подарок. Зал довольно зашумел. Но Ботвинник не был таким простачком и троянского подарка не принял. Варвара Терентьевна улыбнулась, а сердце у нее все так же болело. Уходить было жаль, но умирать здесь, в кресле партера, было бы слишком неблагодарно по отношению к собравшейся публике да и ко всему шахматному движению.

- Вам плохо? - спросил мальчик, который надеялся, что Ботвинник сыграет "испанскую".

- Нет. Немного... Вы не спуститесь в фойе и не позвоните моей внучке, чтобы пришла? - медленно выговорила старая женщина.

- Иди, просят, - толкнул мальчишку товарищ постарше. - Они в час по чайной ложке ходят.

- Вот телефон, - черкнула Варвара Терентьевна на краешке его шахматной программки шесть цифр и вынула из ветхого ридикюльчика два пятиалтынных.

Когда через четверть часа пионер вернулся, белые уже защищались.

- Никто не отвечает, - сказал мальчишка, возвращая монетки.

- Ничего. Уже прошло. Большое спасибо, - поблагодарила Варвара Терентьевна.

Правда, руку отпустило, а боль в лопатке стала шире и сместилась к самой середине груди. Старой женщине казалось, что там не боль, а просто это место протирают мягкой и горячей губкой.

Теперь она могла отвлечься и вновь следить за демонстрационной доской, где черные окончательно расковались и выравнивать игру приходилось уже Смыслову, что он и сделал, разменяв на, двадцать четвертом ходу ферзей.

19

Три недели Гришка Новосельнов, как сонная муха, ползал по Ленинграду, не зная, оставаться ли на Неве или перемещаться в столицу. Жена, которая раньше пуще всего боялась Гришкиных

дружков и была инициатором переезда, теперь почему-то закобенилась. Да и вообще она как-то мало обрадовалась его возвращению. То ли отвыкла, как, впрочем, и он отвык от нее, то ли у нее временно кто-то появился. С обменом она, как говорится, не мычала и не телилась, считая, что нужно менять так на так - две в Питере на две в Москве. Что касается тещи, так та и слышать о переезде не хотела. Во всяком случае, требовала, чтобы ее сначала зарыли на Волховом кладбище.

Словом, демобилизация не оказалась спасением. Даже пить было не с кем. Гришка валялся в постели до десяти, потом лениво поднимался, бродил по холодным, просвистанным ветрами сырым ленинградским улицам, сидел в кино на дневных сеансах, безрезультатно приставая к одиноким десятиклассницам и студенткам.

Однажды от тоски он опустился до того, что забрел в Эрмитаж поглядеть на голых баб, как какой-нибудь вахлак из Чухломы. Он стал себе противен, и от той радости, что распирала его в ресторане московского ЦПКиО не осталось и капли.

- Разведусь, - ныл по вечерам.

- Зубы вставь сначала, - посмеялась жена, но и она поняла, что дальше тянуть бессмысленно. Либо надо переезжать, либо скорей устраиваться на старой службе или на новой, которая через полгода станет старой, потому что его, лопуха, быстро подведут под монастырь и притянут по какой-нибудь статье.

Московский маклер дважды звонил и спрашивал, когда же Григорий Степанович пожалует в белокаменную. И заходил к Гришке на проспект Газа обменщик, обладатель московской комнаты. (Он, впрочем, нажимал на то, что у него три комнаты, потому что в своей тридцатишестиметровой зале поставил две фанерных перегородки со стеклом наверху.)

- Район превосходный. Садовое кольцо - между площадью Восстания и Смоленской. Учтите - шума никакого, - убеждал владелец. - Окна - во двор да и сам дом в глубине.

- А сокровище помрет, - осторожно кивнул на тещу, - сухую штукатурку сломаете - вот вам и зала.

- Не помрет, - хмуро отмахнулся Гришка, разливая водку. - Волково ей требуется.

- Крематорий культурней. Быстро и никакой пыли.

- Слушай, Надежда, я съезжу погляжу, не слишком ли завирает, - сказал Гришка жене после ухода москвича.

- Тебе бы только гулять и деньги тратить.

Через день пришла открытка от Курчева с московским адресом. Гришка позвонил в полк на КПП.

Дневальный Черенков сразу узнал его голос и сказал, что

лейтенант в отпуске в столице. Квартирка, мол, его отвозил Ишков, плевая, а сам лейтенант вряд ли вернется. Демобилизация ему светит.

Гришка пошел в Думу (бывшее здание Думы), купил плацкартный билет на понедельник, выклянчил у жены тыщу на семейную командировку (свои два месячных оклада он надежно спрятал и о них не заикался) и во вторник утром проснулся в столице.

Комната обменщика впрямь была на Садовом кольце, и шуму особого не было, потому что выходила она окнами во двор. Но находилась на шестом, последнем, этаже, а крыша, видимо, здорово текла. Нужно было всадить в ремонт не два, а все четыре месячных офицерских жалования. Полдня Гришка препирался с москвичом (как оказалось - безработным кандидатом наук, прошедшим по конкурсу на место доцента в ленинградский педвуз), пока тот не согласился с рассрочкой на год оплатить ремонт,

На радостях Гришка тяпнул и отправился на телеграф звонить жене. Она опять кочевря-жилась, потому что, как утверждала, ни о каком ремонте речи раньше не шло, и ни о какой рассрочке слышать не хотела. Гришка стал крыть ее трехэтажными словами, и какие-то парни с коками и длинными лохмами строили ему через стекло в двери рожи и откровенно потешались над ним. Наконец телефонистка прервала разговор, обещав позвать милицию. Гришка плюнул, извинился и, оставив в окошечке сдачу, пулей вылетел из переговорной.

Теперь уж не миновать было Игната, и Гришка прямо с Центрального телеграфа поехал к абрикосочнику. Краска в парадном высохла и на стенах уже кое-чего написали. Бодро сжимая в руках чемодан, Гришка, как какой-нибудь иностранец из "Европейской" гостиницы, поднялся на третий этаж и твердо нажал кнопку звонка. Дверь была обита с двух сторон и звонок откликался так тихо, словно висел в доме напротив. Гришка нажимал дважды и трижды - никто не открывал, и тут Гришка подумал: вдруг Игната опять посадили...?

Он так перепугался этой мысли, что тут же отпустил кнопку звонка и хотел бежать с чемоданом вниз, но у соседей открылась дверь, вышла молодая девица, с подозрением оглядела стоящего на площадке Гришку, и ему снова пришлось нажать опасный звонок. Девица села в лифт и поехала вниз.

"Аристократы", - подумал Новосельнов, вспоминая, что дом кооперативный и что живут тут люди с деньгами, которые должны подозрительно относиться к посторонним.

Обитая дверь Игната по-прежнему не открывалась, но

Гришка, как ни был напуган, сообразил оглядеть, не опечатана ли, и не найдя нигде сургуча и пломбы, несколько успокоился.

Из автомата он позвонил маклеру и тот сказал, что Игнат Трофимыч отбыл в Мацесту кости лечить, вернется дней через двадцать, и что пусть Григорий Степанович не волынит, а оформляет обмен, а то грозятся ввести какие-то новые сверхограничения с пропиской и тогда все может накрыться. Гришка поблагодарил, обещал поторопиться, хотя точно знал, что все это - лажа, прописка и без того урезана донельзя, и просто маклеру не терпится содрать с него и с кандидата по два куска.

Несколько повеселевший, он окликнул проходящее такси и, купив по дороге горючего и кое-какой закуси, помчался к Борису.

Тут ему тоже не открывали. Он стоял на темном неровном узком дворе и тарабанил в дверь, обтянутую рваной клеенкой и ветошью, на которой еле была заметна выведенная мелом четверка. Потом, очень не скоро, звякнул замок на дальней двери, потом открыли входную и Гришка в неярком свете молодой луны увидел маленькую пожилую женщину в накинутом на белую холщевую рубаху зимнем пальто.

- Дома, дома, - сонно пробурчала и пустила Гришку в тамбур, а оттуда в небольшой коридор. - Легли, может, - махнула рукой на дверь, расположенную прямо против входной, и скрылась за своей, соседней.

Гришка, не обращая внимания на множественное "легли" или считая, что это просто форма вежливого обращения, неистово заколошматил в дверь.

- Кто там? - раздался недовольный голос Борьки Курчева.

- Кто? Я. Кто еще, ежовый ты хрен! - хихикнул перед дверью Новосельнов.

- А... - вроде бы без особой радости промычал Курчев. - Погоди, оденусь.

- Да что я - баба? Открывай.

- Заткнись и жди, - сердито сказал Борис, и тут Гришка сообразил, что лейтенант не один.

Действительно, минут через пять он увидел товарища в полной обмундировке, а за его спиной на сколоченной тахте сидела умопомрачительная фря, чуть худенькая, но поразительно свежая и такая чистенькая, словно она спала с английским лордом, а не с этим неряхой-технарем в засаленном кителе и фараонских сапогах.

"Ну и везет дурням!" - подумал Гришка, понимая, что сегодняшнюю ночь ему придется кемарить в зале ожидания одного из трех ближайших вокзалов.

- Извини, - прошамкал он.

- Ничего... Разоблачайся, - сказал лейтенант. - Есть хочешь или подождешь? Я скоро вернусь.

- Да раздевайся ты, - прикрикнул на гостя, снимая с гвоздя, вбитого в дверную планку, длинное дубленое женское пальто и подавая его своей красотке.

"Стесняется меня", - с обидой подумал Гришка, тут же забывая, как минуту назад сокрушался, что сиднем просидит до утра на вокзалах.

- Может быть, отметим, - вытащил он из-за пазухи бутылку петровской водки. - Между прочим, Новосельнов Григорий Степанович, - подошел он к девушке, просовывавшей руки в рукава дубленки.

- Инга, - кивнула та.

"Она и Борьку стесняется, - подумал Новосельнов. - Наверно, втихаря к нему бегает, а я застукал. Факт - не по чину ему. И не по морде", - с сомнением еще раз поглядел в давно знакомое нескладное лицо лейтенанта.

- Нет, спасибо. Лучше в другой раз. Я спешу, - покраснела девушка, и, не подавая руки, вышла из комнаты.

Новосельнов с сомнением глянул на курчевский матрас, наскоро прикрытый синим знакомым ему одеялом, и подмигнул Борису. Но тот не ответил, а только поднял свалившуюся с матраса шинель и, запихивая в нее руки, выскочил вслед за гостьей.

20

Времени было уже десятый час, а ходов до контроля оставалось у каждого по тринадцати. Слово "цейтнот", столь частое в прошлом матче с Бронштейном, еше не было произнесено. Но Варвара Терентьевна теперь надеялась только на цейтнот и на относительную молодость Смыслова. Знатоки утверждали, что в эндшпиле Василий Васильевич считает безошибочно.

Боль не то чтобы отпускала, но став мягкой и горячей, позволяла глядеть на демонстрационную доску.

Смыслов думал над ходом, и на его квадратных, расположенных под огромной доской, часах секундная стрелка прыгала как бешеная. Старыми дальнозоркими глазами Варвара Терентьевна следила уже не за доской, а за стрелкой и, словно в такт стрелке, сердце начинало тахикардически колотиться в ее дрожащей и ненадежной грудке.

Смыслов зачем-то двинул крайнюю ферзевую пешку. У него было положение явно хуже, но, когда Ботвинник тут же, погладив темя, забрал пешку, у белых стало еще хуже, потому что дальнобойность их слона сократилась еще на одну клетку. Тогда

Смыслов, что называется, пошел ва-банк и стал меняться в центре. Чемпион с каждым ходом усиливался, но на доске редело и, в общем, тупо, через пень колоду, партия катилась к ничьей. Это слово, сначала тихо, потом все громче и отчетливей, стали повторять в партере, и маленький толстенький очкастый судья матча чех Опоченский начал нервно давить на своем столе кнопку и транспарант "Соблюдайте тишину" замигал, как светофор в часы пик, а потом так и остался гореть.

- Нет, не ничья, а дожмет, - сказал сидящий впереди нервный медицинский генерал.

- Не говорите глупостей, - резко ответил такой же старенький, как Варвара Терентьевна, худой, бедно и ветхо одетый человечек, доктор Калашников. Старая женщина помнила его фамилию, потому что на прошлом матче он всегда так и говорил: "Доктор Калашников считает, что сейчас последует аш семь" или "Доктор Калашников считает, что тут ничего не произойдет".

- Однако зажимает, - послышалось откуда-то сзади, и действительно конь Ботвинника, как собака кошку, начал гонять по доске белого слона.

- Ничего, ничего. Сейчас пожмут руки, - сказал в седьмом ряду доктор Калашников.

Белая ладья, как хозяйка, вылезла из своего угла и предложила черному коню убраться. И он впрямь убрался, хотя свободно мог забрать еще одну белую пешку.

"Коленки дрожат", - подумала Варвара Терентьевна, обрадованная нерешительностью Ботвинника.

- Ботинок бздо-бздо, - сказал мальчишка постарше, который посылал меньшего звонить Инге.

- Да ничего тут не было, товарищи, - разгорячился генерал, сам недовольный трусостью своего кумира.

Снова замелькали в зале маленькие карманные доски, поднялся невообразимый шум, и маленький чех вышел к краю сцены и умоляюще замахал руками. Успокоить публику ему не удалось, и партия продолжалась уже при жужжании зала, несмотря на грозные взгляды Ботвинника. Чемпион неодобрительно поворачивал голову к судье (видимо, был раздосадован своим слабым тридцать четвертым ходом). Но судья был беспомощен.

Противники разменяли еще по паре пешек, Ботвинник дал зачем-то на последнем перед контролем времени сороковом ходу шах ладьей, и на огромной доске появилась табличка "Партия отложена".

Смыслов остался на сцене записывать ход, а чемпион встал, подошел к судье, что-то ему сказал (видимо, жаловался на шум в

зале) и ушел за кулисы под жидкие аплодисменты своих болельщиков.

Варвара Терентьевна мелким дрожащим почерком записала на своей программке позицию и, не дождавшись, пока Смыслов запишет свой тайный ход, бочком прошла из зала. Она была недовольна претендентом. Все-таки он играл белыми и должен был выиграть. К тому же, Варвара Терентьевна хотела, чтобы Смыслов выиграл при ее жизни.

"Слишком много волнений. Это уже не для тебя, Варвара", - сказала мысленно голосом своей матери, умершей в конце прошлого века.

В вестибюле старой женщине снова стало нехорошо, и она посидела немного на плюшевой скамеечке. Зато в гардеробе было пусто. Маленькими шажками Варвара Терентьевна спустилась с широкой лестницы и засеменила к вешалке, как во сне протянула женщине в капельдинерской форме номерок, надела вытертую сплошь четвертьвековую свою шубку и, забыв протянуть медяки гардеробщице и сказать ей спасибо, заковыляла к выходу.

Она словно куда-то провалилась и теряла ощущение времени и места. Ноги сами тащили ее от зала Чайковского к троллейбусной остановке, к передней площадке троллейбуса, к сидению для детей и инвалидов. Она уже забыла, где была и куда ехала, и троллейбус довез бы ее до Курского вокзала, если бы случайно севшая на Лиховом знакомая из дома напротив не вывела ее в двери и не перевела через Садовое кольцо.

- Что с вами? - несколько раз допытывалась женщина, но Варвара Терентьевна только кивала и бормотала что-то вроде:

- Коля... Мама, Коля не виноват. Тетя, Коля не виноват.

Женщине пришлось завести старуху в ее подъезд, подняться с ней по лестнице и даже позвонить в дверь. Старуха ключа найти не могла и даже не пыталась его искать. Да и искать негде было, потому что в ветхой шубке карманов не было, а ридикюль, очевидно, старуха где-то выронила.

Полина открыла дверь, недовольно кивнула женщине, но тут же, взглянув на старуху, поняла, что та не в себе, усадила ее на сундук и кинулась открывать двери рысаковских комнат. Они были заперты, но Полина знала, куда кладут ключи, открыла меньшую, старухину, стащила со старухи шубку и почти на руках перенесла на кушетку.

- Ничего, ничего... Инга сейчас придет, - успокаивала Полина, хотя старуха поминала не Ингу, а какого-то Николая и сударя или государя.

- Неужели помрет, - подумала с ужасом, хотя всю жизнь только и мечтала, чтоб эту вредную каргу прибрали черти. - И где

эта дура шлендрает? - помянула Ингу. Времени был двенадцатый час.

- Сейчас, сейчас, - ответила на истошный старухин крик: "Коленька!"

"И кого это зовет? Отца, что ли", - соображала соседка, забывая, что отца старухи звали Терентий.

Но на самом деле Варвара Терентьевна звала, да и скорее не звала, а в крике вспоминала, не родного брата Николеньку, а двоюродного Колю, которого уже с лишком семьдесят лет не было на свете. Тот Коля - чудной, прыщавый, некрасивый юноша - казался ей, десятилетней девочке (такой она себя сейчас ощущала), самым прекрасным человеком на земле. Каждый его приезд из Питера в Тихвин был для нее праздником, хотя взрослые сердились, что Колька в столице валяет ваньку и уж лучше бы пошел служить, раз связался Бог знает с кем, ходит в рваных галошах, хозяйке за квартиру не платит, а уж на лекциях его увидишь реже, чем нигилиста во храме.

Но для маленькой, некрасивой, худой (ребра одни!) Вареньки он был удивителен и прекрасен, и даже прыщи на его лице были прекрасны, и голос у него был, как у трагического актера (тот самый голос, которым он выдал всю "Народную Волю!), и маленькие юношеские усики казались Вареньке кавалергардскими. Про дурную, схваченную им в Питере болезнь она слышала, но ничего, естественно, не поняла. Чтобы привлечь внимание кузена, Варенька выучилась играть в эти смешные деревянные фигурки, и теперь, через семьдесят с лишком лет, шахматы непостижимо соединились в мозгу старой женщины с ее несчастным двоюродным братом и, крича какую-то невнятицу, она видела не демонстрационную доску зала имени Чайковского, а свою плачущую мать и окаменевшую бледную тетку, мать террориста, и всю семью в день известия о Первом марта.

- Доходит старая. Шарики за ролики заворачиваются, - ворчала Полина, набирая в соседней комнате номер "скорой помощи".

21

- Чёрт, свалился на мою голову, - недовольно буркнул Курчев, когда они вышли с Ингой на Переяславку. К ночи мороз вернулся и весны как не бывало. Холод, словно в отместку за стаявший за день снег, завертел по всей улице от Казанского вокзала до Рижского, и лейтенант обнял женщину, стараясь заслонить ее от летящего навстречу колючего ветра.

- Нехорошо так. Он твой друг, - шепнула Инга.

- Приезжал бы, когда ты уходила в библиотеку.

- Он мне тоже не нравится. Но пусть поживет у тебя. А то мы

совсем с ума сошли. Так нельзя. У меня теперь саднит...

- Что? - забеспокоился лейтенант, останавливаясь посреди улицы.

- Ничего особенного. Просто перестарались. Не волнуйся. За эти дни пройдет.

- Н-да... - с сомнением покачал головой. - А лучше б я выгнал Гришку! Когда ты рядом, все просто...

- Когда я рядом, ты ничего не делаешь. И я тоже. Так дальше нельзя. Все-таки тебе надо определяться, а мне дописывать диссертацию.

- А у меня в конюшне не допишешь? Так? - спросил с тоской.

- Причем твоя конюшня? Мне нравится твоя конюшня. Вот отлежусь денька два с половиной и вернусь. Ну, просто сейчас, когда мне нельзя. Ну, понимаешь, сейчас мне дома лучше. V нас душ и все такое...

- Угу.

- Никуда не денусь. Только надо нам хоть иногда работать. А то все разлетится...

Ей хотелось объяснить лейтенанту, что за эти три дня она к нему привязалась, и еще каплю, ну, самую-самую малость - и она совсем забудет доцента. И пусть он не грустит, что она ему не говорит, что любит его. Она ведь уже почти любит. Ну, еще немного и она будет его любить, его одного окончательной и безраздельной любовью. Пусть он не печалится и не тревожится. Ведь не важно, как начать. Важно, что она страшно привязалась к нему. Он ей уже свой, родной, почти родной, и не только из-за того, что ей с ним это хорошо. Ведь вот сейчас ей уже нельзя, а она все равно осталась, и если бы этот беззубый облезлый мужчина в драповом синем пальто не разбудил их, они бы счастливо доспали до утра.

Только надо Борису чем-нибудь заняться. Ведь раз его демобилизовывают, ему придется поступать в аспирантуру и, значит, надо написать реферат. Необязательно для Сеничкина. В Москве достаточно вузов. А при способностях Бориса реферат - неделя работы. Нет, она знает, что он не лентяй. Просто сейчас завертелся и думает, что в мире существует только она одна. Но ведь он мужчина. А для мужчины женщина не может заменить целый свет. И если на какое-то время так случается, то потом женщине приходится расплачиваться страшной ценой.

Но все эти и десятки других соображений Инга вместила в короткое "все разлетится", и лейтенант вздрогнул и благодарно посмотрел на нее, словно услышал долгожданное признание в ответной любви.

"А ты еще клепал на нее, дурило", - сказал себе.

Вчера, в понедельник, когда Инга на четыре часа уходила домой переодеваться и на улицу Разина в Иностранку заказывать книги, он вытащил машинку с твердым намерением написать столь необходимую для определения его судьбы работу. Когда-то в институте в конце первого курса он взялся прочесть доклад о до-социал-демократическом периоде русского рабочего движения.

(Вообще-то Курчев хотел писать о народовольцах, но в сороковых годах о них даже вскользь упоминать боялись и в конце концов он договорился с преподавательницей истории, что сделает доклад о Северном Союзе Русских рабочих, первой пролетарской организации России.)

Тургеневку еще не очистили от чуждых изданий и материала для доклада было навалом. Курчев быстро раскопал статьи о Халтурине и Обнорском. Но кроме работ об этих двух вождях микроскопического Союза, которых он мысленно называл Мининым и Пожарским, в одном из номеров "Каторги и ссылки" за 1924 год Борис обнаружил заметку о еще одном деятеле Союза, Игнатии Бачине, который в Якутии на поселении, то ли из ревности, а скорее всего из пролетарской злобы, потому что она была генеральская дочь, задушил свою жену Елизавету Южакову. Подробности убийства были ужасны. Бачин не только задушил женщину, но еще оставил в юрте свою полутора- или двухгодовалую дочку, которая, рыдая, ползала по трупу матери.

К счастью Курчева, на его докладе, кроме преподавательницы истории, присутствовали всего четыре студентки. Приди их хоть на две, на три больше, историчка наверняка бы подняла грандиозный скандал и Бориса немедля выперли бы из института. Она и так не дала ему прочесть больше трех страниц, потому что он сразу начал с главного.

- Рабочие не пускали в свою организацию интеллигентов, - сказал он, только из страха, что интеллигенты образованнее их, умелее и займут в организации все командные места. Рабочие кололись на допросах сразу, и только один Обнорский молчал, но потом, после суда, не выдержал и подал прошение на имя Лорис-Меликова.

Плеханов и Кравчинский правы: действительно, Халтурин был занятной личностью. Но он покинул Северный Союз и примкнул к террористам и народовольцы тут ни при чем. Они его к себе на аркане не тащили. (Это был уже прямой выпад против "Краткого курса".)

- Рабочих погубила ненависть к образованным, - сказал девятнадцатилетний Курчев, и тут уж преподавательница окончательно взорвалась. С тех пор Курчев не получал по истории больше тройки, а так как на этом факультете история была

профилирующей дисциплиной, то и по остальным предметам ему редко ставили выше.

Теперь, в мартовский понедельник 1954 года, он снова хотел засесть за этот самый Северный Союз. Правда, доклад не сохранился. Курчев его тогда не разорвал, а отвез к бабке в Серпухов. Но когда год спустя бабка померла, дом продали, а Борис начисто забыл об этой тридцатистраничной работе, и тетка Ольга сожгла ее вместе со всем барахлом, которое не удалось сбыть соседям.

Впрочем, память у лейтенанта еще не начала отказывать и он помнил почти все цифры и даты, не говоря уже о фамилиях и именах.

Он поставил на стол машинку, вложил в нее три страницы с двумя копирками и бодро отколошматил:

"Северный Союз Русских рабочих - организация и гибель".

"Бачин задушил Южакову. Она его точно не любила, - подумал он, мрачно глядя на заголовок, высовывающийся из "малявки". - Инга меня тоже не любит. Я ей, как водка. Каждый ищет забвения. Поэтому нам в темноте проще, чем на свету".

"Ну, хорошо, - начал он. - Я напишу эту работу. - Каретка побежала влево, звякнула о звонок, и Курчев резко передвинул рычажок. - Я напишу и между строчек вставлю им перо и докажу, что рабочими владел комплекс неполноценности. На кафедре - не у Алешки, а на какой-нибудь другой, прочтут, вымарают главное и (десять из ста!) предположим, зачислят. И всю жизнь буду писать одно, а между строк вставлять другое, что они будут вымарывать. И я стану городским идиотом или дурачком от истории. Писать такое, что всем известно, давно апробировано, я не могу. Мне нужен, как уленшпигелевскому ослу, манящий морду репейник, то есть запретный манок. Нужно что-то такое, ради чего стоит усадить себя за стол. "История - не стихи и не проза, но и тут есть что-то личное, внутреннее, тайное...

Нет, не тайное, - начал печатать с красной строки. - Все проще. История - тоже деятельность. А всякая деятельность в своем конечном результате имеет цель одну - власть. Все стремятся к власти, но только к разным ее формам. Есенин писал кабацкие стихи, кричал, что ему на все начихать - и это тоже была жажда власти, и за Есениным пошла есенинщина.

И я, когда хочу написать что-то особенное, особое, не такое, как пишут другие, я тоже - чего скрывать и наводить тень на ясную погоду?! - хочу, чтобы меня считали особенным, не таким, как все. И если произвести еще несколько логических действий, можно разглядеть, что речь опять же идет о власти. И я, и тот парень, что как только потеплеет и подсохнет, вылезет во двор с

гитарой и будет петь блатные песни, собственно, не слишком отличимы. Ну, предположим, я даже не ищу восторгов. Мне, скажем, достаточно одной возможности таковых. Я напишу свою работу и положу в чемодан, как скупой рыцарь в подвал свои дукаты. Ему достаточно одной мысли, что в любой день и час он вытащит на свет свои сокровища и все падут ниц. (Хотя, конечно, и я, да и скупой барон, мы просто любим эту работу - бренчать на гитаре, составлять фразы или разглядывать и копить сокровища.)

Ведь вот у меня в конюшне две ночи спит живая женщина, которая пришла к живому мужчине, и не просто пришла оттого, что полюбила, а как раз наоборот, оттого, что не любит. Нет, господа, не достоевщина. Весь фокус, что не художественная литература, а сама реальность. Женщина любит одного, спит с другим. Другой мужчина, которого она любит, спит или пытается спать с нелюбимой женой, а та, в свою очередь, спит с командиром моего полка. Запутанность не ради запутанности, а все как раз потому, что ни у кого нет сил навести порядок. "Все смешалось в доме Облонских".

Почему такая красивая, умная, ни с кем не сравнимая девчонка так несчастна?! Вот о чем надо писать, и это в тыщу раз интереснее Северного Союза и куда нужнее. Но с такой работой не примут и не зачислят на стипендию. А через пятьдесят, тридцать или сто лет такая работа будет важнее любого романа. Пойди изучай жизнь по "Анне Карениной"! Все недоказуемо. Вымысел, скажут, Толстого. А если просто точно передать обстановку, факты, вот эту конюшню и разговоры в ней, и вот это тонкое армейское одеяло, под которым мы откровенничаем и без которого набираем в рот воды - это все историку потом даст в тыщу раз больше, чем вся высокопарная стряпня Лешки.

Почему Инга несчастна? Одна женщина когда-то мне сказала: "В жизни я совершила две ошибки: в первый раз вышла замуж за человека, не зная, какой он мужчина; во второй раз вышла замуж за мужчину, не зная, что он за человек".

"Это немного не отсюда?" - смутился Курчев и, отложив машинку, стал писать в тетради. Он не хотел, чтобы Инга, неожиданно вернувшись из библиотеки, прочла то, что он настрочил. Почерка же его она не разбирала.

"Разница между мужчиной и человеком в разные столетия преломлялась по-разному. А вот какова она в середине двадцатого века в нашей, отдельно взятой стране? И что входит сейчас в понятие "человек", а что в понятие "мужчина"? Будущее - карьера, успех, богатство - что это? - человеческое или мужское понятие? А что я для нее, Инги, как мужчина - гожусь, а как человек - пария? Будущего у меня нет. Еще спасибо, что досталась

эта халабуда, а то бы вообще в общежитии замерзай, и тогда уж точно устраивайся на завод или стройку или уезжай в Тмутаракань шкрабничать семиклассникам абортированную, никому не нужную историю. (В старшие классы меня и в Тмутаракани не впустят!) Вот об этом надо писать..." - оборвал он на середине свои записи и, захлопнув тетрадь, пошел в магазин, потому что как раз за стеной у соседки пробило два и в продовольственном кончался перерыв.

...И вот сейчас, на просвистанной голым мартовским холодом Переяславке, Ингино "все разлетится" застало Бориса врасплох. Он держал женщину под руку, но был далеко от нее - в своей никудышной жизни.

Хорошо и беззаботно быть временным хахалем. Ночь прошла - и ладно. Вся твоя задача - только не расхлюпаться и не начать ныть о своей любви, чтобы тебя пожалели. В такой игре есть свои подвохи и сложности, но тут ты стоишь только за себя.

Но если женщина в тебя влюблена, если ты ей дорог, то надо быть последним идиотом, чтобы отпустить ее, чтобы не оставить у себя навсегда. И тут уж нечего хвастаться, что не можешь писать ничего обычного, того, что пишут все, что ты особенный и все такое... Пока ты один, ты можешь витать Бог знает где, жить на рублевку в день, топтать рваными сапогами землю и презирать всех, кто живет и мыслит иначе.

Но любимая женщина - это объективная реальность, объективная и до чёртиков конкретная. Женщина не может ждать и не хочет ждать, и не обязана из-за каких-то твоих особенных счетов с современностью ходить в бумажных чулках, питаться хлебом с маргарином и вообще жить собачьей жизнью городской сумасшедшей. У нее короткий век. Она не думает о Боге и бессмертии. Ее бессмертие в ежедневном, и будь добр подай ей ежедневное, похожее на нечто человеческое.

- Надеюсь, не будешь ждать? - улыбнулась Инга. Они подошли к ее подъезду. - Прощай. До завтра. Только рано утром не звони. Отосплюсь, снова улыбнулась и наскоро поцеловала его в губы.

"Чудно..." - подумала, взбегая по лестнице. Ей казалось, что все это происходит не с ней, а с какой-то другой, незнакомой женщиной. Тело, несмотря на усталость, недосып и теперь еще недомогание (а может, как раз из-за всех этих причин), было легким, словно не своим, и как будто само взлетело на третий этаж.

"Нет, с этого чумичелы еще станется: до утра простоит", - подумала и тут же, спустившись на полмарша, посмотрела в окошко лестничной клетки. Лейтенанта под фонарем не было.

"Скорая помощь" не торопилась, а старуха кричала, как новорожденная, которой не дают груди.

"И где эта запропала?! - злилась Полина. - Что мне, больше других надо? Вот уйду сейчас и все. Эти гуляют по кавказским горам, дочка тоже кому-то отпуливает, а мне отдувайся с каргой".

- Да не кричи ты, не кричи! - цыкнула из коридора на Варвару Терентьевну, зная, что та все равно не слышит и не чувствует сейчас ничего, кроме боли.

- Сейчас Ингушкиному козлу позвоню, - сказала Полина и схватила толстую телефонную книгу. - Как его там? Злющая, помню, фамилия такая... Ах, да - Крапивников!

Она нашла его в справочнике и набрала номер.

- Слушаю, - сказал Георгий Ильич. - Как же, как же! Отлично помню! Полина! Ну, не волнуйтесь, Инга где-нибудь задержалась. Сейчас обзвоню товарищей и они ее отыщут. Детское время - без четверти двенадцать. Не волнуйтесь, сейчас ее вам доставим.

Он повесил трубку, радуясь, что этой дуре-Полине не удалось его втянуть в авантюру. Конечно, старуха помрет. Ее страшный крик был слышен даже в трубке, хотя она лежала в другой комнате. Неплохая старуха. Очень колоритная. Жаль, что помрет. Но что поделаешь? Завтра утром отходит поезд, и если сейчас помчаться к Рысаковым, то можно расчувствоваться и еще чего доброго сдать билет. Один день пропустить - это черт с ним. Но в Москве похоронить человека не так-то просто. Куча справок и формальностей. И нет уж... Лучше как-нибудь в другой раз, - нехорошо пошутил сам с собой Георгий Ильич и набрал номер Бороздыки.

- Слушай, Ига! Тут такая неприятность. Понимаешь, Ингина тетка доходит. Перейди через дорогу и погляди. А то там одни женщины. (Он нарочно не сказал, что Инги нет дома, чтобы не отпугнуть Игоря Александровича.) Естественно, боятся. Смерть. Сходи, пожалуйста. Только боюсь, живой уже не застанешь. Я слышал сейчас старухин крик. Так больше четверти часа не проорешь.

- Ну, молодец! А то, понимаешь, если я туда нагряну, то уже не уеду. Похороны и все подобное. А у меня завтра поезд. Не сердись. Отслужу. До свидания. Лобзаю.

"Подкинуть ему, что ли, еще товарища прокурора?" - подумал Крапивников, обрадованный готовностью Бороздыки, и тут же позвонил Сеничкину. Того уламывать не пришлось. И, выдернув вилку телефона и приняв вследствие волнения и недовольства собой два порошка снотворного, Георгий Ильич поставил будильник на половину десятого и уснул тяжелым сном не

выполнившего свой долг человека.

Все три дня Алексей Васильевич упорно дозванивался Инге.

- Нет. Нету. Не знаю, - буркала старуха.

"Да нет, она не у Борьки. Это чепуха, - прикидывал доцент. - Просто не хочет подходить к телефону. Должно быть, Ига наплел ей, что Марьянка уходила, а я помчался за ней к этой дуре-переводчице, а потом повез на уикэнд мириться. Дернуло меня откровенничать с этим трепачом! Нет, она злится и не хочет подходить к телефону".

Алексей Васильевич не только не был ревнив, но просто не мог поверить, что женщина, которая в данный момент зла на него, может быть добра к кому-то другому, тем более к никудышному Борьке.

"Все из-за Бороздыки", - сердился на себя и поэтому с такой легкостью откликнулся на звонок Крапивникова.

"У Жорки прекрасная спихотехника", - усмехнулся, сбегая около полуночи по своей лестнице и застегивая на ходу спортивное пальто. Марьяна еще не вернулась из загорода, родители спали, сестрица Надька, травмированная недавним абортом, стараясь пореже показываться взрослым на глаза, безвылазно сидела в своей светелке, и доцент ушел незамеченным.

На Кудринской было много ветра, но на стоянке сиротливо жались три сереньких "Победы". Доцент влез в переднюю и на Спасской нагнал Бороздыку, который, выворачивая ноги, уныло плелся в Докучаев.

- Стоп, шеф, - сунул доцент шоферу червонец и выскочил впереди оторопевшего Игоря Александровича.

- Ну, что там?

- Не знаю. Жорка турусы распустил. Помирает Варвара Терентьевна. А может быть, просто приступ. Говорит, кричит очень.

- Н-да, - неопределенно хмыкнул Сеничкин, почувствовав прилив столь несвойственной ему неуверенности.

Они вошли в подъезд, где Алексей Васильевич никогда не был, и поднялись по старой неказистой лестнице со сбитыми ступеньками и трясучими перилами на последний, третий, этаж. Бороздыка привычно, словно тут жил, повернул старый механический звонок.

- Наконец! - раздалось за дверью. - А, это вы? - открыла им толстая невысокая женщина с густыми бровями и обрюзглым, когда-то, по-видимому, кукольным, а сейчас грубым лицом. Она была в черном шелковом, вовсе не скрывавшем ее бока и груди платье и показалась доценту вульгарной. Раздеваясь, он заметил,

как она несколько раз стрельнула глазами, вспомнил, что видел ее в переулке, когда стоял там с Ингой.

- Ну как? - с торжественностью в голосе спросил Бороздыка, кивая на дверь маленькой комнаты.

- Никак. Только-только затихла. "Скорая" укол сделала и велела ждать до утра, а там звать районного. А если чего - звонить в милицию... Пусть засвидетельствуют .

- Ну конечно, - кивнул Бороздыка. - Что им человек?!

- Да, им люди - тьфу. Хорошо хоть вы пришли, - открыла Полина двери большой комнаты, впуская доцента и Игоря Александровича. - А то я тут одна - ни отойти, ничего... Да и страшно. Кричала, как резаная.

- А Инга?! - в один голос выдохнули оба гостя.

- Шлендрает. Три ночи не ночевала. Тут тетка концы отдает, а у нее хвост трубой. Погодите, погляжу, жива ли...

- Положеньице, однако, - заметил Бороздыка, не желая слишком издеваться над доцентом, но все-таки кое-что себе позволяя.

- Но она ведь не знает, - огрызнулся Алексей Васильевич, тоже всаживая в голос всю досаду этого глупого шокинга, мышеловки, куда он попал по простоте душевной и откуда до прихода районного врача вряд ли будет удобно выбраться.

- Ингу зовет. А где ее возьмешь? - сказала, возвращаясь, бровастая соседка. - Может, пойдете. Она в себе...

- Пойдемте, - с важностью поднялся тщедушный Игорь Александрович. Это, сэр, смерть. Вам тоже взглянуть не помешает.

Старуха лежала на кушетке, глубоко уйдя головой в подушку, так что даже чахлая подушка казалась огромным ночным чепцом. Оттого, что прежде всегда ее видел на ногах, язвительной и бодрой, Бороздыка подумал, что она уже скончалась. Но старуха сверкнула острыми маленькими глазками и тихо выдохнула:

- А, мое почтение...

Видимо, имя и отчество "стрекулиста" она все-таки забыла, но шепот ее сохранил язвительность.

- А молодого человека не имею чести... - выговорила довольно четко, но головы не повернула.

- Да. Я у вас не был, - смешался доцент. - Мне позвонили, попросили...

- Ничего... Ничего... Вы успели... Но вам это ни к чему. А вот внучка моя...

- Придет она. Вот сейчас и придет, - утешая, как маленькую, сказала Полина. - Вы бы уснули.

- Сейчас усну. Погодите... Инге скажите, чтобы не терзала

себя. И Тошку с Танькой пусть не вызывает. Ничего этого не надо. Пусть сразу в крематорий... - усмехнулась старуха, потому что мысль о сожжении была ею выношена давно, а о невызове Тошки и Таньки она начала думать еще до их отъезда.

- Хорошо, - очень тихо, больше кивком, чем голосом, ответил Бороздыка.

Он подошел ближе всех к кушетке. Старуха его недолюбливала, но ведь это было давным-давно, а сейчас наступал высокий час смерти старой женщины, бестужевки и русской интеллигентки. Ему было приятно, что он, почти отверженный и загнанный, причастен к этой смерти и не боится ее, а блестящий доцент жмется к дверям и чувствует себя, как набедокуривший первоклашка в кабинете директора.

"Они накипь России. Они не настоящие, - подумал мгновенно о доценте и всем его клане. - Зря я на него неделю тратил. Он боится смерти, а стало быть - жизни".

- Хорошо, Варвара Терентьевна, - сказал своим четким, красивым и сейчас невероятно значительным голосом.

- Ингу... Ингу успокойте... Александрович... - с трудом выговорила старая женщина. Она вспомнила лишь отчество, но Бороздыке казалось, что серьезный, последний час смирил старуху с ним, Игорем Александровичем, и она назвала его по-простому, как крестьянка. Он гордо повернул голову и посмотрел на стоявшего у притолоки доцента. Тот, казалось, ощущал всю свою ничтожность, потому что лицо у него было каким-то опрокинутым, и он так улыбался Бороздыке, будто просил у него подсказки или шпаргалки.

"То-то..." - удовлетворенно вскинул птичью голову Игорь Александрович. Но вдруг старуха вскрикнула, посерела, лицо ее передернулось и похожая на чепец подушка отделилась от редких, будто подсиненных волос.

- Мама... Коля... Коленька... Сударь... - закричала страшным гортанным криком, и каким-то странным наитием Бороздыка догадался, что старуха провалилась в прошлое, ничего вокруг не видит - ни его, Игоря Александровича, ни тем более доцента Сеничкина, и вдруг, словно та самая бомба, которая перевернула царскую карету и убила казака и возницу, взорвалась в ее чахлой, ребристой груди, и старуха с отвислой челюстью и застывшими острыми глазами уронила голову на смятую дряблую подушку.

- Отходит, - зашептала Полина.

- Прекрасная смерть, - дрожащими губами выговорил Игорь Александрович, хотя ничего прекрасного в лице старой женщины не было.

- Наверно, нужно укол... - пролепетал доцент.

Полина и Бороздыка неодобрительно повернули к нему лица, и он, покраснев, вышел из комнатки.

23

- Где ты их берешь? - спросил Гришка, когда Курчев, весь просвистанный ночным ветром и раздрызганный мыслями о заработке и будущей женатой жизни, ввалился в конюшню.

- Сами приходят. Да выключи ты эту бодягу! - рассердился и хлопнул крышкой патефона.

В ожидании хозяина гость уже несколько раз ставил Ингину пластинку и как раз сейчас в такт надрывному мужскому голосу дирижировал вилкой с насаженным куском любительской колбасы.

- А чего тогда держишь? Хреново гостя встречаешь.

- Ничего не хреново, - мрачно сказал Борис, открыл шкаф и вынул две чистые простыни и наволочку. - На вот, располагайся. А матрас я заберу.

Он стащил с тахты свое белье и полосатый армейский матрас, оставив гостю подушку и синее одеяло.

- Стол освободи.

- Вместе поместились бы, - робко хмыкнул тот, перекладывая газету с едой на одеяло.

- С тобой - нет, - усмехнулся Курчев и толкнул стол в угол между стеной и дверью. Расставив верхнюю крышку, он покрыл стол ватным матрасом и бросил на него шинель.

- Может, отметим? - кивнул Гришка на непочатую бутылку петровской водки.

- Завтра. Поздно уже. Разберешься в коридоре? - кивнул на дверь.

- Да, везунчик, - сказал Гришка, снимая пиджак и развязывая галстук. И чего они к тебе липнут? Рыло у тебя не больно, да и вообще ты вроде ухажер так себе.

- А я не бегаю за ними, - усмехнулся Курчев, влезая на стол. - Свет гасить?

- Сейчас. Чудно у тебя тут. Как в больнице. Других обоев не нашел?

- Были. Вальке Карпенко отдал.

- Ух ты! Приходила?

- Ага. Эти поклеила, а другие забрала. У Севки Забродина, говорит, ремонт организует.

- И ты отпустил?

- А куда ее?

- Олух ты! Да она, ставлю три сотни против червонца - за инженера не пойдет. Она по тебе сохнет. Или с ним за обоями приходила?

Курчев не ответил, погасил свет и накрылся шинелью.

- Дурень ты, Борька, - продолжал во тьме шамкать гость. - Эта вот, что сейчас ушла, хороша, спорить не буду. Но это не для тебя, парень. Эта побалуется с тобой и айда - за кого-нибудь своего выскочит. А тебе надо...

- Да заткнись ты, а то подушку заберу, - сказал Курчев, подтаскивая матрас к стене и заворачивая некоторым подобием подушки, отчего ноги скользнули по холодной клеенке. - А, хрен с тобой! Выпьем. Все-таки ты приехал, - сказал Борис и зажег свет.

"Все равно не усну. Проваляюсь бестолку. А так надеремся, просплю до двенадцати, а там позвоню", - подумал, разливая на табурете принесенную Гришкой бутылку петровской.

- Давно бы так. А то жмешься, - прошамкал Новосельнов.

24

Инга, устало обрадовавшись, что лейтенант не ждет ее под фонарем, поднялась на полмарша и отперла входную дверь. Но еще не войдя в прихожую, она увидела в ней свет и сваленные на сундуке мужские пальто (одно из которых - сеничкинское - она тотчас узнала) и потому в растерянности остановилась у двери, забыв вытащить ключ. Двери в ее комнату были притворены, а в родительскую - распахнуты.

"Алексей Васильевич... Почему Алексей Васильевич? Вот некстати. Я с ног валюсь", - как во сне рассуждала Инга, понимая, что находится в каком-то полубредовом состоянии, когда все невероятное кажется простым и возможным.

"И Бороздыка здесь", - подумала, подымая с сундука оба пальто и пристраивая их на вешалке.

- Хоть в милицию второй раз звони. Пусть сыщут! - вдруг громко, зевая, сказала Полина и вышла в коридор.

- Ты? - испуганно, словно не надеялась увидеть живой, уставилась на Ингу.

- Ну, я...

- Ой, девка. Дура ты моя, - обняла ее, неприятно пачкая Ингину щеку слезами и густой помадой. - Дура... Где ходила?.. Тетка-то померла.

- Погоди, не сразу. Остынь маленько, - снова обняла пытавшуюся вырваться Ингу.

- Подождите. Правда, - тихо сказал доцент, выходя в коридор и расстегивая на Инге выворотку.

Инга покорно села на сундук, опустила голову, потом тут же подняла и злобно посмотрела на вышедшего в коридор следом за Сеничкиным Бороздыку: "А этому что надо? Как ворон... Ворон..." - чуть не сказала вслух. О смерти Вавы она старалась не думать, хотя сразу поверила, что та умерла. Просто в теле накопились

усталость, растерянность и недовольство собой, и все это надо было немедленно на кого-то выплеснуть. И Игорь Александрович явился прямо-таки по заказу.

- Ворон... Гад... Все унюхивает, - шептала, нервно стуча закрытой мягкой туфлей по кованому сундуку. Бороздыка был ей так же омерзителен, как она себе самой.

"Надо встать и пойти в комнату. Надо позвонить по 06 - дать телеграмму в Кисловодск. Надо "скорую", нет, уже не "скорую", а что?.. Морг, кажется..." - меж тем крутилось в мозгу.

"А вдруг Вава не умерла?" - подумала наконец и тут же окончательно стала ненавистна себе. Ее снова обняло то самое нехорошее, стыдное состояние, которое не раз посещало ее раньше, и, наверно, еще чаще посещало мать, Татьяну Федоровну: это был страх, что Вава умрет не сразу, а долго будет болеть и, что еще безнадежнее, с ней может случиться инсульт, паралич, - и жизнь в доме станет бесконечным кошмаром.

- Ты только чуть не поспела. Полчаса всего, - успокаивающе бормотала Полина, не снимая рук с Ингиных плеч.

- Даже меньше, - кивнул Бороздыка, который все еще чувствовал себя причастным к этой прекрасной смерти.

- В сознании была, - бормотала Полина.

- Да, прекрасная смерть, - не замечая Ингиных злобных глаз, как эхо повторял Игорь Александрович.

- Всех вспомнила. Даже Освободителя и бомбометателя.

- Что за чепуха?! - вдруг дернулась Инга и двинулась в свою комнату.

- Да не ходи ты. Испугаешься. Дай хоть глаза ей прикрою.

Сеничкин твердо и ласково взял Ингу под руку, а невысокая круглая соседка удивительно мягко пролезла в чуть приоткрытую дверь, щелкнула выключателем и через минуту сказала:

- Иди.

Инга вошла вместе с доцентом и увидела тетку, скрюченную на кушетке. Одна туфля валялась на полу, другая была на Ваве. Тут же на кушетке лежало Полинино зеркало.

- Я проверяла. Чистое, - смущенно подняла соседка зеркало, видимо, не столько дорожа вещью, сколько опасаясь, чтобы не разбилось и не принесло другой беды.

- Прекрасная смерть, - повторил Бороздыка.

- Велела не вызывать родных и хоронить в крематории.

Инга вздрогнула, боясь мертвой и радуясь, что ее так крепко держит доцент.

- Да, - тихо и ласково шепнул Сеничкин. - Просила, чтобы вы не расстраивались и не взвинчивали себя. Все было очень быстро.

- Господи, - помягчела Инга, чувствуя, что вот-вот заплачет,

но слезы где-то застряли и их нечем было подтолкнуть. - Я сейчас, - повернулась к доценту, высвобождая свою руку. - Сейчас...

Она испуганно присела на край кушетки, зная, что должна, но в то же время все еще боялась прикоснуться к мертвой. Это была первая смерть в ее жизни, и Инга ничего пока не чувствовала, кроме ужаса и еще какой-то опустошенности от того, что вечный, хотя и затаенный страх перед Вавиным параличом уже никогда не посетит их семью.

- Бедная, - вдруг подумала о тетке. - Бедная! Никому никогда не была нужна. И мне не была нужна. Только мучала меня. А вот не захотела быть лишней. И даже умерла, когда меня не было... - вдруг теплое чувство благодарности к умершей разлилось по телу, подтолкнуло застрявшие где-то у переносицы слезы и Инга уже без страха прижалась к мертвой старухе и зарыдала добрым, бодрящим душу плачем.

- Бедная, - повторила спустя два часа в большой комнате. Бороздыка уже ушел, а Сеничкин остался в кресле ожидать утра, прихода милиции и санитаров из морга.

- Бедная. Жорка, великий защитник женщин, - сказала с брезгливой насмешкой, кутаясь в серый шерстяной платок. - Декламировал: "А в детстве женщин мучат тети..." Так вот, она меня не мучала. Ну, если чуть... А вообще всегда старалась занять как можно меньше места, не наступить по неосторожности на ногу... Вам, наверно, скучно. Вы бы шли домой, Алеша...

- Нет. Нет, не скучно. И никуда не пойду, - в который раз повторил Сеничкин, стараясь подчеркнуть, что дома его никто не ждет, что с Марьяной у них все - разошлись...

- Я лягу. И ты бы легла, - сказала Полина, уже в халате входя в большую комнату. - Вон, человека замучаешь, - кивнула на доцента.

- Ничего. Я бы все равно не уснул, - сказал Сеничкин.

- Мы посидим, - ответила Инга. Она уже забралась с ногами на широкую родительскую тахту.

- Разбудишь, когда приедут. Хотя и так встану, - пробормотала Полина и вышла.

В квартире и, казалось, на всей земле было необычайно тихо, словно все кругом замерли и только прислушивались к разговору двоих: Инги и доцента. Смерть и наступившая вслед за ней тишина располагали к сверхчуткости, и Алексей Васильевич со странным удивлением, не поворачиваясь в кресле, оглядывал комнату, все видел и все замечал и, казалось, понимал людей, которые тут жили. Он смотрел на молодую женщину, забравшуюся на тахту, и она была ему близка как никогда, несмотря на то, что ее три дня не было дома; и ему казалось, что про нее он знает все, хотя сейчас она была какая-то заполошенная, нервная и непрестанно говорила о старухе, о которой говорить уже было поздно. И Сеничкин понимал, что она так много говорит о покойнице, потому что не хочет сказать, у кого была эти трое суток. Ей надо выговориться, но так, чтобы не признаться. Он видел, что Инге нехорошо, что кроме обычной зябкости, в ней сейчас еще какая-то раздерганность, словно она раздражена не только смертью двоюродной бабки, а даже в большей степени самой собой. Может быть, ей чудится в ее опоздании какой-то рок... (Хотя никакого рока нет. Просто опоздала и все...) Так всегда бывает, если делаешь что-то не то, а потом тебя грызет досада.

Ему хотелось успокоить Ингу, даже, может быть, сесть рядом с ней, обнять эти зябкие плечи, но он чувствовал, что это может показаться кощунственным - и не только из-за лежащей в соседней комнате мертвой. Инге надо отойти от этих трех дней. И Сеничкин неподвижно сидел в кресле.

- Можно вас, - снова приоткрыла дверь Полина и поманила доцента. Он вышел в коридор, а оттуда - в маленькую комнату, где лежала уже накрытая простыней старуха.

- Раму подтолкните.

Алексей Васильевич влез на подоконник, чувствуя себя неизвестным героем.

- Не упадите только, - шепнула Полина.

Первая рама, несмотря на кучу ваты, засунутой в щели, отошла сразу, но наружная то ли примерзла, то ли отсырела. Сеничкин уже начинал злиться, но тут вдруг рама, слегка взвизгнув, сдвинулась и как будто сама распахнулась в серую, теперь уже безветренную ночь с чернеющими крышами сараев. (Окно выходило во двор.)

- Накиньте, - сказал Сеничкин, возвращаясь через коридор с Ингиной выворотко́й.

- Вы... Мне тепло, - тихо сказала Инга, оглядывая и оправляя свой шерстяной платок. Ей хотелось, чтобы Алексей Васильевич закутался в ее пальто, раз уж они сидят на разных концах

комнаты. Завтра чуть свет она напишет Борису письмо. Что-нибудь убедительное. Только бы он сюда не звонил, не приходил и не встречался с кузеном. Надо написать резко, не обидно, но твердо. Ей сейчас тяжело. Потом, потом они встретятся и она все объяснит. А сейчас у нее нет сил выяснять отношения, отвечать на бесчисленные "почему?", которые непременно будет задавать лейтенант. Что ж, он имеет на них право. Но просто у нее сейчас нет никаких сил...

- Накиньте пальто. Ну, я вас прошу, - сказала вслух.

Он послушно положил за собой на кресло выворотку, но при этом все равно остался строгим и подтянутым и казалось даже, что москвошвеевская выворотка переняла покрой его английского пиджака.

За окном постепенно просыпалось сероватое мартовское утро, и Инга с нетерпеливой надеждой ждала: вот можно будет загасить электрическую лампу, вот позвонят и ввалится врач установить смерть, вот притащат носилки и увезут Ваву. Начнется беготня за справками. Они купят гроб и закажут автобус, и, если очень повезет, может быть, кремация состоится послезавтра или даже завтра, пройдут эти три дня, ее срок, и эти три дня заслонят те три дня на Переяславке в комнатенке с потолочными обоями.

25

- А ну пляши! Письмо тебе, - толкнул Курчева Гришка.

Борис поднял голову. В комнате, несмотря на газеты, было совсем светло.

- А чёрт! - провел он тылом ладони по глазам, смахивая остатки сна.

Снилось Курчеву, что он обивает пороги редакций и, вроде, поначалу ему везет: берут литсотрудником с приемлемым окладом - тысяча триста или даже четыреста рублей. Полковник Филимонов из Воениздата узнает его. (Четыре года назад Курчев пытался устроиться к нему в историческую редакцию Воениздата и в порядке пробной работы даже отредактировал рукопись самого полковника и написал при этом полупогромное заключение. Полковник из предусмотрительности вынул из рукописи первый лист и с ехидством выслушивал малохвалебные рассуждения Бориса. Тогда, естественно, от редакции его отшили по причине молодости, малого опыта и незнакомства с редакционной работой.)

Теперь во сне полковник Филимонов был приветлив и даже попросил прощения, что не сообщил тогда Курчеву, что это была его собственная рукопись.

- Да, я видел на нее рецензию в журнале, - сказал во сне Курчев, который в училище читал все подряд, а этот журнал от

корки до корки.

- Ну, что ж, Борис Кузьмич, - улыбнулся во сне полковник. - Нет худа без добра. Я учел ваши замечания. А вы послужили в армии и теперь опыта у вас хоть отбавляй. С радостью вас возьму. Зайдите наискосок от лестницы в 319-ю к начкадров.

И вот лейтенант шествует в 319-ю, на которой почему-то вместо трех цифр стоит два нуля, но Курчев думает, что так и надо, открывает дверь, видит кафельный пол и ящики с песком, но все равно обращается к какому-то штатскому, сидящему тут же за колченогим старым конторским столом.

- Ладно, - говорит тот. - Значит, Курчев, Борис Кузьмич. 1928 года. Русский. Город Москва.

- Москва, - кивает Борис, даже во сне радуясь, что отец записал его появление на свет в столичном загсе, а не в заштатном Серпухове.

- Ну, что ж! Все годится, - кивает штатский, и от того, что все годится, переходит на "ты". - Давай, Курчев, партбилет и являйся завтра к десяти.

И тут оказывается, что у лейтенанта нет ни партбилета, ни даже комсомольского, потому что, демобилизовавшись, он оставил его в полку.

Письмо было в белом без марки конверте. Адреса не было, а только грубым и ломким почерком было наискосок накарябано: "Лийтинанту".

- В дверях торчало. Соседка, наверно, из ящика вытащила, - разделяя курчевское недоумение, хмыкнул Новосельнов.

Где им было знать, что утром Инга упросила Полину снести записку на Переяславку - "последний дом слева перед поворотом троллейбуса, а как войдешь в подворотню - дверь налево, крылечко разрушено и мелом на ветоши выведена четверка..." Полина в булочной вместо сдачи взяла конверт без марки и тут же, попросив у кассирши ручку, набрызгала свое "Лийтинанту".

Курчев разорвал конверт и, с первого слова узнав почерк, прочел:

"Борис!

У меня случилась огромная беда. Умерла тетка. Она меня звала, а я была у тебя. Если бы не приехал твой товарищ, я бы, наверно, и мертвой ее не увидела".

Почерк был быстрый, некоторые слова даже не дописаны: "Не звони мне сейчас, - читал он дальше, - я в отчаянье и не знаю, что делать. Надо вызывать родителей, но тетя перед смертью просила их не тревожить. А я даже с ней не простилась. Теперь я вся закручена, похороны, справки и все такое... Ты мне не звони. Я тебе потом напишу и приду... (Слово "приду" было зачеркнуто,

потом сверху написано снова.)... и мы поговорим. А сейчас я просто не могу разорваться. Ты извини. Я, наверно, все-таки вызову родителей, либо поеду к ним. Это последняя родственница отца. Извини, пожалуйста. Я сейчас не в себе.

Всего тебе хорошего. Инга".

- Ну? - спросил Гришка.

- Чего ну?

Курчев слез со стола и оделся.

- Раскладушку сходи купи. Потом себе заберешь. А то на столе одни мертвые спят.

- А чего? Можно, - улыбнулся тот.

- И еще вот чего: отбирай у меня пятиалтынные. И сам не таскай в карманах. А увидишь - лезу в автомат, руки скручивай и хрясть по морде.

- Ладно, - грустно кивнул Гришка, сам не радуясь своим прорицаниям. Что, я пуганул ее?

- Да нет. Не то... - отмахнулся Курчев, напяливая шинель. - На вот тебе на рубль, - отсчитал он семь пятиалтынных. - А эти три мне для другого дела нужны.

Но перейдя улицу, он все-таки набрал Ингин номер и, оцепенев, слушал длинные, пронзительные, разъедающие душу и уверенность гудки. Досчитав до семнадцати (потому что сегодня было семнадцатое) и мгновенно вспомнив, что он знаком с аспиранткой ровно месяц, вернее четыре недели, Курчев выслушал еще три гудка, потом уже довел счет до двадцати четырех - возраста аспирантки - и тут уж так рванул трубку на рычаге, что из нижнего окошечка выскочило сразу четыре монетки.

- Когда не надо... - злобно выругался и позвонил Сеничкиным.

- Алё, - раздался тонкий противный голос горбуньи Проськи. - А ето Боря? А Алексей Васильевич, Боря, не ночевали. Ольги Витальевны говорили, он у тебя.

- Счастливо, - буркнул лейтенант и снова рванул рычаг. Монеты не выскакивали.

- Еще был этот... Бороздыка, - вспомнил Борис и набрал номер, по которому ни разу не звонил, но который почему-то застрял в его дурацкой памяти.

- Спит, кажется, - ответил женский голос. - Сейчас постучу.

- Да. Это кто? - действительно несколько сопя, спросил через некоторое время мужской голос.

- А, лейтенант?! Здравия желаю, или как там у вас приветствуют. Извините, я несколько в Морфее. Ночь не спал. Тут напротив - переполох. У моей знакомой тетка преставилась и мы с вашим братцем племянницу успокаивали. Или вы в курсе? - в

голосе Бороздыки пропала сонливость.

- Откуда мне?

- Так ведь это Ингина тетка умерла.

- А...

- Я думал, знаете, - не верил ему Бороздыка. - Понимаете, старая женщина. Некому гроб нести. Я и доцент. Больше никого. Может, придете поможете? - продолжал зондировать лейтенанта, потому что несмотря на Хабибулину и сближение с Сеничкиным, ему хотелось насолить и аспирантке, и доценту. - Дайте ваш телефон. Я вам все-таки звякну, - не унимался Игорь Александрович.

- Нет у меня телефона, - даже рассмеялся его потугам Курчев. - Я тетку эту знать не знал, так что, как-нибудь без меня...

- Нехорошо разговариваете, офицер. Смерть все-таки. Я же вам говорил, что мистическое в вас развито плохо, отсюда и нравственное - прихрамывает.

- Что ж, может быть. Только знаете, всех не перехоронишь, - нарочно грубо дразнил Бороздыку. - И вообще я вам звоню насчет своего реферата. Не у вас экземпляр?

- Нет. Я Жорке... то есть Георгию Ильичу возвратил. Позвоните ему. Хотя нет... Он уже отбыл симферопольским. Придется подождать. Звоните, когда будете в настроении.

- Спасибо, - бросил трубку лейтенант. - Как же, дождешься!

Улица была пустой и у будки никого не было.

"И какого хрена я писал это послание?! Служил бы себе темно в полку. Не высовывался б! А то вот... - Он хотел сказать что-то чересчур злобное и матерно-длинное. - Не для тебя это... И вообще все не для тебя. Как яблоко надкусить дали... В перерыве. На переменке. А всё и навсегда - доцентам. Как это там: "чтоб стать достояньем доцента" и чего-то еще... Кого-то плодить, нищих, что ли?.. Нет, не то... Инга - доценту. Валька - инженеру, а тебе - темно служи в полку. Ну и буду", - злобно подумал и набрал телефон майора Поликанова:

- Здравия желаю. Курчев беспокоит, - сказал, надеясь, а вдруг демобилизация погорела и он тут же оставит Гришке ключи и уедет назад к Ращупкину, отменит отпуск и гори все оно пропадом, начнет пить с офицерами, с пропащим Федькой, которого он забыл и бросил в этой чёртовой особой части и тот еще чего доброго намылит ремень и вздернется...

- Приветствую вас, Курчев. Приветствую и поздравляю: приказ подписан и бумаги ушли к Затирухину.

- Слушаюсь, - бессмысленно выдохнул Борис. Даже тут не фартило.

- У-у-у, - всхлипывали в трубке частые гудки. Борис со всей

силой рванул рычаг, желая сломать этот собачий, поместившийся напротив его окон аппарат, но тот, как видно, видал и не таких нервных, потому что ничего в нем не сломалось, а только снова в отломанное окошечко вывалились три прозвоненных лейтенантом пятиалтынных.

Стукнув напоследок дверью будки, Борис вошел в магазин и, приложив к имеющейся мелочи несколько смятых бумажек, купил бутылку водки и сигарет. Все-таки надо было выпить за близкую демобилизацию.

26

- Вам надо выспаться, Алеша, - сказала Инга.

Был уже одиннадцатый час. Они не расставались почти сутки. Тело увезли только в восьмом часу утра, а потом они ездили в загс, в морг, на Пироговку, в похоронный магазин на Смоленскую, где Сеничкин уломал грубую зачерствевшую продавщицу всунуть куда-нибудь на завтра сожжение Варвары Терентьевны, продавщица записала автобус в морг на 17 часов, а кремацию на шесть пятнадцать. Обедали они уже вечером в какой-то заштатной столовке, считавшейся после семи чем-то вроде кафе, но кормежка там, как и в полдень, была отвратительна. Пить перед лицом непохороненной родственницы доцент Инге не предлагал и сам не заказал, да и денег было в обрез, а завтра, он знал, в крематории червонцы будут порхать, как ласточки, тем более, что кроме него и Бороздыки, мужчин на похоронах не будет. Он проводил Ингу до дому и, видя, что она валится с ног, поднялся с нею наверх, снял с нее пальто, сел в кресло и теперь был в нерешительности. Уходить домой не хотелось. Дома - мать, отец, расспросы. К тому же, наверняка вернулась Марьянка... Но завтра две лекции и действительно надо выспаться. Нет, он не прочь был остаться у Инги. Пусть, раз тетка еще не сожжена, он ляжет в соседней комнате. Но вся загвоздка в том, что он уже вторые сутки не снимал рубаху и чувствовал, что она выглядит средне, и завтра с утра на лекции он будет смотреться не элитой, а вроде Бороздыки.

Если бы Инга предложила постирать рубаху (а заодно - хорошо бы - и носки), он бы с радостью остался. Но Инга валилась с ног, да и к тому же за короткое житье с Крапивниковым, по-видимому, не привыкла ухаживать за мужем.

- Вам самой надо выспаться, - сказал он, надеясь, вдруг она догадается предложить ему остаться и тогда он попробует заикнуться про рубаху. Собственно, стирка небольшая. Только так - освежить воротник и рукава.

- Нет, - грустно покачала головой, видимо, отвечая своим мыслям. Нет, Алеша, - подошла к нему, положила руку на плечо и

вдруг нагнулась и потерлась щекой о его густые пряди. - Нет, нет, Алеша...

Он чувствовал, что она сейчас заплачет.

- Идите, - сказала, беря его сзади за плечи, словно хотела не обнять, а поднять с кресла. - Идите... Господи, ничего не хочу, только бы вы остались. Но у меня все совпало... Вам надо идти. Вас ждут.

- Нет, - излишне горячо запротестовал он. - Только не ждут...

- Ждут, - повторила Инга. - Спасибо вам, Алешенька, - и ткнувшись ему в пиджак, разрыдалась. - Идите, а то я так расклеюсь, что не поднимусь завтра, - вдруг резко оборвала всхлипывания. - Идите, прошу вас, Алеша.

- Я завтра останусь, - поспешно сказал доцент. Она грустно покачала головой, но ничего не ответила.

Дома отец еще гулял по квартире в своей отечественной пижаме.

- Пришел, - улыбнулся пасынку. Улыбка у него была для его грубого лица странно застенчивой, словно это он, министр, а не доцент, провел ночь вне дома. Алексей Васильевич уже привык к робости приемного родителя.

- Обычный комплекс, - обыкновенно отмахивался, когда Марьяна шутила, что грозный государственный деятель побаивается его, недавнего аспиранти-ка. - Чувствует, не свое место занял и понимает, кто он и кто я...

- Преувеличиваешь, - качала головой Марьяна. - Комплексы - показатель интеллигентности. Был бы ты моим пащенком, я бы тебя придушила. А он шмутки тебе возит и боится обидеть, словно виноват, что ты не от него родился...

- Да ну его. Нашла тоже предмет спора.

Но сейчас Марьяны в квартире не было, и оттого, что не встретил в коридоре матери, доцент благосклонно взглянул на отца и задумался о его внешне удачной, а в сущности такой нелепой судьбе.

- Что, не клеится? - спросил Василий Митрофанович, входя вслед за сыном в кабинет. - Бабу свою не ищи. Опять чемодан сложила. На этот раз свой... - пошутил, будто испрашивал Алешку, можно ли вести разговор дальше. А если нельзя, так на этой шутке и остановимся.

- Да, не вытанцовывается, папа.

Министр, ободренный, крякнул и опустился на краешек дивана. Он действительно робел перед сыном, даже не робел, а благоговел перед ним, хотя понимал, что без него Алешка ничего бы не достиг, даже офицером не стал бы, как племяш Борька. Но все-таки Алешка уже по своим годам набрал крепкую высоту и

наберет еще больше. И незадача с Марьяной не раздражала отчима, а как бы, наоборот, нащупывала слабинку в удачливом пасынке и приближала его к министру, которому сейчас было препаршиво.

Василий Митрофанович устал. Тогда, два года назад, надо было решиться и сунуться в главк. А теперь - всё. Месяц-другой и Красавчик его сменит. Это не решено, но это висит в воздухе. Да и сил драться, а главное охоты, уже нет. Зря Оля тогда продала дом на Оке. А то бы выйти на пенсию. Уж какую ни какую, а маленькой не положат, хватит. Жил бы себе по полгода в своем доме. Плотничал бы так, для себя, или соседям помогал по дружбе. А приперло бы - мог бы наняться и за деньги. Не старый еще. А без дома куда себя денешь?

- Да, чемоданное настроение, - пошутил вслух и не очень удачно, потому что сын поморщился, но тут же, стерев гримасу, спросил:

- А у тебя как?

- Ничего, - усмехнулся министр. - Но и хвастать нечем. Силенки есть, а давление лезет. Устал я. Надьку как-нибудь на пенсии доведу, если на зрелость сдаст. А ты уж сам на ногах.

- Значит, приходит..? - с неожиданной теплотой спросил пасынок, имея в виду красавца-генерала.

- Угу, - кивнул Сеничкин-старший. - И пусть... В общем, это его хозяйство, а я так... вроде сторожа приглядывал, чтоб не больно растащили...

- Ну и правильно, что не расстраиваешься, - сказал сын, вдруг проникаясь необыкновенной нежностью к этому большому, плохо отесанному мужику.

"Черт, неужели мамаша сказала ему про наш разговор, - подумал с неудовольствием о скандале с Ольгой Витальевной, когда грозился ей вернуть себе настоящую фамилию. - Неужели не удержалась?"

Он считал, что мать заедала его век и, должно быть, порядком измучила и отчима. Но сейчас, когда его выпирали из Управления, менять фамилию было подло.

- Что-нибудь подберут тебе, - сказал вслух. - Тосковать не будешь.

- Факт - нет. А лучше бы по чистой. Дом бы назад на реке купил.

- А что! Полковники так живут. Да и ты полковник. Мать только не согласится, - усмехнулся тут же, чувствуя, что и отчим сейчас внутренне бунтует против своей педагогической супруги.

- Не серди ее, - помрачнел Сеничкин-старший. - Она из-за Марьяшки переживает. Вы бы уж как-нибудь - либо туда, либо

сюда. А то цирк или сплошной транзит.

- Факт, - кивнул доцент, подражая приемному отцу, и тут же оба расхохотались.

- Я, понимаешь, к чему... - преодолевая смущение пробасил отчим. Если разведетесь и сразу, то я мог бы перед уходом комнатенку ей выклянчить. Думаю, чего-нибудь дали бы. А то все же нехорошо на улицу гнать...

- Ясно, - кивнул доцент, и волна недавней нежности к отчиму снова окутала его от кончиков пальцев до гладких желтых густых волос.

- Я поговорю с ней.

- А мой совет, - пораскинь еще раз. А то вот угодишь когда-нибудь в капкан и без жены пропадешь... - поднялся министр с дивана и, растрепав своей тяжелой плотницкой ладонью пасынка, вышел из комнаты.

27

Гроб уже опустили на металлическую подставку. Он оказался куда тяжелей, чем думал Бороздыка, но несколько мужчин, пришедших хоронить своего сослуживца, чья очередь была вслед за Варварой Терентьевной, прислонили венки к колесам автобуса и помогли втащить гроб в серое здание крематория и тут же с подставки у дверей перенесли вглубь зала.

- Родные и близкие могут попрощаться с покойной, - сказала женщина в черном халате. Голос у нее был безразличный.

"Как у диктора, - подумал Бороздыка. - Как у диктора, который объявляет: 'А теперь переходите к водным процедурам'".

Обрадовавшись подходящему сравнению, Игорь Александрович вовсе отвлекся от лицезрения смерти и перенесся в мыслях к своему огромному, но еще не расцветшему писательскому таланту.

"Нет, пожалуй, проза, - думал он. - Проза и только проза. Проза начало духовности. А вот статьи, они, как крематорий: четкость линий и сжигание живого. То есть, мертвого..." - запутался тут же.

Инга, опираясь на руку доцента, подошла к голове старухи и поспешно чмокнула в мертвую холодную проплешинку.

- Нет, здесь страшно, - тихо сказал Бороздыка Полине.

- А по мне - ничего. Чисто, культурно. Нищие денег не стреляют.

- Из земли вышел, в землю уйдешь... - не унимался Игорь Александрович, хотя Инга с доцентом уже вышли из-за мраморного барьера.

- Да ну вас, - шепнула Полина.

- А чего хорошего, - продолжал гнуть свое Игорь

Александрович. Сейчас выпотрошат.

Гроб меж тем начал опускаться и вот уже черная гармошка прикрыла шахту.

- Выпотрошат, а ящик назад в магазин. Для новой клиентуры.

- Бросьте, Ига, - повернулся к нему доцент. Здесь, в крематории, Инга открыто прижималась к его плечу и он чувствовал себя обязанным защищать ее от мелких выпадов бывшего вздыхателя.

- Только не оборачивайтесь, - продолжал Бороздыка, когда они спустились по ступенькам в парк с могилами. - Вот, пожалуйста - вознесение в виде дыма.

Обнаружив недюжинный талант художника слова, Бороздыка словно бы отвернулся от общепринятого и установленного всеми веками и религиями. Теперь он чувствовал себя избранным, особенным, а ведь особенность великого писателя и состоит в том, чтобы ни на кого не походить. "Для писателя, - не то чтобы размышлял, а как-то мгновенно определял про себя Бороздыка, - нет критерия моральности: морально все, что способствует творчеству, то есть высшему проявлению духа. Достоевский убил в своей душе не один десяток старух, пока в конце концов Раскольников не пришил Алену Ивановну. И я тоже оформил свою старуху. Впрочем, она сама умерла, но, смертью поправ, открыла во мне седьмое чувство артиста".

Теперь ему казалось, что в его груди (как в печи, когда прочистили дымоход) весело играет пламя, трещат дрова и нужно лишь слегка помешать кочергой - и жар от его сочинений (каких, он еще не знал...) разольется по всему миру.

Сравнение же его впалой чахлой груди с огромной печью при наличии позади внушите-льной печи и трубы крематория - никак не шокировало бедного Игоря Александровича.

- Это некрасиво, но я просто не выношу его. И тетка Вава, - дернула плечом Инга, как бы объясняя, какая тетка, - тоже его не выносила.

Но то, что говорят впереди, не слышно идущим сзади, и Бороздыка, оттачивая внезапно прорезавшееся дарование, продолжал развивать Полине свои соображения по поводу безнравственности крематория.

- Это немецкий аккуратизм. Узаконенный Освенцим. Иждивенчество чувств. Ясли, детский сад, тюрьма и вот крематорий. Люди препоручают себе подобных живых особей мертвым исполнителям.

- Неужели он за нами потащится? - вздохнула Инга.

- Сейчас отошьем, - еще крепче сжал ее руку доцент.

- Игорь, примите с Полиной влево, - повернулся к идущим

сзади. - Надо помянуть Варвару Терентьевну.

Алексей Васильевич был уверен, что в радиусе нескольких сот метров найдется павильон и важно только поскорей уйти от остановки такси, чтобы не везти кандидатишку в Докучаев.

- Ну, что ж, - поплелся за доцентом Бороздыка. Он не мог объяснить Полине, какого масштаба он прозаик, и поэтому по инерции продолжал обличать безнравственность ускоренных похорон:

- Теперь уже кутьи не поешь. Где там?! Великий русский обряд поминок это, Полина, выражение веселия чистой и высокой души. Русский человек долго скорбеть не способен. И песни в конце вечера - это не забвение, а скорее долг усопшему. Умер хороший человек и поминают его светло.

- А, бросьте, мужчина, - взяла его под руку. - Помирают всякие, а поминают всех, - и она с сомнением скосила глаза на Игоря Александровича, будто сомневалась - так ли уж он поет на поминальных мероприятиях.

В деревянном, выкрашенном в охру "Голубом Дунае" было тесно, накурено, грязно, и доцент еле нашел половинку мраморного круглого столика для четырех стаканов водки и восьми бутербродов с колбасой. Бороздыка индифферентно, словно он был не в пивной, а где-то на Парнасе, стоял у стены, не обращая внимания на небойкие заигрывания пьяных с Ингой и Полиной. Он был выше всего этого хаоса, в который погружается рабочая Москва в дни получек. "Мне нужна шапка Черномора, - думал он. - Я пришел сюда не судить, а описывать. Дело писателя точно и четко передать все, как оно есть, и описанная мною пивная станет тогда бессмертной. И этот пьяница в пенсне, которому стыдно, что он пьет, и этот инвалид у дверей, что протягивает всем "Вечернюю Москву" по рублю за экземпляр, и этот пижон-доцент, который сует пальцы в стаканы и никак не догадается в два приема перенести их от стойки к столику, станут вечными, как Раскольников и Мармеладов".

- Уроните, - сказала Полина, протискиваясь к прилавку и принимая от Сеничкина бутерброды. Инга стояла безучастно и молча.

- Ну, пусть ей будет хорошо... - поднял свой стакан доцент и коснулся Ингиного стакана. Он забыл, что в таких случаях говорят.

- Что вы! не чокаются, - взвизгнул, словно по нему полоснули ножом, Игорь Александрович.

- Да, нельзя, - сердито кивнула Полина, которой уже тоже поднадоел этот чудной и тощенький мужчинка.

"Все боронит, боронит, - думала она. - С того и пальтишко

дрянное, что несерьезный. Все вслух да вслух..."

- Ну, пусть земля ей будет пухом, - сказала, смахивая действительную слезу.

- Дымом, - не удержался Бороздыка.

- Да хватит вам, Игорь, - рассердился доцент, опуская стакан. - Это же нехорошо.

- Пусть упражняется без нас, - вдруг, удивляясь своей смелости, громко сказала Инга, тоже опустила нетронутый стакан и, взяв доцента и Полину под руки, потащила их из пивной.

- Да что ты? Водки сколько оставили... - услышал Бороздыка Полинин голос, - тут же дверь пивной захлопнулась и Игорь Александрович остался при тарелке бутербродов и четырех непригубленных стаканах. "Напьюсь", - решил он, ощущая в себе невиданный подъем не только духовных сил.

После первых ста пятидесяти грамм он был еще только мрачным созерцателем всеобщего пьянства. Он еще не судил, а только запоминал, чтобы завтра на свежую голову перенести все это на чистую плотную, без линеек, унесенную им из журнала мелованную бумагу. Но даже разбавленная в этом сомнительном заведении водка была слишком крепка для несчастного Игоря Александровича. Уже на третьей порции его порядком развезло. Но он перенес свои стаканы на соседний столик, где собрался народ почище и помоложе.

Дальше все шло, как во сне. Бороздыка кому-то предлагал бутерброд и нетронутые сто пятьдесят и тут же объяснял с полной чистосердечностью, что он писатель и только сегодня утром закончил свой главный труд, труд всей своей жизни (причем, в этот момент он искренне в это верил). Но когда кто-то усомнился, что он литератор, очевидно, полагая, что писатели не ходят в замахренных пальто с оторванными карманами, Игорь Александрович, не помня себя, начал задираться, кричать, искать сочувствия на других столиках, пока ему не брызнули в лицо пивом, не сбили очки и, обруганный (благо, не избитый!), мигая мокрыми, не остекленными глазами, он понуро поплелся назад, к крематорию, где на последние трешки и рублевки взял "Победу" и кое-как добрался домой.

Дома ему стало плохо, начало рвать. Он еле дотащился к телефону и вызвал Зарему Хабибулину, которая тут же примчалась и, поохав, напоила жениха крепким чаем с лимоном. Жених, успокоившись и расчувствовавшись, облобызал ей руки и уснул сном перекапризничавшего ребенка. Но наутро у него болела голова, и он так ничего и не сочинил.

28

Первая партия шахматного матча, так взволновавшая Варвару

Терентьевну, была во вторник отложена почти в равной ничейной позиции. Но в среду, на доигрывании, после первого, очень удачного хода, Смыслов тут же ошибся и через пятнадцать ходов протянул Ботвиннику руку. Так что, вряд ли старая женщина пережила бы этот драматический поединок.

В четверг, когда ее гроб на подъемнике спускали в печь (Бороздыка врал - ее сожгли вместе с гробом), противники сделали уже двенадцать ходов и Смыслов стоял на проигрыш. Курчев, сидя в своем венгерском костюме на самом верхнем, семирублевом, ярусе, болел, в отличие от Варвары Терентьевны, за Ботвинника. Не то чтобы чемпион мира ему нравился больше претендента (с верхнего яруса он даже в очках плохо различал шахматных гениев), но в его нынешнем состоянии раздерганности и безнадеги не хотелось никаких перемен: раз уж есть чемпион, пусть остается. Да и шахматы сейчас были для него чем-то вроде водки, больше для забвения, чем для радости, и имели то преимущество перед выпивкой, что не толкали немедленно в телефонную будку звонить отвергшей его женщине.

Он глядел на доску и даже многое понимал, но в голове после вчерашнего и позавчерашнего перепоя вертелась тонкая, изготовленная из рентгеновской пленки пластинка, в которой он разобрал всего лишь одно слово "зеленые поля" или "зеленое поле".

Позавчера, после возвращения из магазина, он готов был разорвать эту чёртову самодельную запись, которая почему-то так нравилась Гришке. Тот спьяну все время крутил ее на старом патефоне. Но потом водка развезла Курчева, он смирился и даже начал находить какое-то утешение в этой грустной ноющей жалобе английского певца.

Аспирантка принесла пластинку в понедельник и из деликатности ни разу не проиграла. Вчера, в среду, он даже подумывал отправить этот круглый диск заказной бандеролью, но не решился. Уж очень походило бы на "SOS". Даже в безнадежной пьяни он чувствовал, что стоит выдержать. В конце концов ничего особенного не случилось: он любил женщину, а она только спала с ним. Конечно, случай не частый. Но на земле наберется не один миллион подобных казусов. Самое главное, не показать виду, что письмо и исчезновение женщины тебя огорошили.

"Все разлетится..." Вот и разлетелось. Но надо держать фасон, будто "всего" не было.

У него остались от Инги два тома Теккерея и эта грустная пластинка. Если хочет, пусть присылает за ними доцента. Но она не пришлет. Она не желает, чтобы доцент пронюхал про ее три ночи. Иначе позвала б на похороны. Ведь сказал Бороздыка, что

гроб нести некому.

Но не нужен ей носильщик гроба и обойдется без Теккерея - купит в любом букинистическом. И пластинку тоже достанет. Раз какие-то типы нарезают музыку на рентгеновской пленке, то нарежут еще... И все-таки больше всего на свете ему хотелось набрать ее номер и просто, чтобы она сказала:

- Алло, - или: - да.

Он никогда в жизни не говорил с ней по телефону. Он бы прикрыл ладонью микрофон и только бы запомнил несколько ничего не значащих слов, сказанных разным тембром. Сначала она бы выдохнула "да", потом "слушаю", уже точно зная, что это он, Курчев. Потом... - тут Борис задумался, потому что никак не мог выбрать между двумя вариантами: либо она назовет его по имени, либо постесняется назвать и скажет резко: "Ну, как хотите". Впрочем, был еще один вариант: "Нажмите кнопку". У многих автоматов красные или черные кнопки, нажимая которые уже нельзя получить назад монетку.

Даже сейчас, на этой второй партии, которая уже явно была проиграна Смысловым, потому что Ботвинник с необычной для него смелостью, не заботясь о прикрытии своего короля, двинул три пешки правого фланга, даже на этой, одной из самых нескучных партий Курчев, глядя на демонстрационную доску, мечтал под воображаемый аккомпанемент "гринфилдс", как он спустится в фойе и позвонит аспирантке. Только боязнь, что у нее сидит доцент, как-то сдерживала.

Сеничкин действительно был у Инги. Выйдя с двумя женщинами из пивной, он свернул за угол и, еще не доходя до крематория, поймал машину с зажженным фонариком:

- На Спасскую, - сказал шоферу. - Только притормозите за Крымским мостом.

Выскочив за мостом, он тут же вернулся с большим желтым, смахивающим на чемодан, портфелем, который брал в короткие командировки. Сейчас портфель был довольно внушителен, потому что там лежали три рубашки, белье, пижама, домашние туфли, импортная электрическая бритва, конспекты лекций, словом, все, что он брал в Ленинград или в Горький.

- Извините, мне просто не хотелось туда с этим... - садясь к шоферу, обернулся к женщинам.

Шофер благополучно доставил их в Докучаев. Соседка ушла к себе, а Инга и доцент сели за стол в большой комнате и обоим было неловко.

"Вот оно - всё", - думал Алексей Васильевич.

Это было как с диссертацией: три года писал и вот однажды пришла бумага, что утвердили. И зачем было три года писать,

если вот так, в один день, утвердили? И насколько веселее было писать, чем потом вертеть в руках коричневой диплом. Присвоили и присвоили. И уже все. А что дальше?

Он глядел через стол на аспирантку и понимал, что у них все уже позади. Он ее достиг. Мечта исполнилась. Он откроет портфель и достанет пижаму, а она вытащит из большого старого шкафа свежее постельное белье... Все это, конечно, замечательно и великолепно, но это уже достижимо. И теперь, когда он вдруг станет доступным ей, он может ей показаться мельче. Где же великая мечта? Те короткие романы на квартире Крапивникова и в других местах не приносили разочарования. Они были именно то, чего он хотел. Не больше и не меньше. Это было, как игра в теннис: на два часа сдавали корт и нужно было здорово поиграть, не теряя драгоценных минут. То же и романы. Нужно было вовремя убраться и возвратить Жорке ключ. И то и другое было чисто спортивным мероприятием.

Женщина же, сидевшая напротив за большим, покрытым старой чистой скатертью столом, никак не годилась для короткого физкультурного романа. Она также не совмещалась с этим желтым достойным, привезенным отцом из Америки кожаным портфелем. Гораздо проще было дома сказать, мол, еду на несколько дней в Питер. Марьяшки нет, а отец с матерью, если и не поверят, то проверять поостерегутся.

Но вот так щелкнуть портфельным замком, вытащить пижаму, - это как дать обет у аналоя на вечную связь в горе и радости, в болезни и смерти. И вдруг почувствовав некий, подогреваемый в нем последнюю неделю Бороздыкой религиозный подъем, Сеничкин вообразил, что синяя птица мечты почти садится на его плечо и, опустив голову, будто каялся и признавался в смертном грехе, хотя на самом деле речь шла о великодушии и величии, начал:

- А знаете, Инга, я ведь не Сеничкин. Да, да... Так вышло, но я не хочу им быть...

Доцента прорвало, словно он пил в "Голубом Дунае", хотя его порцию выхлестал Бороздыка. Но, опьяненный собственным благородством, Алексей Васильевич опускал голову и каялся в высоте своей души.

Аспирантка встала, хотела обойти стол и прижаться к доценту, но тут раздался телефонный звонок - один, второй. Когда она, мрачная, подошла к аппарату, в трубке уже выл протяжный гудок. (Это Курчев, не справившись с собой, сбежал в вестибюль, накрутил телефонный диск, положив ждать три гудка, но на втором, услышав крик шахматных мальчишек: - Всё! Сдается! резко рванул рычагом. Злясь на это неуравновешенное

стадо очкастых и тщедушных подростков, Борис поднялся в свой ярус и увидел, что таблички "Черные сдались" не вывешено, партия продолжается, но Смыслов стоит совсем тухло. У него нет ладьи - правда, взамен конь и две пешки - и после размена ферзей эндшпиль для него безнадежен. Смысловский конь, стреноженный белым слоном, застрял на краю доски. Две белые ладьи, выстраиваясь по вертикали, вот-вот залезут в "обжорку", то есть на седьмую горизонталь, где займутся пешкоедством, да и вообще шансов на спасение у Смыслова не больше, чем у самого лейтенанта. Пора Смыслову протягивать руку Ботвиннику, а лейтенанту нечего бегать в фойе и набирать проклятый номер.)

- Да, я знаю, я виноват, - пел меж тем Сеничкин, и гордость и мечта светились в его голубых с девическими ресницами глазах. - Но что я мог поделать?! Теперь уже ясно, что эксперимент не вышел. Нужно возвращаться на круги своя. Мы не оценили... (нет, не идеи! роль идеи нам всегда была ясна!). Мы не оценили соборности русского чувства, которая выше идеи. Мы дали чуждому хамству замутить лучшее в нашем народе. Мы стали именно космополитами, потому что открыли двери чужому, а свое решили припрятать, будто нам надо его стыдиться...

Инга сидела рядом с доцентом на широком диване, припав к его плечу. Он был ей еще ближе оттого, что детство у него не задалось, и оттого, что теперь он собирался порвать с этой долгой ложью, и еще оттого, что в нем порядочность и храбрость наконец перебарывают долголетнее рабство. Сентенции же о чужом и своем, чуждом и исконном, казались ей несколько ходульными. Но она понимала, что вызваны они искренним чувством раскаяния.

Важно, что он тут, весь тут, и его идея возвращения настоящей фамилии была новой и, видимо, как-то связанной с ней, Ингой, и со смертью ее тетки и явно враждебна его жене, выскочке-прокурорше. И пусть Алеша где-то преувеличивал, несправедливо раздражался, но в целом им руководило чувство правды. Ну, а если он в чем-то повторял Бороздыку, так ведь Ига столько всего наговорил, что не совпасть с ним попросту невозможно.

Последним ходом Ботвинник сдвоил ладьи по третьей вертикали, и Смыслов мог напасть на них своим развязанным конем, но вместо этого подал чемпиону руку. Счет стал 2:0 и о шахматной короне вряд ли приходилось думать, хотя оставалось еще 22 партии.

Курчев сбежал в раздевалку, взял у гардеробщицы свое легкое, как плащ, импортное пальтишко и вышел на мартовский холод. Кепи у него не было. Он спустился в метро и отдал

кассирше четыре пятиалтынных. Больше мелочи не было, а на сданный гривенник не позвонишь. Теперь, если хватит сил не разменять на Комсомольской червонец, на сегодняшний вечер он спасен.

"Все-таки шахматы - не отвлечение, - думал, держась за никелированный поручень новенького сверкающего вагона. - Завтра засяду в Ленинке - и все! Это не выйдет, будто ее ищу: сама сказала, что теперь приземлится в Иностранке. А увижу - все равно не подойду. И вообще ей сейчас не до книжек", - вздохнул, чувствуя, что никого так не ненавидит на земле, как Лешку.

29

- Ну, зачем ты так?.. Значит, не любишь?.. Боишься?.. - тихим, который показался доценту оглушающим, шепотом сказала Инга.

Они уже третью ночь были близки. Но первые две, после Ингиного нездоровья, не сговариваясь, считали безопасными, а вот теперь доцент остерегся и тут же, услышав недовольный шепот Инги, понял, что он, Алексей Сеничкин или Сретенский, как мысленно он уже себя величал, пропал.

"Конечно, попался, погорел, заарканили",- думал он.

- Глупый, - все тем же глухим шепотом выдохнула Инга.

- Да... Но, понимаешь, - промямлил, чувствуя, что барахтается и идет ко дну. "Нехорошо, некрасиво, неблагородно... Она должна понять, что я жажду благородства. Я рвусь к благородству, а она одним словом кидает меня на дно. Сейчас, когда все так зыбко, когда, может быть, решусь и поверну все по-другому... Сейчас, когда мне больше всего нужна свобода, свобода времени и свобода маневра - ребенок для меня страшней чумы и смерти!" - Не сейчас, - выдавил он вслух.

- Да, конечно, - ответила она и голос у нее был невеселый. - Да. Я все понимаю. Просто размечталась. Он был бы маленький, а весь как ты... - Инга снова прижалась всем своим длинным худым телом к Сеничкину, но он чувствовал в ней скованность и сжатость, словно она раздета была только сверху, а внутри, под кожей, все на ней было застегнуто.

"Нехорошо, - снова подумал. - Трусливо. Женщина имеет право на ребенка. У них нет таких высоких задач. Им и нельзя не рожать. Что тогда будет с Россией, если русские перестанут рожать?! Ведь окраины беременеют, не переставая. Но мне сейчас прямо зарез..."

- Не сердись, - сказал громко. - Я тоже хочу сына. Твоего сына. Но сейчас, понимаешь...

- Да, - еще сильней сжалась она. - Да... У меня - аспирантура, у тебя - новая работа. И потом это все так внезапно... Тебе неловко у нас. Ты не знаешь моих стариков и тревожишься, как

примут... Да, да... Это все мои глупые фантазии...

"Дурак, - сказал себе Алексей Васильевич, обнимая ее и целуя. - Дурак и негодяй. Ведь у нее мог быть ребенок от Борьки. Ведь еще чуть-чуть - и как можно было испортить породу... Интересно, заикалась ли она ему о ребенке? Да нет, вряд ли... Ведь она не любила его. Просто я. с помощью болтуна Иги толкнул ее к нему на матрас. Небось, на матрасе спит или на раскладушке. Казарма, мать родная!.."

- Не огорчайся. Все у нас с тобой будет, - сказал вслух.

Но утром, когда они пили кофе, ему уже напрочь не хотелось ребенка.

"Да и ей не нужен", - думал, глядя в ее усталое, осунувшееся за последние дни лицо.

- Я перекушу в институте, а ты сбегай на Ногина или в буфете возьми чего-нибудь...

- Ничего, не волнуйся...

- Я заскочу после шести? Не рано?

- Когда сможешь, Алеша.

- Тогда после шести... - поцеловал он Ингу и спустился в переулок.

Спешить было некуда. Лекции у него начинались около полудня, и этим утром он решил найти Курчева. Пусть собачий сын больше не звонит. Нет, ревности в Алексее Васильевиче не было. Но все-таки Борька его раздражал. Раздражал, как маляр в троллейбусе, о которого можно измазать пальто. В четверг, после крематория, звонил точно он. Нужно поговорить с дураком и унизить, чтобы больше не приставал.

Сеничкин вышел к вокзалам и в первой же справочной сделал запрос на Курчева Бориса Кузьмича. Ждать пришлось минут сорок, хотя киоскерша обещала управиться в четверть часа. Чтобы не напороться случайно на Ингу, которая, он знал, ездит в Иностранку на метро, он прошел дальше к Красносельской, все время подогревая в себе раздражение на Бориса.

"Сиротка", - скрипел зубами, понимая, что, собственно, "сиротка" здесь ни при чем. Просто у него самого с Ингой выходит не совсем так, как мечталось, и надо на ком-то выместить растерянность и недовольство.

Он дважды опасливо возвращался к справочному киоску и действительно чуть не столкнулся с Ингой. Он едва ее узнал: в сером ратиновом пальто с шалевым воротником она быстро и понуро шла к станции метро и, будь у нее настроение чуть лучше, непременно увидела бы шмыгнувшего за будку чистильщика доцента. Но она не поднимала головы.

"Да, весна... - вздохнул Алексей Васильевич, когда Инга

скрылась в дверях нового вестибюля "Комсомольской". - И напарюсь же сегодня", - с неодобрением оглядел свое полуспортивное с меховым воротником пальто, которым так гордился все три зимних месяца, и с неудовольствием подумал, что придется заезжать домой менять гардероб.

- Вот, пожалуйста: Переяславка 41, квартира 4, - сказала киоскерша.

Но лейтенанта дома не оказалось.

- В Ленинской библиотеке, - шамкнул мужчина в грязных лиловых кальсонах и толстой теплой фуфайке. Он лежал поверх скомканной простыни на новенькой пружинистой, армейского цвета раскладушке и нисколько не стыдился открывшего двери доцента. На полу у изголовья стояла большая плоская пожелтевшая тарелка с окурками, а сам мужчина, выпятив кособокий от лежания живот, читал том Толстого огоньковского издания.

- Передать чего? Днем увижу, - сказал мужчина, не откладывая книги.

- Не трудитесь, - хлопнул дверью доцент.

"Нет, нет. Здесь ее не было, - подумал он. - В таком хлеву и при этом лагернике..."

Гришка Новосельнов показался ему похожим на заключенного.

"Нет, у Борьки кишка тонка..."

И вдруг оттого, что версия с лейтенантом провалилась, Сеничкина охватила совершенно непостижимая для него ревность к воображаемому мужчине, у которого трое суток провела Инга. Перебирая всех знакомых, он хотел мчаться в Иностранную библиотеку и только не по-мартовски жаркое солнце, напекавшее спину и плечи, несколько поколебало решимость. Сеничкин поехал домой и под ворчанье горбатой Проськи принял душ, сменил рубашку, костюм, туфли и вытащил из кладовки несколько длинноватое по нынешней моде синее демисезонное пальто.

"Черт, нельзя так распускаться", - подумал, спускаясь в тихую улицу Воровского. Времени оставалось больше часу и Алексей Васильевич решил пройтись пешком узкими арбатскими переулками.

- Это неблагородно. Захочет - сама расскажет, а допрашивать нехорошо, - сказал вслух, чувствуя, что загадочность аспирантки даже подогревает его любовь к ней.

30

- Фраер какой-то тебя спрашивал, - сказал Гришка сошедшему в гардероб Ленинской библиотеки Курчеву. - Пижончик. Не то что

мы, грешные, вздохнул, с неодобрением оглядывая легкое желтое в клетку курчевское пальтишко, которое протягивал Борису гардеробщик.

- Лешка, наверно, - вздрогнул Курчев.

Он уже третий день сидел в читальне, несколько тревожась за свой венгерский костюм, особенно за брюки, которые так быстро вытираются о казенные стулья. Костюм был великолепен, хотя стоил меньше восьми сотен, и Курчев чувствовал себя в нем ловко и независимо, не то что в лоснящемся кителе.

Инга еще ни разу не видела его в штатском, и он надеялся, что если она вдруг ненароком заскочит в третий научный, то будет удивлена. Да и ему легче будет держаться с ней холодно в этой венгерской паре.

И вот этот дурень Гришка брякнул про пижонство доцента, и Курчеву вдруг захотелось назад, в зеленую шкуру, в угол, куда-то туда, где он вне игры и никак не может и не должен соперничать с Алешкой.

- Ну, пошли. На улице, скажу тебе, парилка. Я совсем спекся, - взял Бориса под руку Новосельнов и потащил из вестибюля.

Еще с вечера они условились поесть по-человечески в недорогом ресторане и потом спуститься в биллиардную.

Три дня, если бы не беспрестанные мысли об аспирантке, Курчев мог бы считать себя в порядке. Он сидел среди тихих и погруженных в книги людей. Они не обращали на него внимания, очевидно, сразу приняв за своего, и он, стараясь не думать о Рысаковой, читал воспоминания о Маяковском. Книг было много, но толку в них не слишком. Борис понял, что воспоминающие не столько вспоминали поэта, сколько пытались доказать, что были к нему чрезвычайно близки, что без них он бы не стал тем, во что в конце концов вылупился, и, подымая "агитатора, горлана, главаря", ни на одной странице не забывали о себе.

Курчев с детства не любил Маяковского, потому что все, начиная с отца, взрослые, окружавшие Борьку, Маяковского не терпели. И не только потому, что он корежил русский язык. Просто все пили водку, поругивали советскую власть и любили Есенина. Есенин был свой в доску. Его переписывали, отчаянно перевирая, в замусленные тетради. Его пели под гитару и надрывно читали спьяну. Книг его нельзя было достать.

А Маяковский продавался на всех углах и мозолил глаза с плакатов. И всего толку в нем было, что пульнул в себя из-за какой-то гулящей шмары.

Не полюбив Маяковского с детства, Борис и потом не пристрастился к нему, потому что под влиянием бабкиного соседа, раненого на фронте пожилого столяра, начал читать

Толстого. Столяр, вегетарианец, в первые годы революции входил в какое-то толстовское общество, за что пострадал, и поселился в Серпухове, но остался верен прежним привязанностям. Впрочем, Есенина сосед тоже не любил, потому что был противником пьянства и разврата.

Теперь, получив атанде от аспирантки и твердо решив ни в какую аспирантуру не поступать, Курчев занялся Маяковским, подспудно желая заземлить на ком-то скопившееся недовольство собой и миром. Но читая воспоминания маяковцев, он невольно проникался жалостью к этому колоссу на глиняных ногах, к этому главарю с сердцем трусливого мальчишки, к горлану, которому не о чем было кричать, потому что он зарифмовывал только чужие мысли, - сначала Ницше, а потом - всех подряд: Бухарина, Калинина, Сталина... Все, кому не лень, надували, как цыган лошадь, этого странного, явно не вполне нормального, хотя незаурядного парня, и потом он гудел иерихонской трубой.

Отложив сборники лефовского и прочего окружения, Курчев раскрыл общую тетрадь и быстро своим неврастеническим ломким почерком стал уродовать бумагу:

"Вообразите гимназиста, недоросля, которому говорят: "Дядя, достань воробушка". Приткнуться ему некуда. Бедность сразу после относительного достатка. Мать сдает комнаты..."

(Представить это Борису было нетрудно, потому что в Серпухове бабка вечно пускала в дом квартирантов.)

"...И парень, воображая себя Оводом, Гарибальди с помесью Робин Гуда, играет в революцию, как в "казаки-разбойники". Он еще не атаман, хотя метит в первые, в главные. Но игры оборачиваются тюрьмой. Первая посадка, как легкое ранение, как шрам у буршей. Она - как мета храбрости и избранности. Но в следующий раз сидеть неохота. Правда, кормят и дают читать книги. Но славы никакой. Никто о тебе не помнит. Ты вообще для всех нуль. А славы ох, как охота. И вот парня выпускают. Вроде бы у него есть кое-какие способности по рисовальной части. Юноша смешивает краски, стоит за мольбертом, но таких, как он, десятки, если не сотни. Улита едет, когда-то будет... А ему по-достоевски надо сразу, да так, чтобы на всех площадях орали его фамилию. Но пока неудавшийся рисовальный хмырь в очках и бороде глядит на его мазню и неодобрительно хмыкает:

- Куда нога заехала? И колер, колер не тот... - или что-то в этом роде. (Знать не знаю, что говорят в подобных заведениях.)

И вот попадается парню на пути веселый прохвост Бурлюк, который уже понял, что медленными шажками известности не догонишь, что нужны ковры-самолеты и вообще всяческое звуковое оформление. Он читал "Мартина Идена" и знает, что

первое условие славы - общественный скандал. И тогда вытаскивается желтая кофта и наносится оплеуха общественному вкусу.

В царской России книги покупают люди богатые и на концерты тоже бегают не бедняки, а в крайнем случае студенты, которые в будущем собираются разбогатеть. А человек сытый и состоятельный - всегда немножко мазохист, потому что ему стыдно перед несостоятельными и несытыми. Ему хочется, чтобы его слегка поругали. Не сильно, на уровне щекотки, но все-таки выложили правду-матку о нем. И вот организуется некая бродячая банда, где наш парень в желтой блузе, с подведенными глазами, при своем росте, голосе и красоте выскакивает вперед, хотя дергают его за ниточку другие. Шум, гам, скандал. Крики: "Футуризм". Все это льстит долговязому юноше, но еще больше льстят признания стариков, вроде Репина или Горького, которые, мало чего смысля в стихах, бухают: "Да какой же вы, батенька, футурист?! Чистейший реалист!"

Паясничанье на эстрадах куда веселее сидения в Бутырках. Ты, вроде, гонимый, а одновременно сыт и известен. И девушки за тобой увиваются, и кондуктор на вокзальном перроне честь отдает, потому что едешь в первом классе.

Но тут начинается война. Сперва, несмотря на революционное прошлое, ты, не разрбравшись, пишешь патриотические афишки и ходишь громить немецкие лавки. Но тебе уже 21 год, могут, чего доброго, и призвать. Будь ты по-прежнему революционистом, тебя бы давно забрили и послали вшей кормить в Мазурские болота. Но ты актер и талант, и богатые интеллигенты, и питерские буржуи, над которыми ты потешаешься, пристраивают тебя в столичное автомобильное ведомство, куда ты заявляешься не чаще, чем императрица в свой подшефный полк.

Но, увы, ничто в мире не вечно и начинается революция! Ювелирный магазин Бриков национализируется и оставшийся на бобах Осип Максимович посылается своей шикарной супругой в новорожденные карательные органы допрашивать за паек себе подобных интеллигентов и буржуев. Потому-то и Есенин писал:

Вы думаете, здесь живет Брик,
Исследователь языка,
А здесь живет шпик
И следователь ЦК.

И сам юноша, который ходил в пажах у прекрасной хозяйки петербургского салона, отправляется на заработки в РОСТА. На это его рисовального таланта вполне хватает. К тому же он подписывает свою мазню стишками, не очень бойкими, но вполне

доступными лицам в кожаных куртках.

Новое начальство, выйдя из тюрем, вернувшись из каторги и ссылки, еще не отдохнуло и не наелось. Кругом война и ни о каком мазохизме не может быть речи. Новое начальство требует лишь одного - полного признания и безотказного восхваления. И футурист, нигилист и еще Бог знает кто начинает безоглядно (правда, в левых рифмах!) хвалить и воспевать новую власть и достигает прожиточного уровня, достаточного для бывшей хозяйки ювелирного заведения..."

"Слишком зло", - подумал Курчев и, взглянув на большие электрические часы, понял, что пора сдавать книги и спускаться в раздевалку, где уже, наверно, чертыхается Новосельнов.

Пить Борису не хотелось, да и обещанная Гришкой киевская котлета не прельщала и не могла расцветить угрюмую полудемобилизованную жизнь.

"Это слишком примитивно, - решил, с сожалением захлопывая тетрадь. Все-таки он был талантлив. И несчастен. И потом, его мазохизм - не личное изобретение. 'Сильнее и чище нельзя причаститься...' Тут что-то вообще от всех, получивших отдельное жилье и высшее образование. Совершенно необъяснимая любовь к необразованным. Культ необразованных. У Толстого это тоже было. Почему-то считалось и считается до сих пор, что наука развращает. Если человек, например, не доучился и пошел к станку, то он пуп земли и все понимает и надо на него равняться. А если ты прокорпел все десять классов и еще пять курсов, чему-то выучился и что-то понимаешь, то ты уже гнилой и должен учиться у тех, кто не доучился, потому что был туп или ленив. 'Музыку изобретает народ, а мы, композиторы...' и т. д. Чего-то у меня сумбур в голове", - подумал, вынося книги в предбанник.

Гришка повез его в припарковый ресторан, где месяц назад сидел с Игнатом и маклером и где ему понравилось все, кроме губастой шмары, не позволившей станцевать с ее подругой и чего-то каркавшей по поводу будущей посадки. Сейчас, жарким мартовским днем, ресторан был пуст и необычно светел. Даже надо было прятаться от солнца, и они сели в глубине, возле пустой эстрады.

Борис пил лениво, а Гришка сразу окосел и мир опять стал для него весел и многообещающ, и появись в зале какая-нибудь подходящая кадришка, он бы непременно разлетелся к ней и завязал деликатную, просительную беседу. Но в зале сидело только несколько студентов и вдалеке, в тени возле двери, четверо офицеров, и потому весь запас чувств Гришка тратил на лейтенанта.

- Да не бойся, Борька. Пей. Я тебе пятнашек давать не буду. Не позвонишь. Севрюгенц что надо. Хочешь, еще закажу? Да ешь, а то я тебя, как шмару, уговариваю. Люблю я тебя, Борька. И какого дьявола снюхался ты с этой ученой клизмой?!..

- Ну-ну!

- Ладно. Понимаю. В рамочках. Держимся в рамочках... Придерживаемся рамочек, - пьянее, чем был на самом деле, повторил Новосельнов. - Высокие чувства. Потому нужно держаться в рамочках. И ты, Борис Кузьмич, держись в ра... в ля... в лямочках... Ра-ля, до-ре-ми-фа-соль-ля-си мы поедем на такси...

- Пшел, знаешь куда?

- Знаю. Только непонятно, почему твоя фря тебе больше не дает. Испугал я ее? А то, знаешь, если не дает, то и не надо. Ты меня полюби. Я тебе тоже не дам. Результат один, а расстраиваться не придется.

- Кончай, - расхохотался Курчев, радуясь, что есть с кем отвести душу.

- Люблю тебя, Борька. Это она к тому фраеру ушла?

- Угу.

- Ну тогда швах. Тогда одни шары гонять остается, - беззубо усмехнулся Гришка и подозвал официанта.

Но когда они, не надевая своих пальто, а только накинув их на руку, спустились в подвал того же здания и взяли один из пустующих зеленых столов, Борис услышал знакомый голос:

- Одиннадцатый, два борта - угол.

- Атас! - хотел тут же крикнуть Гришке, но было уже поздно. Новосельнов засовывал шары в деревянный угольник.

- Этот? - шепнул Курчев приятелю, потому что доцент все еще стоял к ним спиной. Заказанный им шар в лузу не пошел, но удар доцента был на редкость элегантен.

Гришка кивнул.

- Во что они играют? - тихо спросил Борис, который костяные шары видел только издали.

- Сейчас тебя научу. И ты его живо обставишь.

31

Отчитав две спаренные лекции, Алексей Васильевич пришел в свое обычное бодрое состояние. Он любил свой голос так же, как любил свое тело, свою походку, свой удар ракеткой, как он любил все, что делал. Чтение лекций было таким же приятным времяпрепровождением, как теннис, плаванье, бег на лыжах, и приносило легкую чисто физическую усталость, после которой стоило выкурить хорошую сигарету, съесть что-нибудь небанальное и выпить холодного сухого вина или водки.

Поэтому Сеничкин в институтский буфет, как обещал Инге,

не пошел, а перейдя Крымский мост, поднялся в облюбованный еще со студенческих лет припарковый ресторан, заказал сухого вина, заливной осетрины, бифштекс без лука и съел все это в полном одиночестве.

"Любимая женщина - это прекрасно, - думал он. - Но вот такой легкий холостяцкий обед возвращает мужчине независимость. Женщина, хоть на дворе и двадцатое столетие, и равноправие, не может заменить целый мир. Женщина только одна из составляющих. Одна составляющая, две составляющих, три... А мир - миллиард составляющих".

Молодой Сеничкин любил масштабность.

- Все-таки лучше, когда держишь их на дистанции, - сказал, наливая себе второй бокал вина. - Когда на дистанции, то берешь водки и не тревожишься, что учуют запах. Нет, я не прячусь. Просто устал и привожу себя в порядок. Мне нужно успокоиться и встряхнуться. Без загула, а по-мужски: легкий обед и партия в бильярд.

Он расплатился, сбежал в подвал и начал играть в пирамиду с седым пузатым бильярдным жучком по прозвищу Маруся. Он давно знал этого несчастного забулдыгу-еврея, окрещенного женским именем из-за того, что в своей прежней жизни Маруся работал в машинописном бюро, тарабанил на ундервуде.

Играли они без форы с условием, что проигравший платит за стол. Других фраеров в подвале не было и, чтобы не терять формы, Маруся согласился покатать шары с этим пижоном.

Заказав одиннадцатого от двух бортов и не попав, доцент оглянулся и увидел двоюродного брата и беззубого плешивого субъекта, который, правда, уже напялил на свое грязное белье пиджак и брюки, но от этого не стал привлекательней.

- Салют! Вот не думал встретить, - сказал Сеничкин, приветственно поднимая кий. - Я заходил к тебе.

Курчев в ответ что-то буркнул и пустил на своем столе шар с цифрой 12. То ли от злости, переполнявшей лейтенанта, то ли от того, что при виде доцента он не мог как следует прицелиться, шар с неожиданным характерным четким стуком влетел в лузу.

- Ничего, - сказал доцент, не удостаивая Гришку даже легким кивком. Вот доиграю и сразимся.

"Что-то вроде дуэли, - усмехнулся Борис. - Смешно. Он увел женщину, а я отыгрываюсь на зеленом сукне. Не хватало еще, как Орлов Потемкину, запустить ему шаром в глаз. Или это враки графа Салиаса?"

- Ну, я готов, - сказал доцент, проиграв партию и расплатившись в кассе.

- А я нет, - вспылил Курчев. - Видишь, с человеком играю.

- Брось, Борька, - скривился Новосельнов, кладя на сукно длинный сверкающий под яркой лампой полированный кий. - Я вон с этим попробую, кивнул на Марусю, который, опершись на свой бильярд, как рыночный продавец на прилавок, своим глуповатым лицом и кособокой покалеченной фигурой приманивал новичков.

- Обдерет, - бросил Борис, склонный считать всех завсегдатаев этого заведения жучками и жуликами. В данном случае он не ошибся, потому что даже пьяный раздухарившийся Гришка и тот не согласился играть с Марусей и, перекинувшись с седоватым калекой несколькими обидными полуматерными замечаниями, отошел от стола.

- Я поеду, - сказал Курчеву. - А ты не заигрывайся. Два червонца заплачены - час двадцать играй, а больше не надо. А то обдерут, - с удовольствием стрельнул своими маленькими глазками в доцента, как бы намекая, что тот одного поля с Марусей.

Доцент покраснел, но не успел ответить. Гришка, по-стариковски шаркая, двинулся к раздевалке.

- Что за стапер? - спросил Сеничкин, снимая с шаров угольник и вкладывая в сокращенное слово не столько смысл, сколько презрение.

- Так, офицер. Командир полка, - ухмыльнулся Борис и сильным ударом разбил шары, чего делать ни в коем случае не стоило.

- Вот бы не подумал! Десятого прямо, - ударил доцент и промахнулся. Русский офицер. Полковник.

А белье у него, как у обозника. Я к тебе зайти стеснялся, в дверях стоял. А этот лежит и хоть бы хны. И видел бы ты его кальсоны!

- Я видел. Этого - туда, - показал в воздухе кием на красноватого четырнадцатого и на дальнюю левую лузу, но тоже промазал.

- Здесь стол строже, - сказал доцент, невольно поддаваясь игре и подбадривая кузена, к которому еще утром питал страшную злобу. - Семерку от двух бортов.

Он пустил шар, и тот, закружившись, ударился о короткий борт, потом о длинный и медленно, степенно покатился в лузу. Не связывая уже брата с любимой женщиной, Алексей Васильевич стал класть шары на редкость достойно и элегантно, даже несколько жалея противника, который пыхтя наваливался на стол, ударял чересчур топорно, почти по-деревенски и уже дважды проштрафился, пустив сначала полосатый шар за борт, а потом в лузу. Они не протрусили вокруг стола и пяти минут, а

счет уже был минус десять на плюс пятьдесят два.

- Не сжимай кий так, будто боишься, что я его вырву, - улыбнулся кузен. - Пальцы расставь и пускай легко. Пусть скользит. А ты его толкаешь, как посуху. Получается колхозный удар.

- А я и есть колхозник, - не скрывая недоброжелательства, отрезал Курчев и, ударив по двойке и забив ее в дальнюю лузу, вдруг вспомнил, что не сделал заказа.

- Ничего. Считается, - великодушно кивнул Сеничкин, вытаскивая шар и ставя на нижнюю пустую полку. - Что такой злой? Не демобилизовали?

- Наоборот. Девятого в середину на себя.

- Понял. Это называется дуплетом. Ого! Расходишься! - достал он из средней лузы шар и поставил рядом с двойкой. - Не будешь злиться, шары сами пойдут.

- А я и не злюсь, - Курчев обошел стол. Бить больше было нечего. Все шары, кроме битка, прижались к бортам.

- Без заказа, - пустил он полосатого в ближайший и посмотрел на доцента. - Чего заходил?

- Соскучился, - улыбнулся Алексей Васильевич. Он больше не испытывал неприязни к кузену. Парень как парень. Одет чистенько, хоть и нескладно: полосатая рубашка при полосатом костюме. Хорошо хоть без галстука. Галстук этот пентюх ни за что бы не подобрал. Но все-таки это свой, хоть и не кровь родная, а все же родственник, свидетель твоих успехов и незадач.

- Смешно! Ведь мы с тобой в первый раз играем, - подмигнул Борису.

- Угу, - кивнул тот, не поддаваясь. - Мамаша твоя тебя ругала. Говорит, ты вроде креститься хочешь, - поддел доцента. - Я думал, ты крещеный, - наклонился над столом и прицелился в самого крупного, пятнадцатого. Вид у лейтенанта был простоватый, но голос сохранял зловредность.

- Ты не так понял, - ответил кузен, которому не хотелось сердиться и портить отлично начатый холостяцкий день. Время приближалось к пяти. Надо закругляться, выигрывать и ехать в Иностранку.

- Или что-то фамилию назад менять... Она так злилась, что я толком не понял. Тебя ругала и меня заодно, будто это я вас с Марьянкой развожу.

- Не обращай внимания, - доцент ударил битком в пятнадцатого, которого минутой раньше безуспешно пытался положить Курчев. Теперь у доцента пятнадцатый вошел в лузу, но при этом, откатившись от борта, в средней лузе очутился и полосатый биток.

- Не говори под руку, - усмехнулся и стер один из крестов над своей полкой. - Или дразнишь, чтобы мазал?

- Да где нам, сиротинушкам? - осклабился лейтенант, сам краснея и вгоняя доцента в краску.

"Слышит он, что ли?" - подумал Алексей Васильевич и сказал:

- Слушай Борис. Я давно хотел тебя спросить, чего это ты меня не любишь?

- Ладно...

- Завидуешь? Ты сам не лаптем хлебаешь. Голова есть. Захочешь - и всего добьешься. Демобилизовали ведь...

- Ладно, кончай. Не к чему... - промычал лейтенант, чувствуя, что у него покраснели не только лицо и шея, но и весь он до пят красный, как партизан гражданской войны.

"Хоть бы про Ингу сейчас спросил, - подумал с надеждой. - Тогда не заметит".

- Завидовать мне тебе не в чем, хоть ты там элита и еще чего-то, доцент по марксизму или славянофильству, - выдохнул, не поднимая головы.

- Ну, ну, легче на поворотах, - сказал Алексей Васильевич и прислонил кий к бильярду.

- А что - нет? Бей и не выходи из себя, - злорадно усмехнулся Курчев и выпрямился в полный рост. - Бей. А то чикаться некогда. Девятнадцать минут осталось.

- Тебе кто про славянофилов сказал? - нахмурился, что-то подозревая, доцент и бесполезно ударил по шару.

- Мать и еще Бороздыка. Тот прямо распелся, мол, в тебе чувство пути. Я думал он про карьеру, а он про церковь. Ты что, ему тоже набрехал, что фамилию меняешь? Вон вытаскивай... - кивнул на пятнадцатого, которого за разговором все-таки положил в угол.

- Зубы заговариваешь, вот и падают, - достал доцент шар. - А все же сбавь голос.

- А чего боишься? - спросил лейтенант и стал охотиться за чёртовой дюжиной, самым крупным из оставшихся шаров.

Теперь они уже не столько играли, сколько переругивались над зеленым сукном. Доцент дважды промазал, а лейтенант забил четверку с шестеркой и счет почти выравнялся.

- Чего боишься? - с подковыркой продолжал Борис. - Ведь не я, а ты все это развел. Сретенский, Сретенский!.. Хрен бы два года назад защитился Сретенским. Или у вас диалектика такая: когда надо - так Сеничкин, а когда Сеничкина по шее - так мы уже не Сеничкины, а долгополые дворяне? А?

- Ну что разбушевался? Сводишь счеты, оттого что Инга ушла от тебя? вдруг поддел доцент как раз тогда, когда лейтенант

меньше всего ждал. Но жар от спора все равно заливал его щеки и была его очередь хода, потому, прицелясь и положив так долго не дававшегося тринадцатого, лейтенант поднял голову и с презрительным смешком бросил в доцента:

- От меня? Да я ее видел всего раз! А чего с ней? Мамаша твоя тоже меня трясла: знаю, мол, какую-то Рысакову? Я говорю: Ингу видел, а Рысакову - нет. А она: ты тоже в нее влюблен?

"Здорово у меня получается", - подумал со злобной гордостью.

- Заливай, - сказал доцент, но в его голосе не было полной уверенности. - Небось, на нее заглядываешься?

- Заглядывался бы, да негде. Бороздыка меня звал на свидание в крематорий, но я как-то постеснялся. А ты что, правда, от Мальтуса переметнулся? - добавил, чувствуя, что долго не выдержит разговора об аспирантке.

- Да нет... Это сложнее и не здесь об этом...

- А все же?

- Ну, слышал стихи:

Прощальных слез не осуша,
И плакав вечер целый,
Уходит с Запада душа,
Ей нечего там делать... - ?

- А ты что, рыдаешь? - ухмыльнулся Курчев.

- Не рыдаю. Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут.

- А ты, значит, сходишь. Сошел уже?

Игра продолжалась вяло и машинально. Борис перегнал Сеничкина, но забитые шары уже не радовали, потому что разговор занимал куда больше.

- А как же с марксизмом, который выстрадала Россия? - спросил, чувствуя, что доцент запутался в своих неопределенных русофильских выкладках.

- Марксизм был внесен. Причем не русскими.

Марксизм - великая штука, но его изобрели интеллигенты. Россия его действительно выстрадала, но не всякое страдание плодотворно, - улыбнулся доцент и, не дождавшись одобрения противника, пустил полосатый шар в одиноко стоявшие пять очков, которые и вошли в лузу, но не упали, а только качнулись в ней несколько раз, однако, когда лейтенант собирался их добить, вдруг исчезли в сетке до удара.

- Интеллигенции пороху не выдумать, - с удовольствием продолжал доцент, обходя стол. - Интеллигенция не должна отрываться. Без народа она ничто. А марксизм был западным изделием. Мы через него прошли, мы им переболели, как в

детстве крупом, и теперь видим, что дорога у нас другая. В общем и Сталин, хоть он никакой не гений, - понизил голос доцент, - это почувствовал...

- Вот как?!

- Да, мы отпугнули от себя народ, - продолжал доцент, не отрывая взгляда от стола. Там осталось два шара и важно было забить последний. По очкам уже никто выиграть не мог.

- Кто это мы? Интеллигенция? - спросил Курчев.

- Нет, не интеллигенция, а элита. Общество не может быть не элитарным. Крепко лишь там, где одна балка идет снизу доверху.

- Темно, - скривился Курчев и чуть не промазал, но в последний момент полосатый шар, оттолкнувшись от борта, коснулся "тройки".

- Единство верха и низа может быть только национальным, - с удовольствием прислушивался к своему негромкому голосу доцент. - Иначе бюрократия, чиновничество, коррупция и так далее. Русский народ выдержал тысячу влияний, тысячу нашествий и поэтому вправе осознать себя именно как народ, как нацию.

- Это понятно. Но при чем элита и чем плоха интеллигенция?

- Ну, во-первых, элита - это нечто мистически избранное. Это лучшее меньшинство народа. Квинтэссенция. Это малое, вобравшее в себя целое!

- Ну да... меньший шар, в котором спрятан больший, - поддел кузена Курчев.

- Не остри и не завидуй.

- А чего завидовать? Я лейтенант, а ты только младший. Значит, во мне накапано твоей элиты на порядок выше. А вот с интеллигентностью как раз наоборот: у тебя два диплома, а у меня один да и тот неважнецкий.

- Ты все путаешь. Элитарность раньше давалась правом рождения. Но теперь у нас другое государство и определяет уже не рождение и не образование, а внутреннее чувство русского пути, чувство избранничества. Понятно?

- Ага, - кивнул лейтенант. - Только одно не допер. Вот месяц назад ты стоял за марксизм и ругал меня за реферат. И у тебя тогда все было впереди, а у меня ни черта, потому что ты партийный, а я без и так далее... Теперь ты уже стоишь не за марксизм, а за какую-то выдуманную тобой монархию или что-то еще, и опять ты элита, а у меня, как у латыша... ни... кола, одна душа.

- У тебя квартира. Не прибедняйся.

- Хорошо, квартира. А больше - ни шиша. Через две с половиной недели я получу свои выходные три тыщи и под зад коленкой. Чудак, считал, демобилизуюсь, не пропаду, все-таки какая-никакая, а интеллигенция. А тут выходит - интеллигенцию по боку, не нужна. А нужна элита. И надо же было мне прошение Маленкову отсылать?! Служил бы себе тихо. Дослужился бы до Ращупкина и стал бы элитой. Или тоже нет?

- Какого Ращупкина? - удивился доцент. - Длинного такого?

- Ага, - усмехнулся лейтенант, но тут же вспомнил, что теперь Ращупкин должен быть безразличен доценту, раз уж доцент ушел от Марьяны. И снова горячая злоба отвергнутого любовника разлилась по курчевскому лицу. Доцент с жалостью поглядел на брата.

- Что ж, Борис, - сказал с мягкостью и на свой английский манер. - Ты интеллигент и это, прости меня, плохо. Знаешь: "Прекрасные люди крестьяне и прекрасные люди философы. Вся беда от полуобразованности". Это, к твоему сведению, сказал Монтень. Так вот, твоя полуобразованность толкает тебя в ёрничество, в подзуживание, в недовольство действительным и разумным. Ты прав. Мне было раньше хорошо, мне неплохо сейчас и мне отлично будет потом. Мир не стоит. Все течет и видоизменяется. И я в первой волне. Мир прекрасен в каждом своем мгновении, и жизнь для будущего - это, извини, туфта. Вон, смотри, - он показал кием на круглые вокзальные часы, висящие у самого потолка, на которых оставалось восемь минут оплаченного времени. - Почему четверть шестого должна быть лучше десяти, одиннадцати или тринадцати шестого? - спросил, переходя даже на крапивниковскую интонацию, ибо и мысль была крапивниковская. - Совсем не лучше. Каждая минута достойна, чтобы в ней жить. А верить в грядущее, презирая настоящее и мучаясь в нем - не только глупо, но и безнравственно. Ждать и догонять - удел дураков. В каждом периоде есть свои сложности. Их надо разрешать...

- Значит, от интеллигенции вся беда. Из народа ее выгнали, в элиту не пускают, и она дохнет от зависти. Стало быть, осталось одно - головой в удавку и ногой от табуретки.

- Брось, - скривился доцент, будто наступил своим туфлем в нечистое. Опять ёрничанье. Все это от пустой и никчемной жизни. Ты здоровый крепкий парень, а пыхтишь, как неудачник, и от тебя впрямь начинает разить безнадегой. Ты историк. Ну, хоть по своему жидкому образованию историк. Так вот, вместо того, чтобы вытаскивать своего фуражиста и придумывать ему какую-то невозможную особую роль, ты собери, соедини всех обозников, слей вместе, преврати в сплав. Ведь народ велик не отдельностью,

а целостностью. Интегрируй, а не разделяй. Не анализ, а совокупность синтеза - вот задача интеллигенции. Собирать и хранить лучшее в народе. Охранять. Беречь.

- Ходить ВОХРой?

- Опять? - сморщился доцент.

- Не опять, а всегда. Мне, понимаешь, с ружьишком и с собакой: "шаг влево, шаг вправо - стрелять буду!" или там экскурсоводом: "Вот, товарищи (или там "граждане", если "товарищей" вы отмените), струг Стеньки Разина" (или там фуражка Владимира Мономаха. Мне - вполсыта, Москвошвей, - он потрогал левой рукой лацкан пиджака, забывая, что костюм венгерский, - мне "Парижская коммуна", - поднял легкую после сапога ногу, - давка в троллейбусе и отпуск в доме отдыха, где палата набита, как казарма. А тебе - западное шмотье, "ЗИС-110", иностранные командировки и дача на Рице. Тебе плевать, что в деревне шаром покати. Вон, вроде, как у нас тут, кивнул на зеленое поле бильярда.

- Ну, что ж! Деревня и впрямь не в порядке, - согласился доцент. - А я при чем?

- Погоди, до тебя дойду. Мало, что разорена. Так ведь хуже - паспортов нету. Я тут осенью ездил за пополнением. В бесплацкартный баб набилось. Откуда-то из-под Ужгорода. Язык украинский - не украинский, с пятого на десятое понимаешь. Едут, говорят, пятые сутки: сначала Львов, потом Вильнюс, Рига, Таллин, Питер и на закусь - Москва. Спят непонятно где. С утра до вечера и всю ночь дуются в дурака. Чего едете? - спрашиваю. - А так, подывытыся.

- Спекулируют, - усмехнулся доцент, примериваясь к последнему шару.

- А хоть бы и так. Людям жить надо. В селе никаких товаров. Они чего-то человеческого ищут. Ботинок хотя бы. А вы с Бороздыкой их назад, в Бог знает какой век заталкиваете. Ну, Бороздыке ничего, ясным делом, не обломается. Он болтун. А тебе всё на блюде, как хлеб-соль несут: "Ешьте, Алексей Васильевич!"

- Ты не понимаешь, - снова скривился доцент, как учитель математики, пытавшийся битый час объяснить тупому девятикласснику начала тригонометрии. - Мир разделился. Понимаешь, общая интернациональная идея дала течь. Теперь развитие может быть только национальным. Каждая нация ищет силы в своем прошлом. Крестьян растлили и они шастают по городам, вместо того, чтобы прижиматься к земле, которая богаче и плодотворнее города... - медленно и устало, как давно известное, выговорил Алексей Васильевич.

- Да, но ты чего-то не лезешь в землю. И клифтик на тебе иностранненький. Сукнишко, во всяком случае, не наше. А? - и потому, что доцент только пожал плечами, как бы не считая достойным откликаться на подобные низкие выпады, лейтенант продолжал: - Душа твоя ушла с Запада, но грешное тело прописано в Европе или даже в Америке. Всем нам - назад, в деревню, в средневековье, в русскую общину или куда-нибудь еще (в какой-нибудь вариант лагеря!), а тебе с твоей высокой соборной душой, тоскующей по Китежу, предстоит мучаться на растленном Западе. Там, глотая кока-колу и вдыхая "эр-кондишен", ты будешь тосковать по российским полям, запаху хлева (которого и не нюхал) и еще Бог знает по чему. Все это не ново! В прошлом веке такого навалом было. Да ты хуже самого заядлого крепостника! Тому хоть нужно было, чтобы крестьяне лучше жрали, чтоб на него больше вкалывали. А тебе - чхать! Тебе лишь бы петь гимн народу, а как он живет - не твое дело. На костюмчик с рубашечкой он тебе наработает. У крепостника было свое и чего-то он все же берег, а у тебя - чужое, и потому ты не жалеешь и готов по ветру пустить.

- Туману много, - сказал доцент. - Скажи лучше прямо: любишь ты свой народ?!

- Ну, люблю.

Разговор перешел на мистическую колею и лейтенант сразу почувствовал себя незащищенно и зябко.

- Ты согласен, что наш народ - великий народ?

- Ну, предположим, - буркнул Курчев. Ему стало скучно спорить, так же, как вот гоняться по столу с длинным полированным кием за последним шаром.

И победа на бильярде и победа в споре ничего не значили.

- Так из-за чего орем? - с победительной усмешкой поглядел на мрачного брата Алексей Васильевич.

- Не из-за чего! - устало сказал Курчев. - Но все-таки для большого или даже великого народа унизительно хвастаться.

- Не хвастаться, а собирать и беречь традиции.

- Ну и береги. Только как беречь, не хвастаясь? Беречь - значит агитировать. А агитировать, стало быть, унижать других? Или не так?

- А что другие? - нахмурился доцент. Он тоже положил кий на стол. Отлично начатый холостяцкий день кончался неприятной сварой. - Мне до других нет дела. Они сидели сложа руки, а Гитлера бил русский мужик. (Доцент не сказал "мы", потому что сам не воевал, хотя по возрасту вполне успел бы.) - И Наполеона тоже бил русский мужик. Он один все вынес.

- И еще русский поп... - поддел Курчев.

- Да, и поп! - рассердился Сеничкин. - А ты что, не горд тем, что русский?!

Курчев повернулся и отошел от стола. Спор становился бесплодным. Сняв с гвоздика квитанцию, Курчев заплатил в кассе причитающиеся сверх двух червонцев три рубля за лишние минуты, забрал у гардеробщика свое желтое в клетку пальто и ушел, не попрощавшись с доцентом. Еще не смеркалось, но вблизи реки здорово похолодало.

"Все ему, - думал лейтенант. - А тебе - хрен... и так далее".

32

Первые дни Марьяне, хотя она спала в одной комнате с сестрой и вернувшейся из лагеря родственницей, было дома легко и уютно, как в старых любимых туфлях, которые давно считаешь ни на что не годными, но вдруг случайный сапожник подклеит подошвы и, не веря в свое счастье, ступаешь сначала с опаской, боясь, что немедля оторвется, но вроде держится, а ноге так плавно и вольно, что кажется - не идешь, а паришь или кружишься в вальсе. Проходит несколько дней, и ты уже привыкла и не думаешь о туфлях, и вот тогда-то отклеивается с носка и отрывается посередке. Начинаешь шаркать, забивается пыль внутрь, и уже не ходьба, а сплошное мучение. И горько, что так обманулась, и ругаешь себя старой дурой за то, что не отучилась обнадеживаться.

Так или примерно так было с родным домом. Родственница прожила всего два дня. Ее кое-как экипировали, собрали еды и денег и отправили в Ярославскую область. Но оказалось, что вдвоем в комнате куда тесней, чем втроем. Началась повседневка. А в повседневке сестра была капризна, требовательна и, хоть на язык не так остра, как Марьяна, но невозможно избалована на своих ролях младшей дочери. И Марьяна чувствовала себя в семье старой и стертой подметкой, которую уж никак не присобачишь к дому.

Стало обидно трястись по часу в день в набитых электричках ради весьма сомнительного ночлега, и уже в четверг Марьяна ночевала у переводчицы Кларки. Кларка ныла, жаловалась на одиночество и базедку, говорила, что умрет на операционном столе, но похоже было, что в следующую среду ее определенно положат. Так что надо было продержаться еще неделю, а там можно будет обосноваться в ее пустой комнатенке.

О муже все это время Марьяна почти не думала, вернее, думала, но только в том плане, что не должна предпринимать первых шагов. Рано или поздно он вернется, надо только выждать. Об аспирантке она начисто забыла, считая, что та все еще в доме отдыха.

Но в воскресенье, переночевав у другой подруги, картавой, элегантной Таньки Лапшиной, Марьяна в четверть часа была полностью введена в курс последних событий. Танька тотчас выложила Марьяне все о смерти и похоронах старухи Рысаковой и об участии в последних Сеничкина. Особенно пикантным был рассказ о том, как Бороздыка и Алеша сидели у трупа, а аспирантка где-то пропадала четвертую ночь подряд. (Игорь Александрович никогда даром не питался в гостях и по части передачи всяческих новостей не имел себе равных.) Даже мало запомнившийся Таньке технический лейтенант был присовокуплен к рассказу, потому что вчера, в субботу, протрезвевший Бороздыка, выводя на люди свою невесту Зарему, очень уж плясал на костях аспирантки и утверждал, что три ночи она подарила военному ведомству.

- Этот чудак офицей будто бы поучий квайтиу и обосновайся в Москве, пояснила Танька.

Все это было чрезвычайно любопытно и неожиданно, и в понедельник утром Марьяна при помощи несложных манипуляций с телефоном установила, что ее муж Сеничкин почти перебрался в Докучаев переулок. Без особого труда подавив в себе столь естественную жажду скандала, Марьяна заперлась в служебном кабинете и приступила к разбору ситуации. Предстояло ответить на несколько пунктов, как-то:

а) действительно ли жила аспирантка с Борькой;

б) как чувствует себя Алеша в чужой квартире, то есть: обиход, питание, быт (домработницы у Рысаковых не было, во всяком случае, в домовой книге не значилось. Впрочем, могла быть приходящая.);

в) как относится аспирантка к тому, что родители не знают о смерти тетки и, вернувшись, обнаружат вместо своего старого сокровища молодое и другого пола;

г) как относится к этой проблеме сам Алеша;

д) как у аспирантки с диссертацией и не собирается ли она плюнуть на научную карьеру и обзавестись ребенком.

(Последний пункт особенно беспокоил Марьяну и минутами ей казалось, что она сама упустила время подарить старшим Сеничкиным внука. Впрочем, она решила вернуться к этому вопросу потом. Если аспирантка не родит, то все обернется пошлейшим фарсом с простым перетаскиванием желтого портфеля и ее клетчатого чемодана.)

Были еще пункты, касающиеся самой аспирантки, ее выдержки, характера, требовательности, избалованности и снисходительности. Впрочем, в браке с Жоркой мадмуазель Рысакова проявила себя, как последняя школьница.

"Но что-то не похоже, чтобы она спала с Борькой, - все время возвращалась Марьяна почему-то к этому первому пункту. - Если с Борькой, то как Борька ее отпустил? И как он сейчас с Алешей? Обошлось без мордобоя? Ну, предположим, интеллигенты, комильфо и прочее. Но все равно разговор бы у них обязательно вышел. Нет, скорее всего не с Борькой, а с кем-то другим... Но с кем? С холостым мужчиной, имеющим комнату. Таких что-то не припомню. Или новый сюжет из подмосковного дома отдыха? Ну, а вдруг все-таки Борька. С Борькой они тогда вместе ушли. Борькин реферат ей понравился. Она повезла его Крапивникову и он стал ходить по рукам. Надо сказать дураку, чтоб отобрал и сжег, и кстати выяснить, была ли у него аспирантка".

И вечером в понедельник прямо с работы Марьяна явилась на Переяславку. Первую дверь в сени открыла маловыразительная соседка, а дверь в комнату была не прикрыта и оттуда доносилась английская песня "Гринфилдс". Лысый мужчина в синем лоснящемся пиджаке сидел у старого патефона и сосредоточенно помахивал рукой в такт грустным звукам песни.

- Привет, - сказала Марьяна, ставя чемодан на пол.

Мужчина повернул к ней показавшееся странно знакомым полууголовное лицо и нелепо разинул рот, будто тоже ее узнал.

"Ах, да. Ресторан ЦПКиО. И этот балбес еще хотел кружиться с Кларкой", - вспомнила Марьяна и усмехнулась:

- Что, опять в вихре вальса?

"И откуда он их выкапывает?" - подумал Гришка, робея и не решаясь помочь женщине раздеться. Но она, нисколько не теряясь, подошла к гардеробу, открыла дверцу, достала висящий на плечиках курчевский китель и напялила на него свою беличью шубку. Потом, нагнувшись, достала из шкафа две толстых, не замеченных раньше Новосельновым книжки, раскрыла одну и, что-то, видимо, прочтя, улыбнулась.

- Так-с, - прицокнула, - а ну, остановите патефон.

Все еще робея, Гришка приподнял мембрану. Женщина сняла тонкий диск, повернула его в руках, посмотрела через него на висячую лампу без абажура и снова улыбнулась.

- Где этот дурень Борька? - спросила с насмешливым презрением.

- В бильярдной... - превозмог себя Новосельнов и даже добавил: - А вам чего?

- Ничего. Просто интересно, в какой бильярдной? В той, что в парке под рестораном? Что ж вы его там оставили? Ведь обдерут идиота. Небось, еще выпили наверху? А?

- Да нет. Он с каким-то знакомым фраером. С братом, что ли, - ответил Гришка, все еще обескураженный дотошной

догадливостью этой красивой и, по-видимому, лихой шмары.

- А-эм-м, - процедила женщина. - А не измордуют друг друга? Киями глаза не выколют?

- Да нет... С чего бы, - хитро осклабился Гришка, но тут же захихикал, чувствуя, что шикарная фря в курсе Борькиной любовной неудачи.

- Значит, он утешается этим? - положила женщина тонкую пластинку на патефонный круг и накрыла мембраной. Снова потекла грустная мелодия, которая, видно, нисколько не трогала красивую шмару, потому что, вынув из сумки длинную красную коробку болгарских сигарет, она закурила и села напротив Гришки на застеленный синим одеялом матрас. Под ее взглядом пронзительные и непонятно-печальные слова английской песни уже не волновали пьяную Гришкину душу, и он даже обрадовался, когда иголка зашуршала о гладкую без бороздок поверхность рентгеновской пленки.

- Слушайте, а не могли бы вы на недельку вернуться к себе в Питер? вдруг сказала женщина и усмехнулась, будто заранее знала, что Гришка будет ошарашен вопросом. - Нет, правда, уезжайте, а то мы втроем тут не поместимся, - и она самодовольно пустила дымком, причем пепел все еще держался на ее длинной сигарете, хотя уже подошел к золотому мундштуку.

- Ну и бурда! - сказала она через часа полтора, когда Курчев внес из кухни большую кастрюлю и вылил остатки супа с костями ей в тарелку. Неужели ее тоже этим кормил?

Курчев покраснел и косо взглянул на Гришку. Но тот, и без того подавленный, горбился на своей раскладушке.

- Слушай, Марьянка, кончай свои психофокусы. А то я тебя тоже удивлю.

- Попробуй! А все-таки, Борька, чего она от тебя ушла? Померла тетка? Так, небось, весь ее девчачий век заедала? А что бурдой кормил - это я смеюсь. Я бы не такое ела, лишь бы мужчина кастрюлю приносил и вот так обихаживал. Не сердись. Суп в порядке да и я голодная, как их брат в лагере, - кивнула на Гришку, но тот ничего не ответил и только съежился на брезентовой койке.

- Чего к человеку пристала? - рассердился Борис, у которого после игры с непривычки мелькали в глазах бильярдные шары с крутящимися номерами, с голубыми венозными прожилками и красными или желтыми пятнами, а Лешка медленно, элегантно намеливал полированный с крученой черной полосой кий.

- Не каркай раньше времени. Он еще не сидел. - Курчев провел по глазам ладонью, словно отмахивался от бильярдных

наваждений.

- Бедненький, - покачала головой Марьяна, и было непонятно, кого жалела - Курчева, от которого ушла аспирантка, или Гришку, который еще не пробовал тюремной баланды.

- Я тебе ее не представил: следователь по особо важным делам...

- Мы встречались, - усмехнулась Марьяна. - В ресторане, в ресторане. Не бойся. У нас еще все впереди...

- Не каркай, а то и меня заметешь. Я к его дружку определяюсь.

- К тому, что в валенках?

- Вот чума на мою голову, - рассердился и одновременно рассмеялся Борис.

- Ладно, ладно. Сдаюсь, - замахала ложкой женщина. - Все очень просто. У второго, что сидел с ними, внешность несущественная. А валенки постоять за себя могут. В лагере ноги отморозил?

- Смотри, Марьяшка, поссоримся, - с неохотой пробурчал Курчев. - За такое мужикам рыло бьют.

- Цыпленок жареный, цыпленок лысенький! Да ты хоть кого-нибудь в жизни ударил? Небось, кружил вокруг бильярда, мечтал Лешке шаром в глаз запустить и ни разу не прицелился. Угадала? А уж насчет баб помолчал бы. Они сами от тебя уходят. А я вот пришла. Ну, выгони!..

- Слушай, Борис, я поеду, - набычившись, сказал Гришка и поднялся с зеленого брезента.

- Не обращай внимания. Она поет, сама не знает, чего...

- Нет, правда, поеду. Через полмесяца вернусь. А то груши околачиваю.

- Точно, - сказала Марьяна.

- Я не из-за нее... Все равно денег на обмен доставать надо...

33

Инга и Сеничкин сидели в теплой и дымной шашлычной на площади Ногина.

Лениво накалывая вилкой лобио, Алексей Васильевич думал, что еда вне дома из отдохновения превращается в повседневность и теряет свою исключительность. Аспирантка, по-видимому, серьезно проголодалась, потому что давно уже расправилась с салатником, не оставив в нем ни одной фасолины, и теперь жевала зачерствевший лаваш.

"Да, быт не налаживается, - вздохнул про себя доцент. - У них, вероятно, покойница готовила. А теперь все кувырком. Только каждый день в ресторанах не покормишься. Особенно с грудным ребенком, если, не дай Бог, появится..."

Ему не жаль было денег. Он просто смотрел фактам в глаза.

"Хотя предки вернутся, что-нибудь наладят", - тут же решил, не желая расстраиваться из-за таких пустяков, как пища, к которой он, как считал, относился равнодушно.

- Что они там, замерзли?! - вздохнул доцент.

В этой грязноватой прокуренной шашлычной было бесполезно качать права. Рыхлые бесцветные официантки больше вертелись вокруг провинциальных пьяниц, надеясь заработать на обсчете и разбавленном коньяке. А Сеничкин не заказал даже сухого вина.

Нет, он не жадничал. Просто с тех пор, как поселился у Инги, его постоянно занимала мысль купить ее портрет, написанный одним художником. (Тем самым, которого в гостях у Крапивникова встретил Курчев.) От того, что жизнь с аспиранткой складывалась не так, как предполагал, и их чувству требовалась высота и окрыленность, он постоянно думал об этом портрете, написанном еще год назад в пору ее медового месяца с Крапивниковым.

(Встретив Ингу у Георгия Ильича, художник тут же предложил ее писать, и Инга с неохотой, только чтобы поддержать бедствующего живописца, согласилась позировать. Это было чрезвычайно утомительно. Приходилось каждый день являться сначала к девяти, потом к половине девятого, а последние сеансы даже к восьми, и все время носить одно и то же. "Лучше бы согласилась на ню!" - не раз злилась во время сеанса Инга.

Портрет на импровизированном вернисаже, в холодной и светлой мастерской, знакомые друг с другом посетители отчаянно хвалили и, мешая принесенные с собой коньяк и водку, соревновались в высказывании наиболее тонких, взаимно исключающих соображений. Бороздыка, как всегда, надрывался больше других. Художник, казалось, слушал гостей вполуха и ласково подмигивал Инге, дескать, не робейте.

Она не робела, и портрет ей нравился, хотя никак не могла поверить, что эта сотворенная из масляных тюбиков женщина и есть она. Получалось примерно то же, что с недавно вошедшими в моду магнитофонами: говоришь в решетку мембраны и запись идет на твоих глазах. Кассеты крутятся, а голос получается не твой.

Крапивников тоже очень хвалил портрет, но почему-то о покупке не заикался.

Но вот в начале этого года доцент, побывав в мастерской, был приятно поражен, увидев копию своей возлюбленной. После отъезда Инги он снова назвался к художнику и тут уж твердо

решил, что купит портрет за три тысячи. Почему возникла такая сумма, Алексей Васильевич толком сказать бы не смог. Видимо, прения в семье насчет трех тысяч, обещанных отцом племяннику Борьке, прочно отложились в мозгу доцента и последние дни, невольно ревнуя и опасаясь, что лейтенант чего доброго сам купит на подаренные дядькой деньги это замечательное полотно, назначил такую цену.)

И вот теперь, в ожидании карского шашлыка, Алексей Васильевич думал о своей высокой любви, сублимированной в покупке произведения искусства. Дома у отца держать холст было невозможно. Не говоря уже о Марьяне, мамаша ни за что бы не позволила повесить на стену эту декадентскую формалистическую, абстрактную дрянь. А вот явиться примаком с портретом молодой жены - явно заманчиво. Что-то в этом воздушное и веселое, оригинальное и особенное. И Сеничкин, предвкушая эффект своего появления в Докучаевом с полотном под мышкой, без особого напряжения ждал перемены блюд:

- А я, грешный, даже думал, что у тебя с Борькой что-то было.

Свет в комнате был погашен. Гришка давно ушел и, должно быть, уже спал в скором ночном поезде. Курчев лежал на раскладушке и хотя знал, что Марьяна не спит, думал сейчас не о ней, а о соседке Степаниде. Марьяна погостит и уйдет, а со Степанидой ему, может быть, жить в этой хавире до самой смерти и не хотелось портить отношения с соседкой. Пока что она была с ним все такая же, только здоровалась чуть неприветливей, видимо, из-за гостя, хотя Гришка всю неделю к ней отчаянно подлизывался.

Теперь, лежа на новом, еще не продавленном, хорошо натянутом брезенте, Курчев радовался, что Степанида не столкнулась с Валькой-монтажницей и почти не видела Инги. Впрочем, может, соседка не столько ратовала за нравственность, сколько не любила шума и грязи.

- Почему не спишь? - с легким смешком спросила Марьяна.

- Да так... - вздрогнув, отозвался из своего угла, удивляясь, что почти забыл о ее существовании.

- Не расстраивайся. Она к тебе вернется.

- Да ну тебя!..

- Вернется. Я зря не скажу. И Лешка приползет ко мне. Все это так... игра в ручеек или кошки-мышки, испорченный телефон и тому подобное. Я детерминистка и не верю, что кто-нибудь от кого-нибудь убежит. Побалуются и назад... Вроде ваших самоволок.

"Интересный у нас разговор, - подумал Борис. - Марьянка под моим одеялом лежит, в трех шагах, а я чёрт-те о чем думаю".

- Что, не веришь? Думаешь, утешаюсь? Нет. Мне и сейчас неплохо. Не один у меня Лешка на свете.

- Знаю. Одного во всяком случае знаю. К.Р. Помнишь, музыка Чайковского на слова К.Р. Великий князь.

- Не улавливаю...

- Ну, Ращупкин. Мой командир полка.

- Что? Сам доложил?

- Нет. Свекруха твоя вычислила, - засмеялся Борис и тут же добавил: Не дрейфь. Шучу.

- Ольга нас однажды встретила, - отозвалась из-за шкафа Марьяна. - Но все равно это ничего не меняет: я умру на Лешкином диване, а Инга нарожает тебе кучу младенцев. И вообще хватит!.. Иди сюда, а то я себе шею сверну, не могу разговаривать, лежа к тебе затылком.

Курчев поднялся со своей раскладушки так просто, словно дело происходило днем и он был в полной форме и сапогах, а не в трусах и майке.

ЭПИЛОГ

1

- Я знаю, о чем ты думаешь, - сказала Марьяна на следующую ночь. Они курили, лежа рядом, сбрасывая пепел в поставленную лейтенанту на грудь консервную банку.

- Брось, Борька. Мне, конечно, приятно, но все-таки это полная чепуха. И прежде всего несерьезно.

- О чем ты?.. - не понял Курчев, потому что голова была полна путаных, вяло-ленивых мыслей.

- Будто не знаешь, - усмехнулась Марьяна. - Ты, Борька, прозрачный.

Теплый пепел ее сигареты упал на ключицу лейтенанта, но освобожденный красный огонек не смог осветить ее лица, которое казалось грустным.

- Не надо предлагать мне руку и сердце, - сказала резко, будто разговор об этом шел второй месяц. - Я тебе благодарна, но не надо. Все получится, как я говорила.

- Ну и ну, - вздохнул не слишком ошеломленный Курчев. Среди двух десятков мыслей, слонявшихся в его мозгу с леностью предоставленных самим себе солдат, действительно была и одна такая: а что, если впрямь жениться на Марьянке? Ночью ему с ней было хорошо и покойно. Но весь день он провалялся на этом матрасе, чувствуя, что куда-то проваливается. (Может быть, в то самое болото, к которому причислял лейтенанта Морева.)

Мысли были какие-то дохлые, недодуманные.

- Скажешь, не угадала? - спросила Марьяна.

- Угадала.

Ему не хотелось спорить. Лучше было так лежать, курить и вполголоса перебрасываться малозначащими словами.

- Не надо, Боренька. Мы очень близкие люди. Но все-таки это не то. Я люблю Лешку. Вернее, не люблю, но все лучшее, что было во мне, я положила на него и ничего у меня уже не осталось. Как бы тебе объяснить? Ну, предположим, на Западе или у нас до революции я копила-копила деньги и потом вложила их в какую-нибудь недвижимость, например, в землю, где нефть или золото. Вложила, приобрела участок, а никакого золота там нет. И вот я владелица того, что ни черта не стоит. Вернее, для других - ни черта не стоит. А для меня - это всё! Пусть золота или нефти там нет, но в этом участке вся моя жизнь. Гляжу на него и вижу, как жила, как копила-копила, как ото всего отказывалась и видела только эту землю, которая, надеялась, столько принесет!..

- Ну, уж ты отказывалась! - не удержался Курчев.

- А ты слушай и не перебивай. И не груби. Я с тобой как с понятливым говорю, - и тут же шутливо провела ладонью по его лицу, минуя горящую сигарету, а потом взяла его руку и уже провела по своему телу вниз от груди к ногам.

- Понимаешь, так всегда хорошо... И фокуса тут никакого нет. А вот чтобы так... - она подняла его руку и провела ею по своей голове, по коротким и гладким волосам... - это может раз, ну, два раза в жизнь хорошо бывает, а больше - нет. Понятно?

- Ага, - вдавил Курчев в консервную банку недокуренную сигарету и обнял женщину.

- Так что брось и не думай, - сказала она после, зевая и вытягиваясь во всю длину матраса. - А то я больше у тебя оставаться не буду.

Голос у нее был усталый и тусклый, словно они сейчас не любили друг друга, а досиживали где-то в долгих, поздних и скучных гостях.

Курчев снова не стал с ней спорить.

"Дружба в постели, - думал он. - Что ж, можно и дружбу..."

Он чувствовал, что в перерыве становится недопустимо равнодушным и только силой заставлял себя разговаривать ласково и просто.

- Хочешь, чтобы я не приходила? - спросила Марьяна.

- Нет, - ответил, сам не зная - врет или нет.

- Хочешь, чтобы она вернулась?

- Нет, - помотал головой, не отрываясь от подушки.

- Колешься. Бриться надо... Не волнуйся, вернется. А мне с тобой хорошо, и я тебя к ней не ревную.

"И с Ращупкиным тебе было хорошо..." - беззлобно подумал Курчев.

- ...А если бы ты выкинул из головы, что должен на мне жениться, вообще было бы отлично. А то томишься по мадмуазель Рысаковой, жениться хочешь на мне и костишь себя, что не звонишь Кларке. Ты ее тоже в жены звал?

- Нет.

- Не волнуйся. Все исполнится, как Марьяна Сергевна нагадала. Еще на свадьбе твоей погуляем. Подарим с Лешкой тебе чайный сервиз. А то стыд один - из жестянки пьешь.

- Брось!

- Женишься, друг, женишься. А если нет - полный идиот будешь. Законченный. Неужели не простишь?

- А что?.. Ничего не было...

- Мне хоть не ври. Я не меньше твоего на нее злюсь. Только она все равно не виновата. Понимаешь, втюрилась девчонка, и ничего не поделаешь. Это довести до конца надо. Как все равно у нас закрыть дело или в математике - тему. Любовь надо долюбить, а то сверлить, ныть будет. А так переспала и избавилась. И все. И тебе же, Борька, потом лучше будет. Разлюбит она Лешку. Вот увидишь.

- Это не мое дело.

- Ну и дурень. Значит, выгонишь ее. Так вот и будешь в этой конуре сидеть. Бриться бросишь. Станешь, как человек из подполья, подонок Достоевского. Под конец жизни напишешь воспоминания "Пятьдесят лет в углу". Да по мне самый последний потаскун лучше анахорета. Обозлишься хуже Бороздыки. Хотя тот уже женился. В свадебное путешествие на Север едет. Иконы воровать. Кстати, звонил сегодня мне в прокуратуру. Адрес твой спрашивал. Говорит, слышал от Лешки, что у тебя самая маленькая в Союзе пишущая машинка. Хочет одолжить для путевых впечатлений.

- Еще чего?.. - рассердился лейтенант, тотчас вспомнив, как один старшина-сверхсрочник из соседней батареи выпросил у него чемодан съездить в отпуск, а потом оказалось, что отбыл не в отпуск, а демобилизовался насовсем.

- Или, думаешь, вылезешь из угла? - продолжала Марьяна. - Днем будешь в шарашкиной мастерской вкалывать, а ночью свое писать? Не выйдет, парень. Из шарашкиного ателье выпрут или еще хуже - упекут. Да и не в одних финансах и неприятностях дело. Просто, жить в обществе...

- Знаю, знаю, - дернулся Курчев. - Не надо, а то поссоримся, - и он прижал ее голову к своему плечу, чтобы молчала.

Километра за полтора по прямой от курчевской комнатенки Инга и доцент тоже лежали рядом и не спали, хотя каждый старался убедить другого, что спит.

2

В среду Клара Викторовна легла в больницу и Марьяна к Курчеву не явилась. Целый день он слонялся, небритый, в тапках на босу ногу, пытался продолжать начатые в библиотеке заметки о Маяковском, но работа не клеилась. Он чувствовал, что безнадежно опускается и ему даже лень натянуть сапоги и сбегать напротив в продмаг за сигаретами, которые кончились еще до полудня.

В четверг он проснулся в четверть второго, перекипятил начавший скисать мясной бульон, поел без аппетита и с удивлением обнаружил, что не такой уж он отчаянный дымокур. В тусклом, засунутом за трубу над раковиной осколке он увидел свою четырехдневную щетину и остался весьма доволен. Небритость переходила в буроватую растительность и можно было заняться отращиванием бороды.

В пятницу Степанида, сжалившись над холостующим соседом, сварила ему суп и Курчев хлебал его до воскресенья. Чемодан Марьяны уже начал покрываться пылью, а она все не приходила. И Борис незаметно перестал о ней думать.

Хотя он целый день валялся на матрасе, мысли о женщинах его не посещали. Он в самом деле опускался. Любимая машинка, маленькая железная "малявка", и та не вызывала прежних восторженных чувств, и Курчев с радостью убрал ее в гардероб, уговаривая себя, будто прячет от Бороэдыки. Чтобы быть совсем честным, убрал туда же и Марьянин клетчатый чемодан, сунув его в один из своих кожаных.

Бороздыка явился воскресным утром. Карманы его пальто были заштопаны, а пола - подшита. И вообще Игорь Александрович, в отличие от Курчева, был как-то подчеркнуто отутюжен и подтянут.

- Обленились, млсдарь, - проговорил с добродушной снисходительностью и опустился на табурет, предварительно обмахнув его большим клетчатым, еще не засморканным платком. - Извините, что без приглашения. Вам Марьяна Сергевна не передавала моей просьбы?

- Я ее не видел, - надулся Курчев, забираясь с ногами на матрас.

- Полноте, млсдарь... Это секрет полишинеля.

Несмотря на то, что Игорь Александрович пришел просить об одолжении, не говорить гадости он не мог.

- Я заходил к Сеничкиным. Ольга Витальевна очень вами недовольна. Считает, что разрушаете семью. Не получили бы этой комнаты, Марьяна бы от них не ушла.

- Что еще просила передать Ольга Витальевна?

- Больше ничего. Мы едва знакомы. Но вообще-то в семье траур. Ваш онкль, по-видимому, не будет избран президентом известной ассоциации и, кажется, сбрасывается на низовку. Раньше так называлось.

- Возможно, - пробурчал Курчев.

- Вы что, порвали с ними?

- Нет, просто гриппую.

- Ну, что так? На дворе весна. Вы еще молоды - себя поперек и кровь с молоком, а хвораете. Встаньте. Сделайте зарядку. Окатите бренное тело ледяной водой. Стыдно опускаться, Борис Кузьмич. Мадмуазель Рысакова, поверьте мне, того не стоит.

"Выгнать его, что ли?.." - подумал Курчев.

- Не обижайтесь. Я дело говорю. Одно время я сам почти был увлечен...

- Да, я помню, - злясь на свою несдержанность, сказал Борис. - Мы с ней шли, а вы дрожали в переулке. Впрочем, мороз тогда был крепкий, - но тут же себя оборвал: - "Заткнись и не связывайся с ним. Мало, что опускаешься, еще распускаешься, как баба..."

- А вы ревнивый, - усмехнулся Бороздыка, но тут же вспомнив, что все-таки пришел за машинкой, которая ему позарез нужна, так как в выклянченном у секретарши Серафимы Львовны командировочном удостоверении указывалось, что писатель И. А. Бороздыка направляется в Карело-Финскую ССР для написания очерка о культурных памятниках русской старины. (Еще Стива Облонский считал, что охотник может быть одет в любое тряпье, но ягдташ и ружьишко должны быть у него самыми новенькими. То же и с писателями, полагал Игорь Александрович. Тем более, что командированный, именуемый писателем, ехал с молодой женой.)

- Должен вас утешить, - сказал Бороздыка. - У вашего кузена с интересующей вас особой что-то...

- Это меня не касается, - оборвал Борис, которому страшно хотелось узнать, что же у кузена с Ингой, но чтобы Бороздыка выложил это как бы случайно. "А машинки я ему точно не дам", - подумал про себя.

- У вас ко мне дело или так, сотрясение воздуха? - спросил, насупившись. - А то я бороду отпускаю и вид у меня не гостеприимный.

- Я заметил. И все-таки вы зря так расстроились. Она вас не стоит.

- Если вам охота говорить о женщинах, то я не в форме.

- Зря. А то я бы вам много интересного поведал. Известная особа...

- Я уже вам сказал!..

- Хорошо. Как хотите. Пожаловал я к вам в виду вашей исключительной, как говорил мне ваш кузен, тайп-райтер.

- Авторучка, что ли? - надеясь выиграть хотя бы минуту, глупо спросил Курчев. Он с самого начала знал, что откроет дверцу шкафа и вытащит оттуда малявку.

"Слизняк, - ругнул себя. - Да этот тип ничем не лучше Зубихина. Особисту отказал, а этому не можешь. Слизняк! Вот он, страх перед общественным мнением. На общество плюешь, а мнения боишься".

- Ах, пишушую машинку... - не дожидаясь разъяснений Бороздыки, покраснел и тут же вытащил свое сокровище. - Пожалуйста. Открывается вот так, - он нажал сбоку рычажок замка. - Все очень просто.

- Мне недели на две, - с важной небрежностью протянул Бороздыка.

- Все равно, - отмахнулся Курчев.

Ему действительно было все равно, как вдовцу, у которого спрашивают, какой брать гроб, - с кистями или без. Он уже простился с машинкой, как полторы недели назад с аспиранткой, и сейчас хотел только одного, чтобы Бороздыка поскорее убрался из его комнаты и не лапал при нем "малявку".

"Сукин сын, - крыл себя. - Сукин-сволочь-рас... Клизма интеллигентная. Почему не пошел в Докучаев и не дрался за нее? В бильярд сражался!.. Тьфу... А теперь этого идиота боишься и сам ему машинку суешь..."

- Знаете, Бороздыка. Если у вас больше нету дела, катитесь отсюда к едрене бабушке, - сказал, вовсе не надеясь, что Игорь Александрович обидится, хлопнет дверью и оставит машинку на столе. Просто дико устал от его присутствия.

- Однако вы позволяете... - приподнялся Игорь Александрович и уронил машинку себе на колени. - Ох, - скривился. - Кажется, цела, - поднял ее на стол и закрыл прямоугольным футляром. - Нельзя так распускаться, Борис Кузьмич. А то меня заражаете. А я вам еще пригожусь. С аспирантурой решили?

- Ничего не решил. Никакой аспирантуры... Идите, ради Бога. Голова у меня болит.

- Я прощаю вам ваши выпады, - поднялся Бороздыка. - Вы сами о них пожалеете. Но я их не слышал. До скорого, - махнул своей новенькой светло-серой в полоску кепкой и вышел из комнаты.

Через минуту Курчев был готов вот так, в нижней рубахе, в бриджах и босиком, бежать за Бороздыкой по Переяславке. Он кинулся к окну и, отколов верхнюю кнопку, неловко оборвал

кусок газеты, но ничего уже не увидел, кроме отходившего от остановки троллейбуса. Долго и занудно ругаясь и в конце концов успокоясь, он, по старой армейской привычке, разгладил пальцами обрывок газеты, но, вспомнив, что давно уже не вертит козьих ножек, просто прочел на обрывке:

"Экономико-статистический институт. Защита диссертации".

Дальше было оторвано, но еще можно было разглядеть: "производительности труда" и "кандидата экономических наук".

Придав символическое значение этому пустяшному газетному объявлению, Курчев на другой день, наконец побрившись, поехал в этот институт, который был неподалеку от его педагогического общежития. Отвыкнув за четыре года от штатских учебных заведений, он в своем уже не таком шикарном венгерском костюме толкался по коридорам, набитым в основном девчонками, и чувствовал себя непонятно кем - ни студент, ни аспирант, ни преподаватель, а так - не разбери-пойми...

"В библиотеках лучше", - думал, не слишком заглядываясь на студенток.

Защита диссертации шла в большой, почти пустой аудитории: Курчев насчитал восемнадцать человек, включая членов комиссии. К концу защиты в зале вряд ли осталась половина.

Ученый секретарь - молодая девчонка со стертым лицом и взбитыми крашеными кудельками - звучным голосом прочла анкету соискательницы. Семнадцатого года рождения, член партии с 1947 года. Дальше шел перечень мест работы. Нигде соискательница не задерживалась больше двух лет.

Затем вышла она сама. Хотя ей было всего тридцать семь лет, выглядела она на полсотни. Рот сверкал золотыми зубами, а тело просто-таки рвалось наружу из черной юбки и белой импортной кофточки. Шла она к кафедре не с большей охотой, чем камчадал к доске, а на кафедре стала тянуть кота за хвост. Слова еле выталкивались из ее широкого и дряблого рта. Слово "ну" она употребляла чаще всех других слов и фамилий.

"Господи, - думал Курчев. - Да будь я завучем, я бы ее в девятом классе на второй год засадил. А тут - она защитится и, глядишь, еще помрет академиком".

- Было проведено обследование двадцати шести предприятий ткацкой промышленности и выведено заключение, что рост производительности труда зависит... - тут диссертантка поплелась к развешанным на коричневых досках таблицам и стала тыкать в них указкой.

"Да это туфта, - думал Курчев. - Она умножает часовую выработку на восемь, потом на двадцать пять, потом на

одиннадцать с половиной, так у нее получается годовая, а потом все делит в обратном порядке и опять получается среднечасовая".

"Не злись, ты ведь в этом ничего не понимаешь", - тут же оборвал себя, потому что диссертантка действительно перешла к малопонятным выкладкам, набитым индексами. Но общие ее выводы были по-прежнему бессмысленны. Увеличение числа работающих не вело к увеличению производительности труда. В то же время сокращение числа работающих также не увеличивало производительность.

Никто из сидевших в зале не слушал. Несколько женщин переписывали что-то из подшитых папок в толстые клеенчатые тетради. Трое очкастых членов комиссии довольно громко переговаривались и даже посмеивались, но, видимо, не над соискательницей, а над чем-то своим, не имеющим никакого отношения к защите. Или они ничего не понимали в теме, или тема их не интересовала, но они даже не пытались убедить диссертантку в обратном, а она, нещадно путаясь в цифрах, отчаявшись перебороть их смешки, продолжала тянуть свои нудные, ничего не объясняющие объяснения.

Следом за ней выползла на кафедру ее научная руководительница, седая раскоряченная калека с лицом и голосом школьной учительницы. В диссертации она тоже не слишком разобралась и упирала не на научное значение, а на практическое ее применение и на обширность материала. Затем довольно долго пересказывала содержание каждой из трех глав, то есть повторяла диссертантку, но делала это куда бойче, не путалась в цифрах (она вообще их не приводила) и не "нукала".

Выступившие следом двое оппонентов сказали, что в общем работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и привели, не слишком напирая на них, с десяток огрехов, которые (оппоненты специально это оговаривали!) ни в коем случае и нисколько не снижают ценности данной работы.

Затем был объявлен перерыв и, проголодавшись, Курчев спустился в подвал, в студенческую столовую.

Кормили тут неважно, хотя он нарочно заказал самые дорогие блюда.

"Нет, с аспирантурой всё, - решил твердо. - Позор и дерьмо, хотя пройдет единогласно".

Он взял еще бутылку пива, выпил безо всякой охоты и, забрав в раздевалке пальто, поехал домой.

Марьяна ждала его в кухне, куда ее впустила Степанида.

3

Сеничкин жил у Инги вторую неделю и они еще ни разу не

поссорились. Но и он и она чувствовали, что как раз из-за отсутствия размолвок между ними растет какой-то забор невысказанных обид и с каждым днем все труднее через него переговариваться. Поэтому, встречаясь вечером в Иностранке, они спешили в кафе и оттуда домой в постель.

На широком родительском диване им было хорошо, особенно если сразу после близости удавалось уснуть. Теперь, на второй неделе этого странного полубрака, Инга уже не желала ребенка. Теперь она думала о диссертации и о неминуемом возвращении родителей. Работа, вернее вторая ее глава, как-то неожиданно сдвинулась с места, потому что Инга начала писать не о суете и тщеславии героев, а об их разъединенности и глухоте, о некоммуникабельности, как любил говорить ее первый муж Крапивников. Роман Теккерея был достаточно великим романом, чтобы отвечать и такому взгляду, и Инга, упиваясь своей незадавшейся любовью, писала главу почти как дневник.

"А что? Так и надо, - успокаивала себя. - Без личной причастности ничего не выйдет. Холодных исследователей и без меня хватает".

С печальным удивлением она перечитывала написанные торопливым почерком страницы и каждый раз жалела, что не может их показать чудаку-лейтенанту. И еще ей было жаль, что его письмо о "Ярмарке тщеславия" осталось почти нерасшифрованным. Первые дни было не до письма, а потом не до лейтенанта. Теперь, будь у лейтенанта телефон, она бы ему, возможно, и позвонила, а так вот вдруг после всего прийти с просьбой прочесть эти двадцать с лишним страниц, посвященных человеческой разъединенности, было бы подлостью. И обещания написать Курчеву она не выполнила, потому что глупо переписываться с человеком, живущим за шесть кварталов.

Но диссертация занимала только часть души. Оставшееся место прочно оккупировал страх перед приближающимся приездом родителей. В субботу утром пришла телеграмма: "Беспокоимся молчанием звонили многократно", и Инга, встретив доставщицу на лестнице, не особенно раздумывая, по дороге отправила ответную депешу: "Телефон выключали ошибке будто неуплату целую Инга". Но уже через четверть часа, спускаясь по эскалатору, она глубоко раскаивалась в посланной телеграмме и, вместо того, чтобы ехать по радиальной линии до Дзержинской, села на кольцевую до Курской и, выскочив на поверхность, купила в предварительной кассе билет на понедельник.

- Я взяла на послезавтра, - сказала она вечером Сеничкину. Понимаешь, нельзя приехать к ним день в день...

Они и раньше говорили об Ингином отъезде, но как-то

неопределенно. И, хотя новость была для доцента неожиданной, он тут же смирился, решив: "Что ж, так, наверно, лучше: нельзя жить под дамокловым мечом. Пусть приедут, тогда разберемся..."

- Когда поезд? - спросил поспешно, потому что ему показалось, что он слишком долго оформлял про себя это решение.

- В час с минутами.

- Жалко, не успею, - виновато улыбнулся. - Как раз лекция.

- Ничего. Я ведь на неделю и потом чемодан легкий. А ты тут живи.

Сеничкин ответил что-то неопределенное в том смысле, что совсем неважно, где он будет ее ждать.

"Конечно, неважно, - подумала Инга. - Ему все неважно. Он принес и он унесет свой портфель. Даже такси брать необязательно".

Ночью она долго лежала с закрытыми глазами, притворяясь спящей и чувствуя, что он тоже не спит. Ей хотелось, чтобы быстрей наступил понедельник и она бы уже сидела в плацкартном вагоне.

В воскресенье утром они встали не выспавшись и Алексей Васильевич неожиданно объявил, что ему надо к отцу в больницу. Он забыл, что раньше обмолвился Инге, мол, в Кремлевку пускают с двух. И она не стала уличать его во лжи, понимая, что ему сейчас так же, как ей, не по себе. Для него она тоже уже не здесь, а в спешащем на Кавказ поезде.

- Хорошо. А я пока соберусь, - сказала, тоже забыв, что вчера вечером говорила, что почти ничего с собой не возьмет.

Но когда за Алексеем Васильевичем хлопнула дверь, Инга тотчас влезла на стул, сняла со шкафа старый небольшой фибровый чемодан и начала набивать его вещами.

Было начало двенадцатого и она, вырвав из тетради лист, написала:

"Алеша!

Они только что звонили, и я попытаюсь переменить билет на сегодня. Целую. Инга".

Большего выдавить она не смогла.

Через четверть часа, когда с не таким уж легким чемоданом Инга быстро шла по Спасской к остановке троллейбуса, вдруг из параллельного Докучаеву Скорняжного переулка вынырнула на Спасскую странно знакомая фигура с небольшим железным ящиком в правой руке.

- Ига, - крикнула женщина, узнав сначала курчевскую машинку, а потом Бороздыку.

Тот обернулся, являя собой важность и относительное

благополучие, поскольку карман был пристрочен и пуговицы на двубортном пальто пришиты, хотя и в один ряд.

- Тоже отбываете? - спросил Бороздыка. - А где наш доцент?

- В Кремлевку поехал. А вы за иконами? Зачем же лейтенанта ограбили? кивнула на железный ящичек. - Вы же печатать не умеете.

- Ничего. В поезде научусь.

- Знаете, Ига, верните Борису машинку. Вы непременно ее сломаете или где-нибудь забудете. А то чего доброго презентуете кому-нибудь.

- Ну вот еще. Не каркайте. У нас по части угадайки Марьяна Сергевна. Или соревнуетесь?

- Ига! Честное слово, верните, - не обращая внимания на выпад, сказала Инга и, поставив чемодан на мокрый тротуар, протянула руку к железному ящику.

- Ну, ну... бросьте, - отвел Бороздыка руку с ящиком за спину. Лейтенант хамить себе позволил, словно в казарме. Нет и нет, - попятился от аспирантки.

- Ну, хотите, вот в лужу плюхнусь, - чуть не со слезами говорила, представляя, как не хотелось Борису отдавать Бороздыке машинку. - Ну, хотите... ну, что хотите для вас сделаю.

- Спасибо. Теперь уже нет необходимости, - схамил Бороздыка, но тут же, испугавшись, перебежал на другую сторону улицы и заспешил к себе домой.

"Сволочь! Сволочь!" - хотелось ей крикнуть во все горло вслед Иге, который, убегая, небрежно размахивал пишущей машинкой, словно это был пустой бидон из-под керосина.

- Негодяй, - сказала довольно громко и тут же подняла руку, потому что с Садового в Спасскую свернуло свободное такси. Водитель, развернувшись, довез ее до площади Курского вокзала, где ей в кассе без всяких отговорок обменяли билет и, сунув чемодан под нижнюю полку, Инга еще долго ходила по перрону, отчаянно сожалея, что нельзя позвонить лейтенанту. Может быть, тогда он пошел бы к Бороздыке и силой отнял машинку.

И оттого, что ей неловко стало перед Борисом, она все время до отхода поезда сочиняла в уме письмо, которое собиралась написать ему из Кисловодска.

О встрече с отцом и матерью она пока старалась не думать.

- Послезавтра Кларку режут, а она, бедняга, плачет. Просила шмутки принести. Сбежать хочет, - сказала Марьяна. - Уверяет, что сон видела, будто помрет. Не жалко ее?

- Жалко, - пробурчал Курчев. Они снова курили в темноте.

- Ничего тебе не жалко. Ведь сбежал тогда, а? Телеграммку отстукал, а сам - дёру. Все вы такие, - беззлобно вздохнула

Марьяна. - Но и мы не лучше. В больницу хоть придешь?

- Приду.

- И в больницу не придешь. Побоишься, чтоб чего-нибудь Кларка не подумала. Не бойся. Я ей сказала, что у тебя роман с мадмуазель аспиранткой.

- Хватит...

- Не хватит, а только начинается... Мадмуазель вчера укатила в Кисловодск.

- Врешь!

- Ладно, не пыжься. Я не ревную. Давно пора по Екклезиасту все вернуть на круги свои. Ты женишься на мадмуазели, я рожу Лешке пащенка, а Кларке взрежут шею и она увидит алмазное небо.

- У тебя просто...

- Просто не просто, а пора остепениваться!..

- Бедный Ращупкин!..

- Не хами, - толкнула его локтем. - Поссоримся. А я тебе, ох, еще как пригожусь!.. В шарашкино ателье поступишь?

- Наверно. А может, и нет. Погляжу.

- Глядеть нечего. Надо сразу поворачиваться, туда или сюда. Я тут думала о тебе. В конце концов, не обязательно идти куда-то служить. Можно и черной работой кормиться, вроде Бороздыки. Кстати, взял у тебя машинку?

- Ага.

- Ну и балда! Придется новую покупать, а второй такой не достанешь. Так вот, можно и на черной халтуре жить. Жорка Крапивников подкинет и еще в другом месте, и в третье влезешь. Парень ты не ленивый. Платят там, понятно, жиденько, но как-нибудь обернешься, а остальное время будешь писать свое. Это тот же "угол" Достоевского, то же подполье, но сверху облегаленное. Литературный работник и все такое... Только за, скажем, восемь сотен вкалывать придется, как другому за восемь тыщ. И сил, конечно, на свое не так чтобы много останется. Но ты парень могутный. Авось, кровью харкать не скоро начнешь и чего-нибудь для себя успеешь. Жутко жалко тебя, Борька! Но без таких идиотов, может, еще хуже...

- Не знаю, - смутился Курчев неожиданностью последней фразы.

Поднявшись на другой день в девятом часу, Борис никак не мог поверить, что своими руками отдал позавчера Бороздыке машинку. Марьяна еще не просыпалась, но соседка была на дежурстве и он мог бы прекрасно устроиться в кухне за своим столом. Жажда деятельности прямо-таки распирала лейтенанта. Расхристанный, как Чапаев, в бриджах, в нижней рубахе и тапках

на босу ногу, он слонялся по коридору и кухне, нетерпеливо ожидая ухода Марьяны.

Ночной разговор разбередил Бориса не из-за одного сообщения об Ингином отъезде. Инга была далеко не только географически. Она была далеко в нем самом. Он так глубоко ее запрятал, словно она была куском динамита или адской машиной, и он даже боялся думать о ней. Он думал о себе.

Марьяна вечно попадала в самое яблочко.

- За все надо платить - за любовь, за семью, за детей, если родятся. Да еще втридорога, - сказала вчера. - А тебе, Борька, вообще не знаю во сколько раз дороже!..

- Но она все равно к тебе вернется, а ты зарыться хочешь в этой конуре. Ты вообще не хочешь жить в наше время. Потому и простить не хочешь? Верно?

Да, она угадала. Ему действительно не хотелось бы жить в этом куске времени и в этой местности, хотя вообще-то жить хотелось. Ни разу с тех пор, как узнал, что Инга сошлась с его кузеном, он не подумал о самоубийстве. Армия начисто отучила от подобных глупостей. Если ходишь "через день на ремень" с заряженным коротким автоматом ППС, который только чуть длиннее пистолета и который ничего не стоит, перевернув, уткнуть в левую сторону груди, всякие мечты о смерти становятся бессмысленными. В институте Курчев порой грешил ими, в армии - никогда.

И сейчас, бродя по пустой квартире, Борис думал о высоком широкоплечем и лысом художнике, которого встретил у Крапивникова. Как тому удается устраиваться в этом веке и сводить начала и концы?

Телефона у художника не было, но был телефон у картавящей женщины Татьяны и, топчась по коридору и кухне, Курчев сердился на невестку, что та все еще спит, а вот так, в затрапезе, не выскочишь к телефонной будке.

Теперь ему жутко, прямо-таки вынь да положь, хотелось увидеть художника, хотя накануне о нем не вспоминал. Почему-то этот незнакомый, занимающийся совсем иным ремеслом человек вдруг представился обладающим высшей и последней истиной.

- Художник, пожалуй, ничего. Очень хороший художник, - сказала о нем Инга. С Марьяной говорить о живописце не хотелось. Марьяна все знала и обо всем догадывалась. А это было обидно и утомительно.

В наружную дверь постучали. Стук был негромкий, но властный и веселый, словно человек точно знал, что ему откроют, обрадуются и впустят. Так стучат почтальоны, принося денежные

переводы, но Курчеву никто не собирался присылать денег.

- Уж не Лешка ли? - с неудовольствием и некоторой растерянностью подумал Борис. Но это оказался Ращупкин.

- Здравия желаю, товарищ подполковник, - шепотом сказал бывший лейтенант, отступая в глубь коридора и загораживая собой дверь в комнату. Извините, у меня... - он помялся, ища слова, и наконец нашел, - знакомая...

Подполковник, одиноко высясь в низком и темном коридоре, еще только соображал, что ответить, как вдруг, будто нарочно, распахнулась дверь и из-за спины Курчева в наброшенной поверх ночной рубашки шинели, с полотенцем в руке лениво вышла в коридор Марьяна.

- Салют, - только чуть-чуть, на одно мгновение, смешавшись, кивнула подполковнику, даже не запахивая шинели, прошла между двумя офицерами в кухню и прикрыла кухонную дверь. Дескать, разбирайтесь сами, а мне некогда.

"Сделать, что ли, из него котлету?" - поглядел Ращупкин на побагровевшего лейтенанта, но лишь козырнул, пробурчав:

- Виноват! - неловко согнувшись и все-таки чуть не задев своей роскошной фуражкой сенную притолоку, вылез из квартиры.

"Выходное, как пить дать, срежет, - подумал Курчев. - И чёрт с ним", тут же махнул рукой, хотя денег оставалось самые пустяки, меньше полутора сотен. Был вторник, тридцатое марта, и надо было тянуть до десятого числа, конца отпуска. Оставалась, правда, надежда на возвращение Гришки. Надеяться же на обещанные министром три тысячи рублей - было глупо.

- Влопался? - спросила Марьяна, возвращаясь из кухни.

- Да что он мне теперь?! Я уже - тю-тю, - присвистнул Борис, распрощавшись с выходным пособием и годом выплаты за лейтенантское звание. - Тебе вот как?

- А мне что? Покочевряжится и, как миленький, приползет. Вопрос только, захочу ли? А гадить тебе не будет. Понимает, что тогда со мной конец. Примет пару бутылок и отойдет. Не расстраивайся.

Она ошиблась только в одном. Ращупкин пить не стал. Злобно матерясь, он влез на заднее сидение "Победы" и велел везти себя на окраину к Затирухину. Самые подлые мысли крутились в его голове, но то, что он сделал, даже отдаленно не пахло подлостью. Он попросил Затирухина не мурыжить с курчевскими документами и тотчас переслать в полк.

- Глаза б мои на него не глядели, - сказал начальнику отдела кадров.

- Так чего либерализм разводишь? Лиши выходного и привет.

Натворил чего?

- Да ну его, пачкаться... - нахмурился Ращупкин, но в душе он отчаянно жалел, что командует полком, а не всего двумя шкафами в бункере "овощехранилища" и не может свести счеты с этим зазнавшимся лысеющим, чёрт-те чего о себе навоображавшим историком. Но все-таки он представил, как входит в курчевскую хибару, сбрасывает шинель и гоняет лейтенанта из угла в угол, опечатывая несчетно свои кулаки на его широкой скептической харе, пока скепсис не расплывается в сплошное красное пятно и сам лейтенант, сплевывая желтые зубы, не начинает выть, как роженица.

4

Дом был каменный, но уж очень неказистый, изрядно запущенный и, очевидно, плохо отапливаемый. Поднимаясь на второй этаж по холодной сырой с подтеками лестнице, Курчев увидел на полумарше уборную с умывальником. Свет в ней забыли погасить и дверь не притворили.

"Еще хуже, чем у меня, - подумал, вспоминая, как стыдился аспирантки за непрезентабельность своего жилья. - У меня хоть топят, а тут впору шубу надевать".

Он уже второй день искал жилище художника. Женщина Татьяна, которой дозвониться было труднее, чем в железнодорожную справочную, адрес знала весьма приблизительно, а телефона у живописца не было.

Дверь открыл художник и вид у него был несколько встревоженный и затравленный, словно он занимался чем-то недозволенным, а Курчев был по крайней мере фининспектором.

- Извините, - сказал Борис. - Вы меня не помните? У Крапивникова я тогда был в армейском.

- Ах да, - провел художник рукой по большому лысому черепу, но от дверей не отодвинулся.

- У вас телефона нет. А Татьяна дала неточный адрес. Я давно вас искал... - быстро и потому нечетко залепетал Борис. - Я пойду. Только скажите, когда прийти можно... - потупился, стесняясь художника и стесняясь того, что ему говорил.

- Да нет. Заходите. Я уже закругляюсь, - оттолкнул живописец дверь, и Борис вошел в темную кухоньку с зажженной газовой двухконфорочной плитой, а через нее попал в холодную, но очень светлую комнату, две стены которой были сплошь из небольших стекол, связанных тонкими деревянными рамами, отчего комната смахивала на оранжерею. - Не раздевайтесь. Здесь далеко не Сахара, - сказал хозяин, поворачивая к стене большую деревянную штуковину, которая, Борис вспомнил, называлась мольбертом. На ней что-то желтело посреди белого холста, но

Курчев еще не успел вздеть очки. - Так что же привело вас в мои палестины? - спросил хозяин, произведя перестановку. Картинки поглядеть пришли? Вы с усами и в штатском на шпика походите. Вам бы еще гороховое пальто...

- Спасибо, - усмехнулся Борис. В понедельник, собираясь на защиту диссертации, он, бреясь, сдуру оставил усы.

- Если дадите бритву, пожалуй, сбрею, - попробовал польстить хозяину.

- Это, пожалуйста, в парикмахерской. Так что, картинки выставить? - и не дождавшись ответа, художник вышел в кухоньку и принес в два приема четыре картины, которые развесил на одной из внутренних стен.

- Вот, глядите. А я тут доуберусь. - Он стал поднимать с пола измазанные краской газеты и складывать в большой цинковый бак.

Курчев вздел очки, сел на табурет, потому что тот стоял ближе к нему, чем стул, и уставился на холсты. На всех четырех были написаны не люди, а какие-то странные предметы. На одном - желтые шары на желтом столе. На втором была изображена какая-то стеклянная глыба и тут же ее небольшие осколки. Весь холст был серо-зелено-голубого цвета и непонятно было, как на серо-зелено-голубом различимо серо-зелено-голубое. Но и глыба и кусочки были видны очень четко и были, несмотря на свою загадочность, очень вещны. Третий холст был похож на второй, только на нем глыба была справа, а осколки (их уже было не четыре, а шесть) - слева. Да и холст был чуть шире.

Но больше всего Курчеву понравилась четвертая картина. Она была странной формы, узкая и длинная - причем высота ее не составляла и одной пятой длины. На гладкой поверхности были поставлены, наподобие городков, грязно-серо-желтые цилиндрики, кубики и шары. Они шли от левого края картины к правому, причем можно было линейкой проверять - нигде не нарушалась дистанция. И все они - их было двенадцать штук - были, казалось, одного цвета и шли в одной последовательности - цилиндр, кубик, шар, цилиндр, кубик, шар.

- Повеситься охота, - повернулся Курчев к хозяину, который уже кончил собирать газеты, накрыл бак крышкой и сел сверху.

- Вы думаете?

- Вижу, - ответил Борис. - Это очень здорово, если я хоть что-то понимаю.

Лейтенант встал с табурета, нагнулся (картина висела почти у пола) и, чуть не уткнувшись носом в холст, разглядел, что каждый из предметов написан чуть иначе. То, что издали казалось одинаковым, на самом деле было далеко не таким.

Например, на втором цилиндре были тонкие красные прожилки, на первом кубе синее пятно - да и вообще вблизи было скрытое буйство красок, хотя с двух метров картина являла собой что-то вроде загробного помещения и унылого однообразия ада.

"Вроде нашего бункера, когда останешься в нем один", - подумал Борис.

- Можно, я расскажу вам про нее? - спросил вслух.

- Не надо. Я вижу, вы поняли, - усмехнулся художник.

- Правда, очень здорово. Я и верил, что здорово будет. Только не думал, что так. Но ведь этого никогда не выставят.

- Как дело пойдет-повернется. Вообще-то тут ничего нет. Ведь я с них рисовал, - он подошел к подоконнику, нагнулся, открыл что-то вроде кухонного шкафа и показал Курчеву все двенадцать цилиндриков, кубов и шаров, уныло стоящих на фанерной полке.

- Нет, не то, - покачал головой Борис, на которого оригиналы никакого впечатления не произвели.

- Это не они.

- Они. Я искал точности. Вот сюда я их ставил, - кивнул хозяин на стоявшую под другим подоконником длинную узкую лавку, - и отсюда, - он показал на место, где стоял перед приходом Курчева мольберт, - писал.

- Да, я понимаю, - на мгновение смутился Борис, не зная, валяет ли художник ваньку или говорит всерьез. - Но все равно важно, кто писал, а не с какого места. Вы только такое пишете?

- Только. Никто позировать не может. У меня с нервами швах и я должен работать строго в одно время. А натура вечно опаздывает. Я уже год людей не пишу. Вот последняя.

Он вышел в кухоньку и принес оттуда подрамник высотой с метр и шириной сантиметров в семьдесят и, когда перевернул его и повесил выше всех картин, Курчев увидел Ингу в знакомых ему свитере и юбке. Она сидела на стуле и печально глядела прямо на Бориса.

- Я не знал... - выдохнул он и тут же осекся, подумав, а не жил ли художник с аспиранткой.

- Чего? - спросил хозяин.

- Да нет. Ничего... - справился с собой Борис. - Ну и намерзлась, наверно, она у вас!

- Да, было, - усмехнулся художник. - Правда, писал я ее в апреле. Хотел ню, а она ни в какую. Ну вот, такую пришлось... Муж хотел купить портрет, потом раздумал. Теперь она, кажется, второй раз замуж выходит и второй супруг купил. К свадьбе, наверно. Деньги принес, а холст еще не забрал. Да что я?! Это ведь брат ваш. Так ведь?!

- Ага, - покраснел Курчев, - двоюродный.

- Неплохой экземпляр, хотя немного странный. Пришел позавчера. Принес три тысячи и спрашивает, могу ли продать эту девчонку. Я бы ее и за две отдал. Утеплять студию надо.

- Ну, это вы продешевили! - сказал Борис. - Три тысячи - гроши за такое!..

Хотя у него в кармане было всего сто рублей одной бумажкой и на три тысячи ращупкинских он надеялся не больше, чем на три тысячи сеничкинских, ему было зверски обидно, что Лешка увел у него не только женщину, но и ее портрет.

- Может, и гроши, - кивнул художник. - Но ведь цены нет. Выставком у меня ничего не берет. Ее глядели, тоже не взяли. Мерзлячка какая-то, говорят. Меня не балуют в МОСХе.

- А вы бы хотели?

- Конечно. Надоело сидеть взаперти.

- А вы себе цены без них на знаете? На чёрта вам начальство?

- Может быть, знаю, а может, нет. День на день не приходится. Анахоретом жить трудно... Надо, чтобы глядели, ругали, пусть, но видели, что ты делаешь. А те, что таскаются сюда и хвалят, тем цена невелика. Раз уж пришли, то непременно хвалить будут. Хотя бы из вежливости.

- Вы просто не в настроении, - начал волноваться Курчев. - Вы же художник. Я ни черта не смыслю в живописи, но, по мне, вы - замечательный художник. Да и на чёрта вам всеобщая ругань или всеобщее одобрение? Да будь я живописцем, я бы Бога благодарил. Чего лучше? Сиди себе в углу и рисуй, и плюй на все.

- Ну, а вы сочиняйте рефераты.

- Не то. Ключевский писал, что если мы не знаем последствий каких-либо преобразований, то мы не можем делать их предметом исторического изучения. А меня, как на зло, интересует только современность. Собачий характер. Сам хочу сидеть в погребе, но писать о том, что творится на поверхности. Противоречие?

- Нет, не особенно, - с интересом поглядел на него художник. - В погребе? Это вы ничего сказали. Холодно только. И одиноко. Значит, зарыться решились?

- Что-то вроде. Если духу хватит. Я потому к вам и пришел, поглядеть, как это получается. Но художникам легче. Они при вечности. А меня сегодняшнее мучает. Но все равно не думал, что так здорово, - он снова повернулся к холстам. - Я, знаете, обклеил две недели назад комнату нарочно потолочными обоями. Надеялся, вдруг придете и чего-нибудь нарисуете... А теперь вижу...

- Не в том дело, - улыбнулся хозяин. - Я бы с великим удовольствием. Только не могу. Не умею.

- Как? - не понял Курчев.

- Да так. Не умею - и все. Если б умел, у меня бы мастерская была, а не льдина-холодина.

- И спичечного коробка нарисовать не можете?

- Нет.

- А как же эти? - кивнул Борис на нижний холст.

- Эти могу. Эти вижу. У меня глаз другой. Простите, устал... Мне идти надо, - вдруг разволновался хозяин.

Борис встал с табурета, подождал, пока художник снимет со стен и уберет в кухоньку работы, и вышел вместе с ним на улицу. Ингиного портрета он, как следует, не рассмотрел. Разговора не вышло и все, как прежде, предстояло решать самому.

5

Василий Митрофанович не лежал в больнице, как сказал Инге доцент. Вернее, в больнице он лежал, но к воскресенью был уже (правда, временно) выписан и отправлен на поправку под Москву в один из самых шикарных закрытых санаториев. Наверху еще не решили, увольнять ли В. М. Сеничкина по чистой на пенсию или переводить на другую, менее почетную должность. И оттого, что не поступило высшего указания, в "Кремлевке" врачи никак не могли определить степень болезни Василия Митрофановича. Давление у него поднималось, но не катастрофически. С таким давлением можно руководить и руководить, но спускаться вниз с такими показателями было обидно.

Для себя Василий Митрофанович твердо решил уходить по чистой. Он не то чтобы устал. Просто ему все зверски надоело. Надоело дрожать и волноваться, надоело выискивать лазейки и давить на связи, надоело, наконец, надеяться. Да и домашние дела надоели. Жена считала, что пенсия Васю погубит. Дочка фордыбачила, считая, что уволенный министр не пробьет ее в институт. Один Алешка, занятый своими семейными неурядицами, сочувствовал отцу, но из его сочувствия, как всегда, шубы сшить не удавалось. И, слоняясь по санаторному парку, Василий Митрофанович чувствовал себя одиноким и заброшенным.

А между тем грело солнце, выбивалась на клумбах редкая зеленая травка, и как раз время было рыхлить в саду землю, а чуть позже вскапывать огород под огурцы и картофель. Бродя по аллеям, Сеничкин-старший переживал, что его зря тут держат, что самые золотые дни уходят зря. Дали бы пенсию и прогнали, и он бы тут же уехал на Оку, отремонтировал материнский дом, покрасил бы лодку. Но, поворачивая к главному корпусу, он вдруг с ожесточением вспоминал, что материнский дом давно продан, что дача у него казенная и, если его сейчас, до мая, выпрут, то

летом семье придется торчать в Москве или снимать за большие деньги комнату с террасой у частников. Он не говорил об этом с Ольгой Витальевной, но знал, она надеется, что проволынят до лета. Она молится об этом, потому что Надьке после тяжелой для нее зимы (а проще говоря - аборта) и в предвиденье полутора десятков экзаменов - на аттестат зрелости и в институт - просто необходимо в последний раз воспользоваться совминовскими благами.

- Надо, необходимо... - ворчал Василий Митрофанович. - Всем надо, а мне за всех отдувайся... - И он снова злился на жену, что продала дом на Оке. Сейчас бы скинуть с ног эти теплые ботинки "прощай, молодость", переобуться в сапоги, а еще лучше - спуститься с крыльца босым и осторожно пощупать ногой, греется ли земля!

"Устал или постарел сильно, - думал он. - Постарел, наверно, а то бы домой так не тянуло".

И оттого, что дома, того самого, пятистенного, с надстроенной мансардой серпуховского дома не было, разбирала тоска и злоба, и никак не хотелось возвращаться в Москву, в свою четырехкомнатную квартиру, которую, он знал, за ним оставят до самой смерти.

В эти дни безделья, в перерыве между забиванием "козла", он все чаще вспоминал племянника.

Читать Василию Митрофановичу не хотелось. Газеты он проглядывал кое-как, больше для отвода глаз, потому что то, что в них писалось, его уже не интересовало. В гостиную к телевизору он тоже являлся редко. Отдыхающие его раздражали, и вовсе не потому, что он был крепче и здоровее многих. Нет, были поздоровее его. Просто он чувствовал, что знакомые, да и многие незнакомые (узнавшие о нем от его знакомых) смотрят на него как на человека в их среде и в этом санатории - временного. Отдохнет - и больше глаз мозолить не будет. Даже медицинский и обслуживающий персонал начал позволять себе в отношении Василия Митрофановича некоторую, правда едва заметную, небрежность - и это тоже раздражало, хотя Сеничкин старался не подавать виду.

- Матери скажи, чтоб три тысячи привезла, - сказал он Лешке в последнее мартовское воскресенье.

Но пришла среда, и Ольга Витальевна не появлялась, а в субботу она заехала прямо из школы и денег у нее с собой, понятно, не было. Но она твердо обещала привезти на неделе. На неделе она опять не приехала, и вот в четверг вечером Василий Митрофанович позвонил к себе в Управление и попросил прислать завтра к полудню шофера и с ним свою зарплату.

Оставалась неделя до выплатного дня, и поэтому Василий Митрофанович попросил свою секретаршу передать главбуху, что, если в кассе всех денег нет, пусть пришлет хотя бы три тысячи:

- Или, ладно. Я сам на минуту загляну.

9-го апреля был день рождения Курчева. Он снова зарос щетиной, которая уже догнала не сбритые усы, и утром, поглядев в осколок зеркала, засунутого за водопроводную трубу, он очень себе не понравился.

Степанида пришла с дежурства, но он, уже не обращая на нее внимания, бродил в ставшем для него привычным чапаевском затрапезе (тапки на босу ногу, нижняя рубашка и бриджи), натыкался на все двери и выступы, старчески шаркал по неровному выщербленному линолеуму кухни.

Всю неделю сидя на супе и хлебе, лишая себя кино и выпивки, он думал о себе как никогда серьезно, но ничего подходящего не приходило в голову.

- Краска. Искусство. Живопись... - бормотал, валясь на матрас. Искусство не переделывает жизни. Во всяком случае, не обязано. А если и переделывает, то само не марается. Картина от того, что она висит в Третьяковской галерее или лежит в темной кладовке, не становится ни хуже, ни лучше. Да, искусству торопиться некуда. А вот мне... - вздыхал он и сплевывал прямо на пол.

От тоненьких дешевых коротких сигарет (он снова начал курить) пробирал кашель.

- Художник сидит себе и мажет, или писатель сидит себе и пишет, и дела им нету до подлости, карьеризма и вообще всего... Пишут себе и свободны. А мне как? В аспирантуру - дерьмо, не в аспирантуру, скажем, к абрикосочнику, опять - дерьмо. Компромисс - не в аспирантуру и не к абрикосочнику, а так, ни то, ни се, кормиться при редакциях черной работой и писать для лучшего времени? Но при лучшем времени на чёрта это все нужно? А сегодня кому покажешь? Лешке? Зачем оно ему? Марьяне? Так она и без меня все это знает. Инге?.. - но об Инге ему разговаривать даже с самим собой не хотелось.

- Да и как-то нехорошо своим показывать, а чужим нет. Вроде ты, как Господь Бог или кто там еще, Ной кажется, делишь всех на чистых и нечистых. И выходит, что если хочешь печататься, то напихивай туда такого, во что не веришь, но что им, которые печатают, необходимо. А не печататься - опять несправедливость, потому что начинаешь делить людей на тех, кому доверяешь, а кому - нет. А как иначе? Ведь пропала половина "фурштадтского солдата" и еще неясно - на сортир извели или Зубихину оттащили. Или я просто перетрусил и оттого сон приснился?

- Нет, все безнравственно, - переворачивался на тахте, находя

оправдание ничегонеделанью, грязному полу, немытому телу и давно не стиранному белью. - Любое действие безнравственно, а нравственно только... - тут он не находил слова, потому что был еще слишком молод и не хотел думать о смерти. Его интересовала жизнь, а она явно не ладилась.

- Если хочешь сделать что-нибудь толковое, то надо вымазаться. Если хочешь подмешать другим сделать что-то подлое, то тоже надо вымазаться. Чтобы мешать, надо сотрудничать, то есть делать вид, что ты им помогаешь, что им свой. А чтобы протолкнуть что-то хорошее, тоже надо делать вид, что ты опять же ихний и что именно для их же пользы стараешься.

А если ты не ихний и не хочешь даже казаться ихним, то твое дело швах. Или вот сиди и торчи в углу, пока тебя не накроют.

- Что ж, я согласен на угол, - рассуждал в пятницу утром, в день своего рождения. - Но хотя бы для начала приберемся в углу, - тут же пошутил и поставил на огонь большую кастрюлю с водой. - Чистый пол никому не мешает.

Денег оставалось ровно червонец и, протирая хозяйственным мылом прогнившие половицы, он вспомнил, что придется потратиться на баню. Завтра к восьми утра ему нужно быть в полку на разводе. А там никому дела нет до твоего раздрызга. Если документы не пришли, то изволь ать-два и на объект. Впрочем, он надеялся, что в бункер его уже не пошлют и пропуск, который он сдал в штабе, не возобновят. Неделей дольше, неделей короче - с армией все!

Но от того, что он там не был целый месяц, он чувствовал, что развинтился и теперь уже каждая минута, проведенная в полку, покажется годом и, не дай Бог, если этих годов наберется с перебором. Расслабленные за штатский месяц нервы не выдержат и можешь отколоть какой-нибудь номер почище стрельбы в воздух, и тогда уж наверняка что-то случится...

Он окатил холодной водой натертый мылом пол и потащил воду к дверям. Пена быстро чернела и мытье небольшой комнаты отняло больше часа. Не вытирая досок насухо, он сполоснул подошвы и руки и влез в ставшее уже непривычным армейское. Сапоги за три недели от неноски и нечистки вовсе скукожились, и Курчев решил заняться ими по возвращении из бани.

На дворе с ним столкнулась разносчица с телеграфа и протянула заклеенный белый квадрат телеграммы и короткий бланк. Он проставил время, расписался и смущенно отвернулся от женщины. У него не было для нее рубля.

Курчев боялся, что телеграмма от аспирантки, знавшей его день рождения, но она была из Ленинграда: "Приеду десятого

утром Новосельнов".

Солнце жарило вовсю. Лейтенант, обливаясь потом, еле добрел до Банного проезда.

После парной и душа как-то неловко было мелочиться и, выпив кружку пива и вспомнив, что дома лезвия кончились, он зашел в парикмахерскую, и поэтому на обратную дорогу в полк у него денег осталось только на поезд. На автобусе он бы уже не добрался, потому что билет там стоил на два рубля дороже.

Но войдя в подворотню, лейтенант вздрогнул, обрадовался: дворик почти весь - занял черный длинный и сверкающий, как концертный рояль, лимузин "ЗИС-110".

- У тебя, небось, шаром... - сказал министр, входя с лейтенантом в комнату и, не раздевшись, водрузил на стол бутылку армянского коньяка.

- Да... Отпуск кончился. Я уже уезжать собрался.

- Ничего, подкину.

- Так далеко ведь...

- На колесах всюду близко. Я еще, - вздохнул, - на колесах. Что ж, открывай. Выпьем за тебя! Число твое помню, а сколько стукнуло - забыл. Четвертак тебе?

- Двадцать шесть.

- Ну, все равно не вечность. Я тебе денег привез. Вот, посчитай. Три, как обещал.

- Да не надо... - зарделся Курчев, не столько обрадовавшись деньгам, сколько застыдившись своего недоверия.

- Чего там - не надо?! Не подарок. Твои. Дом-то тютюкнули!.. Жалко.

- Ага, - кивнул племянник.

- Ну, тебе-то не очень... Ты вон устроился, - сказал дядька, наконец стаскивая пальто и оглядывая комнату. - Бедновато, но жить можно, - открыл он шкаф, и Борис вспомнил, что Марьянин клетчатый чемодан, слава Богу, засунут в его желтый кожаный.

- Жить можно, - повторил дядька. - Молодой, еще всего накупишь. А вот мне уже податься некуда.

- Да ну?

- Некуда. Некуда и не спорь. И устал я в Москве. Был бы дом, сразу бы на пенсию и с тобой айда рыбу ловить. Ты жениться не собираешься?

- Нет.

- И правильно. Вот бы и приехал ко мне, если бы дом был.

- А вы новый купите. И вот эти в него... - подтолкнул Курчев по клеенке пачку купюр, сам удивляясь, как легко отказывается от этих свалившихся с неба двадцатипятирублевок.

- Нет. Купить не то... А эти спрячь, - отвернулся дядька,

словно не был вполне уверен, что удержится и не возьмет денег назад.

- Хорошо, - кивнул Борис и сунул деньги в полевую сумку.

- Вот, узнаёте? - спросил, вытаскивая из шкафа большую чашку.

- Как же, Кузькина, - усмехнулся министр. - Не любил он меня. За что не знаю. А теперь не спросишь.

- Угу, - кивнул племянник. - А может, любил, и вам показалось.

- Может, - согласился высокий родственник, думая о чем-то своем. - Что ж, так без всего дуть будем? Сбегай напротив, печенья хоть возьми.

- Разом, - выдохнул Борис, но, выскочив в коридор, вспомнил, что денег всего четыре рубля.

- Вон, письмо вам, - выползла из сеней Степанида.

За месяц, что он тут жил, она так ни разу и не назвала его ни Борисом, ни Борисом Кузьмичом, а все - вы, вас, вам.

- Печенья не осталось, Степанида Климовна? - спросил соседку.

- Сушки только.

- Сушки пойдут, дядь Вась? - крикнул в открытую дверь своей конюшни.

- Давай.

- Вот, - протянула соседка глубокую фаянсовую миску с отбитым голубым ободком, полную поджаренных, обваленных в маке маленьких баранок.

- Письмо, - повторила, - возьмите.

И тут, машинально глянув на конверт, Курчев узнал Ингину руку.

- Ты чего, пить или читать собрался? - выглянул в коридор Василий Митрофанович. - Серьезное, что ли?

- Да нет. Так... - застыдился племянник и, внеся миску с сушками, положил ненадорванный конверт на край стола, адресом вниз.

- Да что, читай. Я подожду. Хотя вот разлито, - кивнул на две кружки жестяную и глиняную. Племянник поднял жестяную и чокнулся с родственником.

- Ну, расти веселый, - обнял его дядька и Борис, расчувствовавшись, с пьяным мальчишечьим форсом сунул письмо в полевую сумку - дескать, кто мне сейчас роднее и важнее вас, дядя Вася, и не буду какие-то послания читать-отвлекаться!..

Сначала попеременно, а потом, ближе к донышку бутылки, перебивая друг друга, племянник и дядька стали предаваться

сентиментальным воспоминаниям, и дядька все чаще шмалял племянника по затылку и тот в конце концов по-дурацки, чуть не плача, обнял его.

- Хороший ты парень, Борька, - тоже почти прослезился министр. Только деньги зря не спускай. И эти прибери, - кивнул на полевую сумку и тут же сам встал и аккуратно, с уважением, словно это было именное оружие, повесил сумку в шкаф.

"Так мне же с ней в часть ехать", - хотел сказать племянник, но в подпитии постеснялся.

- Торопишься? - улыбнулся дядька. - Ну и правильно. Служба прежде всего. Тебе к которому?

- Все равно. Главное, чтобы завтра к разводу.

- Дорога хорошая?

- Асфальт сплошь.

- Ну и не тушуйся, - по-отечески надел на него шинель, перетянул ремнем и вытолкнул в коридор.

- Чего я жалел всегда, Борька, - сказал он, стоя за спиной лейтенанта, который навешивал на дверь замок, - это, что ты мне только племяш. Понимаешь?

- Угу, - кивнул лейтенант, соображая, что родственник пьян не меньше его самого.

Ключ от замка, незаметно от дядькиных глаз, он пристроил на дверной притолоке.

6

- А все-таки удобно, - думал Борис, растянувшись на заднем сидении ЗИСа. Дядьку они уже завезли. Шофер, очевидно мало обрадованный свалившимся на него заданием, что-то ворчал себе под нос, но Курчев, не прислушиваясь, думал о своем, вминаясь в серые подушки казенного лимузина.

Быстро темнело. Время приближалось к восьми, но еще не поздно было сказать шоферу, чтобы развернулся и погнал в Москву. Шофер бы только обрадовался, а Курчев заскочил бы домой и взял бы из сумки Ингино письмо.

Но ему неловко было перед дядькой, потому что шофер наверняка бы стукнул. Минут двадцать назад у проходной санатория дядька сказал водителю:

- Завтра, Вадим Михалыч, подавай к часу. Лекций у Алешки вроде нет и Марьяна, говорила, освободится...

Дядька сказал это небрежно, но Борис чувствовал, что за этой небрежностью сквозило желание доказать и племяннику, и шоферу, что дома полный порядок.

"Склеилось у вас, и чудесно! - подумал о Сеничкиных-младших. - А у Инги, значит, расклеилось, и потому письмо шлет."

"В углу-то в углу, а на ЗИСе катишься, - вернулся Курчев к самоанализу. - Тогда уж пешком ходи! Два года армии от тебя было пользы, как сгущенки от козла. А тугриков перебрал сколько? А? - грыз себя. - Охота писать в стол? Пиши. Но обществу твое писание без разницы, раз оно его не прочтет."

За окнами машины стало совсем темно, и шофер то и дело переключал фары с ближнего света на дальний, пока они не выехали на отводное шоссе, на котором до самого "овощехранилища" им не встретилось ни одной машины.

- Спасибо. Дальше нельзя, - сказал Курчев и козырнул водителю.

Под зачарованным взглядом солдата роты охраны ЗИС, развернувшись рядом со шлагбаумом, с воем помчался в Москву, а Курчев пролез под полосатой перекладиной и снова очутился в полку, толком еще не зная, кто он теперь офицер или демобилизованный.

На слабо белевшей под тусклой луной бетонке мысли охватывали невеселые, и от того, что военный городок приближался с каждым шагом, на душе становилось холодней и безрадостней.

- Отвык, распустился... - бормотал Курчев.

Меньше всего хотелось сейчас столкнуться нос к носу с Ращупкиным. Да и особист был не сахар.

Вспомнив, что сапоги у него так и остались невычищенными, Курчев спустился в балку, надеясь, что там еще не подсохло. Свежая грязь на обуви всегда выглядит приличнее старой. Но в балке было сухо и тропинка была вполне утоптана.

- Здравия желаю, товарищ лейтенант, - раздался низкий знакомый голос.

Дневальный Черенков, отодвинув известные всему полку доски, сидел на нижнем бревне забора и рядом с ним приткнулась та самая девка, что приходила из ближайшей деревни стирать офицерам и убирать в их домике и однажды вытащила из кителей Курчева и Секачева по полусотенной.

- Черт, напугал, - сказал Борис. - Иди отсюда, а то хватятся.

- Да нет... У нас третий день подъем в пять и без мертвого отдыха. Так что давно давят.

- Все равно иди. Я тебя тут не видел, - раздайнул локтями, будто это были доски, девчонку и дневального и влез к себе во двор.

- Порядочки, - вздохнул, подходя к крыльцу и чувствуя, что встреча с разгильдяем-истопником, который два месяца назад отучивал от бабы почтальона Гордеева, а теперь сам тискает девку в ближней самоволке, несколько примиряет с

действительностью.

Он оглянулся. Дневальный снова запахнул в свой стеганый бушлат девчонку. Фонарь над этой частью забора не горел. Весь городок выглядел как-то сонно, почти нигде не было света. В окне парторга Волкова было темно, а у Секачёва с Моревым чуть светилось. Видимо, свет горел в проходной комнате.

- Смотри, не запылился! - засмеялся Морев, едва Борис открыл дверь. Сходу вписывайся. Мы только начали.

За столом, кроме Морева, сидели Секачёв и Павлов и молча скидывали карты. Залетаев спал и второй летчик-связист, вернувшийся из отпуска, тоже спал, с отвычки к электричеству накрывшись с головой.

- Вписывайся, - сказал Федька.

- Если только до утра. А то спать не на чем, - пошутил Курчев, оглядывая две пустые койки без матрасов - свою и Гришки Новосельнова.

- Пехота в отпуске, - сказал Секачёв, имея в виду парторга. - Так что, вписывать?

- Четыре рубля всего, - усмехнулся Курчев, бросая на свою пустую кровать шинель и шапку.

- Поверю, - насупился Секачёв. - Вон кепор продашь, а то мой сперли.

- А я в чем?

- Лысым будешь, - засмеялся Морев.

- Тише нельзя? - буркнул из угла Залетаев, приподнял голову, но, увидев Курчева, тут же повернулся к стене.

- Женился? - кивнул в сторону летчика Борис.

- Да нет. Совсем присох, - улыбнулся Павлов.

- Я про Зинку спрашиваю, - сказал Борис.

- Ничего, обкрутит, - проворчал Секачёв.

Батя им уже комнату обещал. Забродин в госпиталь лег. Освободилась.

- Что, не женился?

- Кто?

- Кто, кто? Инженер, - рассердился Курчев.

- На Карпенке? Так ведь ты же на ней!

- Я?

- Говорили - ты. Она как взяла у летчика адрес, так сюда не возвращалась. Даже шматье какое-то оставила.

- Иди врать...

- Значит, перевелась просто на другой объект. Жалко. Девчонка ничего была.

- Я тебе, историк, на полку двести впишу, - зевнул Морев, - как раз среднее. Идет?

- Нам татарам, одна муть, - придвинул Борис табурет к столу. Он все еще не оправился от известия о Вальке-монтажнице.

- Сдавай, коммунист, - пододвинул Морев колоду Павлову.

- Сдай на мизер, чтоб больше трех не ловилось, - сказал Борис.

- Ну да! Разве Федя-большевик когда сдаст, - вздохнул Секачёв.

- Чего они тебя так окрестили? - спросил Курчев покрасневшего Павлова.

- Скажи, не зажимай, - подмигнул Морев.

- Да хватит вам, - отмахнулся Федька.

- В партию подал, - напуская важности, пробасил Секачёв.

- Врешь!

- Чего врать? Мы все со смеху чуть в штаны не наложили, а Колпиков ничего - принял. Покажи, чума, кандидатскую корочку.

- Правда, покажи, - попросил Курчев, все еще надеясь, что его разыгрывают.

- В сейфе, - мотнул головой Павлов. - Ну что, мизериться будешь? уткнулся в распущенные веером курчевские карты.

- Да нет, - Курчев сразу потерял интерес к игре.

Через полтора часа, почти все время пропасовав, он выиграл восемнадцать рублей и, притащив из волховской комнатенки его матрас и подушку без наволочки, скинул сапоги и накрылся шинелью.

- Спишь? - спросил в темноте Федька.

- Ага, - машинально ответил Борис, думая, как завтра встретит его Ращупкин.

- Батя тут чехвостил тебя.

- А тебя? - усмехнулся Борис.

- Меня - нет, меня теперь не укусишь.

- Ну, это как взяться. Ты пить бросил? - спросил младшего лейтенанта.

- Пить - нет, - засмеялся тот, но тут же посерьезнел: - Без корочки офецеру нельзя. Все равно, когда подавать, сейчас или через год. Уж если решил, так лучше сразу... А то ты отсюда выскочил, а мне что - пропадать?..

- За что Журавль ругал? - спросил Борис.

- А так... За все сразу. Трус, говорит. В воздух стрелял, а потом сразу дёру. Говорит, дня лишнего здесь не потерплю. Документы готовы. Как приедет, пусть к начфину идет и все.

7

Утром Борис на развод не вышел. Сидел на койке и меланхолически разглядывал свои сапоги. Волхов уехал в отпуск и чистить обувь было нечем.

Заметив, что пуговица на левом погоне шинели оторвалась, он сорвал погон, а для симметрии и второй. В мятом кителе и бриджах, в невычищенных сапогах спустился к штабу. Никто навстречу не попадался.

Круглолицый начфин сидел в своей комнатенке с каким-то незнакомым мордатым младшим лейтенантом.

- Вот он, - кивнул начфин на Бориса. - С него возьмешь и как раз будет. А ты, Курчев, сдавай удостоверение, бери справку и вот три косых. По вчера рассчитал. За "молчи-молчи" выходное не положено.

Курчев выложил удостоверение личности, взял справку, которая до получения паспорта оставалась его единственным документом, расписался на отдельном листе ведомости и пересчитал купюры. Все были пятидесятками и здорово оттопырили карман.

- Куда кладешь? - усмехнулся начфин. - А ему?

Курчев понял, что мордатый младший лейтенант - это присланный в часть новый комсорг.

- У меня все плачено, - сказал и вынул из нагрудного кармана билет. Ему жаль было разменивать новые купюры.

- За март уплачено,- поглядел комсорг в свою новенькую ведомость,- а за апрель - нет.

- А сколько?

- Полтора процента, - усмехнулся начфин.

- Фью, - присвистнул Курчев. - Не пойдет. Апрель только начался. В Москве заплачу. Да и с выходного не положено.

- Положено со всего, - помрачнел комсорг.

- А мне двадцать шесть стукнуло...

- Что? Продлеваться не будете?

- Нет, - покачал головой Курчев и положил билет на стол.

- Ох и жмот, - восторженно засмеялся начфин, но Курчев не ответил и вышел.

В штабном коридоре, недалеко от тумбочки посыльного, заложив руки в карманы галифе, стоял, будто нарочно ожидая лейтенанта, капитан Зубихин.

- Здравия желаю, - сказал Борис.

- Привет. Освободился?

- Ага.

- Ну, тогда пошли. Чего-то тебе покажу, - взял Бориса под руку. Специально для тебя приехал.

- Еще чего? - вырвал Курчев руку. Ему казалось, что его арестовывают.

- Да не дрожи. Или совесть нечиста?

- В чем дело?

- Ни в чем. Хотел тебе кой-чего показать. А то уедешь и не узнаешь. Пойдем, жалеть не будешь.

- Некогда. Паспорт получать надо.

- Пошли, пошли. Все равно сегодня не успеешь.

- У тебя что - ордер на меня? - не выдержал Борис.

- Дурак, - сплюнул Зубихин. - С тобой же, как с человеком...

Они стояли на плацу и Курчеву казалось, что полк во все глаза глядит на них из окон.

- Надо, чтобы каждый человек разделил тетрадную страницу... медленно, словно трогал с места тяжелый состав, проговорил Зубихин, и Курчев побледнел, вздрогнул и припомнил сон про Сталина.

- Ну, чего стоишь? Пойдем отдам, - снова взял его под руку особист.

За пищеблоком, в тесной и темноватой (оттого, что с зимы не мыли окна) комнатенке Зубихин отпер сейф и протянул Борису несколько страниц довольно четкого третьего экземпляра.

- Сожги, дурак, и не пиши больше.

- Кто дал? - не выдержал лейтенант.

- Много будешь знать - загремишь... - пододвинул к краю стола консервную жестянку особист. - Пальцы не пали, - поднес он зажженную спичку к несчастному сочинению о фурштадтце.

- Садись, - кивнул на табурет. Сам сел на койку и, запустив руку куда-то к стене, вытащил початую бутылку московской.

- Не закусывать умеешь?

- Ага.

- Ну, тогда на. Стакан у меня, понимаешь, один.

"Конечно, кто же с тобой, кроме меня, пить будет!" - подумал Борис. Ваше здоровье, - взял и опрокинул налитое.

Особист кивнул, взял у него стакан и вылил себе все, что оставалось в бутылке.

- Думаешь, я зверь, да? - спросил, поморщась. - Нет, не зверь. Я почти два курса архитектурного кончил. Если б не война, я, может, дома бы строил. Думаешь, заливаю? - уставился на него Зубихин. - Нет, кончил. Не веришь?

- Ну, и зря, - сказал через минуту. - Ты мягкий. Из тебя чего хошь лепи. Был бы ты моим младшим братом, наставил бы тебе фонарей, чтоб больше не чиркал такого... - кивнул на догоравшие в консервной коробке страницы реферата. - И те тоже сожги. А то на гражданке ребята мышей ловить любят. Понял?

- Ага...

Курчев чувствовал себя оплеванным с головы до ног.

- А вообще голова у тебя соображает, - вытащил особист пачку "Беломора" и прикурил от импровизированной пепельницы.

- А раз соображает, то не пиши. В тряпочку молчи, а то попухнешь. В аспирантуру не взяли?

- Нет.

- Ну и отлично. Сунься куда-нибудь на завод. На сдельной больше любого кандидата наук вышибешь. И еще, говорю тебе, как человеку, женись. Вон хоть на той чернявенькой, Вальке, что ли? Или уже?

- Нет.

- Я думал - уже. Она инженеру кирпич повесила.

- Говорят, - выдохнул Борис.

- А будто не знаешь...

- Нет, - помотал головой.

- Ну, как хочешь. Я к тебе по-человечески. Я бы сам такой был, если б не война, - теперь уже вздохнул Зубихин.

Борису показалось, что особист слегка пьян, и ему даже стало жаль этого одинокого в полку человека. Комнатенка его была не то чтобы грязная, но еще какая-то безнадежно запущенная, будто никто из солдат не хотел здесь убирать, а если и убирали (в армии согласия-то не требуется!), то, кое-как смахнув пыль, пулей вылетали отсюда. Стол, тумбочка, табурет, стул, койка, застеленная суконным одеялом - все было тут самое обыкновенное, чисто армейское, и все-таки комнатенка походила не на дежурку, а скорее напоминала офицерскую гауптвахту. Будто Зубихин

был арестован и ему сюда втихаря доставляли спиртное.

- Да, война, - вздохнул капитан. - Ты ведь не нюхал?

- Не нюхал, - согласился Курчев. Ему не терпелось выскочить из этой тусклой камеры.

- Да не сиди как на гвоздях, - поморщился Зубихин. - Я говорю, мы воевали, а чего получилось? Я вон сколько в окопах мерз! С третьего дня на фронте. А чего вышло? Капитан только. А Ращупкин с бабами воевал, а скоро папаху нацепит.

- Сейчас весна, - сказал Борис.

- Ничего - дадут и в солнцепек носить будет. Ему сейчас куда больше светит, чем на войне. А мне на фронте, Курчев, лучше было. Не веришь?

- Нет, почему...

- Мне хорошо было. По мне бы - век не кончалась!..

"Ну да, - подумал Борис. - Небось, землянку тебе оборудовали и резался с утра до ночи в карты, с перерывами на допросы. Все мечтали, чтоб быстрей немцев разбить и по домам, а ты - нет."

- А песню "Играй, мой баян" пели? - вдруг спросил Зубихина.

- Какую? - вздрогнул тот, будто проснулся. - Причем это?

- Да нет, просто так вспомнил, - сказал Борис, уже жалея, что

задал идиотский вопрос. - Просто там слова "О доме родном, о времени том, когда мы вернемся домой...".

- Не знаю, я не поющий, - перекатывая желваки, скривился капитан. - На войне все понятно было. Кто хорошо воюет, а кто сачкует. А теперь разбери-пойми. Ращупкин козырем ходит, а офицер он дерьмовый. Больше насчет баб. А ты, дурак, ключи ему даешь.

"Знает или на пушку берет? - покраснел Борис. - Неужели Ишков тоже постукивает?"

- Ну, чего краснеешь? Хлипкий ты, Курчев. Все насквозь в тебе видно. Даже говорить с тобой неинтересно. Ну, что у него за баба?

- Не знаю. Я ее не видел.

- Ладно. Ты мне это брось... "Нет, Сережка не стучит, - обрадовался за Ращупкина. - Стучал бы - чего было спрашивать?"

- Я ее в глаза не видел. Ращупкин довез меня до квартиры и все...

- Ладно, - повторил Зубихин.

"Наверно, кто-то видел, как я грузился с матрасом на бетонке, - решил Курчев. - А Ишков тут ни при чем."

- Ну, что ж. Везунец ты, лейтенант. На гражданке только не влопайся.

- С чего мне?

- Да вроде не с чего: пистолета в воздух пулять не будет. А ведь Ращупкина ты тоже не любишь?

- Он мне не баба, - нахмурился Борис, соображая, не догадался ли ко всему Зубихин, что у них с командиром полка общая женщина.

Но тот вдруг брезгливо поморщился и, не поднимаясь с койки, протянул руку лейтенанту:

- Ладно, бывай! - И Борис, сколько возможно не спеша, вылетел из этой тусклой, похожей на тюремную камеру, комнатенки.

8

В поезде Инга письма лейтенанту так и не написала, а по приезде первые дни ушли на утешение родителей. Врать было мучительно, а Татьяна Федоровна без конца допытывалась, как все было. Отец молчал, но Инга чувствовала, как напряженно вбирает он каждое ее слово, и она отчаянно, даже взвинчивая себя, почти непрерывно рыдала, уповая на одни слезы.

Она знала, что виновата по крайней мере в трех вещах: не застала тетку в живых, не вызвала отца и мать и схоронила покойную в крематории. Но крематорий и невызов родителей были последним желанием Вавы. И Полина всегда бы это

подтвердила, и даже Бороздыка (при всей своей радостности) не посмел бы этого отрицать. А то, что она не поспела к теткиной смерти - это был несчастный случай.

Но все-таки, пока все трое несколько успокоились, прошло дня четыре, и Инга не собралась написать Курчеву. Она помнила, что ему 9-го апреля исполняется двадцать шесть лет и очень хотела, чтобы именно 9-го он получил от нее то обещанное ею послание. Но в эти первые дни в Кисловодске не было никакой возможности думать о лейтенанте.

Наконец родители хотя бы внешне успокоились, вновь стали ходить на ванны и пить воду, и Инга, проволынив еще несколько дней, села и написала:

"Борис!"

"Нет, Боренька!" - продумав минут десять, решилась вывести своим угловатым, чуть наискось, почерком. Но тут же, как с горы сорвавшись, начала быстро писать, ничего не зачеркивая:

"Боренька! Так мне легче к тебе обращаться. Я, когда несла чемодан, увидела знакомое и противное, правда чинённое, пальто, которое несло в правой руке твою машинку, и мне стало так горько. Зачем ты ему отдал? Я вырвать хотела. Но он сказал, что ты его обидел и он даже не собирается ее возвращать. Зачем, Боренька?!

Боря, я не знаю, как с тобой разговаривать. У меня все так сошлось, но счастлива я от этого не стала. Лучше бы я встретила тебя на два месяца раньше или еще лучше, если бы я тебя еще не встречала, а вот, через четыре дня, вернувшись (у нас билеты на седьмое), увидела бы впервые тебя. Вот тогда бы мне было хорошо и я бы в лепешку расшиблась, чтобы тебе тоже не было горько. Боря, не сдавай ком. билет. Продлись. Очень тебя прошу. Ну, просто советую. Знаю, никакого у меня нет права на такие просьбы. Ну, пусть так. Просто чужая женщина, которой ты не знаешь, но для которой ты... ну, существуешь... очень тебя просит: не сдавай билет.

Тебя возьмут на любую кафедру. Хочешь, натаскаю тебя в английском, если ты, как говорил, в немецком ни бум-бум. Но у тебя, кажется, есть знакомая, которая здорово знает немецкий. Тебе каждый поможет. Все равно, что ты ни сделаешь, ты останешься чистым и мужественным человеком. Я в тебя верю, Боря.

Слышишь, Боренька?! Я, наверно, тронулась от всего - от смерти тетки, от тебя, от того, что была с тобой, а потом была не с тобой, и теперь вот ни с кем.

Всего этого не надо писать! Прости. Но я врать не люблю и почти не умею, и вот написала, чтобы ты все знал. Но ты и так

знаешь. Еще раз прости. Начинаю заговариваться.

Вот написала и стало скучно и как-то пусто.

Да, совсем забыла, хотя все время думала об этом. Я пошлю письмо так, чтобы оно пришло точно в твой день, когда тебе исполнится двадцать шесть. Поздравляю тебя, Боренька, Боря, Борька.

Ты мне позвони, когда получишь письмо. Но, наверно, я все равно не выдержу и прибегу постучаться в твою дверь. Уехал твой товарищ? А тебя демобилизовали совсем?

Инга."

- Шапку продашь? - спросил Секачёв, когда Борис вернулся от особиста.

- Бери так. Ремень нужен кому? - он поднял валявшуюся на кроватной сетке портупею.

- А китель? - пошутил Федька.

- Деньги некуда сунуть, а то бы отдал.

- Утонешь в нем, - зевнул Морев, с сомнением глядя на щуплого Павлова. - Да и кителек того, обтруханный... И вообще, сыпь отсюда, историк. Надоел.

- Ладно, - помрачнел Борис, понимая, что прощания не получается, и, проведя ладонью по лысине Секачёва и по вихрам Федьки, вышел из финского домика.

Было тепло, даже жарковато и, пролезая между досками забора, Борис подумал, что стоит вернуться и отдать ребятам китель, переложив деньги в карманы бриджей. Но боясь, что не будет дороги, он нырнул в балку, потом вылез на пустой бетонке и за шлагбаумом поймал ЗИС-151, который, медленно ползя по шоссе, довез его за два часа до конечной станции метро.

Гришка, расставив свою раскладушку, читал Теккерея.

- Чистый хитрованец. Картина Репина "Не ждали", - улыбнулся Борису, глядя на его обеспогоненную шинель и серые запыленные сапоги.

- Да нет. Я брился, - провел Курчев по вполне еще гладкой щеке.

- Баба твоя тут была. Чемодан свой искала. Все перерыла и, понимаешь, нашла. Вот что значит следователь! Ты чего это его в свой чемодан притырил?

- Да так...

- Знаю. Ращупкина боялся. Чудное дело. Я глянул в окно, вижу на той стороне Сережка Ишков у своей "Победы" колдует. А потом эта фря улицу переходит, а подполковник у нее из рук чемоданчик и под руку в "Победу". Живет она с ним?

- Не знаю, - отмахнулся Борис и кинулся к гардеробу. Полевой сумки не было.

- Погоди, не пыхти. Записку на, - протянул Гришка сложенный вчетверо листок.

"Боря, - прочел лейтенант, - нам нужно поговорить. Василий Митрофанович тяжело болен и нельзя пользоваться слабостью нездорового человека. Кроме того, мы покупаем дом на Оке и там у тебя будет свой угол. А пока верни, Боря, если хочешь считать себя честным и порядочным человеком. 10.04.54 Твоя О.В."

- А теперь бери, - отпер Новосельнов свой саквояж и вытащил оттуда потертую офицерскую сумку. - Три тыщи и какое-то письмо.

- Надо было отдать. Я с самого начала знал, что это деньги гиблые, вздохнул Курчев, понимая, что супротив не попрешь, и тетка даже купит дом, только бы не выбрасывать трех тысяч на ветер.

- Ну и дурак, - покачал головой Гришка. - Я с такой еще бы три лишних слупил. Разоралась тут и давай права качать. Пальто расстегнула, в нос мне свои ленточки тычет. Не там повесила.

- Ладно, кончай. Надолго приехал? Ему не хотелось читать письмо при госте.

- Что? Мешаю? - зевнул Гришка.

- Да нет. Я просто так, - сказал Борис, сбрасывая сапоги, китель, бриджи, - всю эту слинявшую, изрядно потасканную жалкую форму - и влезая в теперь уже не новый венгерский костюм.

- Ты куда это?

- На шахматы, - сказал неожиданно для себя, хотя минуту назад и не думал о матче. "Там, - решил, - и прочту."

- А я, может, не вернусь. У Игната заночую. О тебе спросить?

- Спроси.

- Ты что, еще не надумал?

- Нет.

- Ну, штрейкбрехер!.. Вернее, этот, не штрейкбрехер, а как это называется? Слово забыл. Ну тот, кто злостно филонит.

- Саботажник.

- Он самый. Самый ты заядлый и вредный саботажник. Не скажу, что злой. По отдельности, может, ты людей и уважаешь. Но вместе их не перевариваешь. За каждого, а против всех. Вот кто ты. Гроб тебе, Борька!

Борис, не отвечая, с сомнением оглядывал воротник голубой в полоску рубашки и в конце концов бросил ее в нижний ящик шкафа.

- Ты что, женишься? - с подозрением хмыкнул Новосельнов.

- Да нет. Просто первый день свободы. Ему хотелось чувствовать себя как можно уверенней, когда распечатает письмо.

- Ключ получше притырь, - бросил уходя.

- Ладно. Я еще не скоро. Поваляюсь пока... - вздохнул Новосельнов, которому не хотелось идти к Игнату-абрикосочнику.

9

В эту субботу Ботвинник творил чудеса. Отступать чемпиону было некуда. Три партии подряд он продул и теперь отставал от Смыслова на очко.

Зал жужжал, мигалка "СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ" уже не гасла, и все вокруг понимали, что сегодня непременно что-то случится. Игралась двенадцатая партия и, если Смыслов устоит, то все: Ботвиннику крышка, потому что в следующих двенадцати встречах чемпион не выдержит. Все-таки он старше претендента на целых десять лет.

Невольно оглядев соседей, Борис достал из пиджака письмо и медленно и осторожно, будто в нем была денежная доверенность или смертный приговор, провел ногтем по краю конверта.

Инга вернулась в Москву в пятницу вечером и с радостью увидела, что в квартире не осталось никаких следов доцента. В пепельницах не было окурков, пол был подметен.

- Спасибо, - подмигнула в коридоре Полине.

- Заскочи попозже, - шепнула та и через час, когда родители легли, сама внесла в Ингину комнату холст.

- Куда мне? - вспыхнула Инга.

- А мне? - удивилась Полина. - Принес. Передать просил. Не выбросишь. Хотя, как подруге скажу, гадость. И не похожа совсем. Он что, дорогой?

- Не знаю, - потупилась Инга, соображая, надо или не надо звонить благодарить доцента, и что сказать завтра утром родителям.

- Разнюхались? - спросила Полина.

- Да, к жене вернулся.

На другой день, в субботу, она в библиотеку не

пошла и ждала, позвонит ли лейтенант. Но телефон молчал. Холст, не решаясь показать родителям, она задвинула в коридоре за сундук.

День тащился еле-еле. Мать и отец, ничего ей не сказав, ушли из дому. Инга поняла, что они отправились в крематорий, наверно, договариваться о нише в стене.

Наконец, в шестом часу в пустой квартире зазвенело раз-другой-третий и казалось, звонки ударили в оконные стекла, стало весело, необыкновенно светло, будто это звонил не телефон, а само солнце. Инга кинулась к аппарату и услышала приятно-невыносимый тембр Бороздыки:

- Извините, это я. Вы были правы. Я поступил, как идиот. Незачем было возить. Я переходил озеро, и она бултыхнулась в полынью.

"Врет", - подумала Инга.

Бороздыка действительно врал, потому что ни по какому озерному льду не ходил, а напившись со смотрительницей краевого музея, подарил ей утром от широты души и на память о славно проведенной ночи курчевскую пишущую машинку, за что тем же утром, по возвращении в гостиницу, он был изрядно поколочен своей нареченной Заремой Бороздыка (в брачном свидетельстве Бороздыко, потому что работница загса была не слишком грамотной, а молодожены впопыхах ошибки не обнаружили).

Впрочем, с того гостиничного скандала прошла уже неделя. Зарема утихомирилась, почти поверив в историю с озерным льдом, и теперь Игорь Александрович, хотя и ныл в телефонную трубку, но вполне уверенно отрабатывал версию о пропаже машинки.

- Это подло, - бросила Инга трубку, несколько смутив Бороздыку, который после короткого романа с музейным работником, несмотря на избиение в гостиничном номере, был горд и самоуверен.

- Подло, - повторила Инга, достала пальто, в котором ездила на Кавказ, и выбежала в переулок.

- Подлость и гадство, и я сама не лучше, - шептала, приближаясь к Переяславке, но одновременно чувствовала, что при незадаче с пишущей "малявкой" ей проще прибежать к лейтенанту. Хотя вряд ли он обрадуется, что Бороздыка утопил машинку в озере или где-нибудь еще.

- Ушел, - сказал ей тот самый ленинградский неприятный беззубый и лысый приятель Курчева, с неохотой поднимаясь с неизвестной Инге раскладушки. В руках у него был первый том ее Теккерея.

- А скоро вернется? - улыбнулась Инга.

Все-таки было приятней встретить в этой комнате облезлого мужчину, чем какую-нибудь незнакомую женщину.

- Вроде на шахматы пошел. Нарядился и пошел. От радости, говорит, что демобилизовали. А вас что-то давно не было... - вдруг осклабился лысый мужчина, и Инга догадалась, что он все знает.

- Я уезжала.

- Я передам, что заходили. Обрадуется, - подмигнул Гришка.

И вот, достав у перекупщика за полтора червонца семирублевый билет, Инга поднялась на самый верхний ярус

концертного зала и среди пестрых, жужжащих, забивших все места и проходы шахматных любителей пыталась найти одного. Но сверху они все были так похожи - и лысые, и блондины, и брюнеты - что отличить их не было возможности. Посреди партера, сбоку слева, сидело несколько военных, но даже сверху они были чересчур тучны и потом звезды у них на погонах казались крупнее, чем положено лейтенанту.

"Нарядился и пошел", - вдруг вспомнила Инга и поняла, что Курчев должен быть в штатском, а в штатском она его ни разу не видела, и потом его вообще может здесь не быть, раз он нарядился. Мужчины на матче были в основном вида потрепанного, а о женщинах и говорить не стоило: все они были либо очкасты, либо настолько невыразительны, что посетительницы научных залов по сравнению с ними казались манекенщицами из иностранных журналов мод.

Вообще же мужчины, мальчишки и старики здесь на балконе вели себя чересчур нервно, будто сидели на трибуне стадиона. Ругани, правда, не было, но неодобрительных возгласов - хоть отбавляй. Костили и Смыслова, и выигрывавшего эту партию Ботвинника, и Инга не слишком прислушиваясь, вся уйдя в зрение и поиск лейтенанта, нет-нет вздрагивала, представляя, каково здесь было Ваве. Впрочем, Вава сидела, кажется, внизу.

Гул в зале рос, и уже в партере некоторые невыдержанные зрители поднимались на своих местах. На них шикали, и какой-то грубоватый мужчина подходил к краю сцены и просил соблюдать тишину.

Под большой демонстрационной доской слева и справа чернели цифры "29". Потом Ботвинник что-то двинул на своем маленьком столике и тут же под огромной доской появилась слева цифра "30", а посередине доски исчезла черная пешка и ее место заняла белая. И тут же черный конь, который пасся где-то в углу, прыгнул в центр и под доской справа тоже появилась цифра "30".

- Ура! - закричали на галерке. - Ботинку конец.

- Бей Ботинка! - раздалось внизу.

- Кранты! Кранты! Спекся, - слышалось со всех сторон.

Почти весь зал поднялся и зааплодировал. Но тут Ботвинник неожиданно двинул пешку на черного короля.

"Шах", - машинально подумала Инга.

В зале опять зашумели, многие кинулись к дверям, и Инге удалось пройти к краю балкона, откуда лучше были видны кресла. Там по-прежнему было скученно, добрая половина зрителей не сидела, а уже стояла, и вдруг Инга своими слегка дальнозоркими глазами поймала в шестом ряду человека,

который не глядел на доску, а держал в руках листки бумаги (не шахматный бюллетень, а именно небольшие листки!) и, хотя она никогда не смотрела на лейтенанта с такой высоты, она догадалась, что это Курчев.

С балкона его голова не то чтобы сияла гладью лысины, но плешь все-таки намечалась, и в первую минуту Инге было неловко, словно она подглядывала за ним и узнала о нем что-то нехорошее.

Но вот Смыслов забрал ладьей пешку Ботвинника, и Ботвинник под страшный вопль зала сунул ферзя на последнюю линию и прогнал черного короля, а лейтенант в шестом ряду по-прежнему не отрывался от письма (которое, наверно, уже читал в десятый, если не в сотый раз), и Инге сейчас больше всего на свете хотелось узнать, о чем он думает, уткнувшись в ее письмо.

- Проиграл, - мрачно сказал стоявший рядом светловолосый парень, сочувствовавший, очевидно, Смыслову. На доске слон белых напал сразу на три фигуры претендента.

Балкон быстро очищался. Все спешили вниз. Инга тоже спустилась в фойе партера и прошла к боковому входу.

- Всё. Конец, - крикнули из открывшихся дверей и, просунув голову в зал, Инга увидала Курчева. Он больше не читал письма, а глядел на доску. Лицо у него из-за очков и штатского пиджака казалось незнакомым. К тому же он все время морщился - то ли жалел Смыслова, то ли у него болели зубы.

Уже толпа валила из зала в фойе, а Инга все ждала, не повернет ли лейтенант голову. Ее толкали, а она ждала. Но вот Курчев снова стал читать письмо. Медленно - так Инге казалось - прочел одну страничку, перевернул, стал читать вторую, а в зале хлопали и на сцене Ботвинник со Смысловым снова стали, уже быстрей, чем раньше, передвигать фигуры. Но на демонстрационной доске ничего не передвигалось, а только чернело на белой картонке "Черные сдались".

Ну, что же он?! - чуть не рыдала Инга, потому что между ней и сидящим в кресле лейтенантом уже никого не было. Зал поредел, и если бы Борис поднял голову, он бы сразу ее увидел.

"Подойти?" - решалась она. Но последние десять метров до кресла Курчева пройти было труднее, чем от ее дома до его дома и от его дома сюда в зал.

И тут он поднял голову, вздрогнул, сорвал с глаз очки и близоруко посмотрел на Ингу.

Он ни о чем не думал. Просто вспомнил, как три года назад, весной в Запорожье стояла теплынь, грело солнце и солдаты играли в волейбол. И вдруг приехала из полка врачиха и всей отдельной батарее вкатила страшные противочумные прививки,

от которых температура сразу вскакивала на 39˚ или даже на 40˚.

В то время газеты были полны всяких баек о бактериологической войне в Корее. Хьюлету Джонсону показывали мешки, сброшенные с американских "летающих крепостей", будто бы полные чумных козявок, и тут, в Запорожье, командование, давя на бдительность, устроило в субботу прививки, чтобы солдаты за выходной отлежались, а с понедельника опять справляли службу. Приближалось время лагерей, как считалось, самая страдная и ответственная пора.

Но, как всегда, командование не учло всего (а возможно, учло, но не придало значения подобной мелочи). Дело в том, что солдаты могут хоть весь год валять ваньку, но они не позволят себе (даже при температуре 39˚ и 40˚) пропустить ни завтрака, ни ужина, не говоря уже об обеде. Суточный наряд в ту субботу стоял шаляй-валяй, дневальным разрешили сидеть у своих тумбочек, но рабочим по кухне не было никакого снисхождения.

И без противочумных уколов кухонный наряд в этом не приспособленном под казарму здании был тяжел: печки дымили, котлы пригорали, мойки не было, миски мылись в тазу, - и еще была куча неприятных обязанностей, за которыми рабочий по кухне вряд ли успевал поспать больше получаса. А тут еще противочумная порция под лопатку и страшный жар в теле.

Курчев всегда с содроганием вспоминал эту субботу. Безнадежное чувство стыда и страха охватило его еще на волейбольной площадке, когда, подавая мяч, он услышал крик "Уколы!", и достиг до высшей точки через два часа, когда полуживой от прививки младший сержант Зайцев построил в казарме пятерых таких же полудохлых солдат и, корчась от боли, топтался перед строем неполного отделения.

Злобясь от того, что другие сержанты сумели защитить перед старшиной своих людей, а он не смог и, как всегда, самое неприятное доставалось ему, вернее его подчиненным, маленький, щупленький, похожий на пацаненка, сержантик, подрагивая ножкой и вертя куриным хохолком, растягивал злобное удовольствие.

- В кухонный наряд пойдет... - вроде бы размышлял вслух, и глазки его загорались потноватым блеском даже не вора, а шестерки, который пробует свою силу на слабосильном фраеришке.

- Кья-во бы та, его самое, послать... - тянул душу из солдат Зайцев и, как ни страшно было сейчас с такой температурой висеть вниз головой в котлах, выскребая нагар от каши и грязный жир от борща, но стоять в строю во власти этого полудурка и тоскливо надеяться: вдруг пронесет! - было еще невыносимей.

Курчев посмотрел на стоявших рядом ребят и понял, что каждый молится про себя: - Пронеси, Господи, пронеси, воля Твоя, пронеси...

Больше ничего их лица не выражали. А сучонок Зайцев, подрыгивая ножкой, выкобенивался и ковылял вдоль строя под их молящими глазами.

И тогда Курчев не выдержал.

- Да не тяни ты, сука, а то как въеду... - сказал громко и вышел прямо на опешившего сержанта. - Я пойду.

- Но-но, - вскрикнул не успевший позабавиться Зайцев. - Хочешь губы? Так оформлю!

- А ты не тяни, а то вытяну, - повторил Курчев, и младший сержант, вспомнив, как в первом своем кухонном наряде Борис чуть не огрел топором старослужащего, любившего поизмываться над молодыми солдатами повара-ефрейтора, тут же сник и назначил в пару с Борисом солдата Барышева, тихого и мирного парня, охотно и одинаково плохо работающего любую работу.

В ту субботу Барышев дважды плескал водой в лицо Курчева, потому что от лежания в котле вниз головой, кровь ударяла в виски, и Борису казалось, что он проваливается в черную яму. Но сутки прошли, правда, как в тяжелом бреду, но прошли, а тоскливое безнадежное чувство ожидания в строю перед вспрыгивающим чванливым сержантом, запомнилось навсегда.

И сейчас, глядя на стройную аспирантку, которая ничем не была схожа с маленьким, похожим на злобную облезлую дворнягу Зайцевым, Курчев все-таки вновь испытал этот унижающий, тоскливый, тягостный страх обреченности - и, боясь и не желая объяснений, оправданий, выяснений - всех этих длинных, ненужных, мелочных, выматывающих душу и съедающих нервы разговоров, подавляя в себе отчаянную жажду бегства, как тогда, из строя, вышел сейчас из своего ряда и быстро пошел по проходу.

И хотя он знал, что у него впереди ничего веселого, и что они здорово измучат друг друга, а все-таки прошел поредевшее уже пространство зала и, ни секунды не медля, обнял женщину в пустых, распахнутых настежь дверях.

1969-1971 гг.